Герберт Уэллс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ 11

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Сон

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КАК ПОЯВИЛСЯ ГАРРИ МОРТИМЕР СМИТ

ГЛАВА I

ЭКСКУРСИЯ

1

Большую часть года Сарнак почти непрерывно работал над исследованием тончайших химических реакций в клетках симпатической нервной системы. Уже первые опыты привели его к новым и поразительным открытиям, за которыми, в свою очередь, угадывались другие, еще более широкие и заманчивые. По-видимому, он работал чересчур напряженно, и хотя его пытливость и вера в успех оставались прежними, пальцы стали терять былую чуткость, а мысль — точность и быстроту. Надо было отдохнуть. Один этап работы был завершен, и, прежде чем приступить к новому, ему хотелось встряхнуться. Да и Санрей[1] уже давно мечтала съездить куда-нибудь вместе с ним; кстати, и ее работа находилась сейчас в такой стадии, когда можно было сделать перерыв. Итак, они снялись с места и отправились бродить среди озер и холмов.

В их отношениях наступила поистине восхитительная пора. Связанные тесной близостью и давней дружбой, они чувствовали себя вдвоем свободно и просто, не утратив, однако, ощущения новизны и острого интереса друг к другу. Санрей горячо любила и радовалась своей любви, а у Сарнака рядом с нею всегда бывало счастливое, весело-приподнятое настроение. Впрочем, более мудрой и

[1] Луч солнца *(англ.)*.

щедрой в любви была все-таки Санрей. Они болтали обо всем на свете, кроме работы Сарнака: ему нужно было отвлечься, вернуть себе первоначальную свежесть восприятия. О своей же работе Санрей говорила без конца. Она писала книги и картины о печалях и радостях минувших веков и была полна прелюбопытных догадок о том, каков был образ мыслей далеких предков, их душевный мир.

Несколько дней они провели на огромном озере: возились с лодкой, ходили под парусом, гребли, приставали к островкам, заросшим пряно благоухающими камышами, купались, плавали... Кочуя по воде из одной гостиницы в другую, они встречали множество интересных и занятных людей. В одной гостинице жил старик девяноста восьми лет; на склоне дней он нашел себе утеху в том, что делал смешные, полные удивительной пластичности статуэтки; чудесно было наблюдать, как простой кусок глины обретает форму в его руках. Кроме того, он умел очень вкусно готовить озерную рыбу каким-то особым способом и всегда стряпал побольше, чтобы досталось каждому, кто садится за стол. В другом месте им встретился музыкант, который долго расспрашивал Санрей о старине, а потом сел за рояль, чтобы выразить в музыке чувства минувших поколений. Он сыграл одну вещь, написанную, по его словам, две тысячи лет назад человеком по имени Шопен; она называлась «Революционный этюд». Санрей никогда не поверила бы, что звуки фортепьяно способны передать столько страсти и гнева. Затем раздались воинственные мелодии, яростные и нестройные, прогремели грубые марши тех полузабытых дней, и пианист заиграл что-то свое, бурное и взволнованное.

Санрей сидела под золотистым фонариком и слушала, глядя, как летают по клавишам гибкие пальцы, а Сарнак — тот был глубоко потрясен. Не так уж часто ему приходилось слушать музыку, и пианист как будто распахнул перед ним окно в тот смутный, темный, неистовый мир, что был давно уже скрыт от людей. Сарнак облокотился на парапет садовой ограды и, подперев рукою щеку, вглядывался в сумрачный ночной свод за дальним краем сизой озерной глади. На звездном небе полукольцом сгущались тучи, будто сгребая звезды ис-

полинской ладонью, готовой сомкнуться в кулак. Кажется, назавтра собирался дождь. Фонарики висели неподвижно, лишь изредка покачиваясь под набегающим ветерком. Из темноты то и дело выпархивала крупная белая ночная бабочка и, бестолково покружившись среди фонариков, исчезала, появлялась вновь, или на смену ей прилетала другая, похожая. Иногда слетались три, четыре мотылька, и казалось, что, кроме этих мимолетных видений, все живое спряталось в ту ночь.

Внимание Сарнака привлек слабый всплеск воды, и он заметил внизу сигнальный огонь лодки: круглый и оранжевый, как апельсин, он скользнул из ночной синевы к подножию террасы. Раздался стук весел, вынимаемых из уключин, и постепенно замирающий звук капель, но люди в лодке не двигались, слушая музыку. Только когда пианист взял последний аккорд, они поднялись по ступеням террасы и спросили управляющего гостиницей, найдется ли им где переночевать. Пообедать они уже успели в другой гостинице, на дальнем краю озера.

Их было четверо. Брат с сестрой, смуглые, красивые южане, и две светловолосые женщины, одна синеглазая, другая с карими глазами, судя по всему, их близкие друзья. Брата и сестру звали Рейдиант и Старлайт [1]; оказалось, что они занимаются приручением животных — делом, к которому имеют врожденный талант. Белокурые Уиллоу и Файрфлай [2] были электриками. Сначала все говорили о музыке, потом разговор зашел о прогулке, которую задумали совершить Рейдиант и его друзья. Они хотели подняться в исполинские горы, нависшие над озером. В последние дни Санрей то и дело с вожделением поглядывала на сверкающие снеговые поляны: ее всегда с магической силой влекли снежные горы. Она завязала оживленную беседу с новыми знакомыми, и вскоре те предложили ей и Сарнаку совершить восхождение вместе с ними. Но прежде Сарнаку и Санрей хотелось побывать на раскопках, произведенных недавно в долине, спускавшейся к озеру с востока. Заинтересовав-

---

[1] Лучезарный и Свет звезды *(англ.)*.
[2] Ива и Светлячок *(англ.)*.

шись рассказами Санрей об этих древних руинах, вновь прибывшие изменили свой план: было решено сперва всем вместе осмотреть раскопки, а затем отправиться в горы.

2

Руинам было две с лишним тысячи лет.

То были развалины маленького старинного города, железнодорожной станции, по-видимому, узловой, и туннеля, прорубленного прямо сквозь толщу гор. Туннель обрушился, но археологи его отрыли, обнаружив внутри несколько разбитых пассажирских составов, по-видимому, перевозивших солдат и беженцев, чьи останки, сильно пострадавшие от крыс и других грызунов, были разбросаны по вагонам и путям. Очевидно, в туннеле была заложена взрывчатка, и составы, груженные людьми, были погребены под землей. Потом и город со всеми его обитателями был уничтожен ядовитым газом, но каким именно, исследователям еще предстояло выяснить. Газ имел какое-то необычное, бальзамирующее действие, и многие трупы превратились не в скелеты, а скорее в мумии; в домах были найдены хорошо сохранившиеся книги, бумаги, предметы из папье-маше и прочие вещи. Сохранились даже дешевые хлопчатобумажные ткани, совершенно, впрочем, обесцвеченные. Через некоторое время после гигантской катастрофы этот уголок земли стал, вероятно, практически необитаем: путь в нижнюю долину преградил оползень, запрудив долинные воды; город затопило, затянуло тончайшим илом; туннель оказался наглухо запечатан. Теперь этот барьер был пробит, а долину осушили, вновь обнажив следы бедствия, характерного для эпохи последней в истории человечества войны.

На шестерых туристов посещение раскопок произвело сильное впечатление — пожалуй, даже слишком сильное. Особенно глубокий след оставило оно в утомленном мозгу Сарнака. Материал, собранный в развалинах города, был выставлен в музее — длинной галерее из стекла и стали. Многие тела под воздействием газа остались почти нетронутыми: больная старушка, смытая водою со своего ложа и водворенная обратно; ссохшийся младенец

в колыбели... Простыни и ватные одеяла выцвели и побурели, но и сейчас легко было представить себе, как они выглядели раньше. Судя по всему, катастрофа застигла людей врасплох, когда они готовились к трапезе: во многих домах, видимо, были уже накрыты столы, и теперь, спустя два десятка столетий, ученые извлекли из-под слоя грязи, водорослей и рыбьих скелетов и разложили по местам ветхие скатерти машинной работы, столовую утварь... Сколько их было собрано здесь, этих жалких, поблекших от времени реликвий исчезнувшей жизни!

Предвидя, какое жуткое зрелище их ждет, шестеро туристов не стали заходить далеко в туннель: с них было достаточно. К тому же Сарнак споткнулся о рельс и порезал себе руку острым краем разбитого вагонного окна. Ранка после долго болела, не давая ему ночью уснуть, и заживала медленнее, чем полагалось бы. Казалось, в нее был занесен какой-то яд...

Остаток дня прошел в разговорах о страшной эпохе последних в мире войн и о том, как ужасна была жизнь в те времена. Файрфлай и Старлайт считали, что древние с самой колыбели и до последнего вздоха были обречены влачить невыносимое существование, сотканное из ненависти, страха, нужды и лишений. Рейдиант не соглашался. Возможно, говорил он, тем людям была отпущена такая же доля счастья, как ему, ни больше, ни меньше. Ведь у каждого человека любой эпохи есть какое-то нормальное для него состояние. Всякая надежда на лучшее, всякий взлет чувств, который выше этой нормы, и есть счастье, а все, что ниже черты,— несчастье, причем, где проходит граница нормального, неважно.

— Им было в полной мере дано изведать то и другое,— закончил Рейдиант.— В их жизни было меньше света и больше страданий, но вряд ли они были несчастнее нас.

Санрей была склонна согласиться с ним.

Уиллоу возражала. Телесные недуги, жизнь, полная лишений, могут стать постоянной причиной угнетенного душевного состояния, говорила она. Кроме того, бывают люди жизнерадостные просто от природы, а есть и такие, которые вечно несчастны.

— Разумеется, — вставил Сарнак. — Но только в сравнении с кем-то другим.

— Зачем им были нужны эти войны? — воскликнула Файрфлай.— Почему они причиняли друг другу такие чудовищные страдания? Такие же люди, как мы!

— Не лучше и не хуже,— подтвердил Рейдиант.— Во всяком случае, по своим природным данным. Еще ведь и сотни поколений не сменилось.

— И черепа таких же размеров, такой же формы...

— А эти бедняги в туннеле! — вздохнул Сарнак.— Эти горемыки, попавшие в капкан! Хотя, наверное, в те времена каждый был словно в капкане.

Немного спустя, когда они поднимались по невысокому перевалу к гостинице над устьем озера и уже подходили к гребню, их настигла гроза, и разговор был прерван. Ярдов за сто от них молния ударила в сосну. Путники залюбовались грандиозным зрелищем. Рев и грохот стихий наполнил их пьянящим восторгом, дождь хлестал по их сильным, обнаженным телам, порывы ветра сбивали с ног, мешая идти. Они с трудом брели по тропинке, хохоча и задыхаясь, теряя и вновь нащупывая дорогу в ярких вспышках молний, выхватывающих из темноты то дерево, то скалу. Хлынул проливной дождь. Выбравшись на каменистую дорожку, сбегавшую к месту их ночлега, путники, спотыкаясь, зашлепали вниз по пенистым лужам. Разгоряченные и мокрые, будто сейчас из речки, ввалились они в гостиницу. Один только Сарнак, немного отставший от них вместе с Санрей, устал и продрог. Управляющий задернул шторы, подбросил в камин сосновых ветвей и шишек, чтобы жарче разгорелся огонь, и принялся стряпать горячий ужин.

Немного спустя разговор снова зашел о раскопках: о городе, о ссохшихся человеческих телах, лежащих под электрическим светом там, вдали, в застывшей тишине, навеки безучастных к залитой солнцем и потрясаемой грозами жизни за стеклянными стенами музея.

— Смеялись они когда-нибудь, как мы? — спросила Уиллоу.— Просто так, от счастья жить на свете?

Сарнак говорил очень мало. Он сидел у самого огня и бросал в камин одну сосновую шишку за другой, глядя, как они занимаются и, потрескивая, вспыхивают. Вскоре он поднялся и, сославшись на усталость, пошел спать.

3

Дождь лил всю ночь напролет. Лишь часам к двенадцати дня погода прояснилась, и маленькая компания выступила в дорогу, направляясь вверх по долине к горам, на которые было решено подняться. Шли не торопясь, потратив полтора дня на путь, который по-настоящему можно было свободно проделать за день. Умытая дождем долина сверкала свежестью и пестрела коврами цветов.

Наступил новый день, золотой и безмятежный.

Вскоре после полудня путники взобрались на высокую площадку, поросшую асфоделями, и расположились перекусить тем, что прихватили с собой в дорогу. Спешить было некуда: до горной хижины, в которой они собирались переночевать, оставалось всего два часа ходьбы. Сарнак чувствовал себя вялым и жаловался, что его клонит ко сну. Он провел беспокойную ночь, его мучали сны о замурованных в туннелях людях, погибших от ядовитого газа. Его спутников только позабавило, что кто-то может думать о сне средь бела дня, но Санрей вызвалась охранять его сон. Она выбрала для него удобное местечко на траве, и Сарнак, растянувшись возле нее, прижался лицом к ее боку и заснул мгновенно и доверчиво, как ребенок. Санрей осторожно выпрямилась, точно нянька у детской кроватки, и подала знак друзьям, чтоб они не шумели.

— Ну теперь-то у него все пройдет,— пошутил Рейдиант.

Компания потихоньку разбрелась: Уиллоу и Старлайт взошли на скалистый выступ, откуда, как они предполагали, открывался красивый вид вниз, на озера. Рейдиант и Файрфлай ушли в другую сторону.

Внезапно Сарнак, спавший до сих пор мирным сном, беспокойно заметался. Санрей, прислушиваясь, склонилась над ним. Почувствовав теплое прикосновение ее щеки, он ненадолго затих, но вот опять пошевелился и пробормотал что-то невнятное; Санрей не смогла разобрать ни слова. Потом он откатился в сторону, раскинул руки и проговорил:

— Мне этого не вынести! Я не могу с этим смирить-

ся! Теперь уже ничего не изменить... Ты запятнана, тебя осквернили!..

Санрей тихонько привлекла его к себе и умело, как нянька, устроила поудобнее. Он сонно прошептал: «Милая!» — и потянулся к ее руке...

Когда вернулись остальные, Сарнак только что проснулся. Он сидел, сонно мигая, и Санрей, встав рядом с ним на колени, положила руку ему на плечо.

— Проснись!

Он взглянул на нее, будто видел впервые, и перевел изумленный взгляд на Рейдианта.

— Значит, другая жизнь все-таки существует, — сказал он наконец.

— Сарнак! — Санрей встряхнула его.— Ты что, не узнаешь меня?

Он провел рукой по лицу.

— Да, да,— с расстановкой проговорил он. — Тебя зовут Санрей. Припоминаю, Санрей, а не Хетти... Да... Хотя ты очень похожа на Хетти. Странно! А меня... меня зовут Сарнак.— Он поглядел на Уиллоу и рассмеялся.— Ну, разумеется, Сарнак! А я-то думал, что я Гарри Мортимер Смит... Да, именно так: Гарри Мортимер Смит. Минуту назад я *был* Гарри Мортимер Смит.

Он оглянулся по сторонам.

— Горы... Солнце, белые нарциссы... Конечно же! Мы поднялись сюда только сегодня утром, и Санрей еще обрызгала меня водой у водопада... Прекрасно помню... Но ведь это я лежал на кровати убитый! Да, я лежал на кровати... Сон? Значит, я видел сон, — нет, целую жизнь — две тысячи лет тому назад!

— Как? О чем ты говоришь? — спросила Санрей.

— Целая жизнь... Детство, отрочество, зрелость... И смерть. Он меня убил. Убил все-таки, забулдыга несчастный!..

— Это был сон?

— Сон, но только уж очень живой. Совсем как явь! Да и был ли это сон?.. Теперь, Санрей, я смогу ответить тебе на все вопросы. Теперь я *знаю*. Я прожил целую жизнь в том старом мире. Мне и сейчас еще кажется, что настоящей была та жизнь, а эта мне только снится... Пять минут назад я лежал на кровати. Я умирал,

Врач сказал: «Отходит...» И я услышал, как зашумело платье: ко мне подходила жена...

— Жена?! — вскричала Санрей.

— Да. Моя жена. Милли.

У Санрей удивленно поднялись брови. Она беспомощно оглянулась на Уиллоу.

Сарнак смотрел на нее отсутствующим, затуманенным взором.

— Милли,— чуть слышно повторил он.— Она стояла у окна...

Несколько мгновений все молчали.

Рейдиант положил руку на плечо Файрфлай.

— Расскажи, Сарнак. Тяжко было умирать?

— Я как будто проваливался в безмолвие, все ниже, ниже — и проснулся вот здесь.

— Расскажи сейчас, пока все это у тебя свежо в памяти.

— А как же горная хижина? — заметила Уиллоу, взглянув на солнце.— Мы ведь хотели добраться туда еще засветло...

— Тут рядом есть маленькая гостиница. Всего пять минут ходу,— отозвалась Файрфлай.

Рейдиант присел рядом с Сарнаком.

— Расскажи нам свой сон сейчас. Если ты потеряешь нить, забудешь что-нибудь или нам станет неинтересно, пойдем дальше, а если увлечемся и захотим дослушать до конца, останемся на ночь здесь. Местечко тут очень милое. Розово-лиловые скалы по ту сторону ущелья, туманная дымка, вползающая в складки камня... Такой красотой можно любоваться целую неделю — и не надоест. Расскажи нам свой сон! — Он тряхнул друга за плечо.— Проснись, Сарнак!

Сарнак протер глаза.

— Это странная история. Так много придется объяснять...— Он на минуту задумался.— Долгий будет рассказ.

— Естественно. Целая жизнь!

— Давайте-ка я сначала раздобуду в гостинице фруктов и сливок,— предложила Файрфлай.— А уж потом пусть рассказывает. Минут пять, Сарнак, я живо!

— Погоди, я с тобой,— сказал Рейдиант, догоняя ее.

Дальше идет история, рассказанная Сарнаком.

ГЛАВА II

НАЧАЛО СНА

1

— Мой сон начался так же, как пробуждается сознание человека,— сказал Сарнак.— Обрывки картин, набор разрозненных впечатлений... Вот я лежу на диване, обитом какой-то особой материей, жесткой и глянцевитой, с красно-черным рисунком. Лежу и кричу, а отчего, сам не знаю, и вдруг вижу: в дверях стоит мой отец. Отец глядит на меня. Вид у него ужасный. Он полуодет, на нем только брюки и фланелевая сорочка, на голове нечесаная копна светлых волос; подбородок в мыльной пене: он не успел добриться. Отец зол оттого, что я раскричался, и я, кажется, умолкаю. Впрочем, не уверен... Вот другая картина. Я стою на коленях рядом с моей матерью все на том же твердом красно-черном диване и смотрю в окошко — диван обычно стоял спинкой к подоконнику. На улице дождь. От подоконника слабо пахнет краской, дрянной жидкой краской, растрескавшейся от солнца. Дождь льет как из ведра, размывая желтоватую песчанистую дорогу. Неровная, ухабистая дорогá покрыта грязными лужами. По лужам скачут радужные пузыри, лопаются нá ветру, и на их месте появляются новые.

— Глянь-ка, сынок,— говорит мать.— Как солдатики.

Думаю, что я был еще очень мал, когда это происходило, но я уже не однажды видел, как маршируют по улице солдаты в касках и со штыками на винтовках.

— Значит, это было незадолго до Великой войны и Социального краха,— вставил Рейдиант.

— Да,— подумав, согласился Сарнак.— Незадолго. За двадцать один год. От дома, где я родился, было меньше двух миль до крупного английского военного лагеря в Лоуклифе, а Лоуклифский вокзал находился всего за несколько сотен ярдов от нас. За пределами дома «солдатики» занимали в мире моего детства самое главное место: они были яркие, разноцветные и непохожие на других людей. Мать каждый день вывозила меня на воздух в особом приспособлении, которое называлось ко-

ляской, и как только нам попадались на глаза солдаты, всегда приговаривала: «Ах, какие красивенькие солдатики!».

И я протягивал свой крохотный палец в шерстяном футлярчике — надо сказать, что в те дни детей кутали немилосердно, на меня натягивали даже перчатки — и повторял: «Сайдатик». Наверно, это было одно из первых слов, которые я научился говорить.

Я попытаюсь описать вам, какой у нас был дом и что за люди были мои родители. Таких городов, таких домов и обычаев давно уже нет на свете, даже свидетельств о них сохранилось немного. Правда, с фактическим материалом вы, по-видимому, знакомы достаточно хорошо, но сомневаюсь, чтобы вы могли зримо и реально представить себе ту обстановку, в которой я оказался. Наше местечко называлось Черри-гарденс и было расположено милях в двух от Сэндбурна и моря. По одну сторону лежал город Клифстоун, откуда через пролив шли во Францию пароходы, по другую находился Лоуклиф с его бесконечными рядами уродливых казарм из красного кирпича и гигантским учебным плацем. За ними уходило в глубь суши плоскогорье, перерезанное новыми, еще не укатанными дорогами, мощенными булыжником. Вам и вообразить трудно, что это были за дороги! Вдоль дорог тянулись огороды и дома, новые, часто еще не достроенные. Дальше вставала гряда холмов, не очень высоких, но крутых, безлесых и зеленых. Изящная линия холмов и сапфировая полоса моря замыкали мою вселенную с севера и юга. Пожалуй, из всего, что окружало меня, только они и были по-настоящему красивы. Все остальное было запятнано, обезображено грубой рукой человека. Совсем еще малышом я, бывало, гадал о том, что́ скрывается за холмами, но подняться и посмотреть мне удалось только лет семи или восьми.

— Это было еще до самолетов? — спросил Рейдиант.

— Аэропланы появились, когда мне было лет одиннадцать. Я видел своими глазами тот, на котором впервые удалось перелететь через пролив, отделяющий Англию от материка. Тогда это считалось чудом. (—Это и было чудом,— вставила Санрей.) Вместе с ватагой мальчишек я отправлялся куда-то в поле, за Клифстоун. У аппарата стояла охрана, вокруг на колышках

была натянута веревка, чтобы никто не подходил близко. Мы протиснулись сквозь толпу зевак, собравшихся поглазеть на диковинную машину, похожую на гигантского кузнечика с расправленными парусиновыми крыльями.

Мы с вами только что побывали на развалинах Домодоссолы [1], и все же мне нелегко объяснить вам, что́ представляли собою Черри-гарденс и Клифстоун... Домодоссола — тоже, конечно, достаточно нелепый и бестолковый городок, но эти! Вопиющий хаос, вопиющая неустроенность! Надо сказать, что к тому времени, как я появился на свет, человечество уже лет тридцать или сорок переживало полосу сравнительного благоденствия и расцвета. Подобные периоды, конечно, не были в ту пору итогом государственной мудрости или предусмотрительности, а просто случались сами собой — так в дождевом потоке среди водоворотов нет-нет да и попадется тихая лужица. Но так или иначе, а денежная и кредитная системы действовали неплохо, торговля и внешние сношения развивались успешно, повальных эпидемий не было вовсе, массовых войн — почти не было, и к тому же выдалось подряд несколько исключительно урожайных лет. Стечение всех этих благоприятных обстоятельств заметно повысило средний жизненный уровень людей, что, впрочем, в значительной степени обесценилось гигантским скачком в приросте населения. Ибо, говоря языком наших школьных учебников, «человек в те дни был словно саранча для самого же себя». Позже, когда я подрос, мне приходилось слышать, как люди таинственно шушукаются о запретном предмете, именуемом «противозачаточные меры», но в дни моего детства все человечество, за очень редкими исключениями, пребывало в состоянии полнейшего и тщательно оберегаемого неведения относительно самых элементарных условий здоровой и счастливой жизни. В окружающем меня мире царило размножение, стихийное и безудержное, — примитивное размножение. В этой атмосфере я жил, ею дышал, в ней рос.

---

[1] Город в Северо-Западной Италии около Симплонского туннеля.

— Но их же было кому вразумить: правители, священники, педагоги, врачи! — заметила Уиллоу.

— Вразумить? Ну нет! — возразил Сарнак.— Это был поразительный народец, все эти кормчие и духовные наставники. Их было несметное множество, но на путь истинный они не наставляли никого. Они не только не учили мужчин и женщин регулировать рождаемость, избегать заболеваний и плодотворно трудиться во имя общего блага, но, скорее, только мешали такому обучению. Наше местечко — Черри-гарденс — возникло, в общем, за полвека до того, как я родился. Выросло оно из захолустной деревеньки и постепенно превратилось в так называемый «пригород». В том стародавнем мире, не знавшем ни свободы, ни порядка, земля была нарезана на лоскутки всевозможных видов и размеров и принадлежала отдельным людям, поступавшим с нею как им заблагорассудится, несмотря на некоторые ограничения, обременительные, но бесполезные. Катастрофически быстрый прирост населения привел к тому, что люди, именуемые «коммерсанты-строители», начали скупать участки земли, зачастую совершенно непригодные к застройке, и возводить на них дома для тех, кому негде было жить. В Черри-гарденс происходило то же самое. Строили без всякого плана: один здесь, другой там, причем каждый старался построить как можно дешевле, а продать или сдать внаем свое помещение как можно дороже. Дома ставили подряд или на некотором расстоянии друг от друга, и при каждом был клочок земли, либо засаженный как попало, либо не засаженный вовсе. Это у них называлось «собственный сад». Вокруг сада стоял забор, чтобы никого не пускать.

— Не пускать? Отчего?

— Тогда это любили: не пускать. Им это нравилось. А в садиках не было ничего особенного, и глядеть через забор разрешалось сколько угодно. В каждом доме имелась собственная кухня, где готовили пищу, и свой набор домашней утвари; заведений общественного питания в Черри-гарденс не было. Обычно в доме был мужчина, который ходил на работу, зарабатывал деньги и приходил домой лишь есть и спать: люди в те дни только и делали, что зарабатывали на жизнь; жить было некогда. Была в семье женщина, его жена, на которой лежали

все обязанности по дому: стряпня, уборка — словом, все. И, кроме того, она рожала детей, рожала сколько придется,— не потому, что хотела, а потому, что иначе тогда не умели. Женщина была занята по горло и не могла следить за детьми как надо, так что многие из них умирали. А она — она изо дня в день готовила обед. Варила... И что это было за варево!

Сарнак сдвинул брови и помолчал.

— Стряпня! М-да... Ну, с этим-то уж, во всяком случае, покончено.

Рейдиант весело рассмеялся.

— Почти все страдали от несварения желудка,— все так же хмуро, будто вглядываясь в прошлое, продолжал Сарнак.— Газеты так и пестрели рекламами лекарств.

— Я как-то никогда не задумывалась об этой стороне их жизни,— призналась Санрей.

— А между тем она существенна,— сказал Сарнак.— Этот мир был болен, болен со всех точек зрения... Каждое утро, кроме воскресного, снарядив мужчину на работу, мать семейства поднимала с постели детей, одевала их, отправляла тех, что постарше, в школу и коекак прибирала в доме. Потом вставал вопрос о покупках. Для этой ее пресловутой стряпни. Каждое утро, опять-таки кроме воскресного, на улицы Черри-гарденс высыпала шумная орава людей с тележками, запряженными пони, или тачками, которые они толкали перед собой. На тележках и тачках, ничем не защищенные от дождя, ветра и пыли, лежали овощи, фрукты, мясо или рыба. Каждый на все лады расхваливал свой товар. (В моей памяти вновь возникает все тот же красночерный диван у окна, я снова ребенок...) Особенно выделялся один — разносчик рыбы. Что это был за голос! Помню, как я своим пискливым детским голоском все старался издать такой же великолепный раскатистый клич:

— А вот, кому макре-эль! Ха-арошая макре-эль! Шиллинг три-и! Макре-эль!

Прервав священнодействие у домашнего очага, на этот зов выходили хозяйки — купить, поторговаться и, как говорилось, «перекинуться словечком» с соседками. Но уличные торговцы не могли снабдить их всем необходи-

мым, и вот тут на сцену выступал мой отец. Отец содержал мелочную лавчонку и назывался «зеленщик». Он продавал фрукты и овощи — те жалкие фрукты и овощи, которые умел прежде выращивать человек. А еще он торговал углем, керосином (тогда в ходу были керосиновые лампы), шоколадом, лимонадом и прочими товарами, которые требовались для варварского домоводства тех времен. Продавал он и цветы, срезанные и в горшках, семена и черенки, а также бечеву и средства от сорняков для владельцев собственных садиков. Лавочка его стояла в одном ряду с множеством других таких же, а ряд был похож на вереницу обыкновенных домов, только нижнее помещение было приспособлено под торговый зал. Отец «зарабатывал на жизнь» себе и нам, стараясь купить свой товар как можно дешевле и продать подороже. Приносило это ему жалкие крохи: ведь в Черри-гарденс и кроме него было достаточно крепких мужчин, которые тоже содержали мелочные лавки. Вздумай он торговать повыгодней, покупатели ушли бы к его конкурентам, а он остался бы ни с чем.

Моей матери не удалось избежать общей участи: у нее было шесть человек детей, из которых в живых осталось четверо, и вся наша жизнь — моя, моих сестер и брата — вращалась вокруг этой лавчонки. Летом мы проводили большую часть времени на улице или в комнате над лавкой. Но в холодную погоду отапливать верхнюю комнату было слишком дорого и трудно (а надо сказать, что в Черри-гарденс все дома отапливались открытыми угольными очагами), и мы переходили в подвал, в темную кухню, где моя бедная матушка стряпала, как умела.

— Да вы были троглодиты! — воскликнула Уиллоу.

— Фактически да. Ели мы всегда там, внизу. Летом мы были загорелые и румяные, но зимой, как бы погребенные заживо в темноте, худели и бледнели. У меня был брат, который представлялся моему детскому воображению великаном: он был на двенадцать лет старше меня,— и две сестры: Фанни и Пруденс. Старший брат, Эрнст, поступил работать и потом уехал в Лондон; я почти не виделся с ним, пока сам не переехал туда же. Я был самый младший, и, когда мне исполнилось девять

лет, отец решился переделать детскую коляску на тачку для доставки покупателям мешков с углем и прочих товаров.

Моя старшая сестра, Фанни, была прехорошенькая девочка с темно-синими глазами и белоснежным личиком, изящно обрамленным волнами каштановых волос, вьющихся от природы. У Пруденс глаза были серые, а кожа хоть и белая, но более тусклого оттенка. Пруденс то и дело приставала ко мне, дразнила меня; Фанни же либо попросту не обращала на меня внимания, либо была добра и ласкова со мною, и я ее обожал. Облик матери я, как ни странно, припоминаю с трудом, хотя, разумеется, в детские годы именно она занимала главное место в моей жизни. Наверное, она была чем-то слишком привычным, и я не замечал в ней тех черт, которые создают четкую картину в памяти.

Говорить я научился у членов моей семьи, главным образом у матери. Никто из нас не владел правильной речью; язык наш был скуден и убог, многие слова мы произносили неправильно, а длинных слов вообще избегали, воспринимая их как нечто коварное и вычурное. Игрушек у меня было совсем мало; мне запомнились жестяной паровоз, несколько оловянных солдатиков да разрозненные деревянные кубики. Специального уголка для игры в доме не было, а если я раскладывал свои игрушки на обеденном столе, их вихрем сметала очередная трапеза. Помнится, мне страшно хотелось поиграть забавными вещицами, которые продавались в нашей лавочке, а в особенности вязанками дров и пучками лучин для растопки, но отец пресекал эти поползновения, считая, что, пока я слишком мал, чтобы помогать ему, мне нечего делать в лавке. Поэтому дома я большую часть времени проводил либо в комнате над лавкой, либо в подвале под нею. Когда лавка была закрыта, она представлялась мне темной, студеной пещерой, где по углам затаились жуткие тени и наверняка подстерегает что-то недоброе. Отправляясь спать, я крепко держался за материнскую руку и все равно холодел от страха, проходя по темной лавке. Здесь всегда стоял еле уловимый неприятный запах — запах гниющей зелени, менявшийся в зависимости от того, какие именно фрукты или овощи

начинали портиться раньше, и смешанный с запахом керосина. Зато по воскресеньям, когда магазины были закрыты целый день, наша лавочка становилась другой: совсем не страшной и не таинственной, а только притихшей и безлюдной. Меня вели через нее по дороге в церковь или воскресную школу. (Да, подождите минутку, все расскажу, и о церкви и о воскресной школе.) Когда я увидел мать в гробу — мне было тогда уже почти шестнадцать лет,— мне почему-то мгновенно вспомнилась наша лавчонка в воскресный день...

Таким, моя дорогая Санрей, был дом, в котором я очутился. Мне казалось, что я живу там с незапамятных времен. Это был самый глубокий сон, который мне снился когда-либо. Я даже тебя забыл...

2

— Ну, а как же это нечаянно рожденное дитя готовили ко вступлению в жизнь? — спросил Рейдиант.— Отдавали в сад?

— Детских садов, какие мы с вами знаем, в том старом мире не было, — сказал Сарнак. — Дети посещали заведение, именуемое начальной школой. Туда два раза в день и стала водить меня моя сестрица Пруденс, когда мне миновал шестой годок. И тут опять мне будет трудно рассказать, как все это выглядело. Наши летописи поведают вам о том, как зарождалось в те далекие времена общее образование, как враждебно и недоверчиво встретило старое духовенство и люди привилегированных сословий приход педагогов нового склада. Но они не дадут вам живого представления о том, как скверно были оборудованы школьные помещения, как не хватало преподавателей и каким подвижничеством был труд тех мужчин и женщин, которые без должной подготовки, за жалкую плату закладывали основы всеобщего обучения. Особенно мне запомнились двое: черный, худой мужчина с лающим кашлем, преподаватель старших классов, и маленькая веснушчатая женщина лет тридцати, которая сражалась с младшими. Теперь я понимаю, что это были настоящие святые. Имя мужчины я забыл, а маленькую учительницу звали мисс

Меррик. Классы были чудовищно раздуты, пособиями обоим учителям в основном служили собственный голос, жестикуляция да классная доска с мелом. Школьный инвентарь был убог до предела. Потрепанные хрестоматии, библии, псалтыри, аспидные дощечки в рамках, на которых мы писали грифельными карандашами, чтобы сэкономить бумагу,— вот и все, что имелось в нашем распоряжении. Рисовальных принадлежностей фактически не было; большинству из нас вообще не довелось учиться рисованию. Да, в этом старом мире было сколько угодно людей — нормальных, взрослых людей,— не умеющих нарисовать хотя бы простую коробку. Учиться считать было не на чем, наглядных пособий по геометрии не существовало. Не было и картин, разве что лакированный портрет королевы Виктории, таблица с изображениями животных и пожелтевшие настенные карты Европы и Азии, которые устарели на двадцать лет. Основы математики мы заучивали, как считалочки. Мы стояли рядами и бубнили нараспев магические заклинания, именуемые таблицей умножения:

Два-жды один — один-и,
Два-жды дваче — тыре,
Два-жды три-и — шесть-и,
Два-жды четыре — восемь.

Иногда мы пели хором в унисон (чаще всего это были церковные гимны) под звуки старенького школьного фортепьяно, сопровождавшего наши завывания. Покупка этого подержанного инструмента вызвала в Клифстоуне и Черри-гарденс настоящий переполох. Люди говорили, что это излишняя роскошь, что нельзя так баловать рабочих...

— Баловать рабочих?— изумилась Файрфлай.— Что же тут плохого? Я как-то не совсем понимаю...

— Я и сам не могу всего объяснить,— сказал Сарнак.— Но факт остается фактом: даже эти крохи знаний Англия — да и другие страны — уделяли своим же собственным детям лишь скрепя сердце. В те дни на вещи смотрели иначе. Люди жили еще в пещерном веке, веке конкуренции. В Америке, стране гораздо более богатой — в прежнем смысле этого слова,— чем Англия, школы для простых людей были еще беднее, еще хуже, хотя, казалось бы, хуже уж некуда... Да, милая, так *было*. Я

ведь не объясняю, почему мир устроен так, а не иначе. Я только рассказываю... Ну и, естественно, несмотря на героические усилия доблестных тружеников, вроде нашей мисс Меррик, знали мы очень мало, и даже то немногое, чему нас удавалось научить, знали кое-как. В моих воспоминаниях о школе главное место занимает скука. Мы сидели рядами на деревянных скамьях за длинными обшарпанными деревянными партами. Как сейчас вижу перед собой эти ряды детских затылков... А где-то вдали стояла мисс Меррик с указкой в руке, стараясь заинтересовать нас темой «реки Англии»: «Тайн. Уир. Тис...»

— Что это? Бранные слова? — перебила его Уиллоу.

— Нет. Всего-навсего география. А вот это история: «Вий-ейм Завоеватель[1]. Однатыщшестятшесть.
Вий-ейм Руфис[2]. Десять-восемьдесят-семь».

— Что же это означало?

— Для нас, детей? Примерно то же, что и для тебя: тарабарщину. Ох, эти часы, эти бесконечные часы детства за школьной стеной! Как они тянулись! Я, кажется, говорил, что прожил во сне целую жизнь? В школе я провел вечность, и не одну. Разумеется, мы развлекались, как могли. Была у нас такая забава: дать соседу пинок или щипок и сказать: «Передай дальше». Тайком играли в шарики на уроках. Занятно, что считать, складывать, вычитать и так далее я, злостный нарушитель дисциплины, научился именно за этой игрой.

— И это все, на что они были способны — эта ваша мисс Меррик и святой с лающим кашлем? — спросил Рейдиант.

— А что они могли поделать! Они были винтиками в машине, и, чтобы эти винтики работали исправно, существовали инспектора, обследования и проверки...

— Ну, а заклинания? — вмешалась Санрей. — Все эти «Вий-ейм Завоеватель» и тому подобное — был в них какой-нибудь смысл? Возможно, все же была какая-то пусть скрытая, пусть неясная, но хоть мало-мальски разумная цель?

---

[1] Вильгельм Завоеватель — король Англии; годы царствования 1066—1087.

[2] Вильгельм Красный (Руфус)—сын Вильгельма Завоевателя, король Англии; годы царствования 1087—1100.

— Возможно,— согласился Сарнак.— Но мне лично ее обнаружить не удалось.

— Это у них называлось «история»,— с готовностью подсказала Файрфлай.

— Верно,— кивнул Сарнак.— Да, я думаю, они пытались пробудить у детей интерес к деяниям английских монархов, хотя более скучной компании, чем наши короли и королевы, свет не видывал. Если иному из них и удавалось порой привлечь внимание к своей особе, это всегда было связано с каким-нибудь актом особо изощренной жестокости. Так, например, очень колоритной фигурой казался нам Генрих VIII, обладавший таким любвеобильным сердцем и столь деликатными понятиями о святости брака, что всякий раз, прежде чем взять себе новую жену, непременно отправлял к праотцам старую. Был еще и некий Альфред, приметный тем, что сжег какие-то пироги, хотя зачем ему это понадобилось, я так и не узнал. Почему-то этот поступок поверг в замешательство его врагов, датчан.

— Так это все, чему вас учили? — воскликнула Санрей.

— Королева Англии Елизавета носила брыжжи, а Яков Первый, король Англии и Шотландии, целовался со своими фаворитами.

— Но при чем тут история?

— Непонятно, правда! — рассмеялся Сарнак.— Теперь и мне это видно — когда я проснулся. Но, честное слово, только этому нас и учили.

— И вам ничего не говорили о том, как зарождается жизнь, и гаснет, и возникает опять, о ее бесконечных радостях и безграничных возможностях?

Сарнак покачал головой.

— В школе — нет, об этом говорили в церкви,— напомнила Старлайт, по-видимому, основательно знакомая с историей.— Сарнак забывает о церкви. Ведь надо помнить, что это был век напряженной религиозной активности. Повсюду стояли храмы. Один из каждых семи дней целиком посвящался изучению судеб человека и путей господних. По всей стране из края в край разносился перезвон колоколов и церковные песнопения. В этом была своеобразная красота, правда, Сарнак?

— Это было не совсем так,— подумав, с улыбкой отозвался рассказчик.— И здесь наши книги по истории нуждаются в некоторой переработке.

— Но мы же видим церкви и часовни на старых фотографиях и кинолентах, а многие из старых соборов сохранились до наших дней, и они по-настоящему красивы!

— И все пришлось скреплять стальными балками, ставить подпорки и подводить новый фундамент,— вставила Санрей,— так мало в них вложено умения или, быть может, веры. И потом, ведь их строили не при Сарнаке.

— Не при Мортимере Смите,— поправил ее Сарнак.

— Их строили за сотни лет до него.

3

— О религии той или иной эпохи,— сказал Сарнак,— нельзя судить по храмам и церквам. В нездоровом теле может скрываться многое, от чего оно не в состоянии избавиться. Чем слабее организм, тем менее он способен сопротивляться образованию патологических и вредных наростов. А между тем сами эти наросты могут выглядеть куда как нарядно и красиво...

Попробую рассказать вам сейчас, какое место у нас дома занимала религия и в чем заключалось мое религиозное воспитание. В Англии существовало нечто вроде государственной церкви, которая, впрочем, уже в значительной мере утратила свое влияние на общество в целом. В Черри-гарденс были два англиканских храма: один старый и сравнительно небольшой, с четырехгранной башней, построенный еще в те времена, когда здесь была деревенька, а другой новый и просторный, со шпилем. Кроме того, у нас были еще три христианских церкви: одна принадлежала конгрегационалистам, другая — методистам, а третья — римским католикам старого толка. Каждая претендовала на то, что именно она представляет единственно верную форму христианской религии, и каждая имела священника, а большой англиканский храм даже двух: викария и его помощника. У вас может создаться впечатление, что в этих церквах, как в исторических музеях и храмах

знания, которые мы возводим для нашей молодежи, была в самых волнующих и прекрасных формах представлена история человеческой расы, картины великого таинства жизни, объединяющего нас всех; что церковь возвышала людей, напоминая им о всеобщем братстве и избавляя от эгоистических побуждений... Но вот послушайте, каким все это представлялось мне.

Самых первых религиозных наставлений, полученных мною, я не помню, но, должно быть, еще в раннем детстве я заучил, как молитву, такой стишок:

Милый боженька, молю:
Ты услышь мольбу мою.

И еще одну молитву, в которой говорилось о чем-то, чего нельзя «преступать». Я был уверен, что речь идет о лугах или рощах, куда посторонним ходить запрещается. Начиналась она совершенно невразумительными словами: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое». Кроме того, в ней полагалось молить о «хлебе насущном» и призывать «царствие божие». Обучила меня этим молитвам мать в неслыханно раннем возрасте, и я повторял их каждый вечер, а иногда и по утрам. Матушка относилась к этим словам с благоговейным трепетом и помыслить не могла о том, чтобы растолковать мне их смысл, а когда мне вздумалось попросить господа о «хлебе насущном» с маслом, она сурово отчитала меня. Потом мне ужасно хотелось узнать, что станется с доброй королевой Викторией, когда наступит «царствие божие», но спросить об этом у матери я так и не осмелился. У меня самого мелькала любопытная мысль, что, пожалуй, дело можно бы уладить браком обоих монархов и что такой выход из положения просто никому еще не приходил в голову. Наверное, я был тогда совсем маленький: ведь добрая королева Виктория скончалась, когда мне было пять лет, во время долгой, далекой и теперь почти уже забытой распри под названием «Война с бурами».

Когда я подрос и стал ходить в церковь и воскресную школу, мои младенческие недоумения усугубились, сменившись затем равнодушием, служившим мне своеобразным средством самозащиты...

Для моей матери самым напряженным временем за всю неделю было воскресное утро. С вечера мы все, если можно так выразиться, «принимали ванну» внизу на кухне — все, кроме отца и матери, которые, кажется, вообще никогда не мылись целиком — впрочем, не берусь утверждать. Вставали мы в воскресенье немного позже, чем всегда, облачались в «чистую смену» и «выходное» платье. Люди в те времена навьючивали на себя ужасающее количество всякой одежды, потому что их хилые тела не выдерживали ни холода, ни сырости. Завтракали наспех, кое-как, в предвидении более значительных событий. Потом, поджидая, когда наступит время идти в церковь, мы рассаживались по углам, подальше от греха, стараясь не измять и не выпачкать ненароком платье, и притворялись, что с интересом читаем какую-нибудь из десятка книг, составлявших нашу домашнюю библиотеку. Мать тем временем занималась приготовлением воскресной трапезы, чаще всего жаркого. Моя старшая сестра относила мясо на сковороде к пекарю, что жил через дом от нас, и тот сажал его в духовку, чтобы оно зажарилось, пока мы будем в церкви. Последним вставал отец, появляясь перед нами в непривычном виде: с гладко причесанной на пробор головой, в черном пиджаке, при крахмальном воротничке, манишке и манжетах. Нас почти всегда задерживало какое-нибудь непредвиденное обстоятельство: то у одной из моих сестер обнаруживалась дыра на чулке, то у меня никак не застегивались ботинки и никто не мог найти крючок для застежек, то куда-то исчезал молитвенник. Все это создавало атмосферу лихорадочной суеты. Наступали тревожные мгновения, когда смолкал перезвон церковных колоколов и раздавался монотонный благовест.

— О-ох! Опять мы опоздаем! — приговаривала мать.— Опять опоздаем...

— Ну, мы с Пру пошли,— объявлял отец.

— И я! — подхватывала Фанни.

— Сначала крючок найдешь, мисс разгильдяйка,— останавливала ее мать.— Я-то знаю, что он был у тебя.

Фанни пожимала плечами.

— Не пойму, неужели нельзя завести ботинки на

шнурках, как у всех нормальных детей? — некстати вставлял отец.

Мать, белая как полотно от усталости и спешки, возмущалась:

— На шнурках? Это в его-то годы! Я уж не говорю, что он все шнурки пообрывает...

— А что это там на комоде? — резко перебивала их Фанни.

— Ага! Знала, стало быть!

— Глаза на месте, вот и все.

— Фу ты, ну ты! Ей слово — она десять! Ах ты, дрянная девчонка!

Фанни опять пожимала плечами и отворачивалась к окну. Гнев матери был вызван причиной куда более серьезной, чем затерявшийся крючок. Накануне «мисс разгильдяйка» загулялась дотемна — с точки зрения моей матушки, это был, как вы потом поймете, страшный проступок.

Тяжело дыша, мать с раздражением застегивала мне ботинки, и мы наконец трогались в путь: впереди, ухватившись за руку отца, шествовала Пру; немного поодаль с презрительно-независимым видом шла Фанни, а за ними семенил я, изо всех сил стараясь выдернуть свою ручонку в белой нитяной перчатке из цепких материнских пальцев.

У нас было, как говорили тогда, свое «место» в церкви: длинная скамья с подушечками, перед ней — узкий пюпитр для молитвенников, приделанный к спинке передней скамьи. Мы гуськом пробирались к нашему месту, преклоняли колени и затем поднимались. Теперь мы были готовы к отправлению обряда, именуемого «заутреней».

4

В самом этом обряде опять-таки было немало удивительного. Мы читаем в наших книгах по истории про церкви и богослужения и упрощаем картину, идеализируем ее; мы принимаем все, как выражались тогда, за чистую монету. Мы думаем, что люди до конца понимали странные догматы древних религий и верили в них, что

они веровали бесхитростно и горячо и хранили в сердцах таинственную систему иллюзий и утешений, которую даже теперь стремятся возродить иные из нас. А между тем жизнь всегда сложнее любых изображений или описаний. Человек в те дни был склонен запутывать и усложнять свои же собственные идеи, забывая о главном ради второстепенного, подменяя сознательные действия повторением и привычкой, теряя и предавая забвению первоначальную мысль. За столетия, минувшие с тех пор, жить стало проще, потому что все стало яснее. В старые времена жизнь была усложнена тем, что в нас самих было так мало простоты. Итак, по воскресеньям мы восседали на нашей церковной скамье в привычно-благочестивых позах, не вдумываясь по-настоящему в то, что делаем, не вникая в речи священника, улавливая их смысл скорее чутьем, чем сознанием, а мысли наши текли неторопливо, как вода из дырявого сосуда. Исподтишка мы зорко следили за соседями, прекрасно зная, что и они с таким же вниманием разглядывают нас. Мы вставали с мест, опускались на колени, снова садились, как того требовал церковный ритуал. Я, как сейчас, отчетливо слышу долгий и нестройный шелест, возникавший в церкви, когда молящиеся вразброд поднимались с мест или усаживались на скамьи.

В то утро служба состояла из молитв наших священников — викария и его помощника,— вопросов, чередующихся с ответами прихожан, пения псалмов и церковных гимнов и чтения отрывков из иудейско-христианской библии. Эта пестрая программа завершалась проповедью. За исключением проповеди все богослужение шло в определенной последовательности, заранее намеченной по молитвеннику. Мы перескакивали с одной страницы молитвенника на другую, и какого непомерного умственного напряжения стоило малышу моих лет найти нужное место, особенно когда рядом с ним по одну сторону сидит ревностная матушка, а по другую — сестрица Пру.

Служба начиналась на мрачных нотах и в том же мрачном тоне шла до конца. Все мы были несчастные грешники, преисполненные всяческой скверны, мы кротко недоумевали, отчего наше божество не применяет по

отношению к нам самых жестоких мер. Одна из частей богослужения называлась литанией; в ней священник долго и с чувством перечислял все бедствия, какие только могут быть уготованы роду человеческому: войны, мор, голод,— а паства то и дело прерывала его восклицанием «Господи, помилуй!», хотя естественно было бы предполагать, что все эти проблемы скорее входят в компетенцию наших международных организаций и учреждений по здравоохранению и питанию, чем в компетенцию всевышнего. Затем священник, совершающий богослужение, переходил к молитвам за королеву и правителей, за урожай, за еретиков, за обездоленных и странников, находившихся, насколько я мог понять, в крайне бедственном положении из-за преступной нерадивости святого провидения. Молящиеся поддерживали старания своего пастыря возгласами: «Господи, услыши нас!» Гимны были весьма различны по качеству и чаще всего представляли собою безудержные восхваления творца, изобиловали ложными рифмами и грубыми ошибками в размере. Мы без тени иронии благодарили всевышнего за дарованные нам «блага», хотя, разумеется, всемогущий господь вполне мог бы избавить нас от обязанности приносить ему благодарность за убогое зеленное «дело» в Черри-гарденс, за труды и волнения матери и заботы отца.

В сущности же, вся служба сводилась к тому, чтобы под прикрытием льстивых похвал обожаемому боженьке огульно свалить на него вину за все людские невзгоды и снять с человечества какую бы то ни было ответственность за все неурядицы и несчастья на свете. И так одно воскресенье за другим по всей стране, почти по всему миру с песнопениями и гимнами, молебствиями и проповедями юным прихожанам вбивали в головы, что человек беспомощен и ничтожен, что он лишь жалкая игрушка в руках своенравного, капризного, тщеславного и неодолимого божества. Мысль эта проникала в сознание сквозь защитную броню рассеянности и невнимания, которой мы инстинктивно ограждали себя от церковной службы. Этот поток внушений заслонял от нас солнце жизни, мешал видеть удивительное и чудесное, отнимал у нас дух смелости. Но так чужда человеческому сердцу была эта доктрина само-

уничижения, что прихожане, сидевшие рядами на своих скамьях, большей частью выполняли все, что от них требовалось, машинально: вставали, опускались на колени, хором вторили пастырю, пели,— а мысли их были заняты тысячами разных разностей, куда более близких и интересных. Они рассматривали соседей, обдумывали свои дела, строили планы развлечений и предавались мечтам.

Порою,— правда, не всякий раз — в службу были вкраплены куски другого обряда, который назывался святым причастием и представлял собой не что иное, как остаточную и стертую форму католической мессы, всем нам знакомой по книгам. В то время, девятнадцать столетий спустя после возникновения христианства, христианский мир все еще тщился избавиться от наваждения мистической и кровавой жертвы, забыть предание об убиении богочеловека, древнее, как первобытная мотыга, как первые человеческие поселения. Англиканская церковь была в такой мере продуктом одновременно компромисса и традиции, что в двух ее храмах, действовавших в Черри-гарденс, подход к причастию был диаметрально противоположным. В новой и пышной церкви св. Иуды его значение непомерно раздувалось, его называли мессой; стол, за которым оно происходило, именовался алтарем; преподобного мистера Снейпса величали святым отцом и вообще всячески придерживались древнего, языческого толкования. В маленьком старом храме св. Озиса священника называли пастором, алтарь — столом господним, а причастие — господней вечерей, категорически отрицали ее мистическое значение и свели ее к простой формальности, соблюдаемой в память о житии и смерти учителя. Давний разлад между ветхими церковными обрядами и новой жизнью, открывшей человечеству три или четыре столетия назад путь к умственной и духовной свободе, был совершенно недоступен пониманию бедного мальчугана, который то ерзал, то «вел себя прилично» на семейной скамье. В моем младенческом представлении святое причастие означало лишь одно: что церковная скука затянется дольше обычного. В те дни я наивно верил в чудодейственную силу молитв и, не задумываясь о греховном значении такой просьбы, истово

шептал вслед за вступительными фразами заутренней службы: «Дай боже, чтобы причастия не было. Дай боже, чтобы причастия не было».

Начиналась проповедь — собственное творение преподобного мистера Снейпса и вместе с тем единственное во всей службе место, которое не было установлено и предписано заранее, повторено уже тысячу раз.

Мистер Снейпс был моложавый, розовощекий мужчина с розово-рыжими волосами, елейным голосом и блаженно-самодовольным выражением пухлого, гладко выбритого лица, мелкие черты которого напоминали уютную семейку шампиньонов. Переворачивая страницы своей рукописи, он имел обыкновение откидывать просторный белый рукав стихаря, картинно воздевая свою белую длань, чем всякий раз вызывал во мне прилив отвращения, жгучего и необъяснимого, какое испытываешь только в детстве. Я напряженно ждал этого жеста и весь передергивался, когда видел его.

Проповеди были так малодоступны моему пониманию, что я не могу сейчас даже сказать, о чем в них говорилось. Толковал мистер Снейпс о таких материях, как «благодать святого причащения» и «предания святых отцов», рассуждал о каких-то «пиршествах церковных», хотя единственным намеком на пир в церкви было разве что блюдо для подаяний. Особенно носился он с пришествием, богоявлением и троицыным днем и, переходя от этих тем к современности, всегда пользовался одной и той же заученной фразой: «И у нас с вами, возлюбленные братья и сестры, в нынешние дни тоже есть свои пришествия и свои богоявления». И он начинал рассказывать о предполагаемом посещении Лоуклифа королем Эдуардом или недавних дебатах, посвященных епископу Натальскому или епископу Занзибарскому. Вы не представляете себе, как далеки были эти рассуждения от всего, что могло иметь хоть малейшее отношение к нашей повседневной жизни...

Но вот внезапно, когда мальчуган на скамье уже терял последнюю надежду, что этот плавный голос когда-нибудь умолкнет, наступала короткая пауза и раздавались благословенные слова избавления:

— А теперь во имя отца и сына...

Все! Наконец-то! Церковь приходила в движение. Мы встряхивались, мы вставали с мест. Потом снова опускались на колени, застывали на мгновение в молитвенной позе, торопливо расхватывали шляпы, пальто, зонтики, и вот мы на свежем воздухе! Согласный топот ног по тротуару, толпа тает, разбредается, кто в одну сторону, кто в другую, чопорные поклоны знакомым, Пру бежит к пекарю за воскресным обедом, а мы — прямо домой.

Обыкновенно из-под праздничного жаркого аппетитно выглядывали смуглые картофелины, а на третье иной раз подавали фруктовый торт. Весной появлялся ревень. У нас считалось, что он особенно полезен мне, и меня всегда заставляли съедать гигантские порции ревеневого пирога, а я его терпеть не мог.

После обеда — либо воскресная школа, либо «детская служба». Втроем, на этот раз уже без родительского надзора, мы брели к зданию школы или снова в церковь, чтобы совершенствовать свои познания в тонкостях нашей веры. В воскресной школе нас ждали малообразованные, неподготовленные люди: волосатый глухой старик по имени Спендилоу и другие; по будням один из них был продавцом в магазине, другой — клерком с аукциона... Нас собирали в классах и начинали разглагольствовать о сомнительном житье-бытье и деяниях короля израильского Давида, об Аврааме, Исааке и Иакове, о неблаговидном поведении царицы Иезавели и тому подобных материях. Пели мы в унисон несложные гимны. Иногда наши наставники говорили о творце вселенной, но не понимали, в сущности, о чем говорят; они рассказывали о нем, как о ловком фокуснике, который проделывал чудеса и мог устроить человеку побег из могилы. Так, по их словам, были спасены и мы, вопреки очевидному факту, что ни о каком спасении, применительно к нам, не могло быть и речи. Учение Христа, как вы знаете, было две тысячи лет погребено под этими россказнями о чудесах и воскресении из мертвых. Он был светоч, сиявший во тьме, но тьма не ведала того. О великих истоках жизни, о ее прошлом, о происхождении рода человеческого и постепенном познании мира, о страхах, о темных суевериях и первых лучах торжествующей правды, обуздании и

возвышении человеческих страстей век от века, о богоравном труде исследователя и чуде открытия, о неразбуженной красоте наших тел и чувств — обо всем этом даже речи не было. Не говорили с нами о близких опасностях и дальних горизонтах, к которым ощупью, трагически оступаясь, но озаренные яркими зарницами надежд, свершали в те дни свой путь сыны и дочери все более многочисленного рода человеческого. Мы даже не слыхали о том, что на свете существует человечество с единой душою и в конечном счете единой судьбой. Они бы в ужас пришли, эти наши учителя, если б услышали, что в воскресной школе ведутся подобные речи. Они сочли бы это верхом неприличия.

— И заметьте,— сказал Сарнак,— лучшего способа подготовить ребенка к вступлению в жизнь тогда не существовало. Старенькую церквушку — храм св. Озиса — держал в руках преподобный Томас Бендертон, который разогнал свою и без того немногочисленную паству, угрожая ей в громоподобных проповедях всеми муками ада. Моя матушка, напуганная постоянными разговорами о дьяволе, сбежала от него в церковь св. Иуды. Излюбленной темой его проповедей был грех идолопоклонства. Рассуждая об этом предмете, он никогда не забывал с особым чувством упомянуть рясу, в которую облачался мистер Снейпс, отправляя обряд святого причащения, а также какие-то непонятные манипуляции, которые наш пастырь проделывал на святом престоле над хлебцами и каплями вина.

Что творили и чему учили в своих молитвенных домах, храмах и воскресных школах конгрегационалисты и методисты, я не слишком себе представлял, потому что моя мать лишилась бы чувств от суеверного ужаса, если б я хоть раз осмелился близко подойти к месту их собраний. Однако я знал, что их богослужение не что иное, как упрощенный вариант нашего, но в нем еще реже вспоминают о причастии и еще чаще — о дьяволе. Впрочем, мне было доподлинно известно, что методисты особенно упирают на то, что большая часть человечества, покончив с лишениями и несчастьями мира сего, осуждена на вечные и изощренные муки в аду. Узнал я об этом от юного методиста, мальчугана чуть постарше меня, который поделился со мною своими

опасениями, когда мы однажды пошли прогуляться в Клифстоун.

Методист сопел носом, сутулился и был обмотан длинным белым шерстяным кашне — подобную фигуру уж сотни лет не встретишь на земле. Мы шли вдоль бульвара, протянувшегося по краю обрыва, мимо эстрады для оркестра, мимо людей, небрежно развалившихся в шезлонгах. Вдали, за густой толпой гуляющих, разодетых в нелепые праздничные наряды, виднелись мертвенно-серые ряды жилых домов. Здесь мой спутник и начал давать свои показания:

— Мистер Моулсли, он, знаешь, что говорит? День страшного суда, говорит, может наступить с минуты на минуту. Мы еще до того края поля не дойдем, а уж он тут как тут. Придет во пламени и сиянии. И всех этих людей начнут судить...

— Прямо как они есть?

— Да, прямо как есть. Вот ту тетку с собачкой и того жирного — вон, видишь, спит в плетеном кресле, и... и полисмена.

Он запнулся, немного оторопев от собственной дерзости в истолковании древнеиудейского пророчества.

— И полисмена,— повторил он.— На одну чашу положат добрые дела, на другую — злые, а потом явятся черти и будут пытать грешников. И того полисмена. Будут его жечь и резать на куски. И всех так. Ух, и страшно будут пытать...

В таких подробностях доктрины христианства мне излагались впервые. Меня обуял страх.

— А я спрячусь,— объявил я.

— Бог тебя все равно увидит,— убежденно произнес мой маленький приятель.— Увидит и скажет чертям. Он и сейчас видит, какие у кого грешные мысли...

— И люди в самом деле верили в такой вздор? — воскликнула Санрей.

— Так же, как и во все прочее,— сказал Сарнак.— Это звучит дико, согласен, но именно так обстояло дело. Вы отдаете себе отчет, как проповедь подобных учений калечила, уродовала мозг, созревающий в хилом, зараженном болезнями теле?

— Наверное, все-таки мало кто верил в такую явную чепуху, как эта сказка про ад,— заметил Рейдиант.

— Больше, чем ты думаешь. Немногими, разумеется, эта идея долго владела с такой силой — люди просто сошли бы с ума,— но где-то в глубине сознания она жила у многих. А другие... Отношение большинства людей к басне о том, как устроен мир, можно было назвать пассивным неприятием. Они не отрицали ее, но отказывались связать эту идею с общим строем своих мыслей. То было своеобразное омертвение ткани, неживой рубец именно там, где должно было бы возникнуть понимание судеб человечества, видение жизни за рамками жизни отдельного человека.

Мне трудно описать вам состояние ума, которое складывалось у нас по мере того, как мы взрослели. Что-то в юном сознании было надломлено церковными догмами, мозг был уже неспособен созреть и стать полноценным, гибло какое-то зерно, которое могло бы дать ростки. Возможно, мы и не усваивали по-настоящему такую, выражаясь твоими словами, явную чепуху, как эта сказка про ад, и не верили ей, но вред, нанесенный ею нашему сознанию, очевиден: мы росли без живой веры, без цели. Ядром нашего религиозного «я» был этот затаенный страх ада. Мало кто из нас решался вытащить его на свет божий и разобраться в нем трезво и прямо. Затрагивать подобные темы считалось признаком дурного тона, да и вообще не принято было серьезно обсуждать самые основные проблемы жизни, говорить вслух о вере или неверии. Можно было уклончиво намекать. Или шутить. Большинство серьезнейших достижений было сделано под спасительным прикрытием шутки.

В умственном отношении мир, окружавший Мортимера Смита, был заблудившимся миром. Он рыскал, тычась носом туда и сюда, как пес, который сбился со следа. Да, люди того времени имели много общего с нынешними людьми в смысле своих возможностей, но они были нездоровы умственно и физически, сбиты с толку и растеряны. Нам, вышедшим из этой тьмы на свет, идущим по прямой и ясной дороге, кажется почти непостижимым этот душевный сумбур, эта путаница и

непоследовательность в мыслях и поведении. Нам не с чем сравнить подобное состояние ума: ничего похожего на него в нашем мире не сохранилось.

5

Я, кажется, уже упоминал о том, что вселенную моего детства с севера замыкала гряда холмов. Задолго до того как мне удалось в первый раз вскарабкаться на них, я уже начал мечтать и строить догадки о том, что скрывается по ту сторону. Летом за северо-западным краем гряды садилось солнце и за холмами полыхало слепящее золотое зарево, а я, помнится, вообразил, будто там как раз и помещается пресловутый страшный суд и то самое царствие небесное, в которое нас когда-нибудь, разумеется, торжественной процессией и с хоругвями поведет наш мистер Снейпс.

Первое восхождение на этот рубеж я совершил лет, должно быть, восьми. С кем и как я туда добирался, я забыл, но зато мне запомнилось чувство острого разочарования, когда я увидел на той стороне длинный и очень пологий склон, а внизу — поля, живые изгороди, стада крупных овец, пасущихся на лугах, и больше ничего! Что я ожидал увидеть, право, не помню. В тот раз я, вероятно, ничего не успел разглядеть, кроме того, что было на переднем плане, и только после многих таких вылазок стал замечать разнообразие ландшафта, простиравшегося далеко на север. А отсюда, и правда, открывались бескрайние дали! В ясные дни видны были голубые холмы миль за двадцать, леса и парки, коричневые борозды пашен, превращавшиеся летом в золотистые нивы, деревенские церквушки, окруженные густой зеленью, зеркальный блеск прудов и озер. А с южной стороны, чем выше мы взбирались на холмы, тем дальше уходил горизонт, тем шире становилась полоса моря. Обратил мое внимание на эту странность мой отец, когда впервые взял меня с собой на ту сторону.

— Как высоко ни заберешься, Гарри, сынок,— сказал отец,— туда же и море за тобой. Вот оно, глянь-ка, вровень с нами, а ведь мы вон насколько поднялись над Черри-гарденс. И все равно ему Черри-гарденс никогда

не затопить. А почему, Гарри? Почему море не затопит Черри-гарденс, хотя свободно могло бы? Ну-ка, скажи!

Я не знал.

— Провидение! — с торжеством произнес отец.— Все оно. Провидение его держит. Не пускает море дальше той черты. А во-он там, гляди, до чего явственно,— там Франция.

И я смотрел на Францию, которую действительно было видно на редкость ясно.

— Вот и Франция, скажем: то ты ее видишь, а то нет,— продолжал отец.— В этом тоже урок есть, сыночек, для того, кто хочет понять, что к чему.

По воскресным дням, будь то летом или зимою, отец имел обыкновение сразу после чая совершать прогулку напрямик через холмы, за шесть с лишним миль от нашего дома, в Чессинг Хенгер. Я знал, что он ходит проведать дядюшку Джона, брата моей матери — дядю Джона Джулипа, который служил садовником у лорда Брэмбла, владельца чессингхенгерского парка. Но лишь когда отец стал брать меня с собой, я начал догадываться, что движет им не только родственное (со стороны жены) чувство или потребность в моционе, естественная для лавочника, который вынужден по целым дням сидеть в четырех стенах. С первой же совместной прогулки я понял, что разгадка этих походов кроется в тех благах земных, с которыми мы возвращались в Черри-гарденс. В уютном домике садовника нас неизменно поджидали с ужином, и так же неизменно, собираясь в обратный путь, мы прихватывали с собою скромно упакованную и необременительную ношу: цветы, фрукты или овощи — сельдерей, горох, баклажаны, грибы — словом, всякую всячину, и возвращались в свою лавочку в сумерках или при лунном свете, порой в полной темноте, а иногда под моросящим дождем — как придется, смотря по погоде и времени года. Дорогой отец молчал или негромко насвистывал, или, сочетая приятное с полезным, ораторствовал о чудесах природы, красотах добродетели и благодеяниях, которыми осыпает человека провидение. Так, однажды лунной ночью он пустился в рассуждения о луне.

— Погляди-ка, Гарри, сынок,— говорил отец.— Видишь,— вымерший мир. Словно бы череп торчит навер-

ху, лишенный всего живого, то есть, как бы сказать, своей души. Безволосый, безусый — ни тебе деревьев, ничего — голый и мертвый на веки вечные. Сухой, как кость. И всех, кто там жил, тоже нет. Прах и пепел. Никого.

— А куда они делись, па?

— Предстали перед страшным судом,— высокопарно ответствовал мой родитель.— Все до одного: короли, зеленщики — всех судили, всех разделили на агнцев и козлищ, и каждому уготовано либо небесное блаженство, либо муки ада, соразмерно содеянному злу. Так-то, Гарри. На одну чашу — грехи, на другую — добрые дела.— Долгая пауза.— А жаль.

— Чего жаль, па?

— Что все кончено. Неплохо бы взглянуть наверх и увидеть, как они себе там бегают. Все-таки веселей. Но пути господни неисповедимы, не нам подвергать их сомнению. Тогда мы, думается, зевали бы все время на луну, а сами только спотыкались бы и разбивали себе носы... Увидишь что-нибудь на свете, Гарри, и думаешь, что не так устроено, как надо, а пораскинешь мозгами и поймешь, что тебе умней не придумать. Провидение, оно знает, что к чему. Нам с тобой его не раскусить. И не прижимай так сильно груши к боку, сынок, это «вильямс» — нежный сорт, они этого не любят...

Весьма свободно толковал отец и о любопытных привычках животных, о повадках перелетных птиц.

— Нам с тобой, Гарри, освещает дорогу разум. Для того и дан человеку здравый рассудок. А звери, птицы, черви там разные, у них главное в жизни — *инстинк*. Они если что-нибудь делают, то просто чуют — надо, мол, и точка. Отчего, скажем, кит — в море, а птица — в небе? Опять-таки он, инстинк. А человека ноги несут, куда повелел разум. Зверя не спросишь: «Почему ты так поступил, а не эдак?» Дашь ему пинка, и все тут. А человека спросишь, и он тебе должен ответить, на то он разумное существо. Потому и тюрьмы у нас заведены и наказания, потому что мы ответчики за свои грехи, Гарри. За любой грех с нас спросится, большой или маленький, все равно отвечай. А зверь — с него что спросишь? Он невинная тварь. Дашь ему, и все, или так отпустишь...— Отец помолчал.— Кроме собак и иногда ко-

тов, старых.— Он снова углубился в свои воспоминания.— Я знавал таких котов, Гарри, сынок; истинно — грешники.

И он пускался в пространные рассуждения о чудесных свойствах инстинкта.

Он рассказывал о том, как ласточки, скворцы, аисты по велению инстинкта совершают перелеты за тысячи миль, тонут в пути, разбиваются о маяки, гибнут и все-таки летят.

— Иначе они бы все перемерзли на старом месте, Гарри. Или померли бы с голоду,— объяснял отец.

Благодаря инстинкту, говорил он, каждая птица знает, какое ей вить гнездо, хотя ее никто этому не учил, никто никогда не показывал. Инстинкт заставляет кенгуру носить своих детенышей в сумке, человек же, существо разумное, мастерит себе детскую коляску. Цыплята, едва успев вылупиться из яйца, тут же (и это опять-таки инстинкт) разбегаются врассыпную, не то что дети, которых приходится носить на руках и нянчить, пока они не войдут в разум. И подумать только, до чего это кстати цыплятам!

— А то как бы курице их всех носить, ума не приложу!

Помнится, я однажды задал отцу трудную задачу, спросив, отчего провидение не удосужилось придумать такой инстинкт, который не давал бы птице разбиваться о маяк, а мотыльку — лететь на пламя свечи или газового рожка. А то летними вечерами читать в комнате наверху просто противно, потому что на страницы так и сыплются дождем опаленные трупики мошек и ночных бабочек.

— Это задумано, чтобы послужить им уроком,— поразмыслив, ответил отец. — Вот только каким уроком, Гарри, сынок, я точно не знаю.

Рассуждал он и на другие темы: о краденом добре, которое никогда не пойдет впрок, об убийствах — их тогда еще много случалось на свете,— внушая мне, что убийство, «как ты его ни прячь», все равно всплывет наружу. В подтверждение своих слов он приводил назидательные примеры. И непременно — к месту и не к месту — не упускал случая самым искренним и лестным образом подчеркнуть кротость, милосердие, мудрость,

предусмотрительность, изобретательность и благость провидения.

Вот какими возвышенными беседами мы скрашивали утомительно длинные переходы от Черри-гарденс в Чессинг Хенгер и обратно. Отцовские речи дышали неизменным пафосом, и поэтому я пережил настоящее потрясение, обнаружив, что каждый воскресный вечер мы, попросту говоря, занимались воровством, сбывая товар, краденный с угодий лорда Брэмбла... Больше того, не будь этих еженедельных вылазок, я вообще не представляю себе, как мы стали бы сводить концы с концами. Наше скромное хозяйство в Черри-гарденс главным образом и велось на те деньги, что отец получал в виде своей доли дохода от этих махинаций. Когда «улов» состоял из особо изысканных и дорогих продуктов, на которые в Черри-гарденс спроса не было, отец относил их в Клифстоун и продавал своему приятелю, владельцу шикарного зеленного магазина.

Сарнак помолчал.

— Продолжай, пожалуйста,— попросил его Рейдиант.— Ты и нас заставил поверить в эту историю. Она все больше звучит так, будто все это случилось с тобою в самом деле. Все так подробно и обстоятельно. Между прочим, кто был лорд Брэмбл? Меня всегда занимали эти лорды.

6

— Давайте, я лучше буду рассказывать по-своему,— сказал Сарнак.— Я собьюсь, если начну вам отвечать. Вам уже не терпится закидать меня вопросами о каких-то подробностях, упомянутых вскользь, привычных и знакомых мне и непонятных вам, оттого что в нашем мире они забыты. Стоит мне только вам уступить, как вы шаг за шагом уведете меня все дальше от моего отца и от дядюшки Джулипа. И тогда это будет уже просто отвлеченный разговор о привычках и обычаях людей, о философии и истории. А я хочу рассказать вам *свою* историю.

— Рассказывай свою,— сказала Санрей.

— Так вот. Этот мой дядюшка, Джон Джулип, хоть и приходился моей матери родным братом, был человек

циничеокий и самонадеянный. Ростом он не вышел, зато не всякий садовник мог бы похвастаться таким дородством. Лицо у него было гладкое, белое, с многозначительной, самодовольной усмешкой. Первое время я видел его только по воскресеньям, в белой рубашке и широкополой соломенной шляпе. Не было случая, чтобы при виде меня дядя не отпустил двух-трех пренебрежительных замечаний насчет моей тщедушной комплекции и того, какой отвратительный воздух у нас в Черри-гарденс. Его жена состояла в какой-то религиозной секте и в церковь ходила лишь по принуждению. Она была тоже бледна, отличалась слабым здоровьем и постоянно жаловалась на разные боли. Дядя Джон Джулип, однако, пропускал ее жалобы мимо ушей. Он заявлял, что у его жены болит не в тех местах, где положено. Одно дело, когда у человека болит живот или голова, когда у него изжога или газы. А если болит ни тут, ни там, а неизвестно где, стало быть, это одно воображение, и, значит, на его сочувствие жене рассчитывать не приходится.

Когда мне было уже почти тринадцать лет, отец с дядюшкой стали сговариваться о том, чтобы отдать меня в Чессингхенгерское имение младшим садовником. Мне самому эта затея никак не улыбалась: во-первых, я недолюбливал дядюшку, а кроме того, садовые работы — прополка, вскапывание гряд и прочее — казались мне чрезвычайно скучным и утомительным занятием. Я уже пристрастился к книгам, мне нравилось изучать языки, я частично унаследовал отцовский дар красноречия и успел получить в школе специальную награду за сочинение. Все это пробудило в моей душе безрассудное желание: писать! Писать для газет, а может быть, даже писать книги... В Клифстоуне была так называемая публичная библиотека, к которой имели доступ домовладельцы, а брать книги могли и члены семьи, так что во время каникул я, бывало, чуть ли не ежедневно бегал менять книги, а в Чессинг Хенгере книг не было вообще. Фанни поощряла мое увлечение книгами — она и сама зачитывалась романами — и к идее сделать из меня садовника отнеслась так же враждебно, как и я.

Надо вам сказать, что в те дни никто не пытался выявить природные склонности ребенка: считалось, что че-

ловек должен с радостью хвататься за любую возможность «заработать на жизнь». Родители были рады-радешеньки пристроить детей на любое место, какое подвернется, и люди чаще всего работали отнюдь не по призванию: занимались делом, которое не давало им развернуться, применить свои способности и в большинстве случаев отупляло и калечило их. Уже одно это вносило в жизнь смутное недовольство; стесняло, давило, ограничивало человека, угнетало его, лишая возможности стать по-настоящему счастливым. Почти каждому подростку, будь то мальчик или девочка, суждено было пережить горечь внезапной разлуки со свободой, когда его впрягали в постылую и нудную кабалу, из которой так трудно было вырваться. То же случилось и со мной. Наступили летние каникулы, но теперь я уж не мог, как прежде, играть все дни напролет и глотать одну за другой книжки из Клифстоунской библиотеки. Мне было велено отправиться на ту сторону холмов к дяде Джону Джулипу, «чтобы посмотреть, как у тебя с ним пойдет дело». До сих пор помню, с каким жгучим отвращением тащился я со своим чемоданчиком на холмы, через перевал и вниз к Чессинг Хенгеру — как жертва на заклание...

Теперь о лордах, Рейдиант. Лорд Брэмбл принадлежал к той самой земельной знати, которая занимала столь важное положение при ганноверской династии, вплоть до эпохи доброй королевы Виктории. Во владении лордов находились огромные участки английской земли, и они имели право распоряжаться этой землею, как им заблагорассудится. В дни доброй королевы Виктории и ее непосредственных предшественников с этими землевладельцами, которые заседали в палате лордов и правили Британской империей, вступили в борьбу за власть новые люди — промышленники и землевладельцы проиграли эту борьбу. Промышленником назывался человек, который ради личной выгоды нанимал на свои предприятия — металлообрабатывающие и сталелитейные, хлопко- и шерстепрядильные, пивоваренные и судостроительные — миллионы людей, заставляя их работать на себя. Но и промышленникам, в свою очередь, пришлось уступить место новому типу дельцов — тем, кто изобрел рекламу, кто сделал газету

орудием политиков и финансистов и создал систему кредита. Старой земельной аристократии не оставалось ничего другого, как либо подладиться к хозяевам положения, либо уйти со сцены.

Лорд Брэмбл был одним из тех, кого оттеснили,— озлобленный, старомодный, обедневший дворянин. Он по горло погряз в долгах. Его имения раскинулись на многие квадратные мили, ему принадлежали фермы и леса, парк площадью в две квадратные мили и белый замок, огромный, неуютный и непомерно обременительный для тощего кошелька его владельца. Парк был запущен до крайности: группы старых деревьев, трухлявых и пораженных древесной губкой, густые заросли чертополоха и крапивы и несметное множество кроликов и кротов. Молодых деревьев не было вовсе. Ветхие калитки и заборы едва успевали чинить, аллеи заросли травой. Зато чуть ли не на каждом шагу торчали знаки «Проезд закрыт» и дощечки с грозными предупреждениями о том, что посторонним сюда ходить запрещено, а нарушители караются штрафом. Ибо не было привилегии любезнее сердцу английского лендлорда, чем право мешать простым людям свободно ходить по земле, и наш лорд Брэмбл ревностно охранял границы своих запущенных владений. Так в живописном запустении пропадали в Англии тех времен огромные участки плодородной земли.

— В этих местах тогда охотились,— сказал Рейдиант.

— Откуда ты знаешь?

— Я видел такую картину. Охотники становились цепочкой где-нибудь на опушке рыжей осенней рощицы с еле слышным запахом гниющей листвы в чуть влажном воздухе и стреляли дробью птиц.

— Совершенно верно, чаще всего фазанов. А пугали птицу и гнали ее на охотников загонщики — мне самому не раз навязывали эту роль. В Чессинг Хенгер то и дело наезжали такие компании, и тогда охота шла день за днем. Проделывалось все это с потрясающей торжественностью...

— А зачем? — спросила Уиллоу.

— Да, действительно,— подхватил Рейдиант.— Зачем им это было нужно?

— Понятия не имею,— признался Сарнак.— Я знаю одно: в определенное время года подавляющее большинство английских джентльменов — тех самых, кого принято было считать вождями и разумом нации, чье назначение в жизни было вершить судьбы страны и печься о ее будущем — отправлялись с ружьями в леса или на болота и занимались там кровавым умерщвлением птиц всевозможных пород. Птиц разводили специально и тратили на это большие деньги. Роль распорядителей на этом побоище играли лесничие. Они выстраивали любителей благородного спорта рядами, и те оглашали окрестность звуками ружейной пальбы. Высокородные сыны Англии подходили к участию в этом национальном обряде с должной ответственностью и палили со знанием дела. Люди, принадлежавшие к этому классу, воистину находились на той грани полного маразма, когда грохот ружейного выстрела и вид падающей замертво птицы способны служить неиссякаемым источником удовольствия. Это занятие не надоедало им никогда... Существенная роль в создании комплекса высоких ощущений, по-видимому, принадлежала вышеупомянутому грохоту ружейного выстрела. Просто убить было еще не все — иначе отчего бы спортсменам не отправиться на бойню помогать мясникам резать овец, быков и свиней? Но нет, таким видом спорта они предоставляли заниматься людям низших классов. Вся соль заключалась именно в том, чтобы подстрелить птицу на лету!

Время, свободное от истребления фазанов или куропаток, лорд Брэмбл проводил на юге Франции, расстреливая выпущенных из силков и ничего не подозревающих голубей с подрезанными крыльями. А не то он занимался охотой на зверя — только не настоящей охотой на дикого зверя, не честным единоборством с медведем, тигром или слоном в чаще джунглей, а травлей лисиц — рыжих и вонючих зверьков величиной со спаниеля, старательно охраняемых от вымирания специально для такой охоты. На лисицу выезжали верхом со сворой охотничьих собак и гнали зверя прямо по вспаханным полям. Ради такого случая лорд Брэмбл всегда наряжался с сугубой тщательностью: в алую куртку и бриджи из свиной кожи. Остальное свое время этот достойный муж посвящал карточной игре, именуемой

бриджем,— игре столь убогой и механической, что сегодня всякий, едва взглянув на карты, мог бы точно оценить возможности и предсказать исход партии. Каждому из четырех игроков сдавалось по тринадцать карт. Однако для лорда Брэмбла, который так и не выучился считать как следует даже в пределах тринадцати, эта игра была полна потрясающих неожиданностей и захватывающих переживаний. Изрядную часть своей жизни он тратил на посещение ипподрома: в те дни принято было устраивать скачки, в которых участвовали тонконогие изнеженные скакуны особых пород. На скачки лорд Брэмбл одевался не менее обдуманно. В иллюстрированных журналах из нашей публичной библиотеки мне частенько попадались на глаза фотографии лорда Брэмбла в обтянутой шелком шляпе (да, да, цилиндр, он самый), лихо сдвинутой набекрень: «Лорд Брэмбл на ипподроме» или «Лорд Брэмбл с дамой». Скачки! Шутка сказать: тонкие знатоки, крупные ставки... За обеденным столом его светлость вел себя сравнительно благоразумно и грешил разве что некоторым излишним пристрастием к портвейну. В те времена еще курили табак, и лорд Брэмбл имел обыкновение выкуривать три-четыре сигары в день. Трубку он считал утехой простолюдина, а папиросы — дамской забавой. Читать он мог лишь газеты, но не книги, потому что был неспособен надолго сосредоточить свое внимание на одном предмете. Обед в городе обычно завершался посещением театра или мюзик-холла, где можно было насладиться созерцанием более или менее обнаженных женских тел. Стиль женской одежды того времени возбуждал в людях, подобных лорду Брэмблу, стыдливое и безудержное влечение к наготе. Естественная красота человеческого тела считалась чем-то потаенным и секретным, и добрая половина картин и прочих произведений искусств, украшавших Чессингхенгерский замок, представляла собою соблазнительные вариации на одну и ту же запретную тему.

В той моей прошлой жизни я не видел ничего предосудительного в привычках и занятиях лорда Брэмбла, но теперь, воскрешая в памяти его и ему подобных, я начинаю понимать, как они были чудовищно нелепы, эти убийцы перепуганных птиц, покровители лошадей и жокеев, эти тайные обожатели дамских ножек и спин.

Женщины «из общества» поощряли кровавые забавы своих мужчин, называли их лошадей: «Ах ты моя душка!»,— держали крохотных комнатных собачек-уродцев и при случае не отказывали мужчинам в удовольствии украдкой полюбоваться их прелестями.

Да, таков был в старину стиль аристократического общества. Эти люди задавали тон: считалось, что именно они живут мужественной, полнокровной и здоровой жизнью. Ими искренне восхищались, им по мере возможности подражали. Пусть фермеру-арендатору была недоступна охота на фазанов: разве он не мог стрелять кроликов? И если ему было не по карману проигрывать по двадцать фунтов в один заезд на фешенебельном ипподроме в Гудвуде, кто мог помешать ему, заломив шляпу на самый глаз (чем тебе не лорд Брэмбл или даже сам король Эдуард!), поставить полкроны на своего фаворита в Байфорд Даунс под Клифстоуном?

Сколько людей рабски подчиняли весь строй своей жизни привычкам и обычаям этой верхушки! Взять хотя бы моего дядюшку Джона Джулипа. У него и отец и дед были садовники, а почти вся родня по женской линии — всякие тетки и двоюродные сестры — шли, как было принято выражаться, «в услужение». Никто из прислуги, обитавшей в «людских» помещениях Чессинг-хенгерского замка, не вел себя естественно и просто: каждый более или менее правдоподобно подражал какой-нибудь знатной персоне. Один матерый светский лев, некто сэр Джон Ффренч-Катбертсон, был идеалом моего дяди. Джон Джулип старался походить на него во всем, начиная с фасона шляп и кончая манерой держаться.

Подражая своему кумиру, он азартно играл на скачках, но везло ему куда меньше. Тетушка сердилась, утешаясь, однако, тем, что по одежде и обхождению ее супруг — вылитый сэр Джон.

— Ему бы родиться джентльменом,— говаривала тетушка.— То-то бы славно! Человек — прирожденный спортсмен, он просто весь извелся в саду да на огороде.

Извелся? Во всяком случае, не от работы! Я что-то ни разу не видел, чтобы он копался в земле, перетаскивал навоз или катил тачку. Память рисует мне другую

картину: дядюшка стоит в саду, одной рукой поигрывает, как хлыстом, мотыжкой под полою куртки, а другой жестикулирует, указывая, что надо сделать.

В нашем присутствии он всегда напускал на себя самый аристократический вид и важничал ужасно. И это при том, что отец был раза в полтора выше его ростом и гораздо умнее и образованнее его. Называл его дядя не иначе как «Смит».

Отец же, втайне разделяя общее убеждение, что из дядюшки при более счастливом стечении обстоятельств вышел бы заправский джентльмен, но стараясь, как он выражался, «соблюсти свой престиж», всегда называл его по имени: «Джон».

— Как думаешь поступить с мальцем, Смит? — спросит, бывало, дядя Джон Джулип.— Вроде бы не мешало подкормить и проветрить на свежем воздухе, а?

— По правде сказать, толком еще не решил, Джон,— отвечал отец.— Такой нынче книгочей стал — просто беда. Что ты ему ни толкуй, знай себе читает.

— *Книжки!*— Надо было слышать, сколько истинно английского презрения к книгам было вложено в это слово! — Из книжек вычитаешь не больше, чем в них написано. Уж это как пить дать. Все оно сперва в землице взошло, про что в книжках-то пишут. Его светлость как раз вчера только за обедом говорил: книга, говорит, в лучшем случае,— засушенный цветок...

На отца эта мысль произвела сильное впечатление.

— Вот и я ему внушаю то самое,— отозвался он, хотя нельзя сказать, чтобы это очень соответствовало фактам.

— А потом, если вещь стоящая, так кто ж это тебе про нее станет писать? — рассуждал дядя.— Все равно как бы знающий человек на скачках взял да и выложил, что самому пригодится. Как бы не так!

— Наверняка в книжках его хваленых добрая половина вранья,— поддакивал отец. — Плётут тебе чушь и над тобой же смеются. Но все же, Джон,— спохватывался он, прерывая свои рассуждения и внезапно сбиваясь на благочестивый тон,— есть на свете одна книга...

Это означало, что он вспомнил о библии.

— Я не про то, Смит,— недовольно останавливал его дядя.—«Довлеет дневи...» Словом, то — дело воскресное.

Свой испытательный срок в чессингхенгерских угодьях я отбывал с ненавистью. Раза два за этот тягостный месяц мне поручали сбегать в замок на кухню, а однажды послали в кладовую. Там и случилось мне сболтнуть нечто такое, что обернулось большими неприятностями для дядюшки, а мне самому начисто отрезало все пути к карьере садовника!

Дворецкий, мистер Петтертон, был тоже из доморощенных аристократов, но только совсем на другой манер. Куда было с ним тягаться моему дядюшке! Дворецкий возвышался, как гора, важно взирая на мир с высоты своего величия. В его розовый и многоярусный подбородок вонзались жесткие воротнички, а желтая шевелюра так и лоснилась от помады. Мне было велено вручить ему лукошко огурцов и пучок голубеньких цветов, которые назывались огуречниками и шли на приготовление прохладительных напитков. Дворецкий стоял у стола и что-то почтительно докладывал тщедушному человечку с лисьей физиономией, одетому в клетчатый твидовый костюм. Человечек ел сандвич с сыром, запивая его пивом. То был, как выяснилось впоследствии, поверенный в делах лорда Брэмбла. В комнате — а комната была полуподвальная, с толстой решеткой, навешенной на окна,— находился еще и молодой лакей, с похвальным усердием чистивший столовое серебро.

— Ну-с, стало быть, вы принесли это с огорода,— молвил мистер Петтертон с тонким сарказмом.— А отчего, позвольте спросить, все это не соблаговолил самолично доставить сюда мистер... то бишь *сэр* Джон?

— Он велел мне,— ответил я.

— Вам. А вы, прошу прощения, кто такой будете?

— Я Гарри Смит. Мистер Джулип мне дядя.

— Ах вот что!—Мистера Петтертона, как видно, осенила догадка.— Ты, значит, и есть сынок того самого Смита из Клифстоуна — зеленщика, если не ошибаюсь.

— Мы, сэр, из Черри-гарденс.

— Что-то я тебя, милый, раньше не замечал. Тебе уже приходилось у нас бывать?

— Только не здесь, сэр.

— Не здесь! Так, может, ты наведывался в усадьбу?

— Чуть не каждое воскресенье, сэр.

— Совершенно верно. И, по-видимому, мастер Смит каждый раз что-нибудь да уносил домой?

— Почти всегда, сэр.

— Тяжеловато было нести, а?

— Не-ет, не очень,— храбро возразил я.

— Ну как, ясно, сэр? — обратился мистер Петтертон к клетчатому человечку.

Я стал смекать, что дело неладно, но тут человечек устроил мне настоящий перекрестный допрос. Вопросы сыпались один за другим, резкие, отрывистые:

— Что носил?

Я побагровел до ушей и объявил, что не знаю.

— Виноград таскал?

— Не знаю.

— Груши?

— Не знаю.

— Сельдерей?

— Не знаю.

— Ну, ничего, зато я знаю,— процедил поверенный в делах.— Я все знаю. Так с какой стати мне тут с тобой возиться? Пошел вон!

Я вернулся к дядюшке и ни слова не проронил ему об этой малоприятной беседе, но уже тогда сердце мое чуяло, что на этом дело не кончится.

ГЛАВА III

НА СЕМЬЮ СМИТОВ ОБРУШИВАЮТСЯ НЕСЧАСТЬЯ

1

— А теперь,— сказал Сарнак,— мне придется рассказать о той буре невзгод, что без следа разметала шаткое благополучие, на котором держался наш тесный домик в Черри-гарденс. В том безалаберном, неустроенном, перенаселенном мире не существовало ни твердой уверенности в завтрашнем дне, ни социальной справедливости, как их принято понимать в наше время. Нам трудно даже вообразить, до чего все было неустойчиво,

непрочно. Вдумайтесь только: вся мировая экономика покоилась на зыбкой почве денежно-кредитной системы, в самом существе своем надуманной и условной. Ни надежной гарантии против злоупотреблений этой искусственной валютной системой, ни контроля над мировым производством и потреблением, ни точных сведений о климатических изменениях, происходящих из года в год,— ничего этого не было. Благосостояние отдельных граждан — да что там граждан! — целых стран и народов было подвержено непредвиденным и стихийным колебаниям. Жизнь в том мире все еще была почти так же небезопасна для женщин и мужчин, как нынче для комара или полевого мышонка, которые никогда не могут быть уверены в том, что с ними случится через минуту, пока существуют на свете кошки, совы и ласточки. По воле случая люди рождались, радовались, горевали, по воле случая встречали славу и смерть. Приход человека в мир и последняя разлука всегда застигали окружающих врасплох. Внезапная смерть случается и в наше время: опасные приключения, риск... Любого из нас, а то и всех вместе могло убить вчера молнией, но такая смерть — редкий случай, и это чистая, хорошая смерть. Другое дело, когда человека изо дня в день грызут и сводят в могилу нужда, заботы, нераспознанная или неумело залеченная болезнь. Теперь такого и в помине нет... И потом, смерть одного не калечит более жизнь десятка других людей, как часто случалось в старое время. Раньше вдова теряла не только любимого человека, но вместе с ним и «кусок хлеба». Однако так уж хитро устроена жизнь, что недостаток одного непременно возмещается чем-то другим. Мы просто не ощущали тогда бесчисленных опасностей, угрожавших нам со всех сторон. Мы были наделены поразительным даром: не замечать беды, пока она не свалится как снег на голову...

— Дети,— сказал Сарнак,— вступают в жизнь с безмятежной верой в незыблемость окружающего их мира. Сомнение в надежности сущего предполагает способность мыслить трезво. Лишь тот, кто обладал ясным умом, мог разглядеть опасность, но то же умение мыслить трезво помогало этим людям без страха смотреть опасности в лицо. Тот прежний мир был, в сущности, миром неумных, утративших простоту и естественность детей,

не понимавших, что их громоздкой и неустойчивой цивилизации грозит неминуемый, полный крах. Им казалось, что на земле, где царит всеобщий хаос, жизнь, в общем, ограждена от случайностей. Несчастье всякий раз изумляло людей несказанно, хотя, казалось бы, им-то и не следовало удивляться никакой беде.

Первый удар обрушился на нас нежданно-негаданно месяца через полтора после того, как я вернулся из Чессинг Хенгера домой, где мне предстояло провести последний год на школьной скамье, прежде чем стать садовником. Дело было к вечеру. Я вернулся из школы и сидел за книгой внизу на кухне. Мать убирала со стола чашки и блюдца и ворчала на Фанни, которая собралась куда-то уйти. На столе горела лампа, и мы с отцом, который как раз взялся «просмотреть газетку», пристроились поближе к скудному язычку пламени. Сверху из лавки звякнул входной колокольчик.

— Эх, пропади ты совсем! — крякнул отец.— Вздумают же в эдакую пору!

Он снял очки. Приобрел он их наудачу в закладной лавочке и надевал всякий раз, как садился читать. Большие кроткие глаза его сквозь очки казались вдвое больше. Отец обиженно поглядел на нас. Что им, приспичило, в самом-то деле? И тут сверху донесся голос дяди Джона Джулипа:

— Мортимер! — Это было поразительно! Он никогда не называл отца иначе, как Смит...

— Ты, Джон? — спросил отец, вставая из-за стола.

— Он самый. Хочу поговорить с тобой.

— Заходи, Джон, чайку попьешь! — крикнул отец с нижней ступеньки лестницы.

— Надо потолковать кой о чем. Давай лучше ты поднимись сюда. Дело серьезное.

Уж не на меня ли он пришел жаловаться? Нет, моя совесть вроде чиста...

— Что ж такое стряслось? — пробормотал отец.

— Ступай наверх да узнай,— резонно заметила матушка.

Отец поднялся по лестнице.

Было слышно, как дядя говорит ему что-то: «Все лопнуло. Нас накрыли. Все...» — И потом дверь в лавку затворилась. Мы замерли, прислушиваясь к тому, что

происходит наверху. Судя по доносившимся до нас звукам, дядя Джулип расхаживал из угла в угол. Фанни в шляпке и жакетке прокралась вверх по ступенькам и выскользнула за дверь. Немного спустя явилась Пру, объяснив, что задержалась, чтобы помочь учительнице прибраться в классе. Ну, меня-то ей было не провести... Отец все не показывался. Но вот наконец он сошел вниз — один.

Словно в каком-то оцепенении подошел он к каминному коврику и остановился, уставившись в пространство с таким трагическим видом, что мать не выдержала:

— В чем дело, Морти? Почему Джон не зашел перекусить или хоть выпить чашку чаю? Куда он девался, Морти?

— За фургоном пошел, вот куда,— отозвался отец.— За фургоном, так-то...

— Это еще зачем?

— Вещи перевезти, вот зачем.

— Вещи? Какие?

— Придется нам принять их к себе на какое-то время.

— Принять?! Кого?

— Их с Эделейд. Они переедут в Черри-гарденс...

— Неужели он место потерял, а, Морти?

— Вот именно. У его светлости впал в немилость. Кто-то навредил, постарался. Подглядывали. Выжили, добились своего. Да, он уволен. Выгнали в шею.

— Погоди: срок-то ведь дали? Велели искать другое место?

— Какое там! Его светлость сам пожаловал на усадьбу, злой, как пес. «Эй ты! — говорит.— Проваливай отсюда». Так и сказал, слово в слово. «И еще,— говорит,— скажи спасибо, что сыщика не натравил на тебя да на шурина твоего сопливого». Вот так-то. Его собственные слова.

— Но с чего это он, Морти?

— С чего? А с того, что кой-какие типы, не будем называть кто, навели на Джона тень, оболгали его, устроили за ним слежку. Да-да. Шпионили за ним и за мной. И меня туда же втравили, Марта. Гарри втравили, даром что мальчонка. Такое наплели... Эх, говорил я ему: слишком уж мы зачастили... Словом,

был старший садовник, да весь вышел. Рекомендаций никаких не дадут, так что постоянного места ему теперь не найти. Донесли, погубили — и изволь радоваться!

— Значит, они говорят, что он себе что-то брал? Чтоб Джон, мой брат, взял чужое?!

— Ну — излишки... Что оставалось. Этим все садовники прирабатывают испокон веков...

Я сидел и притворялся, будто не слышу ни слова из этого ужасного разговора. Уши и щеки у меня пылали. Никто и не знал, какую роковую роль в дядином низвержении сыграл я. А в сердце, точно песнь жаворонка после грозы, уже звенела надежда, что теперь, наверное, мне не грозит опасность стать садовником... Мать сокрушалась и ахала и в недоумении расспрашивала отца, а он отвечал уклончиво, недомолвками. Потом матушка вдруг свирепо налетела на Пру, чтобы не слушала, что ее не касается, а лучше вымыла посуду.

— Смотри, как обстоятельно изложена вся сцена,— заметил Рейдиант.

— Это было первое серьезное потрясение, испытанное мною в той приснившейся мне жизни,— сказал Сарнак.— Все сохранилось в памяти очень ярко: как сейчас вижу старую кухню, в которой мы жили, застиранную скатерть на столе, керосиновую лампу со стеклянным бачком. Дайте мне только срок, и я бы, кажется, сумел подробно описать вам всю обстановку...

— А каминный коврик — что такое? — неожиданно спросила Файрфлай.— Ваш, скажем, какой он был?

— Каминный коврик? Такого чуда теперь не сыщешь! Это такой половичок, он кладется у открытого очага перед решеткой, чтобы не растаптывать золу по всей комнате. Наш был сделан отцом из старых обносков: рваных штанов, фланелевого тряпья, лоскутьев грубой мешковины. Все это разрезалось на длинные полосы и сшивалось вместе. Зимними вечерами отец подсаживался к камину и начинал усердно орудовать иглой. Так и сшил.

— Узор какой-нибудь был на нем?

— Никакого. Только я никогда не доскажу до конца, если вы будете перебивать меня вопросами. Пом-

ню, договорившись о фургоне, дядя зашел к нам закусить хлебом и сыром перед обратной дорогой в Чессинг Хенгер. Он был очень бледен, и вид у него был подавленный — от сэра Джона Ффренч-Катбертсона и следа не осталось. Дядю Джулипа будто вытащили на свет божий из надежного убежища, и какой же у него оказался плачевный и жалкий вид! Помню, мать спросила:

— А как Эделейд?

— Боли,— молвил дядюшка с выражением глубочайшей покорности судьбе.— В новом месте.— И с горечью добавил: — Это в такой-то момент!

Мои родители сочувственно переглянулись.

— Попомните мои слова...— начал дядя, но какие именно слова, мы так и не узнали, потому что его вдруг захлестнула волна бессильной ярости. — Узнать бы только, кто это все подстроил! Экономка — змея, другого ей имени нет — давно кого-то прочит на мое место. Ну если они с Петтертоном это состряпали...

Он ударил кулаком по столу довольно, впрочем, вяло.

Отец подлил ему пива. Дядя осушил кружку до дна и крякнул.

— Ничего не поделаешь,— продолжал он уже бодрее.— Нужно держаться. Вон их здесь сколько, дачных садиков с куриный нос: поденная работа, надо полагать, найдется. Что-нибудь да перепадет... Подумать только—поденщик! Я—поденщик! Дожили! То-то будет радости здешней конторской мелюзге, владельцам сезонных билетов: садовник лорда Брэмбла подстригает им газоны! Так и вижу: подведет какой-нибудь ферт приятеля к окну — смотри, мол, у лорда служил старшим садовником! Ну, дела...

— Да-а, тяжелый удар,— сказал отец, когда дядя ушел.— Что ни говори, а уж теперь все будет не то.

Мать забеспокоилась о том, как устроить гостей.

— Ее, думаю, придется положить на диване в гостиной, а ему постелим на полу. Она еще, чего доброго, закапризничает. Постель они привезут свою, конечно, но только Эделейд не из тех, кому сойдет и на диване!

Бедняжка Эделейд! То была сущая правда. И хотя дядя, отец и мать в один голос увещевали ее, что болеть сейчас не только несвоевременно, но и бестактно, ее боли никак не унимались. В конце концов пришлось вызвать врача, и тот велел немедленно положить ее в больницу на срочную операцию...

— То было время полнейшего невежества во всем, что касалось строения и функций человеческого тела,— сказал Сарнак.— В древности греки и арабы приобрели за недолгий период своего культурного расцвета кое-какие познания в анатомии, но физиологией как наукой люди стали заниматься столетия за три до моих дней. О важнейших жизненных отправлениях организма человечеству в целом было практически ничего не известно. Я уже говорил вам: тогда даже дети рождались случайно. Нелепый образ жизни, вредная, неумело приготовленная пища, стихия инфекций, свирепствовавшая вокруг... Не мудрено, что самые ткани их тел были поражены и развивались причудливо, патологически. Отдельные части организма выходили из строя и перерождались в злокачественные опухоли...

— Их тела страдали тем же недугом, что и их общество,— заметил Рейдиант.

— Совершенно верно. Раковый нарост на человеческом теле — и пригород вроде Черри-гарденс, врастающий в земную плоть... Эти опухоли! О них и вспомнить жутко.

— Но позволь,— сказала Уиллоу.— Перед лицом такой страшной опасности, угрожавшей решительно каждому, весь мир, конечно, стремился всячески ускорить процесс изысканий в области физиологии!

— Неужели людям не было ясно, что все это познаваемо и излечимо? — подхватила Санрей.

— Вовсе нет,— сказал Сарнак.— Особой радости все эти опухоли — раковые и прочие — им не доставляли, но общество было слишком беспомощно, чтобы дать решительный отпор этим напастям. А кроме того, всякий надеялся, что его — или ее — они минуют, надеялся, пока не становился очередной жертвой... Повсюду царили леность и равнодушие. Священники, газетчики — все, кто создает общественное мнение,—относились к ученым недоброжелательно. Они всячески внушали людям,

что никакого прока от научно-исследовательской работы нет и не будет, всеми силами старались умалить значение научных открытий, представить многотерпеливых тружеников науки в смешном виде и восстановить против них общество.

— Вот уж это совсем уму непостижимо,— заметила Санрей.

— Мысль работала иначе... Мозг этих людей был не приучен к широким обобщениям. Их мышление представляло собою нагромождение разрозненных, разобщенных умозаключений. Патологические образования в тканях их тел — ничто в сравнении с этим злокачественным перерождением мозга.

2

Попав в больницу, тетя Эделейд, с присущим ей неумением считаться с интересами дяди, упорно не желала ни выздоравливать, ни умирать. И так одни огорчения, а тут еще она: помощи ни на грош, а расходов — хоть отбавляй! Через несколько дней, вняв настойчивым уговорам матери, дядя перекочевал из нашей гостиной в двухкомнатную квартирку в доме каменщика с соседней улицы. Сюда он и свез весь свой домашний скарб из Чессинг Хенгера, но частенько наведывался в нашу лавочку, обнаруживая все большее пристрастие к обществу моего отца.

Его деятельность в качестве поденного садовника протекала куда менее успешно, чем он предполагал. Резкий, пренебрежительный тон, рассчитанный на то, чтобы внушить клифстоунским домовладельцам, его новым клиентам, уважение к своей особе, не принес желаемых результатов. О клумбах он отзывался не иначе как «на два гроша разной требухи», палисаднички сравнивал то с расшитой скатертью, то с цветочным ящиком... А эти чудаки вместо того, чтобы радоваться, что им говорят горькую правду, почему-то обижались. Им не хватало духу попробовать разобраться что к чему в открытом и честном споре; здесь их можно было бы одернуть, недвусмысленно напомнив, как надлежит вести себя людям их общественного положения. Нет! Они предпочитали оставаться при своих заблуждениях и не иметь больше дела

с дядей. К тому же огорчения, причиняемые тетушкой, сделали дядю Джулипа в известной мере женоненавистником, что проявилось в нежелании считаться с требованиями жены клиента, когда самого хозяина нет дома. А так как многие из вышеупомянутых дам имели немалое влияние на своих мужей, то и это последнее обстоятельство сильно помешало успеху дядюшкиных планов. Кончилось тем, что сплошь да рядом его единственным занятием было торчать день-деньской в нашей лавочке, разглагольствуя с моим отцом (впрочем, отец больше слушал) о недостатках обитателей Клифстоуна, коварстве мистера Петтертона и «этой змеи» («змея, другого ей имени нет»), а также о вероятных несовершенствах какого-нибудь злополучного покупателя, которому случилось привлечь его неблагосклонное внимание.

И все-таки дядя отнюдь не был намерен сдаваться без боя. Особо важную роль при этом играл девиз «не падать духом», непременным условием которого, как я заметил, были регулярные посещения привокзальной пивной «Веллингтон». Дядя возвращался оттуда заметно более словоохотливым, более обычного похожим на сэра Джона Ффренч-Катбертсона, кашлял, тяжело отдувался и дышал отвагой и хмелем. Дела в лавке тоже день ото дня шли все хуже, и вскоре в этих воодушевляющих вылазках стал принимать участие мой отец. Способствуя расширению его кругозора, они, по-моему, одновременно сообщили его взглядам некоторую расплывчатость...

У дядюшки имелись кое-какие сбережения в почтово-сберегательной кассе, и, движимый все той же решимостью не сдаваться без боя, он время от времени отправлялся на Бейфорд-даунские скачки и, выбрав себе так называемый «верняк», храбро делал ставку.

— «Верняк»? Это что-то уж совсем непонятное,— заметил Рейдиант.

— «Верняк» — лошадь, которая наверняка должна была прийти первой в заезде, но почему-то никогда не приходила. Превосходная степень — «твердый верняк». Вы не представляете себе, с каким азартом обсуждались во всех уголках страны стати и шансы на успех скаковых лошадей. Англичане не принадлежали к кочевым народам, и ездить верхом на лошадях умели очень немногие, зато ставить на них деньги мог каждый. Во главе ар-

мии игроков стоял сам главнокомандующий английской армии: король. Он собственной персоной присутствовал на фешенебельных скачках, как бы благословляя и поощряя своих подданных. Не удивительно, что, убивая на скачках свое время и свои сбережения, дядя Джон Джулип исходил из самых верноподданнических и патриотических стремлений.

Иной раз вместе с ним отправлялся попытать счастья мой отец. Обычно они проигрывались и в конце концов спустили все, что у них было за душой, но изредка им случалось «напасть на золотую жилу», как выразился по этому поводу дядюшка. Так однажды они остановили свой выбор на лошади по кличке Рококо, хоть и знали, что это далеко не «верняк», а скорей как раз наоборот. Шансы были ничтожны, но на дядюшку как будто нашло озарение свыше. Рококо пришел первым, и они выиграли ни много ни мало тридцать пять фунтов, что было для них очень внушительной суммой. Оба возвратились домой в торжественно-приподнятом настроении, эффект которого был слегка подпорчен лишь тем, что им никак не удавалось выговорить кличку победителя. Начинали они довольно гладко, но после первого же слога из уст их вырывались звуки, достойные скорее курицы, которая снесла яйцо, чем разумного существа, сумевшего к тому же угадать победителя на скачках. «Рокококо,— говорили они,— Рококококо — ик!» И хотя оба честно старались помочь друг другу, проку от этого было мало. От них за сто шагов несло табачищем и хмельной удалью. Ни разу еще не исходил от них такой воинственный дух, как сегодня. Мать заварила им чаю.

— Чай!—многозначительно промолвил дядюшка. Он мог бы отказаться от чая наотрез, но вместо этого только легонько отодвинул поставленную перед ним чашку.

Несколько минут оставалось неясным, как будут развиваться события: то ли дядя готовится произнести нечто весьма глубокомысленное, то ли его попросту стошнит. Но вот дух одержал победу над плотью.

— Я знал, что так будет, Март,— проговорил он.— Тощ-щно знал. Как услышал кличку — сразу. Рок...— он запнулся.

— Кококо,— прокудахтал отец.

— Кокококо — ик,— заключил дядя.— Так сразу понял: настал наш-щас. Кой-кому, Смит, это, знаешь, дано. Инс-синкт. Последнюю бы рубашку, Март, снял— и поставил. Только того... Рубашку у меня бы не взяли.

Он вдруг пристально взглянул на меня.

— Не взяли бы, Гарри,— объяснил он.— Рубашек не берут. Нет.— Он погрузился в глубокое раздумье.

Немного спустя он вновь поднял голову.

— А то бы триссшесть рубашек за одну. На весь век хватит.

Отец подошел к этому вопросу с более широких и философских позиций.

— Может, всех бы еще и не износить. Лучше уж как оно есть, Джон.

— И попомните,— продолжал дядя,— это только начало.— Один раз угадал — теперь пойдет. Попомните мои слова. Этот Рок...

— Кококо.

— Кокококо — или как его там — это только начало. Первый солнечный луч в день торжества. И точка.

— По такому случаю не грех бы и поделиться,— вставила мать.

— А как же, Март,—сказал дядюшка.—А как же!— И не успел я опомниться, как он протянул мне маленький золотой кругляк в десять шиллингов (в те дни еще были в ходу монеты из золота). Такую же монетку он сунул Пру. Фанни достался целый соверен: золотая монета в один фунт стерлингов, а матери — пятифунтовый билет Английского банка.

— Будет,— не выдержал отец.

— Ничего, Смит, ничего,— с царственно широким жестом успокоил его дядюшка.— Твоя доля — семнадцать десять. Отнять шесть десять будет одиннадцать. Минуточку. Один да пять — шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Держи!

Отец с недоумевающим видом взял остаток причитавшейся ему суммы. Он явно силился что-то сообразить и не мог.

— Так как же...— начал он. Его ласковый взор остановился на монете в десять шиллингов, по-прежнему лежавшей у меня на ладони. Я поспешно спрятал свое богатство в карман, а отец проводил мою руку глазами,

но на полдороге уткнулся взглядом в край стола и на нем застрял.

— Без скачек, Смит, не было бы и Англии,— объявил дядюшка.— Попомни мои слова.

И мой отец охотно внял его совету...

3

Увы! Эта мимолетная удача была едва ли не единственным светлым эпизодом на медленном и верном пути к катастрофе. Вскоре, как я понял из разговора отца с матерью, мы «задолжали за квартиру». Дело в том, что мы были обязаны каждые три месяца вносить плату за жилье предприимчивому субъекту, которому принадлежал наш дом. Я знаю, что для вас все это звучит странно, но такой уж был тогда заведен порядок. Если мы не платили в срок, владелец дома имел право нас выселить.

— Куда? — спросила Файрфлай.

— Вышвырнуть из дома, и все. Причем оставаться на улице тоже запрещалось... Но я не могу сейчас входить во все эти подробности. Одним словом, мы задолжали за квартиру, и нам грозила беда. И в довершение всего моя сестра Фанни сбежала от нас.

— Как ни трудно передать атмосферу той жизни, заставить вас понять мои прежние мысли и чувства,— сказал Сарнак,— еще труднее рассказать об отношениях между мужчиной и женщиной. В наши дни все это так просто. Мы естественны и свободны. Нам прививают — тонко, почти незаметно — презрение к глупому соперничеству, умение обуздывать порывы ревности, нас учат быть великодушными и с уважением относиться к молодости. Наша любовь — это связующее звено, цветение сокровеннейшей дружбы. Любовь для нас не самоцель, как хлеб или отдых; главное в нашей жизни — творческий труд. Но в том слепом, истерзанном мире, где мне довелось прожить во сне целую жизнь, все, связанное с любовью, было скрыто от глаз, опутано сетью запретов, сковано цепями мучительных и тягостных условностей. Я еще расскажу вам в конце концов о том, как я был

убит! А сейчас я постараюсь дать вам представление о том, что и как случилось с моей сестрой Фанни.

— Даже в нашем мире,— сказал Сарнак,— Фанни сочли бы на редкость красивой девушкой. Глаза у нее были синие, как небо, а в минуты гнева или волнения темнели и казались черными. Волосы от природы вились крутыми волнами. За одну ее улыбку можно было отдать все на свете, от ее смеха, даже когда в нем слышалось презрение, вокруг становилось светлее, ярче и чище. А знала она так мало... мне трудно описать вам, до чего она была невежественна. И все же это она, Фанни, первая заставила меня ощутить, что невежество — позор. Я говорил уже вам, какая у нас была школа и что представляли собою наши духовные наставники. Когда мне исполнилось лет девять, а Фанни — пятнадцать, она уже бранила меня за то, что я коверкаю слова и в особенности что глотаю придыхательные звуки.

— Гарри,— поучала она меня,— еще раз назовешь меня «Фенни» — ущипну. Поссоримся, так и знай. Меня зовут Фанни, а тебя Гарри, и будь добр, не забывай. То, что мы тут произносим,— это вообще не английская речь, это стыд и срам.

Она была чем-то больно задета. Может быть, ей случилось разговаривать с кем-то, чья речь была более правильной, и это оказалось унизительно. Кто-то поднял ее на смех. Какой-нибудь случайный знакомый, дурно воспитанный молодой хлыщ с клифстоунского бульвара. Так или иначе, Фанни стиснула зубы: отныне она будет говорить хорошим английским языком и меня заставит делать то же самое!

— Если б я только умела говорить по-французски! — сокрушалась она.— Вон она, Франция, ее простым глазом отсюда видно, и все ее маяки подмигивают нам, а мы ничего другого не знаем, кроме как «парли ву фрэнси», да еще и зубы скалим, точно это смешно.

Она принесла домой шестипенсовую книжечку, сулившую (и напрасно, как убедилась Фанни) обучить своих читателей французскому языку. Фанни читала запоем: она жаждала знаний. Она глотала бесконечное множество романов, но читала и книги другого сорта: о звездах, о строении тела (как ни бушевала мать, убежденная, что неприлично читать книги, в которых «все твои

кишки на картинках»), о неведомых странах. Но еще сильнее ее собственной тяги к знаниям было страстное желание, чтобы я стал образованным человеком.

В четырнадцать лет, окончив школу, она стала зарабатывать деньги. Мать прочила ее «в услужение», но Фанни воспротивилась этому решительно и гневно. Пока вопрос висел в воздухе, она отправилась одна в Клифстоун и устроилась в колбасный магазин помощницей счетовода. У нее был точный и быстрый ум, и меньше чем через год она работала уже счетоводом. На заработанные деньги она покупала мне книги и рисовальные принадлежности, а себе—платья, противоречившие всем представлениям матери о том, что пристало носить молодой девушке. Впрочем, не думайте, будто она, как было принято говорить, «хорошо одевалась» — она искала, пробовала, и очень смело, так что порою ее наряды выглядели дешево и вульгарно.

— Я мог бы,— сказал Сарнак,— целый час рассказывать о том, что значило для женщины в том мире иметь возможность «одеваться»... Жизнь моей сестры была во многом скрыта от меня, я и вообще ничего не узнал бы о ней, если б не беспардонные тирады матери, которая, как нарочно, всегда принималась распекать Фанни в присутствии третьего лица. Теперь-то я вижу, что мать мучительно завидовала Фанни, ее нетронутой молодости, но в то время я бывал озадачен и оскорблен грязными намеками и обвинениями, проносившимися над моей головой. У Фанни была невозможная привычка: не возражать ни слова в ответ на брань и лишь изредка исправлять какую-нибудь неточность в произношении.

— Ужас, мама,— скажет она, бывало.— Ужас, говорят, а не ужасть.

Под защитной маской грубости, без знаний, без наставников бедняжка Фанни искала ключ к загадке, которую с настойчивостью, едва ли понятной мужчине, задавала ей жизнь. Ничто в ее воспитании не могло пробудить в ней высокую страсть к настоящему творческому труду; от религии она получала лишь кривлянья да угрозы, и из всего большого и настоящего в жизни только любовь нашла отклик в ее душе. Все романы, прочитанные ею, рассказывали о любви — рассказывали уклончиво, полунамеками, и в ответ нетерпеливое любопытство

вспыхнуло в ее теле, ее воображении. Во всем светлом и прекрасном, что было в мире, слышался ей шепот любви: в лунном свете, ласке весеннего ветерка. Фанни, конечно, знала, что она красива. Но мораль, господствовавшая тогда, предписывала смиренно подавлять в себе все живое. Бесчестье, пошлый обман, непристойная шутка — вот что такое была любовь. О ней нельзя было ни говорить, ни мечтать, пока не придет какой-нибудь «положительный мужчина» (клифстоунский колбасник был вдовцом, и именно он, кажется, метил в данном случае на роль положительного мужчины) и не заговорит — о нет, не о любви, разумеется,— о браке. Он женится на ней, поспешно утащит добычу в свой дом и, распаленный гнусной похотью, тупо, неуклюже сорвет покровы, скрывающие ее юную красоту...

— Сарнак,— сказала Файрфлай,— ты чудовище.

— Нет. Чудовищным был тот ушедший в прошлое мир. Такова была участь большинства женщин, ваших прабабок. И это еще только начало. Самое ужасное было потом. Роды. Осквернение детей. Ребенок! Подумайте, какое это нежное, бесконечно дорогое, святое существо! И это существо сразу же окуналось в зловонный, кишащий инфекцией хаос перенаселенного, неустроенного мира. Рожали беспорядочно много, зачинали уродливо, носили нехотя. Ожидание ребенка не было радостным и здоровым процессом, как у нас. В том больном обществе почти каждая женщина считала и беременность болезнью — болезнью, которая у ее мужа не вызывала ничего, кроме животной досады... Пять-шесть лет замужества, по ребенку каждый год — и хорошенькая девушка превращалась в развалину, сварливую, издерганную, без всякого следа красоты или былого задора. Когда умерла моя ворчливая, вечно озабоченная мать, ей, бедной, не было и пятидесяти лет! На глазах у родителей прелестные малыши превращались в худых, полуграмотных оборванцев. Какая бездна поруганной любви скрывалась за шлепками и бранью моей матушки! Мир успел забыть, как оскорбленное материнское чувство оборачивалось горечью и злобой. Такова была перспектива, которую открывала перед моей сестрою Фанни жизнь, построенная по законам морали. Таким эхом отзывалась действительность на сладостную песнь ее грез.

Она отказывалась верить, что это правда, что такова жизнь, любовь. Она хотела испытать, что такое любовь, испытать и себя. «Распущенная, испорченная девчонка»,— называла ее мать. Поцелуи украдкой, объятия в сумерках с мальчишками-одноклассниками, посыльными, клерками,— с этого она начала. Я знаю. Что-то нечистое, должно быть, вкралось в эти вечерние похождения, заставив ее гадливо отпрянуть. Во всяком случае, с юнцами из Черри-гарденс она стала чопорно холодна, но лишь оттого, что ее притягивал Клифстоун с его оркестрами и огнями, с его богатством. Тогда-то и набросилась она на книги, тогда и стала следить за своей речью. Я уже говорил вам о социальном расслоении старого мира. Фанни хотелось стать похожей на леди, она мечтала встретить джентльмена. Ей казалось, будто на свете и в самом деле бывают настоящие джентльмены: деликатные, благородные, умные, обаятельные. Ей казалось, будто среди тех мужчин, которые встречаются ей на приморском бульваре в Клифстоуне, есть такие джентльмены. Она стала иначе одеваться — так, как я вам уже рассказывал.

— В каждом городе Европы,— сказал Сарнак,— было сколько угодно девушек, которые в отчаянной надежде на лучшее уходили из дома, ставшего для них адом. Когда вам говорят о моральном кодексе старого мира, вы, наверное, представляете себе некий пользующийся всеобщим уважением нравственный закон — подумали же вы, что каждый, кто исповедовал религию, действительно верил ей! У нас сейчас нет морального кодекса, есть навык, привычка к нравственности. Наша религия не сковывает ни разума, ни естественных побуждений. Нам нелегко понять эту враждебность, эту всеобщую скрытность, представить себе, как неискренен, уклончив, убог был мир, в котором никто — даже священники — по-настоящему не понимал догматов, проповедуемых религией, и никто не был до глубины души убежден в совершенстве и справедливости нравственных устоев. В ту далекую эпоху почти каждый был либо распущен и неудовлетворен, либо нечестен в вопросах пола. А запреты, призванные сдерживать людей, только сильнее возбуждали их. Сегодня трудно себе это вообразить.

— Не трудно, если знаешь литературу той эпохи,— отозвалась Санрей.— Их романы и пьесы — это патология.

— Итак, моя хорошенькая сестра Фанни, влекомая побуждениями, неясными ей самой, точно бабочка, выпархивала из нашего неприглядного жилья и уносилась к огням — ярким огням надежды, манившим ее с эстрады и аллей клифстоунского бульвара. А там, в меблированных комнатах, в пансионах и гостиницах, жили недалекие, развращенные люди, праздные любители острых ощущений, искатели легких удовольствий. Здесь были жены, которым надоели мужья, и мужья, которым давным-давно наскучили жены; разлученные супруги, которые не могли получить развод; молодые люди, не смевшие помышлять о браке, потому что у них не было средств на то, чтобы содержать семью. Маленькие сердца их были полны нечистых побуждений, неутоленных, долго подавляемых страстей, зависти, обид. И в этой толпе, задорная, соблазнительная и беззащитная, порхала моя прелестная сестра Фанни.

4

Вечером накануне того дня, когда Фанни сбежала из дому, отец с дядюшкой сидели у очага на кухне, рассуждая о политике и превратностях быстротекущей жизни. В течение дня оба неоднократно принимали решительные меры к тому, чтобы «не падать духом», вследствие чего разговор их отличался некоторой бессвязностью и обилием частых повторений. Они говорили хриплыми голосами и растягивали слова. Они говорили громко, значительно и с чувством, словно обращаясь к незримой аудитории. Они то и дело принимались говорить разом. Мать мыла за перегородкой чайную посуду, а я сидел у лампы и пытался делать уроки на завтра, хотя меня поминутно отвлекали голоса, звучавшие у меня над ухом, и призывы «попомнить» те или иные слова дяди. Пру углубилась в чтение своей любимой книги под названием «Примерные дети». Фанни помогала матери мыть посуду, но затем ей было сказано, что от нее не помощь, а только помеха; тогда она вышла из-за пере-

городки, остановилась возле стола и заглянула мне через плечо, чтоб посмотреть, чем я занимаюсь.

— Что мешает торговле,— объявил дядя,— так это забастовки. Они губят страну. Эти забастовки — одно разорение. Разорение для всей страны.

— Еще бы! — кивнул отец.— Все останавливается...

— Такое дело нельзя позволять. Шахтерам, им деньги платят, большие деньги. Хорошие деньги платят. Да... Вот я, к примеру,— я бы рад и счастлив получать, как они. Рад и счастлив. Бульдогов себе понакупали, роялей. Шампанское хлещут. Мы с тобой, Смит, и вообще среднее сословие, мы роялей не покупаем. Мы шампанское не пьем. Ку-уда нам...

— Союз нужен для среднего сословия,— вторил ему отец.— Чтобы их осадить, рабочих этих. Ходу стране не дают. И мешают торговле. Торговля — ха! Не торговля, а черт-те что. Зайдет человек в лавку, поглядит и начнет: почем то да почем это! Раньше чем шесть пенсов истратить, он сперва десять раз подумает... А каким углем приходится торговать! Я им так говорю: если опять забастовка, так вам угля вообще не видать — ни хорошего, ни плохого. Так прямо и говорю...

— Гарри, это не занятия,— нарочно громко сказала Фанни.— Да и где тут заниматься под эту трескотню! Давай-ка лучше сходим пройдемся.

Я вскочил из-за стола и принялся складывать учебники. Фанни зовет с собой гулять! Такое случается не часто.

— Иду подышать воздухом, мама,— сказала Фанни, снимая с вешалки шляпку.

— Никуда ты не пойдешь. Да еще в такой час,— крикнула из-за перегородки мать.— Раз и навсегда тебе сказано...

— Не волнуйся, мама, Гарри тоже идет. С ним меня никто не украдет и не опозорит... Сказано раз и навсегда — и каждый раз одно и то же.

Мать смолчала, метнув в сестру ненавидящий взгляд. Мы поднялись по ступенькам и вышли на улицу.

Некоторое время мы шли молча, но я чувствовал, что мне предстоит услышать нечто важное.

— Ну, с меня, кажется, хватит,— заговорила вскоре Фанни.— Отец с дядей пили сегодня весь день — сам ви-

дишь, едва языком ворочают. Что один, что другой. Каждый день повадились пить, а дела все хуже. Чем только все это кончится? Дядя вон уж дней десять сидит без работы, и отец все с ним да с ним. В лавке грязь по колено. Неделями не метено.

— У дяди, наверное, руки опустились,— вставил я.— Как услышал, что тете Эделейд опять ложиться на операцию...

— Опустились! Да они у него сроду не поднимались.— Фанни хотела добавить что-то на дядюшкин счет, но с трудом сдержалась и заключила: — Хороша семейка, лучше некуда!

Она помолчала.

— Гарри, я от вас ухожу... Скоро.

— Как это — ухожу?

— Неважно как. Я нашла себе место. Только другое, особенное. Ты... Гарри, ты меня любишь?

Для тринадцатилетнего подростка сердечные излияния — трудная штука.

— Для тебя, Фанни, я сделаю все на свете,— выдавил я наконец.— Ты уж знаешь.

— Не проговоришься? Никому?

— За кого ты меня принимаешь?

— Ни за что?

— Ни за что.

— Я так и знала. Из всей этой компании мне одного тебя жалко бросать. Я тебя очень люблю, Гарри, правда. Я и мать любила раньше. Но это совсем другое дело. Ругала она меня, ругала, пилила, пилила — и кончено. Перегорело. Что я могу поделать? Пусто, и все... Я буду думать о тебе, Гарри, часто.

Я заметил, что Фанни плачет. Когда я снова поднял голову, слезы на ее глазах уже высохли.

— Послушай, Гарри,— сказала она.— Можешь ты сделать для меня одну вещь? Ты не думай, это не трудно, но чтобы никому? После, понимаешь? Ни слова!

— Все сделаю, Фанни.

— Ничего особенного, вот увидишь. Там, наверху, мой старенький чемоданчик. Я в него сложила кое-что. И узелок небольшой. Я их засунула подальше под кровать, к стенке — туда даже наша Пру-прилипала не додумается заглянуть. Так вот. Завтра, когда отец увяжется за

дядей — они теперь зарядили,— мать пойдет вниз готовить обед. Пру возьмется помогать, а сама будет хлеб таскать по кусочку... Ты бы в это время принес мои вещи в Клифстоун, знаешь, в колбасную к боковой двери... Они не очень тяжелые...

— Да что мне твой чемоданчик! Я его для тебя куда хочешь понесу. Только где она, твоя новая работа, а, Фанни? И почему ты дома не сказала ни слова?

— А если я тебя еще кой о чем попрошу, Гарри? Не чемодан принести, а что-нибудь потрудней?

— Все сделаю, Фанни, все, что мне по силам. Ты ведь сама знаешь.

— Ну, а если просьба будет такая: ни о чем не спрашивать? Какая работа, где она — ничего? Это... Это хорошее место, Гарри. Работа не тру...

Она замолкла на полуслове. Я увидел ее лицо в желтом свете уличного фонаря и поразился: оно сияло счастьем. И все-таки в глазах у нее блестели слезы. Ну и человек она, эта Фанни! Радуется, а сама плачет!

— Ах, если бы я могла тебе все рассказать! Если бы только могла! Ты за меня не бойся, Гарри. Со мной ничего не случится. Ты только помоги мне, а там пройдет немного времени, и я тебе напишу. Вот увидишь, напишу.

— Может, ты задумала сбежать, чтоб выйти замуж? — бесцеремонно спросил я.— С тебя станется!

— Я тебе не скажу ни да, ни нет. Я ничего тебе не скажу. Просто я счастлива, счастлива, как солнце на рассвете. Так и подмывает спеть или сплясать! Только бы удалось!

— А ну-ка, постой!

Она остановилась как вкопанная.

— Неужели на попятный, Гарри?

— Нет. Я сделаю, как обещал. Но...— Я запнулся. У меня, видите ли, были строгие понятия о нравственности.— Может быть, ты затеяла что-нибудь дурное?

Она покачала головой, но ответила не сразу.

— Это будет самый правильный поступок в моей жизни, Гарри!— Лицо ее вновь осветилось восторгом.— Самый что ни на есть. Если только все сойдет. А ты такой милый, что согласился мне помочь,— просто прелесть!

Она вдруг обхватила меня, притянула к себе, расцеловала, потом легонько оттолкнула и прошлась взад-вперед, словно в танце.

— Сегодня я люблю весь мир,— пропела она.— Весь белый свет люблю! Ах ты, дурацкий Черри-гарденс! Ты думал, я попалась тебе в когти? Думал, мне никогда не вырваться? Завтра — последний день у Кросби,— продолжала она свою песнь избавления,— самый-самый последний день. На веки веков, аминь. Никогда он больше не придвинется ко мне близко, не будет дышать в затылок! Никогда больше не коснется жирной лапой моей голой руки и не будет совать свой нос прямо мне в лицо, просматривая кассовую ведомость. Когда я буду... там, куда я ухожу, Гарри, я ему непременно пришлю открытку. До свидания, мистер Кросби. До свидания, милый мистер Кросби. Прощайте на веки вечные. Аминь.— Она изменила голос, подражая колбаснику.— «Такой девушке, как вы, следует выйти замуж пораньше. Вам нужен в мужья человек солидный и старше вас, моя милочка». Это кто же сказал, что следует? И кто это вам позволил называть меня милочкой, *милейший* мистер Кросби? Двадцать пять шиллингов в неделю, и тебя же еще хватают руками и вдобавок зовут «милочка»... Я не знаю, что со мной сегодня творится, Гарри, я сама не своя. Я хочу смеяться, петь от радости, но мне и грустно до слез, потому что я расстаюсь с тобой. Расстаюсь со всеми. Хотя с какой бы стати мне о них жалеть? Бедный папа, бедный пьяненький папа! Бедная сердитая, глупая мать! Когда-нибудь я, возможно, сумею им помочь, только бы мне выбраться отсюда! А ты — тебе нужно учиться, Гарри, ты старайся изо всех сил — учись и учись. И уходи из Черри-гарденс. Никогда не пей вина. Капли в рот не бери. Не кури — кому это нужно? Пробивайся наверх, там легче. Легче, поверь. Работай, Гарри, читай. Учи французский — когда я приеду к тебе в гости, мы с тобой поговорим по-французски.

— Ты будешь учиться французскому? Ты собралась во Францию?

— Нет, не во Францию. Еще дальше. Но ни слова, Гарри. Ни полсловечка. А мне бы так хотелось все тебе рассказать... Не могу. Нельзя. Я обещала. Нужно быть верной слову. В жизни только это и нужно: любить и

хранить верность... А все-таки жаль, мама не дала мне сегодня помочь ей с посудой, в последний-то вечер. Она меня ненавидит. А после еще и не так возненавидит... Интересно, засну я сегодня или проплачу до утра... Побежали до товарной, Гарри, кто быстрее? А потом — домой.

5

На другой вечер Фанни не вернулась с работы. Шли часы, и по мере того, как в доме нарастала тревога, я все отчетливее представлял себе истинные размеры бедствия, свалившегося на нашу семью.

Сарнак помолчал и усмехнулся.

— Удивительно неотвязное сновидение! Я до сих пор как бы наполовину Гарри Мортимер Смит и только наполовину Сарнак. Я и сейчас не только вспоминаю юного английского варвара Смутной эпохи, но еще и чувствую, что он — это я. А между тем я подхожу к моей истории с современной точки зрения и рассказываю ее голосом Сарнака. Под этим щедрым солнцем... Сон ли это в самом деле? Никак не верится, что я вам рассказываю всего лишь сон.

— Нисколько не похоже на сон,— подхватила Уиллоу.— Это быль. А как по-вашему: сон это или нет?

Санрей покачала головой.

— Рассказывай, Сарнак. Что б это ни было, продолжай. Значит, Фанни ушла из дому — и как же вели себя остальные члены семьи?

— Вы должны учесть,— сказал Сарнак,— что они, бедняги, жили в эпоху такого отчаянного гнета, какой сейчас даже вообразить невозможно. Вы вот считаете, что у них были свои — несхожие с нашими — представления о любви, о проблемах пола, о долге. Нас ведь так учат: у них были понятия, но не такие, как у нас. Знайте же, что это неверно. Никаких четких, продуманных понятий у них не имелось вообще. Был страх, было «табу», запрет, было невежество. Любовь, физическая близость представлялись им чем-то вроде заколдованного леса из сказки, куда и шагу ступить нельзя. А Фанни ушла в этот лес, мы только не знали, далеко она ушла или нет.

Да, то был для нашего семейства тревожный вечер, и тревога эта постепенно разрасталась в панику. Видимо,

в минуты нравственного потрясения именно так полагалось вести себя: бурно и безрассудно.

Мать стала проявлять признаки беспокойства примерно в половине десятого.

— Сказано ей было раз и навсегда,— ворчала она, будто бы сама с собой, но так, чтобы слышал и я.— Пора этому положить конец.

Она с пристрастием допросила меня, куда могла запропаститься Фанни. Не собиралась ли на набережную? Я ответил, что не знаю. Мать кипела от возмущения. Даже если Фанни пошла на набережную, она обязана к десяти быть дома. Никто не отправлял меня спать, хоть было пора, и я дождался, пока вернулись отец с дядей: значит, пивная уже закрылась. Не помню уж, зачем дядя пожаловал к нам, а не прямо домой — впрочем, это было делом обычным. Они уже и так были в достаточно мрачном расположении духа, и тревожная весть, которой их встретила бледная от волнения матушка, повергла обоих в еще большее уныние.

— Мортимер,— сказала мать.— Твоя любезная доченька хватила через край. Пол-одиннадцатого, а ее нет как нет.

— Да ведь я сколько раз ей говорил, чтобы к девяти была дома!

— Стало быть, мало,— наседала мать.— И вот плоды, любуйся!

— Сто раз я ей говорил,— повторил отец.— Сто раз...— Потом он то и дело вставлял в разговор эту фразу, пока ее не сменила другая.

Дядя вначале был немногословен. Утвердившись по обыкновению на каминном коврике, сшитом отцовскими руками, он стоял, слегка покачиваясь, изредка икал, вежливо прикрывая рот ладонью, морщил лоб, переводил взгляд с одного собеседника на другого и, наконец, провозгласил свое суждение.

— С девчонкой что-нибудь случилось,— объявил дядя.— Попомните мое слово.

Пру, той во всем мерещились кошмары.

— Наверное, несчастный случай,— прошептала она.— Может быть, задавили на улице.

— Говорил я ей,— сказал отец.— Сколько раз говорил...

— Если несчастный случай,— глубокомысленно заметил дядюшка,— значит, того... значит, что-нибудь могло случиться.— И он повторил уже увереннее и громче: — Что угодно могло!

— Спать пора, Пру,— сказала мать.— Давным-давно. И тебе тоже, Гарри.

Моя сестрица с несвойственным ей проворством вскочила и вышла из комнаты. Наверное, она уже догадалась, что нужно проверить, на месте ли вещи Фанни. Я остался.

— Может, несчастный случай,— значительно заметила мать,— а может, и нет. Бывает и похуже...

— Ты что этим хочешь сказать, Март? — спросил дядя.

— Ничего. У меня с этой девкой давно душа не на месте. Бывает кое-что похуже несчастных случаев.

Я весь превратился в слух.

— Ступай в постель, Гарри,— приказала мать.

— Что делать? Проще простого,— продолжал дядя, качнувшись вперед на носках.— Звонить в больницы. В полицию. В «Веллингтоне» есть телефон. Старина Кроу еще, небось, не ложился. Позвонит. Для хороших клиентов сделает. Несчастный случай, попомните мои слова.

И тут на верхней ступеньке опять возникла Пру.

— Мама! — позвала она громким шепотом.

— Сию минуту в кровать, мисс,— отозвалась мать.— Мало мне без тебя забот?

— Мама же,— настойчиво повторила Пру.— Знаешь Фаннин старенький чемоданчик?

В глазах у всех мелькнула одна и та же догадка.

— Его нигде нет,—продолжала Пру.—Двух шляпок, самых лучших, и белья, и того ее платья — ничего.

— Значит, она их забрала! — заключил отец.

— И себя в придачу,— добавила мать.

— Сто раз я ей говорил...

— Сбежала! — раздался вопль матери.— Осрамила! Опозорила! Сбежала из дому!

— Попалась кому-то в лапы,— сказал отец.

Мать как подкошенная опустилась на стул.

— Это за все мои старания! — всхлипнула она.— И ведь есть порядочный человек — хоть сейчас женился бы! Сколько для нее спину гнули, себе отказывали, сколь-

ко заботились, предупреждали, а она чем отплатила? Стыд и позор на наши головы! Убежала! И пришлось же мне дожить до такого дня! Фанни!

Внезапно она вскочила и бросилась наверх, чтобы убедиться, правду ли говорит Пру. Я весь сжался, стараясь стать как можно незаметнее, из страха, как бы кто-нибудь случайным вопросом не обнаружил, что в семейной трагедии есть доля и моего участия. Но идти спать не хотелось: мне было интересно дослушать до конца.

— Может, мне по дороге домой стоит зайти в полицейский участок? — спросил дядя.

— Полиция! — пренебрежительно бросил отец.— Какой в ней толк, в полиции? Ну, попадись он мне в руки, этот мерзавец, я бы ему показал полицию! Опозорить меня и мой дом! Полиция! От меня Фанни увели, мою доченьку Фанни! Обманули, опутали, увели, а он — полиция!.. Стоп, не горячиться... Да, Джон. Ты зайди в участок и заяви. Тебе по пути. Заяви от моего имени. Я все переверну вверх дном, лишь бы она была снова дома.

Появилась мать, еще бледнее прежнего.

— Все так,— доложила она.— Ушла. И след простыл. Мы с вами остались на стыд и на позор, а она сбежала.

— Знать бы с кем — вот главное,— сказал отец.— С кем сбежала? Гарри, она тебе, случаем, не попадалась с кем-нибудь? Никто возле нее не увивался? Знаешь, продувной какой-нибудь франтик, щелкопер? Не замечал?

Я сказал, что нет.

Зато Пру успела накопить целый ворох улик. Она дала волю своему красноречию. Примерно неделю назад она видела, как Фанни возвращалась из Клифстоуна с каким-то мужчиной. Ее они не заметили, потому что были слишком увлечены своим разговором. О внешности этого мужчины из ее слов можно было получить весьма смутное представление, причем ее описания главным образом относились к его одежде. На нем был синий саржевый костюм и серая фетровая шляпа. По виду «вроде бы джентльмен». Гораздо старше Фанни. Насчет усов Пру ничего определенного сказать не могла.

Показания сестрицы были прерваны сногсшибательным изречением, принадлежавшим моему отцу, из уст которого мне суждено было многократно выслушивать его в течение ближайшей недели.

— Лучше бы,— молвил отец,— она умерла у меня на глазах. Мне бы в тысячу раз легче видеть ее мертвой!

— Бедненькая,— сказал дядя.— Это ей будет горький урок. И какой еще горький! Бедная девочка! Бедненькая Фанни!

— Бедненькая?! — злорадно подхватила мать, которая, как я вижу, подходила к этой истории с совершенно особой точки зрения.—Как бы не так! Она себе там разгуливает, задрав нос, со своим распрекрасным джентльменом, вся разодета да разукрашена, ей рестораны и вино, ей и цветы и платья — все! Ее и туда и сюда, ее и в театры и кататься! И все напоказ! Стыд какой! А мы здесь сноси обиды и позор! Соседи начнут спрашивать— что им ответить? Как людям в лицо посмотреть? А мистер Кросби? Как я ему в глаза погляжу? Человек на колени был готов перед ней встать и молиться на нее. При его-то солидной комплекции! Что ни попросит, все бы ей дал — если, конечно, на дело... И что такого он в ней нашел, никак не пойму. Да вот нашел, значит. Так с каким же лицом я теперь к нему пойду, как скажу, что я его обманула? Сколько раз, бывало, говорю ему: «Вы погодите, не торопитесь. Вы только обождите, мистер Кросби!» А она — вот тебе: сбежала! Ох, и хитра же, дрянь, и спесива, все себе на уме!

Визгливые причитания матери перекрыл зычный бас отца:

— Лучше бы ей лежать мертвой у моих ног!

Я больше не мог. Я должен был заступиться. И тут, хоть и не полагается в тринадцать лет, я расплакался.

— Откуда вы знаете! — выговорил я сквозь слезы.— А если Фанни задумала выйти замуж? Вы-то откуда можете знать?

— Замуж? — вскричала мать.— С чего бы ей тогда уходить? Если замуж, так кто ей мешал привести его домой, познакомить с нами, все честь честью? Что же ей, отец с матерью нехороши, дом родной нехорош, что понадобилось тайком венчаться? Иди, пожалуйста, венчайся у святого Иуды, чинно, благородно, при отце

с матерью, при дяде, при всей родне, белые розетки, и карета, и все, как надо... Я и сама вот как рада бы поверить, что замуж. Да какое там!

Дядя тоже безнадежно покачал головой.

— Лучше б ей умереть у меня на глазах! — опять возгласил отец.

— Она вчера молилась на ночь,— объявила Пру.

— Вчера? — оскорбленно переспросил дядюшка.— Разве не каждый вечер?

— На коленях — не каждый,— объяснила Пру.— А вчера вечером она стояла на коленях долго-долго. Она думала, я сплю, а я все видела.

— Дело скверно,—заметил дядя.—Знаешь что, Смит, это скверное дело. Молилась на коленях... что-то мне это не нравится. Дурной признак. Мне не нравится.

Но тут нас с Пру решительно и бесповоротно прогнали спать.

Долго еще не смолкали голоса внизу; потом все трое поднялись в лавку и стояли у порога: никак не могли распрощаться с дядюшкой; но о чем они говорили, мне уже было не разобрать. Помню только, что меня вдруг осенила блестящая идея, внушенная, бесспорно, последним свидетельским показанием Пру. Я соскочил с кровати, бухнулся на колени и зашептал:

— Господи боже! Будь добр, обойдись помягче с моей Фанни... Господи! Не будь к ней суров! Я точно знаю, что она собирается замуж. На веки веков. Аминь.

Заручившись, если можно так выразиться, поддержкой самого господа бога, я почувствовал, что у меня чуточку отлегло от сердца, юркнул снова в постель и вскоре уснул.

Сарнак замолчал.

— Как-то все странно,— заметила Уиллоу.

— Тогда это казалось вполне естественным.

— Этот колбасник был, очевидно, омерзительным существом,— сказала Файрфлай.— Почему же они ничего не имели против него?

— Потому что в те дни придавали такое значение свадебной церемонии, что все прочее отступало на задний план. Я его прекрасно знал, этого Кросби. Это был льстивый враль, с хитрой багровой рожей и толстыми

красными ушами, лысый и толстобрюхий. Сейчас таких уж не осталось на свете. Чтобы представить себе, как он выглядел, вспомните какую-нибудь фантастическую и непристойную фигуру со старинных карикатур. В наше время соединить жизнь девушки с подобной личностью было бы все равно, что выдать ее замуж за грязного и похотливого зверя. Но мои родители не видели в этом ничего дурного. Мать, как я подозреваю, была бы только рада отдать Фанни на поругание. Ей самой минуты физической близости с мужем, безусловно, принесли немало унижений: в старом мире эта сторона жизни представляла собою сложное переплетение грубости, невежества и тайного стыда. Кроме матери, которая не пыталась скрыть свое враждебное отношение к Фанни, никто из нас не обнаружил во время этой бурной сцены даже тени искреннего простого чувства— и уж тем более способности здраво рассуждать. Мужчины и женщины в те дни были далеко не так безыскусственны и просты, как мы; это были нелогичные, противоречивые, поразительно сложные существа. Знаете, какие старческие, морщинистые мордочки бывают у обезьян, даже молодых? Вот и мы, дети Смутной эпохи, еще в колыбели состарились и одряхлели душой, так сумбурна и безалаберна была окружающая нас жизнь. Даже я, мальчишка, ясно видел, что отец все время ломается, играет роль, которую, по его представлению, ему надлежало играть. Ни разу после ухода Фанни отец — был ли он пьян или трезв — даже не попробовал разобраться (а тем более — сказать вслух), каковы его истинные чувства. Он просто боялся. В тот памятный вечер мы все притворялись — все до одного. И все боялись что-нибудь предпринять. Поэтому каждый из нас, всяк на свой лад, старательно разыгрывал роль оскорбленной добродетели.

— Боялись? Но чего? — спросил Рейдиант.— Зачем вам было притворяться?

— Не знаю. Боялись, что осудят люди. Боялись из стадного чувства. Привыкли бояться. Привыкли сдерживать естественные побуждения.

— Почему их не устраивало, что у нее будет настоящий возлюбленный? — спросила Файрфлай.— Чем была вызвана вся эта буря, не понимаю.

— Они полагали, и вполне справедливо, что он не собирается жениться на Фанни.

— А что это был за человек?

— Мне довелось увидеть его лишь много лет спустя. Я еще буду говорить о нем — все в свое время!

— Он был... таким, какого можно полюбить?

— Фанни его любила. Она имела все основания его любить. Он заботился о ней. Дал ей образование, о котором она так страстно мечтала. Он сделал ее жизнь содержательной и интересной. По-моему, это был честный и милый человек.

— Они по-настоящему привязались друг к другу?

— Да.

— Тогда отчего ему было не жениться на ней, раз уж так полагалось?

— Оттого, что он уже был женат. Супружество ожесточило его. Брак многим приносил страдания. Его обманули. Его женила на себе женщина, которая прикинулась влюбленной, чтобы прибрать к рукам его самого и его состояние, и он раскрыл обман.

— Открытие, не требующее особой проницательности,— заметила Файрфлай.

— Отнюдь.

— Почему же они не развелись?

— Чтобы добиться развода, требовалось согласие обеих сторон. А она не желала выпускать его из рук. Она присосалась к нему, как клещ, обрекая его на одиночество. Будь он беден, он, может статься, попытался бы прикончить ее, но он как раз принадлежал к тем людям, которые умеют добиваться успеха. Он был богат. Богатые пренебрегали узами брака, позволяя себе такие вольности, о которых бедняки не смели и помышлять. А этот, насколько я могу судить, был к тому же человек страстный, увлекающийся, деятельный. Одному богу известно, что было у него на уме, когда ему встретилась Фанни. Он «подцепил» ее — ходило такое презрительно-небрежное словечко в те дни. Мимолетные, непрочные связи возникали тогда на каждом шагу. Обычно они не сулили ничего доброго, но этот случай оказался исключительным. Пожалуй, им обоим одинаково повезло, что они встретились. Фанни, знаете ли, была из тех, с кем невозможно лукавить. Она была

чутка и бесхитростна — твердая, чистая, как лезвие клинка. Оба стояли на краю бездны. Ее подстерегала ужасная судьба, а ему оставалось недалеко до распутства, до полного нравственного падения. Но я не могу углубляться в историю Фанни. Потом она, вероятно, вышла за него замуж. Во всяком случае, они собирались жениться. В конце концов та, другая женщина каким-то образом дала им эту возможность...

— Отчего ты не знаешь наверное?

— Потому что раньше, чем это произошло, меня застрелили. Если это произошло вообще...

6

— Нет! — вскричал Сарнак, жестом останавливая вопрос, готовый сорваться с губ Уиллоу.— Мне никогда не кончить, если вы будете прерывать меня расспросами. Итак, я говорил о буре невзгод, разоривших наше гнездо в Черри-гарденс.

Не прошло и трех недель после бегства Фанни, как погиб отец. Смерть настигла его по пути из Клифстоуна в Черри-гарденс. Некий юный джентльмен по имени Уикершем, владелец автомобиля с бензиновым двигателем, которые только начинали тогда входить в употребление, гнал домой на полном ходу: отказали тормоза, как он объяснил потом следователю, и он опасался несчастного случая. Отец шел с дядей по тротуару и по обыкновению ораторствовал. Убедившись, что тротуар слишком тесен и для его жестов и для темы его монолога, он вдруг сошел на проезжую часть дороги. Здесь на него наехал сзади автомобиль и сшиб с ног. Он был убит на месте.

На дядю гибель моего отца произвела глубокое впечатление. Несколько дней он был задумчив и трезв и даже пропустил скачки. Он принимал самое деятельное участие в организации похорон.

— Одно можно сказать наверное, Март,— говорил он матери.— Смерть не застигла его врасплох. Он был готов. Это уж, во всяком случае, можно сказать. Он умер с именем провидения на устах. Как раз когда его сшибло с ног, он говорил о том, какие тяжкие испытания выпали ему на долю.

— Не ему одному,— вставила мать.

— Я, говорит, знаю, что это мне ниспослано в назидание, хоть и не могу точно сказать, какой именно в этом кроется урок. Только, говорит, как оно ни обернись: хорошо ли, плохо ли,— а все, что ни делается, непременно к лучшему...

Дядя выдержал трагическую паузу.

— И тут его как раз сшибло автомобилем,— дополнила картину мать.

— Тут и сшибло,— кивнул дядюшка.

ГЛАВА IV

ВДОВА СМИТ ПЕРЕБИРАЕТСЯ В ЛОНДОН

1

— В те дни,— сказал Сарнак,— мертвых обычно клали в гроб и хоронили в земле. Изредка покойников сжигали, но это было еще внове и не вязалось с религиозными, но, в сущности, весьма земными воззрениями тех времен. Следует помнить, что в ту эпоху люди все еще чистосердечно верили учению, которое провозглашает «воскресение усопших и вечную жизнь». В сознании человека из народа — я говорю о странах Европы — был по-прежнему жив Древний Египет с его дремлющими мумиями. Да и сами христианские верования в известном смысле не отличались от египетских. Как выразился однажды отец, коснувшись в одном из своих устных трактатов вопроса о кремации: «Может получиться малость конфузно при воскресении из мертвых. Вроде как на свадьбе без приличного подвенечного наряда... Хотя, если, к примеру, акулы... (переходы в рассуждениях моего отца бывали иной раз несколько внезапны). Или кого растерзали львы. Многие славные христианские мученики были во время оно растерзаны львами... Им-то наверняка возвратят тела... А если дают одному, почему не дать другому? — Отец устремил на меня вопрошающий взгляд кротких и огромных под стеклами очков глаз.— Да, сложный вопрос»,— заключил он.

Как бы то ни было, когда очередь дошла до него самого, никто не стал поднимать вопроса о кремации. Его свезли на кладбище в особых похоронных дрогах со специальным помостом спереди для гроба. Сюда же сели и Пру с матерью, а мы с дядей и старшим братом Эрнстом, приехавшим из Лондона ради такого события, пошли пешком и, подождав их у кладбищенских ворот, проводили гроб до свежей могилы. Все мы были в черном и даже, несмотря на нашу ужасающую бедность, в черных перчатках.

— Не пришлось бы мне в этом году наведаться сюда еще раз,— мрачно заметил дядя.— Если у Эделейд и дальше пойдет в том же духе...

Эрнст молчал. Он не любил дядю и, видимо, что-то замышлял против него. С первой же минуты своего приезда он дал понять, что дядино присутствие в доме его не устраивает.

Вскоре дядя несколько оживился.

— Говорят,— сказал он,— что похороны — к счастью. Надо смотреть в оба, может, и мне улыбнется удача...

Эрнст продолжал хранить все то же угрюмое молчание.

Вслед за могильщиками, несущими гроб, мы маленькой процессией направились к кладбищенской часовне. Впереди выступал мистер Снейпс в церковном облачении. Он начал читать молитву. Раздались слова, прекрасные, хватающие за сердце, слова о чем-то неведомом и далеком:

— Я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет... Знаю, искупитель мой жив и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию... Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, господь и взял, да будет имя господне благословенно!

Я вдруг забыл о неладах между дядей и Эрнстом. На меня нахлынула нежность к отцу и горечь утраты. Мне как-то сразу припомнились бесчисленные и неуклюжие проявления его доброты, я понял, как одиноко мне будет без него. Я вспомнил наши милые воскресные прогулки — весною, погожими летними вечерами, зимой, когда схваченные инеем живые изгороди на равнине

четко рисовались каждой своею веточкой... Вспомнил я бесконечные нравоучительные рассуждения о цветах и кроликах, горных склонах и далеких звездах... И вот теперь отца нет. Никогда мне больше не слышать его голоса, не видеть его добрых старых глаз, таких неправдоподобно огромных за стеклами очков. Никогда уж я не скажу ему, как я его люблю. А ведь я ни разу не говорил ему об этом. Я и сам до сих пор не догадывался, что люблю его. А сейчас он лежит в гробу, недвижимый, безмолвный и покорный. Отверженный... Судьба обошлась с ним круто. Она гнула его вниз, не давая выпрямиться. С недетской прозорливостью я внезапно увидел — отчетливо, как сейчас,— каким сплетением мелочных унижений, обманутых надежд и падений была его жизнь. Мне стало бесконечно жаль этой загубленной жизни. Скорбь овладела мною. Спотыкаясь, брел я за гробом и плакал. Я с трудом сдерживался, чтобы не зарыдать в голос...

2

После похорон между дядей и Эрнстом разразился ужасающий скандал из-за того, как устроить дальнейшую судьбу моей матери. Зная, что тетя Эделейд уже все равно человек конченый, дядя предложил, что продаст бо́льшую часть своей обстановки, войдет в зеленное «дело» со своим капиталом и переедет жить к сестре.

На это брат заявил, что зеленная торговля — гиблое дело, что матери следует купить в Клифстоуне подходящий домик и сдавать комнаты внаем. А Пру ей будет «отличной подмогой». Дядя сначала спорил, но постепенно стал тоже склоняться к этой идее, при условии, что и ему перепадет какая-то доля дохода. Но тут запротестовал Эрнст, довольно грубо спросив, какой от дяди может быть прок для хозяйки меблированных комнат.

— Не говоря уж, что вы сроду не вставали раньше десяти,— присовокупил он, хотя откуда он это знал, так и осталось невыясненным.

Эрнст жил в Лондоне, работая шофером в гараже проката автомобилей помесячно или сдельно, и успел незаметно растерять все почтение к высшим классам. Величие сэра Джона Ффренч-Катбертсона «по-джулип-

ски» не производило на него ровным счетом никакого впечатления.

— Чтобы моя мать стала на вас работать, ходить за вами, как прислуга,— этого вам не дождаться, будьте покойны,— заявил он.

Пока шла эта перепалка, матушка вместе с Пру расставляли холодную закуску: в те дни принято было скрашивать похоронный обряд угощением. На столе появились холодная курица, ветчина. Дядя покинул свой наблюдательный пост на отцовском каминном коврике, и все мы принялись за редкостные яства.

Холодная курица и ветчина послужили поводом для кратковременного перемирия между дядей и Эрнстом. Но вот дядюшка перевел дыхание, осушил до дна свою кружку пива и вновь открыл дебаты.

— Знаешь, Март,— молвил он, ловко поддевая вилкой картофелину из миски,— по-моему, и тебе не мешает иметь какой-то голос, когда речь идет о твоей судьбе. Мы тут с этим лондонским молодчиком малость повздорили насчет того, чем тебе заняться.

По лицу матери, которое под вдовьим чепцом казалось еще более бескровным и напряженным, я догадался, что она твердо рассчитывает иметь голос в этом вопросе, и не «какой-то», а решающий. Но не успела она раскрыть рот, как ее опередил братец Эрнст.

— Значит, так, мать. Чем-то тебе все равно надо заняться, верно?

Мать подалась было вперед, чтобы ответить, но Эрнст истолковал ее жест как знак согласия и продолжал:

— Стало быть, естественно, встает вопрос: какое занятие тебе под силу? И, опять же естественно, напрашивается ответ: пустить жильцов. Лавку ты содержать не можешь, это — неподходящее дело для женщины, поскольку здесь надо гири поднимать, и уголь, и все такое.

— Плевое дело при том, что рядом есть мужчина,— сказал дядя.

— Если б *мужчина*, тогда, конечно,— с ядовитым сарказмом парировал Эрнст.

— То есть? — холодно поднял брови дядюшка.

— То и есть, что сказано,— ответил Эрнст.— Ни больше, ни меньше. Так вот, мать, если хочешь меня послушать, сделай вот что. Завтра с утра пораньше ступай в Клифстоун и высмотри себе подходящий домишко — не так чтобы маленький, но и не очень большой. Чтоб и жильцов было где разместить, но и тебе не слишком надрываться. А я схожу потолкую с мистером Булстродом насчет того, чтобы расторгнуть договор об аренде. Тогда будет видно, что и как.

Мать снова попыталась вставить словечко, и ей опять не дали.

— Если ты вообразил, что я позволю с собой обращаться, как с пустым местом,— заявил дядя,— ты очень и очень ошибаешься. Понятно? А ты, Март, слушай, что я скажу...

— Закройтесь вы! — оборвал его брат.— Мать — это перво-наперво моя забота.

— Закройтесь?! — эхом подхватил дядюшка.— Ну, воспитание! И это на похоронах! И от кого — от мальчишки втрое моложе меня, от бесшабашного пустослова, молокососа несчастного. Закройтесь! Это ты закройся, милый мой, да послушай, что говорят другие, кто в жизни смыслит чуть побольше тебя. Забыл, видно, как получал от меня подзатыльники? И еще сколько раз! Забыл, как я тебе всыпал горячих, когда ты воровал персики? Да что-то мало толку! Видно, шкуру надо было с тебя спустить! Всегда мы с тобой не очень-то ладили и, если не прекратишь грубиянить, не поладим и теперь...

— А раз так,— со зловещим спокойствием проговорил Эрнст,— то чем скорей вы отсюда уберетесь, тем лучше. И для вас и для нас.

— Как же! Доверю я тебе, щенку, дела своей единственной сестры!

Мать снова попробовала что-то сказать, но ее и на этот раз заглушили сердитые голоса.

— А я вам говорю, выкатывайтесь отсюда! Может, вам трудно выкатиться своим ходом? Тогда придется подсобить. Предупреждаю!

— На тебе ж траур надет, опомнись! — вмешалась мать.— Разве можно, в трауре? И потом...

Но оба так разошлись, что и не слышали ее.

— Скажите, как распетушился! — кипел дядюшка.— Вы не очень испытывайте мое терпение, молодой человек. С меня довольно.

— С меня тоже,— сказал Эрнст и встал.

Дядя тоже встал, и оба злобно уставились друг на друга.

— Дверь вон там! — угрожающе произнес Эрнст.

Дядя повернулся и подошел к своему излюбленному месту на каминном коврике.

— Ну ладно, не будем ссориться в такой день,— сказал он.— Если тебе мать нипочем, так хоть из уважения к покойному. Я ведь просто чего добиваюсь,— устроить, чтобы всем было лучше. И опять-таки говорю: содержать меблированные комнаты в одиночку, без мужской помощи — это дурацкая затея, нигде такого не видано. Только олух, щелкопер зеленый...

Эрнст подошел к нему вплотную.

— Будет, поговорили,— сказал он.— Это — дело наше с матерью, и точка. А ваше дело — танцуй отсюда. Ясно?

Снова мать попыталась заговорить, и снова ее перебили.

— Сейчас пойдет мужской разговор, мать,— объявил ей Эрнст.— Ну, дядя, как: двинетесь вы с места, нет?

Дядя не дрогнул перед лицом угрозы.

— Мой долг — подумать о сестре...

И тут, как ни прискорбно сознаться, мой брат Эрнст применил рукоприкладство. Одной рукой он схватил дядю за шиворот, другой — за запястье, две фигуры в черном качнулись вперед, назад...

— Пус-сти,— прохрипел дядя.— Пусти воротник...

Но Эрнста уже нельзя было остановить: он возжаждал крови. Мы с матерью и Пру так и оцепенели.

— Эрни! — всплеснула руками мать.— Опомнись...

— Порядочек, мать,— отозвался Эрни и, рванув дядю с каминного коврика, круто повернул вокруг себя и поставил у нижней ступеньки лестницы. Затем, выпустив руку своего противника, он ухватился за черные брюки, туго обтягивающие дядюшкин зад, и, приподняв дядю Джулипа с земли, подталкивая сзади, поволок его вверх по лестнице. Дядюшкины руки отчаянно

заболтались в воздухе, будто цепляясь за утраченное достоинство.

Я успел поймать дядин взгляд, прежде чем голова его скрылась в проеме. Видимо, он искал глазами шляпу. Он уже почти не отбивался.

— Отдай ему, Гарри,— велела мне мать.— И вот еще перчатки.

Я взял у нее черную шляпу, черные перчатки и шаг за шагом стал подниматься вслед за сплетением грузных тел. Оглушенный и притихший, дядя был выставлен на улицу через парадную дверь и стоял теперь, отдуваясь и таращa глаза на моего брата. Воротничок у него болтался на одной запонке, черный галстук съехал набок. Эрнст тяжело перевел дух.

— А теперь катитесь отсюда и больше не суйтесь не в свои дела.

Эрни вздрогнул и обернулся: это я протиснулся в дверь мимо него.

— Возьмите, дядя.— Я протянул шляпу и перчатки.

Он взял их машинально, по-прежнему не отрывая глаз от Эрнста.

— И это тот самый мальчик, которого я когда-то научил быть честным! — с глубокой обидой проговорил дядюшка, обращаясь к брату.— По крайней мере старался научить... Не тебя ли, презренный червяк, я вскормил у себя на огородах, не ты ли видел от меня столько добра! Так вот она, твоя благодарность!

Несколько мгновений он пристально изучал зажатую в руке шляпу, как будто не узнавая этот странный предмет, а затем, словно по счастливому наитию, нахлобучил ее на голову.

— Да поможет бог твоей бедной матери! — заключил дядя Джон Джулип.— Да поможет ей бог.

Больше он ничего не сказал. Он поглядел в одну сторону, затем в другую и, будто нехотя, побрел туда, где находилась пивная «Веллингтон». Вот таким-то образом в тот день, когда мы похоронили отца, и был вышвырнут на улицы Черри-гарденс будущий вдовец, обездоленный, до слез жалкий человечек — мой дядюшка Джон Джулип. До сих пор так и стоит у меня перед глазами эта уходящая потрепанная черная фигурка. Даже спина его — и та выражала растерян-

ность. Трудно поверить, чтобы человек, которого никто не бил, мог иметь такой побитый вид... Больше я его никогда не встречал. Я не сомневаюсь, что он поплелся со своею обидой прямехонько в «Веллингтон» и напился там до потери сознания, не сомневаюсь и в том, что ему при этом все время мучительно недоставало отца...

Эрнст с задумчивым видом спустился назад в кухню. Он явно хватил через край, и ему уже было слегка неловко. Вслед за ним, соблюдая почтительную дистанцию, сошел вниз и я.

— Зачем же ты так, разве можно? — напустилась на него мать.

— А какое он имеет право? Навязался тебе на шею: ты его и корми и ходи за ним!

— Ничего бы не навязался. Ты, Эрни, всегда так: разойдешься, и удержу тебе нет...

— А-а, никогда я этого дядю не обожал,— пробурчал Эрни.

— Ты когда разойдешься, Эрни, тебе все нипочем,— повторила мать.— Мог бы вспомнить, что он мне брат.

— Хорош братец! — фыркнул Эрни.—А воровать — это от кого повелось? А отца, беднягу, кто приучил к пивной да к скачкам?

— Все равно,— настаивала мать.— Ты не имел права с ним так поступать. Отец, бедный, в гробу еще не остыл, а ты...— Она всплакнула. Потом достала носовой платок с траурной каймой и отерла глаза.— Я-то мечтала, хоть похороны ему, бедненькому, хорошие справим — что хлопот, что расходов! И все ты испортил. Никогда уж мне теперь не будет приятно вспомянуть этот день — никогда, хоть целый век проживу. Только то и запомнится, как ты своему же отцу испортил все похороны — накинулся на родного дядю!

Эрнсту нечем было ответить на эти упреки.

— А что он лезет наперекор? Да еще слова какие...— слабо оправдывался он.

— И ведь главное — зря это. Я же тебе все время старалась сказать: можешь обо мне не беспокоиться. Не нужны мне твои меблированные комнаты в Клифстоуне. С дядей, без дяди — не нужны! Я еще в тот вторник написала Матильде Гуд, и мы с ней обо всем договорились. Все улажено.

— То есть как? — оторопел Эрнст.

— Ну, дом у нее этот, в Пимлико. Она уж давно себе ищет надежного человека в помощь: каково ей бегать вверх-вниз по лестнице с ее-то расширением вен! Как я ей написала, что отец, бедный, скончался, так она мне тут же пишет: «Пока,— говорит,— у меня есть хоть один жилец, тебе нечего тревожиться насчет крова. Тебя и Пру,— говорит,— приму с радостью как долгожданных помощниц, да и малому здесь нетрудно найти работу — гораздо легче, чем в Клифстоуне». Я все время тебе старалась сказать, пока ты мне тут прочил меблированные комнаты и все такое...

— Значит, все уж улажено?

— Ну да, улажено.

— Но ведь у тебя здесь кое-какая обстановка — как же с ней?

— Что продам, а что заберу с собой...

— Что ж, подходяще,— после короткого раздумья заключил Эрнст.

— Стало быть, не из-за чего нам было с дядей и это самое... ну... спор затевать? — спросил, помолчав, Эрнст.

— Из-за меня, во всяком случае, нет,— подтвердила мать.

Снова наступила пауза.

— Ну, а мы вот затеяли! — без малейших признаков сожаления объявил Эрнст.

3

— Если то, что мне приснилось, и вправду сон,— сказал Сарнак,— значит, это сон на редкость обстоятельный. Я мог бы перечислить вам сотни подробностей: как мы ехали в Лондон, как распорядились нехитрой обстановкой нашего домика в Черри-гарденс. И каждая такая подробность была бы наглядным свидетельством того, как удивительно непохожи были воззрения тех давних времен на теперешние.

Командовал сборами мой брат Эрнст. Он был распорядителен и вспыльчив, как порох. Чтобы помочь матери все уладить, он на неделю отпросился с работы. Среди прочего был, кажется, улажен и инцидент с дядей: мать уговорила противников «пожать друг другу

руки». Впрочем, подробности этого исторического события мне неизвестны, оно состоялось без меня, при мне о нем только вспоминали по дороге в Лондон. Я с удовольствием рассказал бы вам, как к нам приходил скупщик мебели, забравший у нас почти весь домашний скарб, в том числе и пресловутый красно-черный диван, и как он громко и ожесточенно препирался с братом из-за поломанной ножки дивана; как мистер Кросби предъявил счет, который, как думала мать, он давным-давно простил нам ради Фанни. С нашим домохозяином тоже не обошлось без осложнений, причем из-за какого-то имущества у Эрнста с мистером Булстродом дело едва не дошло до рукопашной. Мало того, мистер Булстрод возвел на нас поклеп, что мы, якобы, попортили стены его дома, и на этом основании запросил неслыханно высокую компенсацию за причиненный ущерб. Пришлось и его осадить самым решительным образом. Были какие-то неприятности и с доставкой одного из наших тюков, а когда мы прибыли на лондонский вокзал Виктория, Эрнсту понадобилось чуть ли не в драку вступить с носильщиком — вы читали, что такое носильщики? — чтобы тот обслужил нас как полагается.

Но описывать сейчас все эти забавные и характерные сценки я не могу: иначе весь наш отдых кончится раньше, чем моя история. Сейчас пора рассказать вам о Лондоне, этом огромном, а в те дни — крупнейшем в мире городе, с которым была отныне связана наша судьба. Именно в Лондоне суждено было разыграться всем дальнейшим событиям моей жизни, не считая почти двух с половиной лет, проведенных мною во время первой мировой войны в военных лагерях, во Франции и в Германии. Вы уже знаете, каким гигантским скопищем человеческих существ был Лондон; знаете, что в его границы радиусом в пятнадцать миль было втиснуто семь с половиной миллионов душ населения: людей, рожденных не ко времени, чаще всего обязанных своим появлением на свет лишь дремучему невежеству тех, кто их породил,— людей, пришедших в мир, не готовый к тому, чтобы их принять. Их согнала сюда, на эту невзрачную и глинистую землю, горькая необходимость — необходимость заработать на пропитание. Вам известно, какой страшной ценой заплатили они в конце кон-

цов за столь преступную скученность; вы читали о трущобах Вест-Энда, видели на старых кинолентах запруженные народом улицы, толпы зевак, собравшихся поглядеть на какую-нибудь нелепую церемонию, узкие, непригодные для городского транспорта улочки, забитые громоздкими автомобилями и понурыми лошадьми. Кошмарная теснота, духота, давка, грязь, невыносимое напряжение, зрительное, слуховое и нервное — таково, я полагаю, ваше общее представление о Лондоне. Его подкрепляют и те сведения, что мы получили в детстве на уроках истории.

Да, факты были действительно таковы, как нам их преподносят, а между тем я не припомню, чтобы Лондон хоть в малой степени вызвал у меня то удручающее ощущение, какого естественно было бы ожидать. Наоборот, мне живо запомнилось волнующее чувство острого любопытства, жадный интерес к этому неведомому и прекрасному миру. Нельзя забывать, что в своем удивительном сне я утратил способность подходить к явлениям с нашей меркой. Грязь и сутолока были для меня в порядке вещей; величие города, его бескрайний размах, своеобразная переменчивая, неуловимая красота поднимались передо мною из моря борьбы и лишений так же безмятежно, как поднимается серебристая березка из породившего ее болота.

Район Лондона, в котором мы поселились, назывался Пимлико. Он выходил к реке; в свое время здесь была пристань, у которой швартовались суда, приходившие через Атлантический океан из Америки. Слово «Пимлико» тоже явилось сюда на корабле вместе с прочим товаром — то было последнее живое слово исчезнувшего к тому времени языка алгонкинских индейцев. Потом исчезла и пристань, американские купцы были забыты, а словом «Пимлико» теперь назывался обширный, перерезанный множеством улочек жилой массив, состоящий из хмурых, грязно-серых домов. Часть помещения обычно занимал хозяин, остальная часть сдавалась внаем, хотя эти дома вовсе не предназначались под меблированные комнаты. Они были облицованы известковой массой, именуемой штукатуркой и создающей некое подобие каменной облицовки. В каждом доме был полуподвал, первоначально задуманный как помещение для при-

слуги, наружная дверь с портиком и несколько наземных этажей, к которым вела внутренняя лестница. Рядом с парадной дверью находился покрытый решеткой приямок для освещения полуподвальных комнат, выходящих на фасад.

Глазам прохожего улицы Пимлико представлялись бесконечной вереницей уходящих вдаль порталов, и за каждым из них ютилось человек десять обитателей — заблудших, ограниченных людей, не слишком чистоплотных, ущербных нравственно и духовно. Над серыми, закопченными постройками нависла дымная мгла или туман, сквозь который очень редко пробивался бесценный луч солнца. Здесь рассыльный из бакалейной или зеленной или уличный торговец рыбой просовывает обитателям подвала покупку сквозь решетку люка, там опасливо выглядывает из-под решетки кошачья мордочка (а кошек тут было великое множество), высматривая, не пробегает ли поблизости собака. Бредут по улице редкие пешеходы, проедет кэб, за ним — другой. Утром можно увидеть, как мусорщик опорожняет в фургон помойные баки и ящики (их выставляли на край тротуара, а ветер подхватывал и разносил отбросы во все стороны). Дворник в форменной одежде поливает мостовую из шланга... Унылая картина! — скажете вы. Нет, ничего подобного! Хотя мне вряд ли удастся объяснить вам почему. Я, во всяком случае, расхаживая по улицам Пимлико, думал, что здесь совсем неплохо и, уж разумеется, страшно интересно. Уверяю вас, что ранним утром, да еще на мой невзыскательный вкус, в шеренгах серых зданий было даже своеобразное величие. Впрочем, со временем я отыскал и кое-что получше: живые архитектурные гравюры в Белгравии и в районе Риджент-парка.

Надо сознаться, что от улиц и площадей, где стояли доходные дома, меня все-таки тянуло дальше: к магазинам и автомобилям или южнее — на набережную, к Темзе. Стоило только спуститься сумеркам, и меня сразу же влекло к ярким огням витрин и реклам, и—как ни странно вам будет это услышать—мои воспоминания об этих прогулках пронизаны красотой. Мы, дети эпохи перенаселения, обладали почти болезненной общительностью, необъяснимой потребностью быть на людях, мы

чувствовали себя увереннее среди толпы; в одиночестве нам было определенно не по себе. В моих лондонских впечатлениях непременно присутствует толпа: либо толпа — участник события, либо — событие на фоне толпы. Признаюсь, что во многом притягательная сила Лондона и мой особенный интерес к нему объяснялись именно этим. Наш мир уже не дает материала для столь многолюдных впечатлений. И все-таки они были прекрасны!

Взять хотя бы большой железнодорожный вокзал, расположенный примерно в полумиле от нашего дома! Перед ним на широкой привокзальной площади бурлила жизнь: здесь была стоянка наемных автомобилей и омнибусов; одни подкатывали к вокзалу, другие отъезжали. В поздние осенние сумерки на площади при вспышках фар двигались, сплетаясь, черные тени, загорались фонари, выхватывая из мглы бесконечный поток темных голов, подпрыгивающих в такт шагам: люди торопились на поезд. В пятнах света мелькали их лица и вновь пропадали во тьме. За площадью серо-коричневыми глыбами вставали вокзальные строения. Фасад огромного отеля, пронизанный тут и там светящимся окном, мерцал отраженными снизу огнями, а выше обозначались резкие, четкие контуры зданий на фоне угасающей синевы, ясного неба, спокойного и далекого. Бесчисленные звуки, летящие от людей и экипажей, сливались в густой, волнующий, бесконечно богатый оттенками гул. Даже в моем юном сознании эта картина будила безотчетную уверенность в гармонии и целесообразности происходящего.

Едва угасал беспощадно-резкий обличительный свет дня, как словно чудом хорошели в моих глазах улицы, где были расположены магазины. Многоцветные огни витрин, манящих пестрым разнообразием товаров, причудливыми отблесками плясали на тротуарах и мостовых, влажная поверхность которых после дождя или тумана переливалась драгоценными камнями. Одна из этих улиц, Люпус-стрит (не представляю себе, отчего ее назвали именем омерзительного кожного заболевания, теперь уж давным-давно исчезнувшего с лица земли [1]),

[1] Люпус — волчанка, туберкулез кожи (*англ.*).

находилась недалеко от нашего нового дома, и в воспоминаниях она до сих пор не утратила для меня своего романтического обаяния. При свете дня она имела на редкость убогий вид, ночью была пустынной и гулкой, зато в колдовские предвечерние часы расцветала черными, сияющими цветами. Густая толпа превращалась в скопище черных гномов, сквозь которое грузно прокладывали себе путь огромные блестящие омнибусы, эти корабли улиц, наполненные светом изнутри и отражающие брызги света.

Бесконечного очарования полны были берега Темзы. В зависимости от приливов и отливов уровень воды в реке то поднимался, то падал, поэтому берега были одеты гранитной набережной, обсаженной по краю тротуара платанами и освещенной большими электрическими фонарями на высоких столбах. Платаны были из тех немногих деревьев, которые не гибли в пасмурной лондонской атмосфере, но для перенаселенного города они тоже не очень подходили: от них разлетались по воздуху мельчайшие волоски, раздражавшие людям горло. Мне, впрочем, это было неизвестно, мне просто нравилось, что в ярком свете электрических фонарей тени от платановых листьев ложатся на тротуары восхитительным узором. Теплыми ночами, бродя вдоль реки, я глядел на них и не мог наглядеться, особенно когда ветви их трепетали, танцуя под изредка набегавшими порывами легкого ветерка.

По набережной Темзы можно было пройти несколько миль на восток от Пимлико мимо небольших почерневших причалов с качающимися масляными фонарями, мимо идущих по реке барж и пароходов, бесконечно таинственных и романтических в моем представлении. Сплошной стеною тянулись, сменяя друг друга, фасады зданий, такие разные, рассеченные тут и там стрелами людных улиц, выплескивающих на мосты яркие, мигающие огнями волны экипажей и автомобилей. По железнодорожному мосту над рекой проносились поезда, вплетая в нестройный шум города назойливый лязг и грохот, а паровозы изрыгали в темноту пронизанные искрами клубы дыма и багровые языки пламени. По этой набережной можно было дойти до знаменитых зданий Вестминстерского аббатства: нагромождения кам-

ня в ложноготическом стиле, над которым поднималась высокая часовая башня со светящимся циферблатом. В сумерках синеватая каменная громада собора преображалась в величавое чудо, торжественно застывшее на часах, вонзаясь в ночное небо острыми копьями шпилей. Здесь помещался парламент, в палатах которого среди всеобщего умственного застоя, характерного для той эпохи, облеченные видимостью мудрости и власти, вершили свой суд бутафорский король, подлая знать и мошенническим путем избранная свора законников, финансистов и авантюристов... За Вестминстером вдоль набережной выстроились большие серо-коричневые дворцы, особняки, спрятанные в глубине зеленых садов, а за ними — железнодорожный мост, на который с пригорка, немного отступя, вытаращились ярко освещенными окнами два огромных отеля. Перед ними чернел внизу не то пустырь, не то котлован — уж точно не помню,— они маячили над кромешной мглой, далекие и недоступные, как заколдованные замки. Здесь же торчал и непременный египетский обелиск, потому что в те времена всякая европейская столица, с честностью, достойной сороки, и оригинальностью, делающей честь обезьяне, украшала себя обелисками, похищенными из Египта. А еще дальше стояло лучшее и благороднейшее здание Лондона: собор святого Павла. Ночью его было не видно, зато ясным, безоблачным ветреным днем он был величественно прекрасен. Хороши были и мосты с великолепными арками из потемневшего от времени серого камня, впрочем, некоторые из них были так уродливы, что только ночь могла как-то скрасить их неуклюжие очертания.

— Я говорю и вспоминаю...— сказал Сарнак.— До тех пор, пока служба не отняла у меня досуг, жадное мальчишеское любопытство влекло меня все дальше, и я пропадал из дому по целым дням часто без крошки во рту или, когда заводилась мелочь в кармане, покупал где-нибудь в захудалой лавчонке стакан молока с булочкой за два пенса. Лондонские витрины казались мне чудом из чудес. Они и вам показались бы чудом, если бы вы увидели их. Они тянулись на сотни, а может быть, и тысячи миль. В небогатых кварталах попадались большею частью продуктовые лавочки да дешевенькие магазины готового платья; они быстро надоедали. Но были и

другие улицы: Риджент-стрит, Пикадилли, узенькая Бонд-стрит, Оксфорд-стрит! Здесь царило изобилие. Здесь была предусмотрена каждая прихоть счастливого меньшинства — тех, кто мог тратить, не считая. Вы не представляете себе, какое важное место в жизни тех людей занимало приобретение вещей — приобретение как самоцель. Их жилища были забиты грудами предметов, бесполезных как с декоративной, так и с чисто утилитарной точки зрения, — то были просто *покупки*. Каждый день женщины убивали время, делая покупки: вещи, платья, хлам столовый, хлам настенный, хлам, стоящий на полу... Никакого дела у них не было, заинтересоваться чем-нибудь серьезным они не могли, потому что были слишком невежественны — они не знали, чем себя занять. Покупки! Это была высшая награда в жизни, реальное содержание успеха. Покупки создавали ощущение благополучия. Подростком в худой одежонке шнырял я в этой толпе приобретателей, среди женщин, с ног до головы увешанных, окутанных бесчисленными покупками, среди раздушенных, накрашенных женщин. Красились они для того, чтобы иметь цветущий вид, и на подрумяненных лицах мертвенно белели густо напудренные носы...

Надо признать, что стародавняя привычка кутаться имела одно преимущество: в вечной сутолоке того скученного мира одежда предохраняла людей от непосредственного соприкосновения друг с другом.

Я пробирался сквозь эти улицы к востоку, на Оксфорд-стрит — здесь прохожие были одеты уже скромней — и дальше, в Хоуборн, где облик уличной толпы снова менялся. Чем дальше на восток, тем меньше места на витринах уделялось женщинам: на передний план выступал Молодой Человек. Чипсайд предлагал полный набор деталей, создающих из юноши в костюме Адама молодого человека двадцатого столетия. За стеклами витрин молодой человек был разобран на части с точным указанием цен: шляпа — пять шиллингов шесть пенсов, брюки — восемнадцать шиллингов, галстук — шиллинг шесть пенсов, рассыпные папиросы — десять пенсов унция, газета — полпенса, дешевый роман — семь пенсов. Снаружи, на тротуаре, его можно было лицезреть уже в собранном и подогнанном виде, с зажженной па-

пиросной в зубах, свято убежденного в том, что он представляет собою неповторимое и бессмертное творение природы и что мысли у него в голове — его собственного, оригинального производства. А за Чипсайдом лежал Кларкенуэлл с занятными лавочками, где не продавалось почти ничего, кроме старых ключей, поломанных часовых механизмов и прочего разрозненного хлама. Дальше шел район больших рынков: Лендхолл-стрит, Смитфилд, Ковент-гарден — необозримые груды сырого продукта. На Ковент-гарденском рынке продавались фрукты и цветы — невзрачные и чахлые, на наш взгляд, они казались в те дни роскошными, восхитительными. На Каледонском рынке люди, не моргнув глазом, покупали с бесчисленных тележек и тащили домой всевозможное старье: сломанные побрякушки, растрепанные книги с вырванными страницами, подержанное платье... Воистину край чудес для любопытных мальчишеских глаз!

Но довольно, я могу рассказывать про свой старый Лондон без конца, а вы ведь хотите узнать, что случилось дальше. Я пытался дать вам представление о колорите этого города, его безграничном размахе, о вечном кипении его жизни, о толпе, наводнявшей его улицы, о его мишурном блеске, о тысячах странных пленительных впечатлений, рожденных его переливающимися огнями и прихотливым непостоянством его облика. Даже его туманы — эти кошмарные туманы, о которых рассказывают книги,— были для меня полны романтики. Впрочем, что ж удивительного: ведь я переживал отрочество — возраст романтики. А туманы в Пимлико бывали густые. Обычно они спускались вязкой белесой пеленой, и тогда даже горящий рядом фонарь расплывался тусклым пятном. Люди возникали из небытия смутными силуэтами в шести ярдах от тебя, не сразу принимая человеческие очертания. Можно было выйти на улицу и заблудиться в двух шагах от собственного дома. Можно было выручить расстроенного шофера, шагая впереди в свете автомобильных фар и показывая ему, где кончается мостовая. Это один вид тумана — «сухой». Но было и много других. Например, желтоватая мгла вроде потемневшей бронзы, которая витала вокруг, не обволакивая, оставляя мир поблизости видимым и только покрывая его глубокими рыже-черными мазками. Или грязно-серая

промозглая изморось, то и дело перемежающаяся мелким дождем, наводящая зеркальный блеск на крыши и мостовые...

— И дневной свет! — не выдержала Уиллоу.— Ведь был же когда-нибудь обыкновенный дневной свет...

— Да,—задумчиво кивнул Сарнак.—И дневной свет. Временами бывали и в Лондоне благодатные, бархатные солнечные дни. Весной, например, или в начале лета, иногда в октябре. Солнце не припекало, а разливало в воздухе блаженное тепло, и город не горел в его лучах золотом, а светился топазами и янтарями. Выдавались и прямо-таки жаркие деньки, когда небо сверкало глубокой синевой, но такие бывали редко. А иногда — иногда бывал дневной свет без солнца...— Сарнак помолчал.— Да. Время от времени тусклый дневной свет срывал с Лондона все покровы, обнажая его подлинное лицо, его изъяны, грязь, жалкое убожество его архитектуры, кричащие краски грубо размалеванных рекламных тумб, подчеркивая дряблость нездоровых тел и мешковатые линии одежды...

То были дни правды: страшные, горькие дни. Когда Лондон не пленял более, но утомлял и раздражал, когда даже неискушенный подросток начинал смутно догадываться, что человеку предстоит еще пройти долгий и мучительный путь, прежде чем он обретет даже ту долю покоя, здоровья и мудрости, которой обладаем мы...

4

Сарнак внезапно оборвал свой рассказ и с коротким, похожим на вздох смешком поднялся на ноги. Он повернулся к западу; Санрей встала рядом с ним.

— С такими отступлениями я, пожалуй, никогда не доберусь до конца. Смотрите: еще десять минут — и солнце зайдет за гребень вон той горы. Сегодня мне уже все равно не досказать: я ведь еще и не подошел к главному.

— Нас ждет жареная дичь, сахарная кукуруза, каштаны,— сказала Файрфлай.— Форель, разные фрукты...

— И стаканчик золотистого вина? — подсказал Рейдиант.

— И стаканчик вина.

Санрей, молчаливая, поглощенная своими мыслями, вдруг очнулась.

— Сарнак, милый! — Она взяла его под руку.— Что случилось с дядей Джулипом?

Сарнак подумал.

— Не помню.

— А тетя Эделейд умерла? — спросила Уиллоу.

— Умерла. Вскоре после того, как мы уехали из Черри-гарденс. Помню, дядя сообщил нам об этом в письме. Мать еще, помнится, прочитала его вслух за завтраком — торжественно, как воззвание, и добавила: «Похоже, в ней все-таки и вправду сидела хворь». Да, уж если тетя Эделейд не была больна, стало быть, она достигла такого совершенства в искусстве симулировать, что ввела в заблуждение даже смерть. А вот о том, как отошел в вечность дядюшка, я никаких подробностей не помню. Наверное, он пережил мою мать, а после ее смерти весть о его кончине вполне могла и не дойти до меня.

— Ты видел чудеснейший в мире сон, Сарнак,— сказала Старлайт.— И я готова слушать до конца, ни разу не прерывая, а только все-таки жаль, что ничего больше не придется услышать про дядю Джона Джулипа.

— Такое забавное маленькое чудище,— улыбнулась Файрфлай.— Настоящий шедевр.

Остроконечные пики гор уже вонзались в расплавленный диск солнца, но путники не спешили уйти, глядя, как в последнем порыве стремительно скользят к вершинам тени. Потом, переговариваясь, вспоминая то одну, то другую подробность услышанного, шестеро стали спускаться к гостинице: пора было ужинать.

— Сарнака застрелили,—сказал Рейдиант.—А убийством пока и не пахнет. Нам еще слушать и слушать!

— Сарнак,— спросила Файрфлай,— может быть, тебя убили во время мировой войны? Неумышленно, а? По случайному стечению обстоятельств?

— Ничуть не бывало,— отозвался Сарнак.— Кстати сказать, убийством уже очень пахнет, просто Рейдиант не заметил. Но что поделаешь, я должен рассказывать, как умею...

За ужином друзья растолковали суть происходящего своему хозяину — управляющему гостиницей. Тот,

как водится, был человек простой и общительный, любитель повеселиться, и похождения Сарнака в мире сна позабавили и заинтересовали его. Он подтрунивал над нетерпением спутников Сарнака, говоря, что они ведут себя, как малыши в детском саду, которые ждут не дождутся, когда им расскажут сказочку на ночь. После кофе все вышли полюбоваться лунным сиянием, тающим в багряном зареве вечерней зари над краем гор, а потом управляющий позвал всех обратно в дом, подложил сосновых дров в жарко пылающий камин, разбросал перед ним подушки, принес десертное вино и потушил свет. Теперь можно было слушать хоть до утра.

Сарнак замечтался, глядя в огонь, но вот Санрей прошептала: «Пимлико»,— и он заговорил опять.

5

— Попробую как можно короче рассказать вам, что представляло собою меблированное заведение в Пимлико, куда мы прибыли в качестве подкрепления к старинной приятельнице моей матушки Матильде Гуд,— сказал Сарнак.—Но, признаюсь, трудновато держаться в разумных пределах, когда в памяти, точно искры вот в этом камине, то и дело вспыхивают тысячи любопытнейших подробностей...

— Отлично!— одобрительно кивнул хозяин гостиницы.— Мастерский прием. Узнаю настоящего рассказчика.— И он лукаво взглянул на Сарнака, предвкушая нечто занимательное.

— Да, но мы готовы поверить, что он в самом деле там побывал,— шепнул Рейдиант, предостерегающе кладя руку на колено хозяина.— А он,— Рейдиант прикрыл рот рукою,— он в этом уверен.

— Ну да! — Управляющего явно так и подмывало смутить рассказчика каверзными вопросами, но он сдержался и начал слушать, сперва несколько рассеянно, но очень скоро с захватывающим интересом.

— Дома̀ в Пимлико выросли во время великой строительной лихорадки, охватившей город за столетие до мировой войны и продолжавшейся лет тридцать. На протяжении этих лет в Лондоне хозяйничала целая армия безграмотных подрядчиков, причем, как я уже, ка-

жется, говорил, строительство велось с расчетом на бесчисленное множество богатых семей, имеющих возможность содержать большой дом и целый штат прислуги. Поэтому дома строились так: кухня и комнаты для прислуги —в полуподвале, столовая и кабинет хозяина— на первом этаже, немного выше —«гостиный этаж»: две смежные комнаты, которые легко превращались в одну при помощи так называемых створчатых дверей. Над гостиной помещались спальни — чем выше спальня, тем менее значительной персоне она предназначалась, и, наконец, неотапливаемые чердачные помещения, оборудованные под спальни для прислуги. Однако состоятельные семейства, созданные воображением подрядчиков полным комплектом—даже с набором вышколенной прислуги,— почему-то не явились в большие районы вроде Пимлико, чтобы занять построенные для них здания. Здесь с первого же дня поселились небогатые люди, для которых, разумеется, никто и не думал проектировать дома, поселились и приспособили эти оштукатуренные особняки с порталами применительно к своим скромным потребностям.

Приятельница моей матушки Матильда Гуд являла собой весьма характерный для Пимлико тип домохозяйки. В свое время она верой и правдой служила у богатой старой дамы из Клифстоуна, и та оставила ей после смерти около трехсот фунтов стерлингов.

Хозяин гостиницы с выражением безграничного недоумения издал вопросительный звук...

— Частная собственность,— скороговоркой пояснил Рейдиант.— Право наследования. Две тысячи лет назад. Завещание, и все такое. Дальше, Сарнак!

— Этих денег вместе с собственными сбережениями Матильде Гуд хватило, чтобы снять один из особняков в Пимлико и обставить его с претензией на роскошь. Себе она оставила подвал и чердак, а прочую часть дома рассчитывала сдать поэтажно или покомнатно богатым или хотя бы состоятельным дамам преклонного возраста и заняться их обслуживанием: ходить за ними, во всем угождать, бегая вверх-вниз по лестнице, как заботливый муравей по стебельку розы, где пасутся его тли. А заодно и самой кормиться при них и получать доход. Но богатые старушки не спешили

в Пимлико. Место здесь низкое, туманное; дети с тех улиц, что победнее,— озорники и грубияны, а потом — под боком набережная, при виде которой богатая и одинокая старушка, естественно, решает, что именно здесь ее будут топить. И пришлось Матильде Гуд довольствоваться постояльцами не столь прибыльными и не такими уж смиренными.

Помню, в вечер нашего приезда мы сидели у нее за ужином или вечерним чаем в подвальной комнате, что выходила на улицу, и Матильда Гуд рассказывала нам о своих жильцах. Эрнст отказался от угощения и ушел, считая свою миссию провожатого законченной. Остались мы с Пру и мать. Мы чинно восседали в наших затрапезных черных нарядах, еще не освоившись на чужом месте, понемногу оттаивая за чаем с горячими подрумяненными в масле ломтиками хлеба и яйцами «в мешочек», и, набив себе рты едою, во все глаза глядели на Матильду Гуд и слушали как зачарованные.

Мне она в тот вечер показалась очень важной дамой. Во всяком случае, дам такой комплекции мне еще встречать не приходилось. Необозримой пышностью своей и богатством очертаний она была скорее похожа на пейзаж, чем на человеческое существо; слово «расширение» — будь то расширение вен или всего организма — подходило к ней как нельзя более точно: Матильда Гуд была необъятно широка. На ней было черное платье не первой свежести с кружевной отделкой, сколотое на груди большой брошью в золотой оправе. Ее шею обвивала золотая цепочка, а на голове красовалось сооружение, именуемое «чепец» и похожее на нижнюю створку устричной раковины, перевернутую вверх дном. Оно состояло из нескольких слоев замусоленного кружева и было украшено черным бархатным бантом с золотой пряжкой. Лицо ее, как и фигура, более походило на ландшафт; у нее были солидных размеров усы, губастый, чуть озорной рот и большие несимметричные темно-серые глаза, слегка раскосые и с очень густыми ресницами. Сидела она боком, искоса поглядывая одним глазом на собеседника, а другим будто уставившись в некую точку у него над головой. Она говорила пыхтя, шепотом, легко переходившим в сиповатый, добродушный смешок.

— Чего-чего, родненькая, а моциону у тебя с нашими лестницами будет хоть отбавляй,— говорила она моей сестрице Пру.— Набегаешься так, что любо-дорого. Я вот, иной раз, поднимаюсь к себе наверх спать, так каждую ступеньку пересчитаю,—уж не завела ли и моя лестница квартирантов мне под стать. Ноги у тебя, роднуша, в этом доме станут крепкие, не сомневайся. Гляди, как бы тебе самой от них не поотстать, чего доброго. А для этого не ходи с пустыми руками: вверх идешь— одно тащи, вниз — еще что-нибудь. Ох-хо... Так и сравняешься. А уж чего носить, всегда найдется: то ли пара ботинок, то ли горячая вода, то ли угля ведерко или сверток.

— Хлопот, поди, с таким домом,— заметила мать, кладя себе в рот кусочек поджаренного хлеба, как подобает воспитанной даме.

— С таким домом трудов не оберешься,— подтвердила Матильда Гуд.— Врать не хочу, Марта, тяжело с таким домом. Зато и от квартирантов отбою нет, вот что.— Она с вызовом уставилась на меня одним глазом, совершенно не замечая другим.— Как заняли все помещение с того Михайлина дня, так и по сегодня полным-полно; а двое — постоянные, вот уже третий год живут кряду, да еще в самых дорогих комнатах. Так что, если рассудить, мне еще на судьбу роптать не приходится. А теперь и подмога подоспела, так что заживем припеваючи. И какая подмога! Не чета тем, кто катается вниз по перилам на чайном подносе или сахар лижет у нижнего жильца: что куски сосчитаны, знает, негодница, а что все мокрые от слюны — то ей невдомек, вот и лижет. Ох, насмотрелась я, Марта, на распустех! И кого только выпускают в этих народных школах—это ужас и страсть господня. Язык не поворачивается рассказать! То ли дело, когда девушка, сразу видно, приучена себя соблюдать: смотришь, и душа радуется. Положи себе листик салата на хлеб, детка, очень хорошо для цвета лица.

Сестрица зарделась и взяла листик салата.

— На гостином этаже, — продолжала Матильда Гуд,— у меня настоящая леди. Не так-то часто случается удержать в доме леди, да еще настоящую, цѐлых три года, притом, что все-то на свете они знают, а воображают и того больше. А я вот удержала. И леди настоящая,

прирожденная. Зовут Бампус — мисс Беатрис Бампус. Из тех самых Бампусов, знаешь, уоркширских, которые завзятые охотники. Понравится она тебе, Марта,— не знаю, сама поглядишь, но только к ней нужен подход. Когда она увидит, что ты новый человек, Марта, то сразу спросит: хочешь ты иметь право голоса или нет. Причем не просто голоса и не какого-то там голоса — нет, ей непременно требуется, чтобы ты хотела иметь право *избирательного* голоса.— Хрипловатый шепоток окреп, и по всему лицу расплылась широкая, умильная улыбка.— Ты уж, Марта, если не трудно, скажи, что да, мол, хочу.

Мать маленькими глоточками прихлебывала четвертую чашку чая.

— Не знаю,— протянула она.— Чтоб я так уж стояла за это самое право...

Большие красные ладони, лежавшие как бы обособленно на коленях Матильды Гуд, взлетели в воздух, и обнаружилось, что они приделаны к коротеньким ручкам с кружевными манжетами у запястья.

— На гостином этаже стой за него горой,— пропыхтела Матильда, отмахиваясь от возражений матери.— Только на гостином этаже.

— А если она начнет спрашивать?

— Твоих ответов она дожидаться не станет. Ничего трудного, Марта. Разве я по своей воле поставлю тебя в трудное положение? Сама посуди. Ты ей только поддакивай тихонечко, а уж об остальном позаботится она сама.

— Мам,— сказала Пру, все еще робея перед Матильдой Гуд и не смея обратиться к ней прямо.— Мам, а право голоса — это что?

— Право выбирать в парламент, родненькая,— ответила Матильда Гуд.

— Когда мы его получим? — поинтересовалась мать.

— Вы его вообще не получите,— заявила Матильда Гуд.

— Ну, а если бы получили, что нам, к примеру, с ним делать?

— А ничего,— с великолепным презрением бросила Матильда Гуд.— При всем том это — большое дело, Марта, нельзя того забывать. А мисс Бампус, уж она трудится денно и нощно; бывает, ей полисмены все бока намнут, Марта, а раз даже в тюрьме провела целую

ночь — и все, чтоб добыть право голоса для таких, как мы с тобой.

— Что же, значит—добрая душа,—заключила мать.

— На первом этаже у меня джентльмен. Здесь что хуже всего, так это книги: пыль с них вытирать. Книг — до ужаса. И не сказать, чтоб он их очень уж читал... Скоро, небось, заиграет на своей пианоле, послушаешь. Здесь внизу почти что не хуже слышно, чем у него. Учился он, мистер Плейс, стало быть, в Оксфорде, а работает в издательстве, называется «Барроуз и Грейвс»; очень, говорят, высокого класса фирма — ни рекламой и ничем таким вульгарным не занимается. Над книжными полками у него кругом фотографий понавешано, все греческие да римские статуи, развалины, щиты с университетскими гербами. Из статуй кой-какие голые, но хоть и голые, а все как есть благородные и приличные. Вполне приличные. Сразу видно: джентльмен, университет кончил. Из Швейцарии фотографий сколько! Он там на горы лазит, в Швейцарии, и разговаривать умеет по-ихнему. Курильщик завзятый: из вечера в вечер сидит, все читает и пишет, и все с трубкой. Какие-то пометки делает карандашом. Рукописи читает, гранки... И на каждый день недели у него своя трубка, а курительный прибор сплошь весь из камня такой красоты, что одно загляденье. Называется «серпентин», зеленый и вроде бы как с кровяным отливом: табакерка, бокальчик для перьев, чтобы прочищать трубки, гнездышки для трубок на все дни недели — и все-то сплошь из камня. Как есть памятник. И когда будешь пыль с него стирать, помни, если этот самый серпентин уронить, он бьется, как глиняный горшок. Сколько служанок у меня перебывало, каждая хоть кусочек, да отобьет от этого табачного надгробия. И заметь себе...— Матильда Гуд подалась вперед и протянула руку, словно для того, чтобы ухватить ею внимание матери: *он против женского избирательного права.* Видела?

— Тут ходи да оглядывайся,— вздохнула мать.

— Очень даже. Водятся и за мистером Плейсом койкакие причуды, не без этого, но если приноровиться, то с ним не будет особых хлопот. Одна странность у него такая: делает вид, будто принимает ванну по утрам. Каждое утро ставишь ему в комнату жестяную бадееч-

ку, кувшин холодной воды, кладешь мочалку, и каждое утро он притворяется: плещется — страсть одна, отдувается, повизгивает, словно толстяк на клиросе, и это называется «ванна», хотя и ванна-то вся больше похожа на поддонник для канареечной клетки. Подашь ему ледяной воды, а он, знай свое: мне, говорит, нужно принимать ванну как можно холодней. Да...— Матильда Гуд, словно оползень, перевалилась через ручку стула, голова ее закивала взад-вперед, хриповатый шепоток таинственно понизился:— А сам и не думает.

— Что не думает: в ванну садиться?

— Вот именно,— кивнула Матильда Гуд.— Когда он на самом деле залезет, сразу видно по мокрым следам на полу. Хоть бы через день принимал — и того нет. Смолоду-то в Оксфорде он, может, и принимал холодные ванны. Кто его знает. Только и бадейку каждый день ему выставляешь, и кувшин тащишь наверх каждый день, и наливаешь, и обратно выливаешь, и упаси боже спросить, не надо ли подлить тепленькой. Джентльменам из Оксфорда таких вопросов не задают. Ни-ни. А все равно: раз зимой целую неделю проходил немытый и потом, гляжу, подливает в эту свою полоскательницу горячую воду для бритья и умывания. Но чтоб спросить кувшин потеплее? Чтоб подогреть воду? Ни за какие миллионы! Интересно, правда?.. Да, вот такая уж у него блажь. И мне порой сдается,— продолжала Матильда Гуд еще доверительнее, решив, как видно, выложить все до конца,— что он и в горы-то эти швейцарские поднимается тем самым манером, каким принимает ванну...

Она откатила изрядную порцию своей персоны назад, слегка нарушив симметрию позы.

— Голосом, было бы тебе известно, он наполовину смахивает на священника, наполовину — на школьного учителя: строгий такой голос, важный, а когда ему что-нибудь начнешь говорить, обыкновенно всхрапывает так с расстановочкой: «а-ар... а-ар»,— будто лошадь ржет. Вроде как ты для него не очень-то много значишь, хоть он тебя не винит за это; и вообще, мол, некогда ему вникать во все твои разговоры. А ты на это даже не смотри. Воспитание такое, и все. И еще у него привычка: начнет цедить длинные ученые слова. И придумывать обидные прозвища. Утром постучишься в дверь, а он те-

бе: «А-а, моя достойная Абигейл» [1] или «Взойди, моя розоперстая Аврора»,— ему это нипочем. Откуда ж у девушки, которая в услужении, возьмутся чистые розовые ручки, когда тут каминов одних вон сколько приходится растапливать? А не то пристанет с вопросами: «Ну-с, как поживает Добрая Матильда? Как себя чувствует сегодня Славная Матильда Гуд?» [2]. Словно бы потешается твоим именем. Конечно, у него и в мыслях нет согрубить, по его понятию, все это очень мило и остроумно, и ты должна понимать, что над тобой ласково подтрунивают, а могли бы уязвить так, что только держись. И поскольку доход от него порядочный, а беспокойства почти никакого, то и обижаться на него, Марта, нет расчета. А все же нет-нет да и подумаешь: какой бы у тебя, голубчика, был вид, если б и я не смолчала, а по-честному, как ровня с ровней: ты меня поддел, а я — тебя! Кому бы из нас двоих пришлось солоней? Уж я бы ему знала, что сказать, я бы ему выложила! Но,— вздохнула Матильда Гуд, расплываясь в широчайшей вкрадчивой улыбке и поводя одним глазом в мою сторону,— это только мечта. И не такого сорта мечта, чтобы можно было ею тешиться в этом доме. Правду сказать, в мыслях-то я себе представляла, как это получится. Говорит он мне, к примеру... Ну да ладно, чего там: он мне, да я ему... Ох-хо... Деньги хорошие, платит аккуратно, чтобы без места остался, так это едва ли, другое место, получше, тоже ему вряд ли получить, а уж нам в юдоли сей остается так или иначе сносить его причуды. И, опять же пианола,— добавила Матильда Гуд извиняющимся тоном, как будто признаваясь в слабости,— послушаешь, и на душе веселей. Это за ним надо признать. А так его почти и не слыхать. Вот только когда снимает ботинки.

Матильда Гуд перевела дыхание и продолжала:

— Ну, а над гостиной, на третьем этаже, в той половине, что окнами на улицу, у меня сейчас живет преподобный Моггеридж со своей достопочтенной супругой. Вот уж пять месяцев, как въехали, и похоже, что приживутся.

---

[1] Имя служанки из произведений Бомонта и Флетчера, Свифта, Филдинга и других авторов, ставшее нарицательным.

[2] Игра слов; «гуд» *(англ.)* — добрый, славный.

— Неужто священник? — почтительно спросила мать.

— Священник,— подтвердила Матильда.— Хоть и бедный, а все-таки. Что-что, Марта, а уж это к нашей чести. Но только, ох, и горемычные же они старички! Уж такие горемычные! Прослужил всю жизнь где-то в глуши — помощником викария, что ли,— и лишился места. Поднялась же у кого-то рука их выставить! Или, может, случилось что. Кто его ведает. Он старичок чудной... Почти каждую субботу плетется куда-нибудь служить за другого воскресную службу. И так он вечно простуженный, а уж вернется-то, бывает, совсем никуда: все сопит да сопит... До чего же безжалостно обращаются с этими стариками священниками! Со станции везут на открытой таратайке — подумать только, в самую скверную погоду! А в доме местного священника часто ни капельки горячительного, и согреться нечем. Христиане, называется! Да уж на том, видно, свет стоит... Так они оба и копошатся день-деньской у себя наверху; еду (а какая у них еда!) как-то умудряются готовить на камине в спальной комнате. Она даже иной раз и бельишко простирнет сама. Так и ползают, горемыки. Состарились — их и забыли, бросили. Но забот особых они не доставляют, живут себе — и пусть живут. Ну и, опять же говорю, как-никак, а священник. А в той комнате, что окнами во двор,— немка, учительница. Учит она... Словом, чему угодно, только соглашайся уроки брать. Она въехала так с месяц назад, и я еще хорошенько не знаю, нравится она мне или нет. Но, в общем-то, кажется, женщина порядочная, все больше сама с собой, да и потом, когда простаивает пустая комната, не очень-то станешь разбираться... Вот все мое население, милая. С завтрашнего дня и начнем. Ты потом поднимись наверх и устраивайся. Для вас там отведены две комнаты: маленькая — Мортимеру, а та, что побольше,— вам с Пру. На стене за занавесками вешалки для одежды. Моя комната рядом с твоей. Я тебе дам свой будильничек, научу, как с ним обращаться, и завтра ровно в семь ты, я, Пру — шагом марш вниз. Милорд, как мужчина, лицо привилегированное, наверное, понежится еще полчасика. Видишь, Марта, какая я суфражистка, не хуже мисс Бампус!

Первое дело — здесь затопить, причем если не выгребешь хорошенько всю золу, то не нагреется бак. Теперь дальше: растопить камины, вычистить обувь, убрать ту половину, что окнами на улицу, подать завтрак. Мистеру Плейсу—ровно в восемь, и смотри, чтоб минута в минуту; мисс Бампус — в восемь тридцать, но хорошо бы успеть сначала принять со стола у мистера Плейса, а то ложек маловато. У меня всего пять ровным счетом, а до того как съехал мой бывший с третьего этажа, из задней комнаты, было семь. Хороша птица была, нечего сказать. Старички готовят завтрак сами, когда им вздумается, а для фрау Бухгольц поставишь на поднос хлеб с маслом и чай, а подашь, как управимся на гостином этаже. Вот, Марта, такой план действий.

— Буду стараться, как могу, Тильда,— сказала мать.— Сама знаешь...

— Постойте-ка! — сказала Матильда, показывая на потолок.— Вот и концерт начинается. Слышали стук? Это он у пианолы опустил педали.

И тут в подземелье, где происходило наше чаепитие, вдруг хлынули с потолка звуки — нечто неописуемое...

Одним из немногих истинно прекрасных творений той эпохи была музыка. В некоторых сферах деятельности человечество пришло к совершенству очень рано: так, в обработке золота и драгоценных камней людям не удалось подняться намного выше уровня, которого достигли много столетий назад в Египте при Семнадцатой династии, а мраморная скульптура достигла высшего расцвета в Афинах, незадолго до завоевания их Александром Македонским. И сомневаюсь, чтобы в мире когда-нибудь звучала музыка более пленительная, чем мелодические созвучия, порожденные моим временем: Смутной эпохой. Концерт, устроенный для нас в тот вечер мистером Плейсом, начался с частей шумановского «Карнавала» — его исполняют на фортепьяно и поныне. Я тогда первый раз в жизни, пожалуй, услышал настоящую музыку. Конечно, на клифстоунском бульваре играли духовые оркестры, но то был лишь бравурный гром меди... Не знаю, ясно ли вам, что такое пианола. Это инструмент, извлекающий звук из форте-

пьяно при помощи системы молоточков, управляемых посредством перфорированных бумажных лент. Предназначен он был для тех, кому недоставало умения и сноровки, чтобы читать ноты и собственными руками извлекать звуки из клавиатуры. Ибо руки у людей в те дни были на редкость неловкими. Пианола немножко постукивала и могла взять нечистый аккорд, но мистер Плейс управлялся с нею достаточно умело, так что звучание, долетавшее до нас сквозь толщу потолка, было... Одним словом, как тогда говорилось, могло быть и хуже.

Я вспоминаю эти звуки, и предо мною встает комнатка в подвале — я буду видеть ее всю жизнь, когда бы ни привелось мне услышать музыку Шумана. Маленький камин, чайник на каминной полочке; у боковой стенки камина — державка для чайника и вилка для поджаривания гренков, стальная решетка, горстка золы, мутное зеркальце над каминной доской, на доске — фарфоровые собачки, матовый стеклянный шар на потолке, в нем — язычок газового пламени, освещающий стол с чайной посудой. (Да, дом освещался газом, электрические лампы только появились... Файрфлай, душа моя, неужели я должен прерывать ход рассказа и объяснять, что такое светильный газ? Умная девочка сама давным-давно узнала бы.)

Здесь, в этой комнате, восседала Матильда Гуд в бессмысленно-блаженном забытьи, внимая звукам, порхавшим над ее головой. Она кивала чепцом, поводила плечами, она улыбалась, одобрительно помахивая в такт руками, радостно вращала одним глазом, ища сочувствия, неподвижно уставившись другим на грязноватые обои где-то наверху. Я тоже был глубоко взволнован. А моя матушка и сестрица Пру, в своих черных траурных платьях, застыли в чинных и приличных позах с натянуто-благочестивыми физиономиями — точь-в точь как на отпевании отца пять дней назад.

Но вот закончилась первая вещь.

— Прелесть какая,— прошелестела мать, точно в ответ на возглас священника в церкви.

Той ночью я лежал, засыпая, в тесной чердачной каморке, а в голове у меня по-прежнему кружились, витали обрывки мелодий: Шуман, Бах, Бетхо-

вен,— и чудилось мне, что в моей жизни начинается новая пора...

Драгоценные камни, мраморные изваяния, музыка — лишь немногие первые вестники прекрасной жизни, которую способен создать для себя человек. То были, как я вижу ныне, ростки нового, обетованного мира, пробивающиеся сквозь слепую тьму старины.

6

Утро принесло с собою совсем иную Матильду Гуд: деятельную и властную, в свободном, изрядно замусоленном халате из лиловато-розового ситца и узорчатом шелковом платке, повязанном на голове чалмой. Так она была одета почти весь день, только после полудня причесывалась и надевала бумажный кружевной чепец. (Черное платье, чепец из настоящего кружева и брошь предназначались, как я узнал со временем, для воскресных дней, а в будни надевались лишь по вечерам, да и то в особо торжественных случаях.) Мать и Пру облачились в фартуки из грубой ткани, предусмотрительно купленные заранее Матильдой. В подвальном помещении царила страшная суета. За несколько минут до восьми Пру поднялась по лестнице с Матильдой Гуд учиться подавать завтрак мистеру Плейсу. Я же познакомился с этим джентльменом немного спустя, когда принес ему в комнату дневной выпуск «Ивнинг Стандарт». Я увидел сутулого и долговязого мужчину с землисто-бледным лицом, состоявшим главным образом из профиля. Мое имя вызвало целый фонтан иронических замечаний.

— Мортимер,— радовался мистер Плейс, издавая легкое ржание.— Что ж... Хорошо что не Норфолк-Хауард.

Туманный намек, скрытый в этой фразе, разъяснялся следующим образом. Однажды некий мистер Баг [1], задумав, как гласила народная молва, подобрать себе имя, менее тесно связанное с энтомологией, остановил свой выбор на имени «Норфолк-Хауард», почитавшемся в те дни весьма аристократическим... После чего вульгар-

---

[1] Клоп (*англ.*).

ная толпа восстановила попранную справедливость, прозвав отвратительных клопов, наводнявших тогда Лондон, норфолк-хауардами...

Не прошло и нескольких недель, как стало очевидно, что Матильда Гуд отнюдь не прогадала, приняв нашу семью под свои знамена. В лице матери она приобрела даровую работницу, причем даже слепому было ясно, что мать будто создана для роли хозяйки меблированных комнат. Она пеклась о благе заведения, словно компаньон, участвующий в прибылях, не получая от Матильды ни гроша, помимо того, что выдавалось на расходы, связанные с каким-нибудь особым поручением или покупкой. Зато Пру с неожиданной твердостью настояла, чтобы ей было положено жалованье, а для пущей убедительности пригрозила, что устроится на работу к портнихе. Вскоре Матильда стала для своих постояльцев как бы незримым духом, который вершил суд и справедливость, не выходя из подвала. Предоставив матери и Пру справляться с работой на этажах, она сплошь да рядом ухитрялась за целый день ни разу не подняться по лестнице, пока не наступал час «шлепать в постельку», как она говорила.

Несколько раз Матильда хитро покушалась использовать по домашности и меня, увещевая подать наверх ведерко с углем, навести глянец на башмаки или почистить ножи — словом, вообще как-то войти в круг хозяйственных забот. Однажды она даже пустилась на соблазн, спросив, не хочется ли мне пощеголять в красивом костюмчике с пуговицами. В те времена все еще существовал обычай наряжать мальчиков «на посылках» в облегающие костюмы из зеленой или коричневой материи с рядами золоченых пуговиц, нашитых как можно теснее друг к другу поперек узенькой детской груди и вдоль живота. Однако даже намека было достаточно, чтобы во мне проснулись воспоминания о Чессинг Хенгере, а вместе с ними — былой страх и жгучая ненависть к «услужению» и ливрее. Я решил срочно подыскать себе какое-нибудь занятие, пока неуклонная воля Матильды Гуд еще не сломила меня и я не попался в коварно расставленные ею сети. А укрепила меня в моей решимости, как ни странно, беседа с мисс Беатрис Бампус.

Мисс Бампус была стройная молодая женщина лет двадцати пяти с короткими каштановыми волосами, мило отброшенными назад с широкого лба, веснушчатым носиком и быстрыми карими с рыжинкой глазами. Ходила она обыкновенно в клетчатом твидовом костюме с довольно короткой юбкой и пиджачком мужского покроя, в коричневых ботинках и зеленых чулках — я никогда раньше не видел, чтоб кто-нибудь носил зеленые чулки! Она любила стоять на коврике у камина, ни дать ни взять в той же позе, что и мистер Плейс этажом ниже. Или сидеть, покуривая, у окна за письменным столом. Как-то она спросила меня, кем мне хочется быть, и я сдержанно, как и подобало человеку моего скромного звания, ответил, что еще не думал об этом. На что мисс Бампус преспокойно заявила:

— Врунишка.

Подобного рода реплика либо убивает наповал, либо исцеляет. Я сказал:

— Вообще-то, мисс, хочется получить образование, только не знаю, какое. И не знаю, как за это взяться.

Мисс Бампус жестом остановила меня, чтобы я полюбовался, как лихо она умеет пускать дым через нос. А потом посоветовала:

— Избегай бесперспективных занятий.

— Ладно, мисс.

— Да ведь ты не знаешь, что такое бесперспективное занятие!

— Нет, мисс.

— Занятие, которое приносит тебе заработок и никуда не ведет. Одна из бесчисленных ловушек нашей идиотской лжецивилизации, которую выдумали мужчины. Никогда не занимайся тем, что никуда не ведет. Целься высоко. Нужно серьезно подумать, как с тобой быть, мистер Гарри Мортимер. Быть может, я сумею тебе помочь...

Так было положено начало нашим беседам с мисс Бампус. А беседовали мы с нею часто. Влияние мисс Бампус в эти отроческие годы сыграло очень важную роль в моей судьбе. Это от нее я узнал о существовании различного рода вечерних курсов, и это она настаивала, чтобы я начал их посещать, хотя учебный год уже в раз-

гаре. Она рассказывала мне о замечательных людях, которые добились известности и успеха, хоть начинали с такими же ничтожными шансами, как и я. Она говорила, что я мужчина и, значит, «не связан по рукам и ногам». Она спросила, интересуюсь ли я суфражистским движением, и дала мне билеты на два собрания; я слышал, как она выступала: по-моему—замечательно. Ее пытались прерывать, но она всякий раз отвечала с удивительной находчивостью. Я охрип от восторженных криков. Она смотрела жизни в лицо весело, смело и этим напоминала мне Фанни. Однажды я ей так и сказал. И тут же, не успев еще сообразить, как это произошло, сбивчиво, конфузясь, поведал ей историю нашего семейного позора. Мисс Бампус выслушала меня с большим интересом.

— Она похожа на твою сестрицу Пру?

— Нет, мисс.

— Красивее?

— Гораздо. Разве можно сравнить... Пру вряд ли назовешь красивой, мисс.

— Надеюсь, с ней все хорошо,— сказала мисс Бампус.— Я ее ничуть не осуждаю. Я только надеюсь, что она вышла победительницей.

— Чего бы я только не дал, мисс, чтоб услышать, что с Фанни все благополучно... Я правда ее любил, мисс... Я, думается, все бы отдал, чтобы снова увидеться с Фанни. А вы не скажете матери, мисс, что я вам проговорился? Как-то вырвалось, сам не знаю...

— Мортимер,—объявила мисс Бампус,— ты — верная душа. Мне бы такого младшего брата! Руку! Я не пророню ни слова.

Мы обменялись рукопожатием, и я понял, что отныне мы закадычные друзья. Женское равноправие стало первым пунктом моей политической программы. (Нет, Файрфлай, не буду. Ничего не буду объяснять. Сама должна догадаться, что такое политическая программа и какие у нее бывают пункты.) По ее совету я разузнал, что в нашем районе есть курсы, на которых преподают геологию и химию. Там же можно научиться говорить по-французски и по-немецки. И тогда я наконец рискнул, правда, очень робко, поставить вопрос о моем дальнейшем образовании перед обитателями нашего подвала.

7

Сарнак оглядел лица своих друзей, озаренные пламенем камина.

— Я понимаю, как нелепо должна звучать для вас эта повесть, где все перевернуто вверх дном. Но факт остается фактом: подросток, которому не исполнилось еще четырнадцати лет, был вынужден отстаивать свое стремление учиться, потому что оно шло вразрез с представлениями и желаниями его же собственной семьи. В дискуссию на эту тему, по милости моей матери и Матильды Гуд, был вовлечен весь дом. Все, кроме мисс Бампус и фрау Бухгольц, были против.

— Образование,— с неодобрительной усмешкой шептала Матильда, медленно раскачивая головой из стороны в сторону.— Образование! Все это мило и хорошо для тех, кому больше делать нечего, а тебе еще надобно пробиться в люди. Зарабатывать денежки — вот что тебе нужно, молодой человек.

— Но ведь с образованием я смогу заработать больше...

Матильда поджала губы и с пророческим видом указала на потолок, скрывающий мистера Плейса.

— Вот тебе образование, молодой человек. Комната — негде повернуться от книг, да жалованья ровно столько, что ничегошеньки нельзя себе позволить. И гонору хоть отбавляй. Делом тебе надо заняться, молодой человек, а не образованием.

— Нет, а кто ж это должен платить за все твои курсы? — вмешалась мать.— Я лично это хотела бы знать.

— Это и всем нам интересно,— поддержала ее Матильда Гуд.

— Если я не смогу получить образование...— отчаянно начал я — и осекся. Боюсь, что я был готов вот-вот расплакаться. Ничего не узнать, остаться таким же неучем, как сейчас! Это казалось равносильным пожизненному заключению. И не мне одному знакомо было это мучительное чувство. В те дни большинство подростков из бедных семей было фактически обречено прозябать в невежестве, и тысячи из них в четырнадцать-пятнадцать

лет прекрасно отдавали себе в этом отчет, но не знали, как спастись от духовного угасания...

— Послушайте...— Я поднял голову.— Если я подыщу себе дневную работу, могу я тогда платить из этих денег за вечерние курсы?

— Если сумеешь столько заработать,— отчего же,— сказала Матильда.— Все лучше, думается, чем бегать в этот новый... как его... кинематограф или транжириться девчонкам на конфеты.

— Первым долгом, Морти,— вставила мать,— тебе надо оплатить квартиру и содержание. Иначе это нечестно по отношению к мисс Гуд.

— Я знаю,— сказал я, хотя у меня дрогнуло сердце.— Буду платить и за квартиру и за стол. Как-нибудь справлюсь. Я не хочу быть нахлебником.

— И что тебе дались эти курсы, не пойму,— пожала плечами Матильда Гуд.— Ну, нахватаешься ты кой-какой учености, получишь свидетельство об окончании — или что там еще — и начнешь понимать, что тебе не положено. Убьешь на это все силы. А можно бы пустить их на то, чтобы найти хорошее место и пробить себе дорогу в жизни. Станешь сутулым, близоруким. И все ради чего? Чтоб вырасти неудачником и брюзгой. Что ж, делай по-своему, если уж так приспичило. Раз сам будешь зарабатывать, можешь и тратить как знаешь.

Не больше сочувствия нашел я у мистера Плейса.

— Ну-с, мой благородный Мортимер,— промолвил он.— Дошло до меня, что ты — а-ар... стремишься увенчать себя университетскими лаврами?

— Я только хочу знать немного больше, чем сейчас, сэр.

— И пополнить собою ряды полупросвещенных пролетариев?

Это звучало зловеще.

— Надеюсь, что нет, сэр.

— Какие же именно курсы ты намерен посещать, Мортимер?

— Какие есть.

— Ни плана? Ни цели?

— Я думал, мне подскажут...

— Итак, ты готов проглотить, что бы тебе ни предложили? Невзыскательный аппетит! А между тем, пока

ты — а-ар... пока ты тешишь себя сим хаотическим пиршеством знаний, сим тщетным соперничеством с отпрысками праздных классов, содержать тебя, по-видимому, должен кто-то другой. Не считаешь ли ты, что это несколько жестоко по отношению к твоей доброй матушке,— не работать, не вносить свою лепту, а? Она-то ведь трудится на тебя день и ночь. Одно из правил, Мортимер, усвоенных нами в наших столь многократно подвергаемых осмеянию закрытых школах,— это правило честной игры. И вот я спрашиваю тебя: можно ли считать это... это стремление уклониться от работы — а-ар... можно ли считать его честной игрой? Подобное поведение можно бы еще ожидать от Га-арри, понимаешь ли, но уж никак не от Мортимера. Noblesse oblige[1]. Подумай над этим хорошенько, любезный друг. Учение учением, а долг долгом. Многим из нас приходится довольствоваться участью скромного труженика. Очень многим. Хотя при более счастливом стечении обстоятельств эти люди способны были бы свершить великие дела...

Ласковые увещевания Моггериджей сводились к тому же. Мать и их посвятила в обстоятельства дела. В апартаментах Моггериджей я обыкновенно предпочитал не задерживаться: почтенная чета сохранила устаревшие понятия о вентиляции, и воздух в их комнате был пропитан специфически «старческим» запахом: они были, говоря без обиняков, очень неопрятной старой четой. Теряя с возрастом силы, супруги постепенно отходили все дальше даже от тех, не слишком строгих правил гигиены, которых придерживались в молодости. Забегая за чем-либо к ним в комнату, я, бывало, пулей выскакивал оттуда при первой возможности.

Но странное дело: какой поразительной уверенностью в обращении с теми, кто ниже их по социальному положению, обладали эти согбенные, жалкие, дряхлеющие создания! Как видно, не зря они провели полвека среди податливых деревенских прихожан...

— Доброе утро, сэр, доброе утро, мэм.— Я поставил ведерко с углем и подхватил порожнее.

Миссис Моггеридж нетвердой походкой засеменила ко мне, отрезав путь к отступлению. Седенькая, сморщен-

---

[1] Положение обязывает *(франц.)*.

ная, с близоруко сощуренными красными глазами, она, разговаривая со мною, непременно подходила вплотную, подслеповато вглядываясь и дыша мне прямо в лицо. Она говорила дребезжащим голоском, удерживая меня дрожащей рукой, чтобы я не сбежал.

— Как мы себя чувствуем сегодня, мастер Морти? — снисходительно-ласковым тоном спросила она.

— Очень хорошо, мэм, благодарю вас...

— Мне сообщили о тебе нечто весьма прискорбное, Морти, весьма и весьма прискорбное!

— Виноват, мэм.— Эх, отчего мне не хватало храбрости сказать ей, чтобы не вмешивалась в мою жизнь!

— Говорят, ты недоволен, Морти. Говорят, ты ропщешь на милость господню.

Мистер Моггеридж сидел в кресле у камина, читая газету. Он был в домашних туфлях и без пиджака. Он поглядел на меня поверх очков в серебряной оправе и своим глубоким, сочным голосом произнес:

— Печально, что ты причиняешь огорчения твоей милой матушке. Очень печально. Святая женщина, такая преданная...

— Да, сэр.

— Редкому юноше в наше время посчастливится получить такое воспитание, как у тебя. Когда-нибудь ты поймешь, как ты ей обязан. (Уже начинаю,— перебил себя Сарнак.) Итак, вместо того, чтобы мирно обосноваться в подобающей тебе среде, ты носишься с сумасбродной идеей поступить на какие-то курсы. Это верно?

— Мне кажется, сэр, я еще слишком мало знаю. Я думаю, мне нужно бы еще подучиться.

— Знание не всегда приносит счастье, Морти,— сказала миссис Моггеридж, ужасающе близко от меня.

— И что же это за курсы, которые заставляют тебя забыть твой сыновний долг перед твоею милой, доброй матушкой? — допрашивал мистер Моггеридж.

— Еще не знаю, сэр. Говорят, есть курсы геологии, французского языка...

Мистер Моггеридж замахал перед собой рукою с таким видом, словно это от меня исходил дурной запах.

— Геология!—воскликнул он.— Французский! Язык Вольтера... Так вот что я тебе скажу, дитя мое, корот-

ко и ясно: твоя мать совершенно права, что она против этих курсов. Геология... Геология — это рассадник скверны. За последние пятьдесят лет ни одна наука не принесла столько вреда, как она. Она подрывает веру. Она сеет сомнение. Я говорю так не по неведению, Мортимер. Сколько испорченных, искалеченных жизней, сколько потерянных душ видел я, и всему виной она, геология!.. Я старый и ученый человек, я знаком с трудами многих, с позволения сказать, геологов: Хаксли, Дарвина и иже с ними. Я изучал их очень-очень внимательно и очень-очень беспристрастно, и я заявляю тебе: все они, все до одного безнадежно заблудшие люди... Так какое же благо принесут тебе эти знания? Станешь ли ты счастливее с ними? Станешь ли лучше? Нет, мой мальчик. Тебе принесет благо нечто другое — я знаю, что! Нечто такое, что существует на свете дольше, чем геология. Нечто старше и лучше ее. Сара, милая, дай, пожалуйста, вон ту книгу, будь добра. Да,— благоговейным тоном.— Книгу с большой буквы...

Жена подала ему библию в черном переплете, оправленном для большей сохранности металлическим ободком.

— Итак, мой мальчик,— произнес мистер Моггеридж,— прими от меня эту... эту древнюю и близкую моему сердцу книгу, а вместе с нею благословение старого человека. Здесь заключена вся мудрость, достойная того, чтобы ею обладать, все знания, которые когда-либо понадобятся тебе. В ней ты всякий раз откроешь нечто новое, нечто прекрасное.

Он протянул мне библию. Пожалуй, лучшим способом поскорее выбраться из комнаты было взять ее. Я взял.

— Благодарю вас, сэр.

— Обещай, что ты прочтешь ее.

— Конечно, сэр.

Я повернулся к двери. Однако оказалось, что поток благодеяний еще не иссяк.

— А теперь, Мортимер,— произнесла миссис Моггеридж,— пожалуйста, обещай, что будешь черпать силу в том, что воистину может служить ее источником. И постарайся стать действительно хорошим сыном для этой славной труженицы — твоей матери!

С этими словами она торжественно вручила мне маленький, желтый и твердый, как камень, апельсин.

— Спасибо, мэм,— сказал я, поспешно засовывая подарок в карман, и с библией в одной руке и порожним угольным ведерком — в другой спасся бегством...

Чернее тучи вернулся я в подвал. Я положил свои дары на подоконник и, повинуясь смутному внутреннему побуждению, раскрыл библию. На обратной стороне переплета еле заметно проступали выведенные лиловыми чернилами печатные буквы, кое-как стертые резинкой: «Из зала ожидания не выносить». Я долго ломал себе голову, пытаясь разгадать значение этой надписи.

— И что же она все-таки означала? — спросила Файрфлай.

— Это мне неизвестно и по сей день. Скорее всего, наш достойный священник обзавелся книгой с большой буквы где-нибудь на вокзале, во время одной из своих поездок.

— Ты хочешь сказать...— начала было Файрфлай.

— Не более того, что сказал. Он был во многих отношениях своеобразным человеком, этот старый джентльмен. Его благочестие мне представляется чисто внешним, оно сводилось, по существу, к пустому словоизвержению. Он был — не скажу «нечестен» — просто иногда не слишком чист на руку. Как многие старички в те дни, он предпочитал питательным напиткам горячительные, и вследствие этого понятия о нравственности, вероятно, приобрели в его глазах несколько нечеткие очертания. Странная вещь (Матильда Гуд заметила ее первой): уезжая по субботам, он очень редко брал с собою зонтик, а возвращался почти всегда с зонтом, один раз — даже с двумя. Но он никогда не оставлял их себе: он уносил их из дому, долго где-то гулял и приходил с пустыми руками, зато значительно повеселевший. Помню, однажды, когда он вернулся с такой прогулки, я как раз был у них в комнате. Только что прошел ливень, и пиджак мистера Моггериджа промок насквозь. Миссис Моггеридж велела ему переодеться, сетуя на то, что зонтик снова потерян.

— Не потерян,—услышал я исполненный беспредельного умиления голос старца.— Не потерян, милая. Не потерян, но утрачен перед... перед тем, как пошел дождь... Господь дал... господь и взял...

Он помолчал немного. Он стоял с пиджаком в руках, прислонившись к каминной доске, поставив ногу на решетку и обратив к огню свой почтенный и волосатый лик. Казалось, он весь отдался высоким, скорбным думам... Но вот он заговорил, неторопливо и уже не столь потусторонним тоном:

— Десять шиллингов и шесть пенсов... Оч-чень удачный зонт...

8

Фрау Бухгольц была женщина лет за сорок пять, сухопарая, бедная и удрученная своими горестями: стол в ее комнате был вечно завален документами, связанными с какой-то запутанной судебной тяжбой. В отличие от других, она не уговаривала меня отказаться от учения вовсе, а только всячески старалась подчеркнуть, что любая попытка приобщиться к культуре обречена на провал без знания немецкого языка. Я склонен думать, что ее позиция в этом вопросе в основном объяснялась смутной и вместе с тем отчаянной надеждой, что я, быть может, начну брать у нее уроки...

Крайне неодобрительно отнесся к моим планам мой брат Эрнст. Он повел меня с собой в мюзик-холл «Виктория», но, будучи человеком застенчивым и косноязычным, целый вечер старательно обходил эту тему. И лишь на обратном пути, в двух шагах от дома, он решился:

— Что это за разговоры ходят, Гарри, насчет того, что тебе мало твоего образования? По-моему, ты уж и так порядком поучился!

— А по-моему, я ничего не знаю. Ни истории, ни географии — ничего. Свою родную грамматику, и ту не знаю...

— Ты знаешь достаточно, чтобы получить работу,— возразил Эрнст.— В самый раз. Больше будешь знать, нос задерешь, только и всего. Хватит нам в семье одной выскочки, видит бог.

Я понял, что он говорит о Фанни: разумеется, никто из нас не произносил ее покрытого позором имени.

— А-а, все равно, наверное, придется плюнуть на это дело,— с горечью бросил я.

— Во-во, Гарри, так-то лучше... Я знаю, ты парень толковый, серьезно говоря. Кем надо, тем и будешь.

Итак, единственным человеком, который поддерживал меня в моей борьбе против умственного застоя, оказалась мисс Беатрис Бампус, а со временем я убедился, что у меня хотят отнять и этот источник утешения. Дело в том, что с некоторых пор у моей матери стали возникать самые грязные и нелепые подозрения относительно мисс Бампус. Я, видите ли, иногда позволял себе задержаться в гостиной на десять, а то и целых пятнадцать минут! Такой добродетельной женщине, как моя матушка, воспитанной в твердых принципах и знающей, что всякое сближение между особями противоположного пола надлежит строжайшим образом пресекать,— такой женщине трудно было допустить, что подросток и девушка могут находить что-то привлекательное в обществе друг друга, не имея при этом никаких нечистых побуждений... Живя в обстановке постоянного обуздания неутоленной чувственности, праведники тех времен составляли себе чудовищно преувеличенные представления о вожделениях, порочных склонностях и безудержном коварстве нормальных человеческих существ. И вот, прибегая к тысячам хитростей и уловок, моя матушка стала добиваться, чтобы поручения мисс Бампус вместо меня выполняла Пру. А когда я все же попадал в гостиную, то, слушая мисс Бампус или даже рассказывая ей что-нибудь, я все определеннее чувствовал, что эта несчастная, заблудшая женщина вертится на площадке у дверей, подслушивает с тревожным любопытством, готовая в любой момент ворваться в комнату, захватить мисс Бампус на месте преступления, уличить, опозорить, устроить громкий скандал и спасти хотя бы остатки моей запятнанной нравственности! Я, возможно, и не догадался бы о том, что происходит, если б не беспардонные расспросы и предостережения матери. По ее понятиям, роль воспитания в интимных вопросах состояла в том, чтобы держать молодое существо в тщательно оберегаемом неведении, раздувая его стыдливость и запугивая непристойными намеками. И потому все разговоры со мною она вела чрезвычайно напористо и вместе с тем в высшей степени уклончиво. Что это за моду я себе взял — столько времени торчать у этой женщины? Бо-

же меня упаси слушать, что она плетет! Там, наверху, надо ухо держать ой-ой как востро. Не успеешь оглянуться, влипнешь так, что сам будешь не рад. До чего бесстыжие женщины водятся на свете,— подумать, и то бросает в краску! Она всегда готова все силы положить, чтоб уберечь меня от всякой пакости и грязи...

— Да она была безумна! — вырвалось у Уиллоу.

— Всех сумасшедших домов мира — а их тогда было бесчисленное множество — не хватило бы, чтоб вместить хоть десятую часть англичан, страдающих тем же безумием, что и она!

— Значит, безумен был весь мир,— сказала Санрей.— Все эти люди, кроме, разве что, мисс Бампус, рассуждали о твоем образовании, как безумцы. Неужели никто из них не понимал, какое это страшное преступление—препятствовать умственному развитию человека?

— Пойми: то был мир гнета и лицемерия. Усвой это, иначе ты в нем ничего не поймешь...

— Да, но ведь целый мир! — сказал Рейдиант.

— Почти. Миром по-прежнему правил издревле завещанный страх. «Покорись,— нашептывал он.— Бездействуй, дабы не согрешить. А от чад своих таи». Я вам рассказываю о том, как воспитывали Гарри Мортимера Смита, но это же смело можно сказать о воспитании подавляющего большинства людей, населявших тогда землю. И зло не только в том, что мозг их был отравлен и обречен на духовный голод: их психику старательно уродовали, ломали... Оттого и был так жесток и неустроен тот мир, так грязен и тяжко болен: он был запуган, он не дерзал найти способ исцеления. В Европе тогда любили рассказывать небылицы о том, какие страшные и жестокие дела творят китайцы. Особым успехом пользовалась одна: будто маленьких детей в Китае сажают в огромные фарфоровые сосуды, так что тела их со временем принимают причудливую, неестественную форму. Потом этих уродцев показывают на ярмарках или продают богачам. Китайцы действительно зачем-то заставляли своих девушек уродовать себе ноги — быть может, этот обычай и послужил поводом для создания леденящей душу сказки,— но не в том дело. Ведь так же страшно калечили психику английских детей, с той только разницей, что вместо фарфоровых сосудов вместилищем их

душ служили мусорные ящики и консервные жестянки... Ох, братцы! Когда я говорю об этом, я больше не Сарнак! Я возвращаюсь в искалеченное, изломанное детство Гарри Мортимера Смита и задыхаюсь от ярости и тоски...

— Ну, а на курсы ты все-таки попал? — спросила Санрей.— Надеюсь, да?

— Только года через два, не раньше, хотя мисс Бампус и помогала мне, как могла. Я брал у нее книги и, несмотря на строжайшую цензуру моей малограмотной матери, жадно глотал одну за другой. Однако — не знаю, поймете ли вы меня,— пошлое толкование, которое мать придавала моим отношениям с мисс Бампус, постепенно стало отравлять нашу дружбу. Вам ясно, думаю, как легко было подростку в моем положении влюбиться в молодую, доброжелательную, милую женщину, проникнуться к ней глубоким и пылким обожанием. Даже и в наши дни первым большим чувством в жизни юноши чаще всего бывает преклонение перед женщиной старше него. Здесь больше подходит именно слово «преклонение», а не «любовь». Не подругу мы ищем в ранние годы, но благосклонную, участливую богиню, милостиво снисходящую к нам. Как мне было не любить ее! Но я не думал об объятиях; служить ей, умереть за нее — вот о чем я мечтал! Вдали от нее я мог вообразить, будто целую ей руку, и это было самым дерзновенным моим желанием.

Но вот между нами встала моя мать, одержимая своей навязчивой и гаденькой идеей, ревностно охраняя нечто, именуемое на ее языке моей «чистотой», и видя в безгрешной страсти, полной смирения и благодарности, лишь то же влечение, которое тянет мясную муху к помойному ведру. Что-то постыдное, неловкое стало закрадываться в мое отношение к мисс Бампус. Я стал краснеть до ушей и терять дар речи в ее присутствии. Воображению с гнусной отчетливостью рисовались возможности, до которых я, пожалуй, никогда бы не додумался, если б не намеки матери. Я представлял себе мисс Бампус в чувственных сценах...

Вскоре я поступил на работу. Теперь я был занят по целым дням, и мне редко представлялся случай увидеться с нею. Как друг и интересный собеседник она отступила куда-то на задний план, сделавшись для меня, со-

вершенно помимо моей воли, воплощением женственности...

Среди людей, навещавших мисс Бампус, особенно частым гостем стал с некоторых пор молодой человек лет тридцати трех, к которому я воспылал жгучей и бессильной ревностью. Молодой человек являлся к чаю и просиживал у мисс Бампус часа два, а то и больше, и не было случая, чтобы мать не постаралась отпустить по этому поводу какую-нибудь колкость в моем присутствии. Она называла его «ухажер мисс Бампус» или — игриво — «кое-кто».

— Сегодня опять явился кое-кто, Пру. Когда симпатичный кавалер стучится в дверь, избирательное право летит в окошко!

Я делал равнодушное лицо, но уши и щеки у меня пылали. Моя ревность доходила до ненависти. Я неделями избегал встреч с мисс Бампус. В беспамятстве я искал девушку — любую, какая подвернется,— лишь бы помогла мне вытравить образ мисс Бампус из моего сердца...

Сарнак внезапно оборвал свой рассказ и несколько секунд молчал, пристально вглядываясь в огонь с полурастроганной, полунасмешливой улыбкой.

— Какой безделицей, каким ребячеством все это выглядит сейчас! — сказал он.— И — ох! — до чего же горько было переживать это в те дни!

— Бедняжечка! — шепнула Санрей, гладя его по голове.— Бедный маленький влюбленный на побегушках...

— Каким безрадостным, неуютным должен казаться такой мир молодому существу! — воскликнула Уиллоу.

— Безрадостным и жестоким,— сказал Сарнак.

9

Моя служебная карьера в Лондоне началась с должности рассыльного — точнее, младшего рассыльного в магазине тканей рядом с вокзалом Виктория: я заворачивал покупки и разносил их по адресам. Потом я нашел себе место мальчика у аптекаря по имени Хамберг, недалеко от Люпус-стрит. Аптекарь в те времена был нисколько не похож на тех, кого у нас называют фармацевтами, а гораздо больше напоминал провизора из

пьесы Шекспира или другой какой-нибудь старинной книги. Аптекарь торговал медикаментами, ядами, лекарствами, кое-какими специями, красителями и прочими снадобьями. В мои же обязанности входило мыть бесконечные пузырьки, доставлять покупателям медикаменты и снадобья, прибирать на заднем дворике и вообще в меру моих сил делать, что придется.

Немало попадалось в старом Лондоне курьезных лавочек, но самыми диковинными, наверное, были все-таки аптечные лавки. Облик аптеки дошел до нас почти неизменившимся со времени так называемых Средних веков, когда Западная Европа, суеверная, грязная, отсталая, наводненная болезнями, истерзанная арабами, монголами, турками, затаилась за стенами своих замков и городов, боясь переплыть океан, вступить в сражение без лат и доспехов, грабила, отравляла, пытала, убивала из-за угла и мнила себя достойной преемницею Римской империи. Западная Европа стыдилась своих исконных наречий: она изъяснялась на скверной латыни, она не смела взглянуть в лицо фактам, рыская в поисках истины среди полустертых пергаментов и выхолощенных софизмов; она сжигала заживо мужчин и женщин, которые понимали, как смешна и абсурдна ее вера, и видела в звездах небесных всего лишь засаленную колоду гадальных карт, по которым можно предсказывать судьбу. Одним из порождений той эпохи и явилась фигура аптекаря — та самая, что известна вам по «Ромео и Джульетте». А ведь Мортимера Смита отделяли от старого Шекспира всего каких-нибудь четыре с половиной столетия! Аптекарь священнодействовал в тайном сговоре с врачами, столь же всезнающими и почти столь же невежественными, как он сам. Врач наносил на бумагу загадочные знаки и письмена; аптекарь составлял по ним лекарства. В нашей витрине были выставлены пузатые стеклянные бутыли с подкрашенной водой: красной, желтой, синей, и газовые лампы изнутри аптеки отбрасывали сквозь них на мостовую таинственные блики.

— А чучело аллигатора было? — не удержалась Файрфлай.

— Нет. Аллигаторов мы уже пережили, но зато под цветными бутылями в окне стояли великолепные фарфо-

ровые банки с золочеными крышками. Банки были украшены мистическими надписями — сейчас, погодите-ка! Вот. Одна такая: Sem. Goriand[1]. Другая: Rad. Sarsap. Потом... Ну как же это, постойте... На той, что в углу... Ах, да! Marant. Ar. А напротив — C. Cincordif. За прилавком, на виду у покупателей, красовались аккуратные ящички, поблескивающие золотыми вычурными буквами: Pil. Rhubarb или Pil. Antibil., а под ними в боевом порядке — снова бутыли, флаконы, пузырьки: Ol. Amyg.; Tinct. Jod. — таинственные, заманчивые... Я ни разу не видел, чтобы мистер Хамберг хоть что-нибудь вынул (я уж не говорю — продал) из этих ученых ящичков и бутылей. Для повседневной торговли шел товар совсем другого сорта; яркие пакетики, грудами наваленные по всему прилавку, веселые маленькие коробочки, без зазрения совести расхваливавшие себя на все голоса: «Зубная паста «Гаммидж», душистая, способствующая пищеварению!», «Хупер», мозольный пластырь!», «Люкстон» — средство для дам», «Пилюли «Тинкер» на все случаи жизни»... То был наш ходовой товар, и покупатель спрашивал его открыто и громко. Но нередко переговоры велись вполголоса — я никогда как следует не мог понять, о чем. Едва только обнаруживалось, что покупатель из категории тех, кто изъясняется sotto voce[2], как меня под благовидным предлогом отсылали на задний дворик. Поэтому я вправе лишь предположить, что мистер Хамберг позволял себе время от времени превысить свои профессиональные полномочия, давая советы и указания, на которые официально имели право лишь квалифицированные врачи. Не забывайте: многое из того, что у нас является открытым и прямым достоянием каждого, в те дни считалось чем-то запретным, окруженным мистикой и тайной, чем-то постыдным и нечистым...

Первым результатом моего пребывания в аптеке был жадный интерес к латыни. Здесь все внушало мысль о том, что латынь — универсальный ключ к знаниям; более того, что ни одно изречение не таит в себе мудрости, пока оно не переведено на латынь. И я не

[1] Названия лекарственных трав и медикаментов *(лат.)*.
[2] Вполголоса *(итал.)*.

устоял. За несколько медяков я приобрел себе у букиниста старую, потрепанную латинскую «Principia»[1], составленную неким Смитом, моим однофамильцем, и засучив рукава ринулся в бой. И что же? Грозная латынь оказалась куда более податливым, логичным и бесхитростным языком, чем раздражающе-верткий французский или тяжеловесный, кашляющий немецкий, которые я тщетно пытался одолеть прежде. Латынь — язык мертвый: твердый грамматический костяк и четкое, простое произношение. Он никогда не движется, не ускользает от тебя, подобно живым языкам. Я быстро научился находить знакомые слова на наших ящичках, бутылях, надгробных надписях Вестминстерского аббатства, а вскоре начал разбирать даже целые фразы. Я рылся в ящиках дешевых букинистических лавочек, откапывая латинские книги: одни удавалось прочесть, другие — нет. Побывала в моих руках история войн первого из кесарей — Юлия Цезаря, авантюриста, который оборвал последний зловонный вздох разложившейся Римской республики. Достал я и латинский перевод Нового Завета и одолел обе эти книги довольно легко. Но вот латинские стихи поэта Лукреция оказались мне не по плечу; я так и не смог в них разобраться, хотя к каждой странице был приложен английский стихотворный перевод. Английский текст я, впрочем, прочел с захватывающим интересом. Удивительная вещь: стихи этого самого Лукреция, древнеримского поэта, который жил и умер за две тысячи лет до меня (и за четыре — до нас с вами), рассказывали о строении вселенной и происхождении человека куда более толково и вразумительно, чем те древние семитические легенды, которым меня учили в воскресной школе.

Одной из поразительных черт того времени было смешение идей, принадлежащих к разным эпохам и стадиям человеческого развития,— результат беспорядочной, небрежной системы нашего обучения. Школа и церковь упорно туманили людям разум мертвой схоластикой. В голове европейца двадцатого века обрывки теологии фараонов и космогонии сумерийских жрецов смешались с политическими воззрениями семнадцатого века и этиче-

[1] «Начала» (лат.).

скими понятиями спортивных площадок и боксерского ринга — и это в век аэропланов и телефонов!

И разве мой собственный пример не наглядное свидетельство пороков моей эпохи? Подумайте: в век нового, в век открытий сидит подросток и ломает себе голову над латынью, чтобы с ее помощью проложить себе путь к половинчатым знаниям древних! Вскоре я взялся и за греческий, но с ним дело подвигалось туго. Раз в неделю — в так называемый «короткий день» — я ухитрялся бегать после работы на вечерние курсы по химии. Я очень быстро обнаружил, что эта химия не имеет почти ничего общего с нашей аптечной алхимией. Эта химия, которая поведала мне о материи и ее силах, говорила со мною на языке другого, нового века. Захваченный чудом второго открытия своей вселенной, я забросил греческий язык и, роясь в пыльных книжных ящиках, выуживал оттуда уже не римских классиков, а современные научные книги. Я понял, что Лукреций почти так же безнадежно устарел, как книга Бытия. «Физиография» Грегори, «Сотворение мира» Клодда и «Ученые размышления в вольтеровском кресле» Ланкестера — вот книги, которые многому научили меня. Действительно ли это были такие уж ценные книги, я не знал: просто они, а не другие попались мне под руку и первыми разбудили дремавшую мысль. Теперь вы представляете себе, в каких условиях жили тогда люди? Чтобы узнать хотя бы то немногое, что было к тому времени известно о вселенной и человеке, мальчишка вынужден был добывать знания тайком, пугливо озираясь, точно голодный мышонок в поисках хлебной корочки. До сих пор не могу забыть, как я впервые читал о сходстве и различии между человеком и обезьяной и вытекающих отсюда предположениях о природе обезьяно-человека. Я сидел с книгой в сарайчике на заднем дворе. Мистер Хамберг прилег на диван в задней комнатке соснуть после полуденной трапезы, навострив одно ухо на случай, если позвонят в дверь. Что до меня, то я навострил оба (одно — на тот же самый случай, а другое — чтобы услышать, когда встанет хозяин) и читал — впервые в жизни читал о силах, создавших меня таким, каков я есть: читал, хотя мне полагалось в это время мыть бутыли...

Надо вам сказать, что самое почетное место на выставке за прилавком занимала бравая шеренга особенно важных и пузатых стеклянных сосудов, украшенных многообещающими золотыми надписями, вроде: Aqua Fortis[1] или Amm. Hyd[2]. Однажды, подметая пол, я заметил, что мистер Хамберг делает смотр своим частям. Он поднял бутыль на свет и покачал головой: внутри плавали какие-то хлопья.

— Гарри,— обратился ко мне хозяин,— видишь вот эти бутыли?

— Да, сэр.

— Опорожни и налей чистой воды.

Я окаменел со щеткой в руке: шутка ли — столько добра пропадет даром!

— А оно не взорвется, когда я солью все вместе?

— Взорвется! — фыркнул мистер Хамберг.— Это же просто тухлая вода. В них уже лет двадцать ничего другого нет. Что мне нужно, я держу в аптечном шкафу — да и совсем не это идет нынче в ход. Вымой хорошенько, потом наберем свежей воды. Они ведь у нас так, для красоты. Надо же чем-то потешить старушек.

---

[1] Спирт (*лат.*).

[2] Нашатырный спирт (*лат.*).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ГАРРИ МОРТИМЕРА СМИТА

ГЛАВА V

ФАННИ НАШЛАСЬ

1

— А теперь,— сказал Сарнак,— я подошел к одной из самых существенных сторон жизни: я расскажу вам, какой была любовь в том скученном, закоптелом, скованном страхом мире — мире лондонских туманов и янтарного лондонского солнца. Она была хрупкой, пугливой, робкой, эта любовь, затерянная в дремучем лесу жестокости и гнета, и она была отчаянно дерзкой. Она рано увядала, становилась немощной, желчной, озлобленной — впрочем, мне посчастливилось умереть молодым, с горячей, живой любовью в сердце...

— И снова жить,— чуть слышно сказала Санрей.

— И снова любить,— отозвался Сарнак, ласково потрепав ее по колену.— Сейчас, постойте...

Он поднял ветку, выпавшую из огня, сунул ее в самый жар и подождал, пока она занялась жадными языками пламени.

— Первой женщиной, в которую я влюбился, была, пожалуй, моя сестра Фанни. Лет в одиннадцать я был не на шутку в нее влюблен. Но, кроме того, я приблизительно тогда же ухитрился влюбиться еще и в обнаженную гипсовую нимфу, отважно сидевшую верхом на дельфине, изо рта которого бил фонтан. Я увидел ее на скверике в центре Клифстоуна. Подняв подбородок и взмахнув рукой, нимфа улыбалась — у нее была чарующая улыбка и самая прелестная фигурка, какую только можно себе вообразить. Больше всего мне нра-

вилось смотреть на нее сзади — особенно с одной точки, откуда был виден изящный изгиб ее улыбающейся щеки, кончик милого носика, подбородок и нежная округлость груди под поднятой рукой. Я прохаживался вокруг фонтана, тайком норовя подобраться поближе к этому своему излюбленному месту. Открыто смотреть я стыдился: я уже слишком прочно усвоил, что вся эта красота неприлична. И все-таки я глядел и не мог наглядеться.

Однажды, когда я любовался своим кумиром, по обыкновению полуотвернувшись к клумбе с цветами и поглядывая на нимфу исподтишка, я заметил, что на меня смотрят. Стареющий мужчина с плоским, бледным лицом сидел на садовой скамейке и, подавшись вперед всем телом, уставился на меня с идиотской, понимающей ухмылкой, как будто поймал меня с поличным и разоблачил мою тайну. Олицетворенная похоть! Меня обуял панический страх. Я пустился наутек — и больше близко не подходил к скверику. Ангелы с пылающими мечами преграждали мне путь. И смертельный ужас, что я могу снова встретить этого жуткого старикашку...

Потом я оказался в Лондоне, и моим воображением овладела мисс Беатрис Бампус и сделалась моей Венерой, и всеми богинями вместе — а когда она уехала, ничто не прошло, а только стало еще хуже... Она уехала! Уехала — насколько я понимаю,— чтобы выйти замуж за того самого ненавистного молодого человека, и забыла про женское равноправие, и уоркширские Бампусы (завзятые охотники), несомненно, с радостью затравили в честь возвращения блудной дочери упитанную лисицу и устроили пышное празднество. Но все равно у каждой героини моих бесчисленных грез всегда было такое же милое, открытое мальчишеское личико. Я спасал ей жизнь во всех частях света — впрочем, иногда и она спасала меня. С нами случались удивительные приключения. Мы пробирались, цепляясь друг за друга, по краю бездонной пропасти, пока я не засыпал. А когда, сокрушив всех врагов, я объявлял ей после битвы, что никогда не полюблю ее, она выступала вперед из толпы пленниц и, пустив два колечка папиросного дыма, бросала мне в ответ одно-единственное слово:

— Врунишка!

Работая в аптеке мистера Хамберга, я вовсе не встречался с девочками моего возраста: вечерние курсы и чтение отвлекали меня от легких уличных знакомств. Впрочем, случалось, что учение не шло мне в голову; тогда я потихоньку удирал из дому куда-нибудь на Уилтон-стрит или Виктория-стрит, где по вечерам под электрическими фонарями слонялись, заговаривали друг с другом мальчишки-рассыльные, ученицы из мастерских, солдаты, уличные девицы... Иной раз и я провожал взглядом девичью фигурку, проплывающую в толпе, но я был застенчив и строг. Меня неодолимо влекло к чему-то большому, прекрасному, что рассеивалось, как дым, при первом же соприкосновении с действительностью.

2

Не прошло и года, как в меблированном доме в Пимлико многое переменилось. Бедняги Моггериджи заболели инфлюэнцей (эпидемии этой болезни особенно свирепствовали в те времена), лихорадка перешла в воспаление легких, и через три дня обоих не стало. Никого, кроме матери и Пру, не было на их бедных похоронах. Фрау Бухгольц исчезла из моего поля зрения незаметно: не могу толком вспомнить, когда она съехала с квартиры и кто поселился вместо нее. Мисс Беатрис Бампус, изменив борьбе за женское равноправие, покинула нас, а на втором этаже водворилась в высшей степени непоседливая парочка, которая внушила моей матери серьезнейшие подозрения и стала причиной крупных разногласий между нею и Матильдой Гуд.

Во-первых, новые жильцы не привезли с собой солидного багажа, без которого ни один степенный человек не поселится на новом месте. Во-вторых, они появлялись на день или два, пропадая затем на целую неделю, а то и больше, и почти никогда не приезжали и не уезжали вместе. Все это заставило мою матушку предпринять ряд наблюдений морального свойства. Она стала поговаривать, что новые квартиранты, чего доброго, по-настоящему не женаты. Она раз и навсегда запретила Пру подниматься на гостиный

этаж, что и послужило толчком к открытому столкновению с Матильдой.

— Что это ты затеяла? — спросила Матильда.— Отчего бы Пру не ходить на гостиный этаж? Наводишь девчонку на разные мысли...

— Наоборот: забочусь, чтоб другие не навели. У нее есть глаза.

— И длинные руки,— многозначительно и зловеще добавила Матильда.— И что же она такое увидела?

— Метки,— сказала мать.

— Какие такие метки?

— Очень простые. Его вещи помечены одним именем, а ее — другим. Сами назвались Мильтоны, а у обоих разные метки, и никакого Мильтона нет. И потом, видела, как она разговаривает? Вроде бы чует, что ты можешь что-нибудь подметить: подъезжает к тебе, а сама боится. И это еще не все! Совсем не все. Я не слепая, и Пру тоже. Что там творится! Целуются, милуются весь день напролет. Как в дом ногой ступили — так тут же, сразу! Не дождутся, пока из комнаты выйдешь. Что я — дура, что ли? Я, Матильда, сама была замужем...

— А нам что? У нас меблированные комнаты, а не сыскное агентство. Если мистер и миссис Мильтон вздумают поставить на белье сотню меток, и все разные — нам-то какое дело? Зато на счету у них всегда стоит: «Уплачено вперед; с благодарностью — Матильда Гуд». Мне другого брачного свидетельства не требуется. Поняла? Ты, Марта, женщина трудная, с такой, как ты, в меблированном доме тяжело. Нет чтоб примениться, подладиться... Нет того, чтобы знать свое дело, и точка. То ей мисс Бампус мальчишку портит — это же просто курам на смех! — а теперь, видно, миссис Мильтон стала для Пру нехороша? А миссис Мильтон, между прочим, как-никак, культурная дама, да еще, главное, из благородных. Ты бы, Марта, побольше занималась своим делом, а Мильтоны со своим управятся и без тебя. Если они и не повенчаны, так им за это отвечать в конечном счете, а не тебе. Успеешь с ними поквитаться на страшном суде. А пока что — кому от них вред? Тихие, скромные — сколько я здесь живу, у меня лучше этой пары не было!

Мать ничего не ответила.

— Ну так как же? — наседала Матильда.

— Обидно прислуживать бесстыжей бабе,— упрямо проговорила мать побелевшими губами.

— А еще обидней, когда тебя называют бесстыжей бабой только за то, что у тебя кое-что из белья помечено девичьей фамилией,— сказала Матильда Гуд.— Брось, Марта, чепуху-то городить.

— Не знаю только, отчего это на его пижаме тоже девичья фамилия,— снова набравшись боевого духа, упиралась мать.

— Ты ничего не знаешь, Марта,— сказала Матильда, неприязненно сверля мать одним глазом, а другим глубокомысленно созерцая предмет спора где-то в пространстве.— Я в тебе это замечаю не первый раз, а теперь открыто говорю: ничего ты не знаешь. Мистер и миссис Мильтон будут жить на квартире сколько вздумают, а если ты чересчур привередлива и гнушаешься им прислуживать, найдутся такие, что не погнушаются. Я своих квартирантов оговаривать не позволю. Я не потерплю, чтоб на них возводили напраслину из-за их же нижнего белья. Да, кстати! Как мне раньше в голову не пришло! Ясное дело: человек просто-напросто одолжил пижаму, и все! Или ему друг какой-нибудь отдал, которому она не впору... А может быть, получил наследство, и пришлось срочно сменить фамилию [1]. Таких случаев сколько угодно. Сплошь да рядом. Почитай газеты. А потом и в стирке часто меняют белье. Знаешь, какие бывают прачечные? Что твой меновой двор. Вот мистер Плейс — у него раз был воротничок с меткой «Фортескью». Летом уезжал отдыхать — и привез. *Фортескью!* Чем тебе не доказательство? Не вздумаешь ли ты, Марта, из-за этого приписать и мистеру Плейсу неведомо что? Или, значит, и он ведет двойную жизнь и вовсе не холостяк? Ты, Марта, наведи у себя порядок в голове. И не думай так низко о людях. Сто оправданий можно найти, а уж потом подумать худое. А тебе, Марта, просто нравится порочить людей. Я сколько раз замечала. Тебя прямо-таки

---

[1] В Англии принято брать фамилию человека, оставившего в наследство поместье.

хлебом не корми. В тебе христианского милосердия — ни крупинки!

— Такое не хочешь, да заметишь,— сказала мать уже далеко не твердым голосом.

— Ты — еще бы! Есть люди, которым дальше носа не видно, а за другими замечают чересчур много. И чем больше я на тебя гляжу, тем мне больше сдается, что ты как раз из таких. Во всяком случае, может, кто и съедет отсюда, а мистер и миссис Мильтон останутся. Кто бы другой из-за этого не съехал. Думаю, ясно, Марта.

Мать была ошеломлена. Она прикусила язык, умолкла и потом несколько дней ходила оскорбленная и притихшая, открывая рот лишь в случае крайней надобности и односложно отвечая, когда к ней обращались с вопросом. На Матильду, казалось, это не произвело ни малейшего впечатления. И когда вскоре после этого Матильда велела Пру подать Мильтонам чай, я заметил, что застывшее лицо моей матушки совсем окаменело, но вслух она не возразила ни слова.

3

А потом на моем горизонте, откуда ни возьмись, снова возникла Фанни. Вернула мне ее чистая случайность: после переезда из Клифстоуна в Лондон всякая возможность установить с нами связь исчезла. Весть о возвращении Фанни принес нам мой брат Эрнст.

Мы сидели за ужином в нашем подвальчике. Ужин у нас всегда проходил очень славно. На столе появлялась копченая грудинка, хлеб, сыр, легкое пиво. К тому же Матильда Гуд обычно норовила скрасить вечернюю трапезу чем-нибудь «вкусненьким»: печеной картошкой в мундире, или, как она говорила, «всякой всячиной на сковородке» — картошкой с разными овощами, приправленными мясной подливой. Потом она брала газету, читала нам что-нибудь вслух и рассуждала о прочитанном умно и живо, а не то вызывала меня на разговор о книгах, которые я читаю. Она обожала убийства и происшествия, и с ее легкой руки все мы очень скоро стали большими специалистами по части мотивов и улик преступлений.

— Ты, может, скажешь, что это ни с чем не сообразно, Марта, но только в каждом убийстве вся человеческая природа — как на ладони. Вся до капельки. Сомнительно даже, можно ли узнать, на что человек способен, пока он не совершил убийство.

Мать редко могла удержаться, чтобы не клюнуть на эту приманку.

— Не пойму, как ты можешь говорить такие вещи, Матильда,— начинала она...

Но вот с улицы послышался шум автомобиля, и на дворик, ведущий в подвальный этаж, спустился мой брат Эрнст. Пру отворила ему дверь, и он вошел в комнату. Он был в своей шоферской форме: кожаная куртка, краги. Кепку он держал в руке.

— Раньше отпустили сегодня?— спросила Матильда.

— В одиннадцать надо к Корт Сиэтр,— сказал Эрнст.— Думал, заверну на пару слов и погреюсь кстати...

— Закусишь с нами? Пру, подай-ка ему тарелку, нож, вилку, стакан. Один стаканчик такого пива тебе не помешает править машиной... Сто лет тебя не видали!

— Спасибо, мисс Гуд.— Эрнст всегда разговаривал с Матильдой чрезвычайно вежливо.— Пожалуй, закушу. Не подумайте, будто я к вам не собирался. Просто мотаешься целыми днями туда-сюда...

Тут было подано угощение, и разговор на время заглох. Попытки возобновить его не увенчались успехом. Эрнст был явно чем-то озабочен, и это, по-видимому, не укрылось от зоркого глаза Матильды Гуд.

— Ну и что же ты новенького собрался нам рассказать, Эрни? — внезапно спросила она.

— Хм... странная вещь — как это вы догадались, мисс Гуд? Ведь я и в самом деле собрался кое-что рассказать Такое... Как бы это выразиться... интересное, что ли.

Матильда вновь наполнила его стакан.

— С Фанни я виделся, вот что,— с решимостью отчаяния брякнул Эрнст.

— Ну да! — выдохнула мать. На секунду в комнате воцарилось молчание.

— Так! — Матильда Гуд положила локти на стол и волной колыхнулась вперед.— Ты видел Фанни. Красоточку Фанни, которую я знала когда-то. И где же ты ее видел, Эрни?

Но Эрнсту было не так-то легко справиться с первой фразой.

— Дело было на той неделе, во вторник,— выговорил он наконец.

— Там? С этими... которые у вокзала Виктория?— задыхаясь, допытывалась мать.

— Ты ее сначала увидел или она тебя? — спросила Матильда.

— Стало быть, в тот вторник,— повторил Эрнст.

— Заговорил ты с ней?

— Говорить-то — нет. Не говорил.

— А она с тобой?

— Тоже нет.

— Откуда ж ты тогда знаешь, что это была наша Фанни? — спросила Пру, внимательно следившая за разговором.

— Я думала, ее отправили на погибель в чужую страну — до Булони-то было рукой подать,— запричитала матушка.— Думала, у торговцев живым товаром хватит все-таки совести сбыть девушку подальше от родного дома... Фанни! На панели — в Лондоне! Рядом с нами! Я ей говорила, чем это кончится. Сколько раз учила: иди, говорю, замуж за порядочного человека. Так нет же! Своевольничала, на богатство польстилась... Она к тебе не приставала, Эрни, где мы живем, и все такое? Не увязалась за тобой?

На лице моего брата Эрнста было написано мучительное затруднение.

— Все было совсем не так, мать,— сказал он.— Совсем не то. Понимаешь...

После жестокой схватки с внутренним карманом своей тесной кожаной куртки Эрнст наконец вытащил довольно замусоленное письмо. Он не стал читать его сам, не протянул кому-нибудь из нас — он просто держал письмо в руке. По-видимому, так он чувствовал себя увереннее в роли рассказчика — роли, для которой обладал столь ничтожными данными.

— Я лучше с самого начала,— сказал Эрнст.— Все совсем не так, как надо бы ожидать. На той неделе, стало быть. Во вторник.

Матильда Гуд предостерегающим жестом остановила мать.

— Вечером, наверное? — подсказала она.

— Вызов был: отвезти на обед и обратно. Само собой, я Фанни без малого шесть лет не видал, понимаете... Это она меня узнала.

— Значит, отвезти на обед и доставить обратно, так? — опять помогла ему Матильда

— Велено было заехать на Брантисмор-гарденс, Эрлс Корт, дом сто два, забрать даму с господином из верхней квартиры, отвезти на Черч-роу, Хемпстед, номер дома укажут. Заехать в десять тридцать и отвезти домой, куда будет сказано. Ну я, значит, еду на Брантисмор-гарденс. Докладываю швейцару, что, мол, прибыл точно в срок и жду. Дом из этих—с квартирами, швейцар в ливрее. Он звонит наверх по телефону, как водится. Спустя немного из дому выходят дама и господин. Я иду к машине, как положено, открываю дверцу. Пока что ничего особенного. Он — джентльмен как джентльмен, в смокинге, обыкновенное дело, на ней — меховая накидка, причесана сама красиво, знаете, как ходят на вечера, и что-то блестит в волосах. Леди с ног до головы.

— И это была Фанни? — не выдержала Пру.

Вопрос озадачил рассказчика. Несколько секунд немой борьбы — и вот он снова нащупал почву под ногами.

— Вроде бы сказать — нет еще.

— То есть ты еще ее не узнал, так? — выручила Матильда.

— Да. А она только глянула на меня и будто вздрогнула. И садится в машину. Вижу, качнулась вперед и словно бы рассматривает меня, пока он тоже усаживается. Честно скажу, я особо даже не обратил внимания. Даже бы не вспомнил, если б не то, что было потом. Но когда я их отвозил назад, кое-что уже было заметно. Вижу, смотрит она на меня, смотрит... Сначала вернулись опять на Брантисмор-гарденс, сто два.

Он вышел и говорит: «Минуточку подождите здесь» — и помогает выйти ей. А она вроде как хочет со мной заговорить — а потом, гляжу, раздумала. Но здесь уж и я думаю себе: «Где-то я вас, миледи, видел». Интересно, что о Фанни у меня даже мысли не было. Единственное, что, вижу, чуть смахивает на нашего Гарри. А что это может быть Фанни, мне и в голову не приходило. Чудеса! Взошли они по ступенькам в подъезд — знаете как: площадка, и на нее выходят несколько квартир. Остановились на минутку под люстрой; смотрю: совещаются о чем-то, а сами посматривают в мою сторону. Потом поднялись в квартиру.

— Ты и тогда еще ее не узнал? — спросила Пру.

— Примерно четверть часа спустя выходит он. Задумчивый такой. В белой жилетке, смокинг переброшен через руку. Называет адрес недалеко от Слоун-стрит. Выходит, дает на чай — довольно щедро, прямо скажу, и все стоит размышляет. Вроде и надо бы что-то сказать, и не знает как. «У меня,— говорит,— свой счет в вашем гараже. Вы запишите этот вызов». Потом: «Мне обычно присылают другого шофера. Вас,— говорит,— как зовут?» «Смит». «Эрнст Смит?» «Да, сэр». Я уж отъехал и вдруг спохватился: откуда же, черт побери... Ох, извините, пожалуйста, мисс Гуд!

— Ничего, ничего,— сказала Матильда.— Дальше.

— Откуда, шут его побери, он знает, что меня зовут Эрнст? До того это крепко меня озадачило — чуть не врезался в такси на углу Слоун-сквер. Ночью лежу — не сплю; все думаю да гадаю, и только часа в три утра как стукнет в голову...— Эрнст принял вид рассказчика, припасшего под конец сногсшибательный сюрприз,— что эта молодая дама, которую я возил в тот вечер...— Он выдержал эффектную паузу.

— Фанни,— шепотом подсказала Пру.

— Сестрица Фанни,— поддержала ее Матильда.

— Наша Фанни,— подхватила мать.

— Не кто иной, как Фанни собственной персоной!— победоносно объявил мой брат Эрнст и обвел нас взглядом, чтобы насладиться изумлением, вызванным столь ошеломляющей развязкой.

— Я так и думала, что Фанни,— закончила Пру.

— Накрашена, или как? — спросила Матильда.

— Чуть-чуть — не то, что большинство. Теперь почти поголовно все мажутся. Знатные дамы. Жены епископов. Вдовы. Все. По ней как раз не скажешь, что она из этих... ну, из особо размалеванных; даже нисколько. Такая свеженькая, бледноватая — точно как раньше, бывало.

— А одета, как настоящая дама? Не крикливо?

— Богато одета,— сказал Эрнст.— Богато, без обмана. Но только, как говорится, показного шика — этого нет.

— А дом, куда ты их привез,— шумный? Песни, танцы, окна настежь?

— Дом очень тихий, солидный. Шторы спущены, и никакого шума. Частный дом. Хозяева вышли к двери проститься: она настоящая леди, он — джентльмен джентльменом. Я и дворецкого видел,— к машине выходил открывать дверь. Не из тех, кого нанимают на вечер. Настоящий дворецкий. Там еще были гости — их дожидался собственный лимузин, шофер пожилой такой, осторожный. Короче, что называется, чистая публика.

Матильда повернулась к матери.

— В Лондоне-то в Лондоне, да не очень скажешь, чтоб на панели. А он каков из себя?

— О нем я слышать не желаю,— объявила мать.

— Потасканный такой, кутила? И слегка под мухой? — настаивала Матильда.

— По сравнению, каких обычно развозишь с обедов,— куда трезвее. Сразу видно по тому, как считал деньги. Многие из них — и какие еще важные птицы — с обеда едут... ну, как бы это... немножко чудные. Занятно поглядеть. С дверью никак не справятся. Этот — ничего похожего. Вот то-то именно и не понять... Ну, и потом — письмо.

— Так. Стало быть, письмо,— кивнула Матильда.— Ты бы, Марта, прочла, а?

— Как оно к тебе попало? — спросила мать, даже не пытаясь притронуться к письму.— Не хочешь же ты сказать, будто она тебе дала письмо?

— Письмо я получил в четверг. По почте. Пришло в гараж, адресовано мне: Эрнсту Смиту, эсквайру. Интересное такое письмо: про нас спрашивает. Не разберусь

я толком, что к чему в этой истории. Думал, голову ломал... К тому же, знаю, как мать ополчилась против Фанни. Сказать, думаю, или не стоит...

Голос Эрнста замер. Наступила пауза, которую нарушила Матильда:

— Надо бы кому-нибудь прочесть это письмо.

Она взглянула на мою матушку, странно усмехнулась — даже углы губ не приподнялись — и протянула руку за письмом.

4

Да, именно Матильда Гуд прочла нам это письмо: вид матери яснее слов говорил, что ей противно к нему прикоснуться. Как сейчас, вижу широкую красную физиономию Матильды над накрытым столом, приподнятую поближе к тусклому пламени маленького газового рожка, чуть склоненную набок, чтобы письмо попало в фокус того глаза, которым она читала. Рядом с нею — безвольное, любопытное лицо Пру с беспокойно бегающими глазками, которые то и дело возвращались к лицу матери: так музыкант в оркестре следит за дирижерской палочкой. Мать сидела очень прямо, бледная, непримиримая. Эрнст развалился на стуле с бесстрастным видом, выражая всем своим массивным обликом полную неспособность «разобраться толком, что к чему».

— Ну-с, поглядим,— начала Матильда, пробегая глазами письмо для предварительного знакомства. «Милый Эрни!» М-да... Значит, так: «Милый Эрни! Как чудесно было снова тебя увидеть! Я едва поверила, что это в самом деле ты, даже после того как мистер... мистер...» Написала, а потом передумала и зачеркнула. Мистер такой-то — мистер зачеркнуто — «спросил, как тебя зовут. Я уже стала бояться, что потеряла вас совсем. Где ты живешь, как твои дела? Ты знаешь, я уезжала отдыхать, побывала во Франции, в Италии — ах, что за дивные там места! — и по дороге домой соскочила с поезда в Клифстоуне, потому что хотела повидать всех вас, не могла примириться с мыслью о том, что бросила вас и даже не простилась».

— Раньше надо было думать,— вставила мать.

— «Здесь я впервые услышала (мне рассказала миссис Бредли) о несчастье, которое случилось с нашим бед-

ным отцом, о том, как он умер. Я сходила на кладбище и вволю наплакалась над его могилой. Не могла сдержаться. Бедный старый папочка! Какая злая судьба — так встретить смерть! Я принесла на его могилу целый ворох цветов и договорилась с кладбищенским служителем Ропсом, чтобы он аккуратно подстригал газончик у могилы».

— Подумать только, каково самому-то было при этом! — ужаснулась мать.— Он, покойник, скажет, бывало: «Мне,—говорит,—легче бы мертвой ее увидеть у своих ног, чем знать, что она падшая женщина». А она ему цветочки кладет. Да он, думается, в гробу перевернулся!

— Очень возможно, что он теперь стал думать подругому,— примирительно сказала Матильда.— Откуда нам, Марта, знать? Может быть, на небесах им уж не так сильно хочется видеть, как люди лежат мертвыми у их ног. Может, они там становятся добрее. М-да... Так на чем же это я? Ах, вот: «...аккуратно подстригал газончик у могилы. Никто не знал, где мать, где все вы. Ни у кого не было вашего адреса. Я вернулась в Лондон совсем убитая, думала, что потеряла вас. Миссис Берч говорила, что мама с Пру и Морти переехала в Лондон к знакомым, но куда точно, не знает. И вдруг — смотри, пожалуйста! Нежданно-негаданно снова объявился ты! Вот так удача — даже поверить трудно! А где все остальные? Учится ли Морти? Пру уже, наверное, совсем выросла. Как мне хотелось бы всех увидеть снова и помочь, чем могу! Эрни, милый, очень тебя прошу: передай маме и нашим, что у меня все сложилось счастливо и благополучно. Мне помогает один мой друг. Тот самый, которого ты видел. Пусть и не думают, будто я стала беспутной, испорченной женщиной. Я живу тихо и скромно. У меня своя крохотная квартирка, я много читаю и учусь. Занимаюсь очень прилежно. Я уже выдержала один экзамен, Эрни, университетский экзамен. Прилично знаю французский язык, итальянский, немного говорю по-немецки, занимаюсь и музыкой. У меня есть пианола, и я бы с большим удовольствием как-нибудь поиграла тебе или Морти. Он ведь у нас всегда был любителем музыки. Я о вас думаю часто, очень часто. Расскажи все

маме, дай ей это письмо и поскорее сообщи мне все про вас. И не думай обо мне недоброе. Помнишь, Эрни, какое мы затевали с тобой веселье на рождество, как пришли ряжеными к отцу в лавку и он нас не узнал? А помнишь, как ты смастерил кукольный домик и подарил мне на рождение? Ой, а ватрушки, Эрни! Ватрушки — помнишь?»

— Что еще за ватрушки? — спросила Матильда.

— Да была у нас такая дурацкая игра — обгоняли людей на улице. Я уж не помню точно, в чем там была суть. Но веселились мы до упаду — просто катались со смеху...

— Теперь опять о тебе, Морти. «Я бы с радостью взялась помогать Морти, если он еще не раздумал учиться. Теперь у меня есть такая возможность. Я бы очень могла ему помочь. Он уже, конечно, теперь не мальчик. Может быть, он занимается самостоятельно? Передай ему большой привет. Сердечный поклон маме, скажи ей: пусть не думает обо мне слишком худо. Фанни». Фанни. На почтовой бумаге напечатан ее адрес. Все.

Матильда уронила письмо на стол.

— Ну? — с вызовом бросила она матери.— Похоже, что девочка-то напала на стоящего человека. Таких порядочных — один на десять тысяч... Не всякий законный муженек станет так заботиться... Как думаешь поступить, Марта?

Матильда медленно схлынула со стола, откинулась на спинку стула и не без ехидства посмотрела на мать.

5

Я оторвался от лукавой физиономии Матильды и тоже перевел взгляд на сведенное напряжением лицо матери.

— Что ты ни говори, Матильда, а только девчонка живет во грехе.

— Так ведь и это еще не доказано!

— Иначе с чего бы ему...— Мать осеклась.

— Есть такое понятие, как великодушный поступок,— изрекла Матильда.— Впрочем...

— Нет,— отрезала мать.— Нам ее помощь не нужна. Такую помощь и принять-то стыдно. Пока она живет вместе с этим...

— Видимо, вместе как раз не живет. Ну-ну? Дальше что?

— Это грязные деньги,— продолжала мать.— Это он ей дает. Деньги содержанки! Я лучше умру, чем дотронусь до ее денег.

Разбередив в себе злобу, мать обрела уверенность и красноречие:

— Сначала она уходит из дому. Разбивает сердце отцу. Убила ведь она отца-то! Совсем стал не тот, как она ушла,— так и не смог оправиться. Бежит к распутству, к роскошной жизни. Родного брата заставляет себя возить на позорище...

— Ну-ну... Так уж и заставляет! — вступилась Матильда.

— А что ему еще было делать? И после всего пишет это... это, извините за выражение, письмо. Нахальство — вот что, чистое нахальство. Ни слова раскаяния — ни единого словечка! Хоть бы хватило совести признаться — стыдно, мол: такое натворила. Ничего подобного. Прямо заявляет: жила с любовником и дальше буду. Помощь! Скажите, какая добренькая! Это нам-то, которых сама же осрамила и опозорила! Кто нас заставил бросить Черри-гарденс, чтоб хоть от людей стыд унести? Она! А теперь сюда надумала пожаловать? Прикатит в автомобиле, прыг-прыг по лесенке, накрашенная, расфуфыренная: порадовать несчастную мамочку ласковым словцом! Мало мы выстрадали из-за нее, так ей еще и сюда понадобилось — повеличаться перед нами! Все навыворот! Ну нет. Если она и явится сюда,— хотя, думаю, вряд ли — пускай сначала голову посыплет пеплом и во власянице приползет на коленях...

— Этого она не сделает, Марта,— заметила Матильда Гуд.

— Ну и пусть тогда держится подальше! Очень нам надо с ней позориться! Выбрала себе дорожку — и оставайся там. А то — сюда! Ишь, чего вздумала! Что ты скажешь жильцам?

— Ну, я-то, допустим, нашла бы, что сказать,— возразила Матильда.

Но мать и не слушала ее:

— Что я им скажу? И потом, надо подумать о Пру. Вот она познакомилась в клубе с мистером Петтигрю, хочет позвать его на чашку чая. Как ей объявить про свою распрекрасную сестрицу? Леди! Содержанка — вот она кто. Да, Матильда, говорю и буду говорить: содержанка, нет ей другого имени. То-то будет чем похвастаться перед мистером Петтигрю! Разрешите представить: моя сестра, содержанка. Его отсюда моментом сдунет. Шарахнется, как от чумы. Разве Пру когда-нибудь сможет показаться в клубе после того, как такое выплывет наружу! А Эрни? Что он ответит приятелям в гараже, когда ему глаза будут колоть, что у него сестра — содержанка?

— Насчет этого не беспокойся, мать,— ласково, но твердо сказал Эрнст.— Не было такого случая, чтобы хоть одна душа в гараже мне чем-то вздумала колоть глаза — не было и не будет. Не волнуйся. Разве что кто-нибудь вздумает подавиться собственными зубами...

— Ну ладно, а Гарри? Вот он ходит на курсы — а что, если там пронюхают? Сестра — содержанка! Чего доброго, и к занятиям больше не допустят после такого позора.

— Ничего, они бы у меня быстро...— начал я по примеру брата, однако Матильда жестом прервала меня. Рука ее описала круг в воздухе и тем же движением остановила мать — впрочем, та уж почти успела высказать, что было у нее на душе.

— Понятно, Марта, какие у тебя чувства к Фанни,— сказала Матильда.— Надо думать, это естественно. Конечно, ее письмо...— Матильда взяла письмо со стола и, поджав свои толстые губы, медленно закачала из стороны в сторону грузной головой.— Ни в жизнь не поверю, что девушка, которая написала вот это,— бездушная девка. Ты ожесточилась против нее, Марта. Ты озлобилась.

— В конце концов...— начал я, но рука Матильды и на этот раз остановила меня.

— Озлобилась! — вскричала мать.— Знаю ее, вот и

все. Умеет напустить на себя невинный вид, будто ничегошеньки не случилось, да еще так норовит вывернуть, что ты же окажешься виновата...

Матильда перестала качать головой и закивала ею.

— Понятно. Очень понятно. А только с какой стати ей было писать это письмо, если бы она не была привязана ко всем вам по-настоящему? С чего бы ей себя утруждать? Корысти-то ей от вас никакой! Доброта в этом письме видна, Марта, и кое-что побольше, чем доброта. Неужели ты все это оттолкнешь? И Фанни и ее помощь? Пусть она и не валяется в ногах и не вымаливает прощения, как полагалось бы! Неужели ты даже не ответишь на письмо?

— Затевать переписку? Ну нет! Покуда она остается содержанкой, она мне не дочь. Я ее знать не желаю. А что до помощи — ха! Помощь! Как бы не так! Одна болтовня. Если бы хотела помочь, могла выйти за мистера Кросби. Честный, порядочный был мужчина, такого всякой лестно заполучить...

— Что же, тут ясно! — подвела итог Матильда Гуд. Она резким движением перекинула свою неуклюжую голову в сторону Эрнста.— Ну, а ты как, Эрни? Тоже за то, чтобы отвернуться от Фанни? И пусть ватрушки, как пословица говорится, канут в это, как его... в лето и забудутся на веки веков?

Эрнст уселся поудобнее и засунул руку в карман. Минуту-другую он что-то обдумывал.

— Затруднительная штука,— произнес он наконец.

Матильда не выручила его ни единым словом.

— Тут надо считаться с молодой особой, которая у меня на примете,— выпалил Эрнст и густо побагровел.

Мать живо повернула голову и посмотрела на него. Эрнст с каменным выражением лица глядел в другую сторону.

— О-о! — протянула Матильда.— Это что-то новенькое. И кто же она такая, Эрни, твоя молодая особа?

— Я не рассчитывал здесь о ней заводить разговор. Так что как ее зовут, пока неважно. У нее свой магазинчик дамских шляп. Это одно уже что-нибудь да значит. И другой такой разумной, милой девушки не сыщешь на всем свете. Мы познакомились на танцах. Ничего еще окончательно не решено, но мы уже как бы

помолвлены. Гостинцы приношу. Подарил кольцо, и все такое. Но про Фанни не рассказывал, само собою. Вообще, пока в семейные дела особенно не вводил. Знает, что мы имели свое торговое заведение, что потом разорились и что отец погиб от несчастного случая — и вроде все. Но Фанни... Про Фанни будет объяснить затруднительно. Не то, чтоб я желал с ней слишком круто обойтись...

— Тоже ясно.— Матильда с молчаливым вопросом взглянула на Пру и прочла ответ на ее лице. Тогда она снова взяла письмо со стола и очень внятно произнесла: — Сто два, Брантисмор-гарденс, Эрлс Корт.— Она выговаривала эти слова с расстановкой, будто вбивая их в свою память.— Верхняя квартира, говоришь, да, Эрни?

Она повернулась ко мне.

— Теперь ты. Ты что на все это скажешь, Гарри?

— Я хочу сам повидаться с Фанни. Не верю...

— Гарри,— вскинулась мать.— Слушай! Раз и навсегда! Запрещаю. Близко к ней не позволю подойти. Я не дам тебя развращать!

— Зря, Марта,— сказала Матильда.— Бесполезное дело. *Он все равно пойдет!* Любой мальчишка пошел бы после такого письма, если у него есть сердце и хоть капля мужества. Сто два, Брантисмор-гарденс, Эрлс Корт,— отчеканила она.— Совсем недалеко от нас.

— Подходить к ней запрещаю, Гарри,— повторила мать. И вдруг, слишком поздно уразумев до конца, чем угрожает письмо Фанни, схватила его со стола.— Я не допущу, чтобы ей ответили на это письмо. Я сожгу его, как оно и заслуживает. И забуду о нем. Выброшу из головы. Вот!

Мать вскочила из-за стола и, издав горлом странный звук, похожий на глухое рыданье, швырнула письмо в камин, схватила кочергу и задвинула его в самый жар, чтобы оно поскорей сгорело. В молчании следили мы, как письмо свернулось, почернело и вспыхнуло ярким пламенем. Мгновение — и перед нами, потрескивая, корчился в агонии лишь черный обугленный остов. Мать возвратилась на свое место, с минуту сидела неподвижно, затем, путаясь непослушными пальцами в складках юбки, достала из кармана жалкий, грязный,

старенький носовой платок и заплакала — сначала тихонько, потом все безутешнее и горше. Пораженные этой вспышкой, мы сидели, не шелохнувшись.

— Раз мать запрещает, Гарри, значит, тебе к Фанни ходить нельзя,— проговорил наконец Эрнст ласково, но твердо.

Матильда окинула меня суровым, вопрошающим взглядом.

— Нет, пойду! — Я в ужасе почувствовал, что из моих глаз вот-вот брызнут эти проклятые слезы!

— Гарри! — захлебываясь от рыданий, всхлипывала мать.— Ты... ты разбиваешь мне сердце! Сперва Фанни! Теперь ты...

— Вот видишь! — сказал Эрнст.

Бурные рыдания чуть утихли: мать ждала, что я отвечу. Моя глупая ребяческая физиономия стала уже, должно быть, совсем пунцовой, голос не слушался, слова застревали в горле, но я ответил как надо:

— Я пойду к Фанни. Я спрошу ее напрямик,— правда, что она живет нехорошей жизнью, или нет.

— А если да? — сказала Матильда.

— Уговорю бросить. Все силы положу, чтобы ее спасти. Да-да! Пусть даже мне придется найти такую работу, чтобы и ее прокормить... Она моя сестра...—У меня вырвалось рыдание.— Я так не могу, мама! Я должен ее увидеть!

Я с трудом овладел собой.

— Та-ак!— Матильда оглядела меня, пожалуй, скорее с иронией, чем с восхищением, которого я заслуживал. Потом она повернулась к матери.— Справедливей не скажешь, Марта. Я думаю, после этого тебе надо разрешить ему повидаться с Фанни. Слышала: Гарри сделает все, чтобы ее спасти. Как знать? Может быть, он и вправду заставит ее одуматься?

— Не вышло бы наоборот,— проворчала мать, утирая глаза: недолгая буря слез улеглась окончательно.

— По-моему, все же неправильно, чтоб Гарри к ней ходил,— не сдавался Эрнст.

— Во всяком случае, если и передумаешь, Гарри, смотри, чтобы не оттого, что адрес забыл,— усмехнулась Матильда.— Иначе крышка тебе. Если и отступишься от сестры, так по доброй воле, не по забывчи-

вости. Брантисмор-гарденс, Эрлс Корт, дом сто два. Ты лучше запиши.

— Брантисмор-гарденс. Сто два.

Я решительно шагнул к угловому столику, на котором были сложены мои книги, и твердой рукой вывел адрес Фанни красивым круглым почерком на форзаце смитовской «Principia Latina».

6

Моя первая встреча с Фанни была совсем не похожа на те трогательные сцены, которые я воображал себе заранее. Произошла она через день после того, как Эрнст сообщил нам свою ошеломляющую новость. Я отправился к ней в половине девятого вечера, дождавшись, когда закроется аптека. Дом Фанни произвел на меня весьма внушительное впечатление. По устланной ковром лестнице я поднялся к ее квартире и позвонил. Дверь отворила сама Фанни.

Нетрудно было догадаться, что улыбающаяся молодая женщина на пороге ожидала увидеть кого-то другого, а вовсе не нескладного юнца, который молча таращил на нее глаза, и что она не имеет ни малейшего представления о том, кто я такой. Сияющая радость на ее лице сменилась выражением холодной отчужденности.

— Что вам угодно? — спросила она.

Она очень изменилась. Она стала выше ростом, хоть я к этому времени вытянулся еще больше. Ее волнистые каштановые волосы были перехвачены черной бархатной лентой, сколотой сбоку пряжкой, на которой сверкали и переливались прозрачные камушки. Цвет ее лица и губ стал теплее, чем прежде. Легкое, мягкое зеленовато-синее платье с широкими рукавами открывало ее прелестную шею и белые руки. Нежная, светлая, благоухающая, изумительная, она показалась юному дикарю с лондонских улиц сказочным существом. Ее изящество наполнило меня благоговейным страхом. Я откашлялся.

— Фанни,— хрипло проговорил я.— Неужели не узнаешь?

Она сдвинула свои красивые брови, и вдруг знакомая милая улыбка осветила ее лицо.

— О-ой! Гарри! — Она втащила меня в холл, бросилась мне на шею и расцеловала меня. — Мой маленький братик! Меня перерос! Вот замечательно!

Она обошла меня, закрыла входную дверь и взглянула на меня растерянно.

— Отчего ты не написал, что придешь? Я до смерти хочу с тобой поговорить, а ко мне с минуты на минуту должен прийти один человек... Что же нам делать? Постой-ка!

Маленький белый холл, в котором мы стояли, весело пестрел изящными японскими акварелями. В стене были сделаны шкафчики для шляп и верхней одежды. Старый дубовый сундук стоял на полу. В холл выходило несколько дверей; две из них были приоткрыты. Из-за одной виднелся диван и стол, накрытый для кофе. За другой я разглядел длинное зеркало и обитое ситцем кресло. Фанни чуть замешкалась, будто выбирая, в какую нам войти, потом подтолкнула меня к первой и закрыла за собою дверь.

— Ну что бы тебе написать, что придешь! — огорчилась она. — Умираю, хочется с тобой поговорить, а тут как раз должен прийти один человек, который умирает от желания поговорить со мной. Ладно! Поболтаем, сколько успеем. Ну-ка покажись, какой ты? Да-а, сама вижу! А учишься? Мама, мама-то как? Что с Пру? И Эрнст — такой же порох, как прежде?

Я еле успевал отвечать. Я попытался описать ей Матильду Гуд; обиняками, осторожно дал ей понять, как страстно и непримиримо настроена матушка, потом стал рассказывать про свою аптеку и только собирался прихвастнуть успехами в латыни и химии, как вдруг она отстранилась от меня и замерла, прислушиваясь.

Кто-то открывал ключом входную дверь.

— Вот и второй гость пожаловал. — Фанни на миг помедлила в нерешительности, но в следующую секунду ее уже не было в комнате. Я с любопытством огляделся по сторонам и стал рассматривать кофейную машинку, которая булькала на столе... Дверь осталась чуть приоткрытой, и до меня явственно долетел звук поцелуя, а вслед за ним — мужской голос. По-моему, довольно-таки приятный голос — сердечный, живой...

— Устал я, Фанни, маленькая! Уф! До смерти устал. Новая газета — это бес какой-то. Начали все не так. Но я ее вытяну! О боги! Если б не эта тихая заводь, где я могу вкусить отдохновение, я бы уж давно слетел с катушек! В голове — ничего, одни заголовки. Возьми пальто, будь добра. Чую запах кофе!

Раздалось какое-то движение: должно быть, Фанни остановила гостя у самой двери той комнаты, в которой сидел я. Потом она торопливо что-то сказала. «...брат»,— донеслось до меня.

— Ах, проклятье! — с чувством произнес голос.— Неужели еще один? Сколько у тебя братьев, Фанни? Выпроводи его. У меня всего-навсего час какой-нибудь, милая...

Тут дверь быстро притворили: должно быть, Фанни обнаружила, что она полуоткрыта,— и о чем они говорили дальше, я не слышал.

Немного погодя Фанни появилась снова, порозовевшая, с блестящими глазами — и скромница скромницей. Как видно, ее снова расцеловали.

— Гарри! — сказала она.— Ужас как жалко, но придется мне попросить, чтобы ты пришел в другой раз. Этот гость... с ним я ведь раньше условилась. Не обижаешься, Гарри? До чего мне не терпится как следует посидеть с тобой и наговориться вдоволь! Ты по воскресеньям не работаешь? Тогда, знаешь что: приходи в это воскресенье к трем, я буду одна-одинешенька, и мы с тобой устроим чай: честь честью, по всем правилам! Не обидишься, а?

Я ответил, что ничуть. В этой квартирке понятия о морали выглядели совсем по-иному, чем за ее стенами.

— Потому что тебе правда надо бы сначала написать,— продолжала Фанни.— А то свалился, как снег на голову...

Она проводила меня до двери. Холл был пуст. Даже пальто и шляпы гостя нигде не было видно.

— Поцелуй меня, Гарри.

Я с готовностью поцеловал ее.

— Честно — не сердишься?

— Ни капельки! Конечно, надо было написать.— Я пошел вниз по устланной ковром лестнице.

— Так значит, в воскресенье в три! — крикнула она мне вдогонку.

— В воскресенье в три,— отозвался я с площадки.

Внизу был расположен общий вестибюль, откуда вела лестница во все квартиры, тут пылал камин и сидел человек, готовый по первому требованию кликнуть для вас кэб или вызвать такси. Это богатство, этот комфорт произвели на меня большое впечатление: я был очень горд, что выхожу на улицу из такого прекрасного дома... И лишь отойдя на порядочное расстояние, я начал понимать, какой неудачей обернулись все мои планы на этот вечер. Я не спросил, ведет ли она нехорошую жизнь. Я даже не подумал уговаривать ее. А сцены, заранее разыгранные мною? Сильный, простодушный и твердый младший брат избавляет легкомысленную, но прелестную сестру от чудовищного порока? Едва только отворилась дверь и я увидел Фанни, как они вылетели у меня из головы! И вот — пожалуйста: впереди еще целый вечер, а что я скажу дома? Что мечта и действительность — совсем разные вещи? Нет. Лучше вообще пока ничего не говорить, а погулять где-нибудь подольше, хорошенько разобраться, как обстоит дело с Фанни, и вернуться домой поздно, чтобы мать уже не смогла сегодня учинить мне допрос с пристрастием...

Я повернул к набережной Темзы: здесь было и пустынно, и торжественно, и каждый поворот мог порадовать внезапной красотой. Самое подходящее место, чтобы побродить и поразмыслить.

Любопытно вспомнить сейчас, как постепенно менялось мое душевное состояние в тот вечер. На первых порах я все еще витал в радужном мире, откуда только что вернулся. Фанни в довольстве и благополучии, очаровательная, приветливая, уверенная в себе... Светлая, со вкусом обставленная квартира... Дружеский и твердый голос в холле .. Эти факты заявляли о себе настойчиво и упрямо, с ними нельзя было не считаться. Какое облегчение после двух лет неизвестности и зловещих догадок хоть на минутку увидеть любимую сестру торжествующей, несломленной, окруженной любовью и заботой! Как весело предвкушать долгое свидание с нею в воскресенье, обстоятельную беседу о том, что было со

мной за это время и что я собираюсь делать Очень может быть, что они и женаты, эти двое, но просто по какой-то неведомой мне причине не имеют возможности открыто объявить о своем браке Как знать, не это ли собирается поведать мне Фанни в воскресенье — под строжайшим секретом, разумеется? И я смогу, возвратившись домой, ошеломить и пристыдить свою матушку, шепнув ей на ухо тайну Фанни... Но пока я развивал эту мысль и тешился ею, в моем сознании крепла ясная, холодная, трезвая уверенность в том, что все не так, что они вовсе не женаты, и чувство осуждения, годами взращенное в моей душе, словно мрачная тень, затмило светлый образ гнездышка сестры. С каждой минутой я был все больше недоволен ролью, которая выпала в тот вечер на мою долю. Со мною обошлись так, будто я не брат, не опора в трудную минуту, а какой-нибудь мальчишка! Меня попросту выставили за дверь! Непременно следовало сказать ей что-то — пусть в нескольких словах, утвердиться на позициях нравственного превосходства! А этот... этот Гнусный Соблазнитель, без сомнения, притаившийся в комнатке с зеркалом и ситцевым креслом?! Разве не обязан я был поговорить с ним как мужчина с мужчиной? Он уклонился от встречи — не посмел взглянуть мне в лицо! И с этой новой точки зрения я начал мысленно рисовать себе совсем иную сцену: я обличаю, я избавитель! Как полагалось бы начать разговор с Гнусным Соблазнителем? «Итак, сэр, мы с вами встретились наконец...»

Да, что-нибудь в этом роде.

Я дал волю воображению. Я фантазировал увлеченно, вдохновенно, безудержно. Вот Гнусный Соблазнитель в «безукоризненном фраке» (каковой, судя по прочитанным мною романам, являл собою неотъемлемую принадлежность матерого, закоренелого развратника) корчится под потоками моего бесхитростного красноречия. «Вы увели ее,— скажу я,— из нашего дома, небогатого, но честного и чистого. Вы разбили сердце ее отцу». Да-да! Именно этими словами! «И чем вы сделали ее? Своею куклой, своей игрушкой. Чтоб холить и ласкать, пока вы не натешитесь ею, а после — бросить!» Или, может быть, «отшвырнуть»?

Да, «отшвырнуть», пожалуй, лучше.

Я шел по набережной Темзы, размахивая руками, и бормотал вслух...

— Но ты ведь понимал кое-что? — спросила Файрфлай.— Даже тогда?

— Понимал. Но так уж мы привыкли рассуждать в те стародавние времена.

7

— Однако,— сказал Сарнак,— моя вторая встреча с Фанни, подобно первой, тоже была полна неожиданностей и непредвиденных переживаний. Ковер на великолепной лестнице, казалось, заглушил тяжеловесную поступь моей всесокрушающей морали, а когда открылась дверь и я снова увидел свою дорогую Фанни, приветливую, радостную, я начисто забыл все пункты строгого допроса, с которого предполагал начать нашу беседу. Фанни взъерошила мне волосы, чмокнула меня, забрала у меня шапку и пальто, объявила, что я невозможно вытянулся, померилась со мною ростом и втолкнула в свою веселенькую гостиную, где был уже накрыт чай. Чай! Я ничего подобного не видывал! Маленькие сандвичи с ветчиной, сандвичи с какой-то вкусной штукой, которые назывались «Пища богов и джентльменов», клубничное варенье, два разных торта, а на случай, если еще останется пустое местечко в животе, печенье.

— Ты умник, что пришел, Гарри. Хотя я так и чувствовала: что б ни случилось, ты придешь.

— Мы ведь с тобой всегда вроде держались друг за друга.

— Всегда,— согласилась она.— Правда, я думаю, и Эрни с матерью могли бы черкнуть мне хоть слово. Возможно, напишут еще... Электрический чайник ты видел когда-нибудь, Гарри? Ну, смотри! Штепсель вставляется вот сюда...

— Зна-аю.— Я включил чайник.— А в корпусе скрыты сопротивления. Я кое-что смыслю в электричестве. И в химии тоже. Научился на городских курсах. Всего мы проходим шесть предметов или, может, семь. А потом, на Тотхилл-стрит есть магазин, и там в витрине полно таких приборов...

— Наверное, ты в них отлично разбираешься,—

сказала Фанни.— Ты уж, чего доброго, все науки превзошел!

Так мы заговорили о самом главном: какие науки я изучаю и чем мне заняться в будущем.

Ах, что это за удовольствие—беседовать с человеком, который способен по-настоящему понять твою неодолимую тягу к знаниям! Я рассказывал о себе, о своих мечтах и замыслах, а руки мои тем временем опустошали уставленный яствами стол, подобно стае прожорливой саранчи: я ведь и вправду рос как на дрожжах... Фанни поглядывала на меня с улыбкой и задавала вопросы, возвращая меня к тому, что было ей особенно интересно. А когда мы вдоволь наговорились, она показала, как обращаться с пианолой, и я поставил валик Шумана, хорошо знакомый мне по концертам мистера Плейса, и с невыразимым наслаждением проиграл его сам! Управляться с пианолой, как я убедился, было совсем не трудно; вскоре я так наловчился, что мог уже играть с выражением.

Фанни похвалила меня за сообразительность. Пока я возился с пианолой, она приняла посуду со стола, потом уселась рядом, и мы стали слушать, обмениваясь впечатлениями, и обнаружили, что научились гораздо лучше разбираться в музыке с тех пор, как расстались. Выяснилось, что мы оба поклонники Баха (оказывается, совсем неправильно называть его «Бач», а я и не знал) и Моцарта, имя которого следовало тоже произносить немножко иначе! Затем Фанни принялась расспрашивать меня, какое дело я хотел бы избрать себе в жизни.

— Незачем тебе больше торчать у этого старичка в аптеке,— объявила она.

Что, если мне поступить на работу, связанную с книгами? Устроиться продавцом в книжный магазин или помощником библиотекаря, а может быть, в типографию или издательство, выпускающее книги и журналы?

— А сам писать не думал? — спросила Фанни.— Люди иногда начинают самостоятельно...

— Пробовал как-то сочинять стихи,— признался я.— И статью раз послал в «Дейли Ньюс». О вреде спиртных напитков. Да не напечатали...

— Ну, а серьезные вещи писать никогда не хотелось?

— Что — книги? Как Арнольд Беннет[1]. Еще бы!

— Только не знал, с какой стороны подступиться, да?

— Начать трудно, понимаешь,— объяснил я, будто только в этом и была вся загвоздка.

— Да, надо аптекаря бросать,— повторила Фанни.— А если мне поговорить кое с кем из знакомых — вдруг для тебя нашлось бы место получше, а, Гарри? Пойдешь?

— Можно! — протянул я.

— Почему не «конечно»? — перебила Файрфлай.

— Что ты! У нас было принято говорить «можно»! Эдакая сдержанная небрежность... Но вы видите, как непростительно я снова отклонился от заранее выработанных позиций? Так мы с Фанни и проболтали весь вечер! Устроили себе отличный холодный ужин в ее хорошенькой столовой; Фанни научила меня готовить дивный салат: взять луковицу, нарезать тонко-тонко, добавить немножко сахару и приправить белым вином... А после — опять это чудо — пианола, ну, а потом с большой неохотой я наконец отправился восвояси. И, очутившись на улице, я, как и в первый раз, вновь испытал уже знакомое чувство, будто внезапно перенесся в другой мир, холодный, унылый, суровый мир, в котором господствуют совсем иные представления о морали... Снова мне было невмоготу идти прямо домой, где меня встретят градом бесцеремонных вопросов и омрачат и испортят мне этот вечер. И когда наконец мне все-таки пришлось вернуться, я солгал:

— У Фанни квартирка — загляденье, и счастлива она — дальше некуда. Точно не знаю, но по ее словам я так понял, что этот дядька думает скоро на ней жениться.

Под пристальным, недобрым взглядом матери у меня запылали щеки и уши.

— Она сама сказала?

— Не то, чтоб сама, но вообще-то...— сочинял я.— Скорее это я из нее вытянул.

— Так ведь уж он женат!

— Да, что-то такое есть...

---

[1] Английский романист и драматург (1867—1931).

— Что-то!—презрительно бросила мать.—Она украла чужого мужа. Он принадлежит другой, и навсегда. Что бы ни говорили плохого о его жене,— все едино. «Кого бог сочетал, человек да не разлучает!» Так меня учили, так я и верую. Пусть он старше ее, пусть он ее совратил, но пока они свиты одной веревочкой, что на него грех пятно кладет, то и на нее. Видел ты его?

— Его там не было.

— Совести не хватило. Хоть это можно к их чести приписать. Что ж, ты еще туда собираешься?

— Да вроде бы обещал...

— Против моей воли идешь, Гарри. Сколько раз ты будешь с ней, столько раз меня ослушаешься. Так и знай. Пусть это будет ясно, Гарри, раз и навсегда.

— Она мне сестра,— упрямо буркнул я.

— А я мать. Хотя что нынче детям мать? Так, тьфу... Женится! Как бы не так! Да с какой стати? Очень ему надо. Получше найдет! Давай-ка, Пру, выгреби вон уголек из камина и пошли спать.

8

— А теперь,— сказал Сарнак,— я должен рассказать вам об удивительном заведении, именуемом «Сандерстоун-Хаус», и о знаменитой фирме «Крейн и Ньюберри», ради которых по настоянию Фанни я навсегда покинул мистера Хамберга и раззолоченные бутыли с водой из-под крана. «Крейн и Ньюберри» была издательской фирмой, выпускавшей книги, газеты и журналы, а Сандерстоун-Хаус — своего рода бумажным фонтаном, извергавшим нескончаемый каскад разнообразного чтива на потребу английской публике.

Помните: я веду рассказ о мире, каким он был две тысячи лет назад. Все вы, конечно, были умные детки и прилежно читали учебники истории. Однако на расстоянии двух тысячелетий события как бы сжимаются в перспективе. Иные сдвиги осуществлялись на протяжении нескольких поколений, в густом тумане сомнений, заблуждений, вражды — нам же представляется, будто они происходили легко и просто. Мы слышали в школе, что научный подход к явлениям прежде всего

утвердился в сфере конкретных вещей, лишь впоследствии распространившись на область психологии и социальных отношений. Таким образом, широкое производство стали, автомобилей, летающих аппаратов, строительство железных дорог, развитие телеграфной связи — словом, все материальные основы новой эпохи были заложены за век или полтора до того, как изменились применительно к новым потребностям социальные, политические и воспитательные методы и идеи... Бурный и непредвиденный подъем мировой торговли, рост народонаселения, конфликты, волнения, неистовый социальный гнет, революции, массовые войны — вот что понадобилось для того, чтобы перестройка социальных отношений на научной основе стала хотя бы общепризнанной необходимостью. Куда как просто выучить все это в общих чертах — значительно труднее уяснить, какой ценою достались людям эти проделанные вслепую преобразования; скольких тревог, страданий, горя стоили они бесчисленным миллионам, брошенным судьбою в клокочущий водоворот переходной эры... Когда, оглядываясь назад, я воскрешаю в памяти атмосферу той моей прежней жизни, невольно возникает картина: толпа людей, затерявшихся в тумане на улицах старого Пимлико... Никто не имел ясного представления о цели; всякий неуверенно, медленно нащупывал путь от одной едва различимой вехи к другой. И почти каждый был неуверен и раздражен...

Для нас с вами вполне очевидно, что эпоха темных, малограмотных работников миновала еще в далеком девятнадцатом веке: их заменили машины. Новый мир, куда более изобильный, богатый, но вместе с тем и несравненно более сложный, опасный, настоятельно требовал новых людей — людей подготовленных, развитых и нравственно и духовно. Однако в те дни эту потребность сознавали еще весьма неясно. «Просвещенные» сыны обеспеченных классов лишь нехотя соглашались открыть бурно растущим массам хотя бы незначительный доступ к знаниям. Они считали, что образование следует осуществлять особыми путями, в специальных школах нового типа. Я рассказывал вам, в чем заключалось мое, с позволения сказать, «обучение»: письмо, чтение, элементарные арифметические дейст-

вия, «реки Англии» и так далее. Лет в тринадцать, то есть как раз, когда только начинают пробуждаться интерес к учению и любознательность, этот процесс обычно прерывался поступлением на работу, чем в подавляющем большинстве случаев и исчерпывалось образование простых мужчин и женщин в первые десятилетия двадцатого века. Появилось великое множество людей, кое-как обученных грамоте, легковерных, невзыскательных, любопытных,— людей, которым хотелось видеть и знать, какая она, жизнь. Увы! Общество ничуть не заботилось о том, чтобы удовлетворить их смутную тягу к знаниям, с легкой душой предоставив «частным предпринимателям» использовать неясные стремления пробуждающихся масс в целях личной наживы. Итак, «начальное образование» породило нового читателя, а чтобы выкачивать из этого читателя барыши, были созданы крупные издательские фирмы.

Людей во все века занимали рассказы о жизни. Юноша требует, чтобы ему показали сцену, на которой он начинает играть свою роль, поведали в яркой и живой форме о возможностях и шансах на успех, чтобы можно было и помечтать и заранее наметить план действий. И даже человек, который уж простился с юностью, всегда стремится восполнить то, что не пришлось пережить самому, расширить свой кругозор, читая были и предания, мысленно участвуя в спорах... Едва возникла письменность, как появилась и литература — впрочем, она зародилась еще раньше: когда язык стал средством изложения связной мысли, средством повествования. И во все века литература рассказывала человеку лишь то, что он был готов и склонен воспринять, сообразуясь в выборе темы скорее с запросами и чаяниями слушателя или читателя (иными словами, того, кто платит), нежели с требованиями некредитоспособной и многоликой жизненной правды. А потому львиную долю литературного наследия каждой эпохи составляют вульгарные и легковесные поделки, способные в более поздний период заинтересовать разве что историка или психолога — и то лишь как наглядное свидетельство устремлений и духовных возможностей того или иного века. Что же касается популярной литературы времен Гарри Мортимера Смита, то столь плодовитой, цинично-фаль-

шивой, столь праздной, дешевой и пустой стряпни еще не видывал мир!

Вы обвинили бы меня в грубой пародии, вздумай я описать вам карьеру одного из многочисленных дельцов, которые сколотили огромные состояния на поставках духовной пищи, рассчитанной на то, чтобы унять духовный голод нового многомиллионного читателя, наводнившего собою чудовищно разросшиеся города Атлантического мира. Так, по преданию, некий Ньюнесс, читая однажды вслух в семейном кругу забавную статью, присовокупил: «Ну, чем не лакомый кусочек!» Удачно найденное словцо навело Ньюнесса на мысль основать еженедельник и печатать в нем надерганные отовсюду занимательные отрывки: фрагменты из книг, выдержки из газетных статей — словом, всякую всячину. Так и возник журнал «Тит-битс» — «Лакомые кусочки»,— состряпанный из ломтиков, которые были надерганы из тысяч разных источников усердными и не слишком высоко оплачиваемыми сотрудниками. Изголодавшаяся толпа, нетерпеливая и любопытная, с жадностью проглотила закуску, а Ньюнесс разбогател и получил титул баронета. Воодушевленный первым успехом, он предпринял ряд новых экспериментов. Он угостил публику ежемесячником, в котором были собраны рассказы различных авторов. На первых порах успех нового издания казался сомнительным, но затем в нем начал печататься некий доктор Конан-Дойль, снискавший славу себе и журналу рассказами о раскрытии преступлений. Всякий мыслящий, вернее, просто всякий человек в те дни с большим интересом относился к убийствам и прочим преступлениям, которые все еще совершались в изобилии. И в самом деле: нельзя представить себе более увлекательную и полезную для нас тему. Ведь при правильной постановке вопроса расследование любого преступления могло бы как ничто другое осветить проблемы права, воспитания и охраны порядка в нашем сумбурном обществе. Даже бедняк — и тот, побуждаемый почти инстинктивной потребностью в умственной гимнастике, покупал хотя бы еженедельную газетку, чтобы поломать себе голову над загадочным убийством или посмаковать подробности скандального развода...

«СОН»

«СОН»

Однако истории Конан-Дойля не отличались богатством психологических наблюдений: автор искусственно запутывал все нити повествования, чтобы потом распутать этот клубок, а читатель, увлеченный решением головоломки, терял интерес к проблеме в целом.

За Ньюнессом тотчас же устремились по пятам сонмы конкурентов, в том числе некий Артур Пирсон и целый выводок братьев Хармсвортов, которых привела к могуществу и богатству еженедельная газетка «Ответы»; своим появлением на свет газетка эта была обязана меткому наблюдению, что люди обожают читать чужие письма. История поведает вам о том, как двое из братьев Хармсвортов, люди весьма энергичные и целеустремленные, получили титул лордов и стали видными фигурами на политической арене. Я же упомянул о них лишь затем, чтоб дать вам представление о великом множестве газет и журналов, созданных этими дельцами, чтобы вызвать утробное ржание рассыльного мальчишки, пленить сердечко фабричной работницы, снискать себе уважение аристократии и завоевать доверие нуворишей. Производство наспех состряпанного чтива шло полным ходом...

Наша издательская фирма в Сандерстоун-Хаусе была основана задолго до того, как выросли концерны всех этих Ньюнессов, Пирсонов и Хармсвортов. Тяга к знаниям стала явственно ощущаться еще в восемнадцатом веке, и тогда некий Додсли, лакей, решивший стать издателем, подарил своим современникам мудрый опус, именуемый «Спутник младости». А в ранние годы викторианской эпохи его примеру последовал и основатель нашей фирмы Крейн. Первый успех Крейну принес ежемесячник «Домашний учитель», за которым последовал журнал «Круг знаний», «Еженедельник Крейна» и ряд других. Самыми серьезными его конкурентами были две фирмы: «Кассел» и «Раутлидж»,—однако в течение ряда лет Крейну удавалось ни в чем не уступать им, хотя он и располагал меньшим капиталом. Затем наступил период, когда мощный поток новых популярных изданий оттеснил Крейна и его современников на задний план, но вскоре некий сэр Питер Ньюберри произвел ряд преобразований в производстве, влил в него новые силы и вернул старой фирме былое

благоденствие. Он начал пачками выпускать сборники коротких повестей и рассказов, дешевые журналы для домашних хозяек и молодых девушек, журнальчики для детей, возродил на современной основе «Домашнего учителя», снабдив его системой упражнений для тренировки памяти и присовокупив к этому разношерстному ассортименту «Путь к успеху» сэра Питера Ньюберри. Он даже рискнул затеять издание научных (хоть и не слишком ученых) справочников...

— Вам трудно представить себе,— сказал Сарнак,— каким неимоверным количеством печатной требухи был наводнен тот старый мир! Он задыхался от этого бумажного хлама, задыхался от людей, мебели, одежды; он был забит мусором, завален низкопробной продукцией всех видов и фасонов. И как же редко попадалось здесь что-нибудь по-настоящему доброкачественное!.. Вам не понять, какое блаженство снова сидеть в этой строгой и прекрасной комнате среди таких же людей, как ты: обнаженных, простых, говорить с ними обнаженно и просто. Какое наслаждение вырваться на волю, сбросить с себя все лишнее, все нечистое! Мы читаем, беседуем, мы любим честно и естественно, мы работаем, думаем, исследуем, у нас свежие головы, наш мозг питается здоровой пищей, мы вбираем жизнь всей полнотою наших чувств, держим ее легкими, крепкими, умелыми руками.

Воздух двадцатого столетия был насыщен гнетом. Тот, у кого хватало мужества, отчаянно сражался за знания, за полноценную жизнь — а мы вручали ему довольно-таки беспомощного и невразумительного «Домашнего учителя» и пошлейший «Путь к успеху»... Но подавляющее большинство читателей избирало иной путь, понятный нынче разве что психологам, имеющим дело с патологическими изменениями психики. Эти люди закрывали глаза на действительность и погружались в мир грез. Они брели по жизни, как лунатики, предаваясь фантазиям, воображая себя какими-то иными существами, романтическими и благородными. Они мечтали, что в один прекрасный день все вокруг сразу переменится и они станут героями захватывающих событий. Ведь сборнички рассказов и дешевые романы, составлявшие основную статью дохода хотя бы той же

фирмы «Крейн и Ньюберри» были, по существу, не чем иным, как средством уйти от действительности, своего рода духовным дурманом... Санрей, тебе не приходилось читать новеллы двадцатого века?

— Кое-что читала. Все так, как ты сказал. У меня их собрано штук десять; как-нибудь я покажу тебе эту свою библиотечку.

— Половина, чего доброго, — наша продукция: «Крейн и Ньюберри»! Занятно будет снова взглянуть... Львиную долю строительного материала для воздушных замков фирме «Крейн и Ньюберри» поставляли литературные девы и дамы, а также томные, расслабленные литературные мужи с богатой фантазией. Эти «авторы», как их у нас называли, были разбросаны по всему Лондону, а кое-кто жил и за городом. Они присылали свои рукописи по почте в Сандерстоун-Хаус; здесь их так или иначе обрабатывали и в препарированном виде помещали в журналах или издавали отдельными книгами. Сандерстоун-Хаус находился на Тоттенхэм Корт-роуд и представлял собою огромное, довольно несуразное строение, набитое людьми, точно муравейник, и выходящее во двор; сюда тяжелые грузовики завозили рулоны бумаги, и отсюда же фургоны забирали готовую продукцию. Здесь все дрожало от стука и грохота печатных станков. Очень живо помню по сей день, как я пришел туда в первый раз: свернув с одной из главных улиц, я зашагал узеньким переулочком мимо захудалой пивной, мимо служебного входа в какой-то театр...

— Кем же ты собирался стать? — прервал его Рейдиант.— Упаковщиком книг? Рассыльным?

— Кем придется. Кстати, очень скоро я уже был штатным сотрудником одной из редакций.

— Редактировал научно-популярную литературу?

— Да.

— Но зачем издательству понадобился малограмотный юнец? — изумился Рейдиант.— Я понимаю: оптовое производство научно-популярной литературы, потрафляющей нехитрым запросам вашего нового читателя, не могло быть поставлено на серьезную ногу. Но было ведь сколько угодно образованных людей, выпускников старинных университетов; неужели нельзя бы-

ло поручить им всю необходимую работу по редактированию и подготовке печатных материалов?

Сарнак покачал головой.

— То-то и поразительно, что нет. Университеты, разумеется, выпускали «продукцию», да не того сорта, что надо.

Слушатели Сарнака были явно озадачены.

— Рядовой выпускник Оксфорда или Кембриджа, удостоенный ученого звания «магистр искусств» или что-нибудь в этом роде, очень напоминал украшенные золотыми ярлыками сосуды из аптеки мистера Хамберга, в которых не было ничего, кроме тухлой воды. Лжеинтеллигент старого толка не умел преподавать, писать или объяснять. Он был напыщен, надменен и нуден, робок и туманен в изложении мыслей, лишен социального и делового чутья. В газетных и журнальных издательствах убедились в том, что простой рассыльный куда быстрее и лучше освоится с обязанностями редакционного сотрудника: и нос задирать не станет, и к работе отнесется ревностно, сам будет рад учиться, и охотно поделится своими знаниями с другими. Едва ли не все заведующие и редакторы наших периодических изданий вышли из посыльных; люди с академическим образованием среди них почти не встречались. Зато многие были энтузиастами народного просвещения и все обладали деловой хваткой, которой не хватало питомцам старых университетов...

Сарнак задумался.

— В Англии того периода, о котором идет речь, да и в Америке тоже, фактически уживались бок о бок две различные системы воспитания, две традиции духовной культуры. С одной стороны, кипучая разноголосица новых периодических изданий, новая пресса, кино; шумный всплеск немудреных духовных потребностей, созданных новой системой начального обучения девятнадцатого века. С другой — старинные аристократические школы, основанные в семнадцатом и восемнадцатом веках и перенявшие традиции Рима эпохи императора Августа. Они держались обособленно друг от друга. На одном полюсе — выходец из низов, бывший рассыльный, не уступающий самому Аристотелю или Платону пытливостью, дерзостью и живостью ума, ка-

ков бы ни был его интеллектуальный арсенал. На другом — интеллигент с университетским дипломом, щеголяющий манерной приверженностью к древнегреческой классике, отличавшей в свое время купленных по сходной цене ученых мужей рабовладельческого Рима. Он и был похож на домашнего раба: те же аристократические замашки, то же угодливое низкопоклонство перед патроном, принцем и патрицием, педантическая забота о мелочах, страх перед «белыми пятнами» на карте жизни. Он критиковал все и вся — глумливо, полунамеками, как раб; он был обидчив, как раб, и по-рабьи готов презирать каждого, кого только смел презирать. Он был неспособен служить народным массам. Новому читателю, рабочему, «демократическому» читателю, как мы его называли, приходилось пробивать себе путь к свету и знанию без него...

Если основатель нашей фирмы Крейн в свое время хоть в какой-то степени считался с тем, что на издательский «бизнес» возложена еще и просветительная миссия, то сэр Питер Ньюберри над этим не задумывался ни минуты. Это был прижимистый торгаш, всецело поглощенный стремлением вернуть фирме престиж, утраченный по милости популярных издателей нового толка. При нем дело было поставлено круто: он заставлял работать до седьмого пота, платил гроши и преуспевал. К тому времени, как я пришел в Сандерстоун-Хаус, его уже несколько лет не было в живых, а контрольный пакет акций и пост генерального директора перешел к его сыну Ричарду, прозванному «Солнцем». (Кажется, кому-то вздумалось в связи с его приходом к власти процитировать Шекспира: «Прошла зима междоусобий наших; под солнцем йоркским лето расцвело»[1].) Ричард Ньюберри в отличие от родителя был человеком участливым и сердечным. Он великолепно отдавал себе отчет в моральной ответственности, которая ложится на плечи издателя популярной литературы в атмосфере практической безответственности, царившей в этой области. Работать он заставлял так же, если не больше, чем отец, зато платил щедро.

---

[1] Шекспир, «Король Ричард III», д. I, сц. 1. Изд. Брокгауз-Ефрона, 1902 г., том I, стр. 344.

Вместо того, чтобы плестись на поводу у читателя, он старался держаться несколько впереди; он шел в ногу со временем и сумел добиться еще больших успехов, чем сэр Питер. Я проработал у «Крейна и Ньюберри» не одну неделю, прежде чем мне довелось увидеть директора, но присутствие его я ощутил, едва переступив порог Сандерстоун-Хауса. В первой же комнате я увидел вывешенные на стене плакаты, напечатанные четким черным шрифтом на белом фоне. «Мы ведем вперед — другие подражают»,— гласил один. «Если ты боишься, что материал слишком хорош,— помещай, не раздумывая!» — советовал другой. Третий был длиннее всех: «Если человек не знает того, что знаешь ты, это еще не причина писать для него так, словно он круглый идиот. Будь уверен: кое-что он знает лучше тебя». Таким простым приемом генеральный директор задавал в своем заведении особый тон.

9

Со двора Сандерстоун-Хауса до комнатки, в которой висели эти плакаты, мне удалось добраться не сразу: вход в здание загородили два больших фургона. Когда наконец, обнаружив дверь, я вошел и поднялся по лестнице, то первой, кого я увидел, была крохотная девица, восседающая в каморке, похожей на стеклянную клетку. У девицы была круглая мордочка и веселый красный носик пуговкой. Сначала я не мог понять, чем она занята, но, присмотревшись, разобрал, что она лижет языком изнутри обрывок конверта, чтобы снять марку. Фанни велела мне спросить мистера Чизмена. Я так и сделал. Не прерывая своего занятия, девица вопросительно взглянула на меня.

— Амма-ачено? — произнесла она, не переставая лизать.

— Что, простите?

— Амма-ачено?

— Виноват, я не совсем...

— Оглох, что ли? — Она отняла ото рта бумажку с маркой и набрала побольше воздуха для громкой и внятной фразы: — Вам назначено?

— А-а! Да. Велели сегодня от десяти до двенадцати зайти к мистеру Чизмену.

Барышня с новой энергией набросилась на марку.

— Марки собираешь? Нет? Жутко интересно. Мистер Чизмен написал брошюрку, руководство. Наверно, пришел просить работу? Может, придется подождать. Надо заполнить бланк — возьми вон там. Так полагается: формальность. Вот карандаш...

В бланке требовалось указать свое имя и род занятий. «Литературная деятельность»,— вывел я.

— Господи! — изумилась юная леди, прочитав бланк.— Я-то думала, вы метите на склад! Эй, Флоренс,— окликнула она другую, значительно более крупную молодую особу, показавшуюся на лестнице.— Глянь-ка на него. Собрался заниматься литературной работой...

— Хватает же нахальства! — Вторая барышня удостоила меня одним-единственным взглядом, водворилась в стеклянной клетушке и, сунув в рот кусочек жевательной резинки, развернула свежий, только что из печати тоненький роман.

Носик-Пуговкой вновь принялась слизывать марку. Прошло минут десять. Я ждал. Наконец та, что поменьше, подняла голову.

— Сходить, что ли, отнести мистеру Чизмену, Фло.— И она удалилась с моим листочком.

Вернулась она минут через пять.

— Мистер Чизмен говорит, можете зайти — на одну минуту.

Она повела меня вверх по лестнице, по длинному коридору, выходящему стеклянными окнами в типографию, потом вниз по другой лестнице и снова по коридору, на этот раз темному. Наконец мы оказались в небольшой комнатке: конторский стол, два или три стула, книжные полки, заваленные книгами в бумажных обложках. Дверь, ведущая в смежный кабинет, была открыта.

— Сядьте здесь, подождите,— распорядилась Носик-Пуговкой.

— Кто там? Смит? — раздался голос из-за двери.— Давайте заходите.

Я вошел, и юная особа с носом пуговкой навсегда скрылась из моей жизни.

За письменным столом, утонув в глубоком кресле, сидел мужчина, погруженный в созерцание ярких рисунков, которые были поставлены рядком на полке вдоль стены. Красное лицо его было озабоченно-серьезным, брови нахмурены, губастый, большой рот энергично поджат, жесткий ежик черных волос топорщился во все стороны. Он сидел, чуть склонив голову, и грыз кончик карандаша.

— Не вижу того, что надо,— шептал он себе под нос.— Нет, не вижу.

Я молча стоял, дожидаясь, пока он обратит на меня внимание.

— Смит,— пробормотал он, так и не взглянув в мою сторону.— Гарри Мортимер Смит... Смит, вы, случайно, учились не в народной школе?

— Там, сэр.

— Я слышал, у вас есть склонность к литературе.

— Да, сэр.

— Тогда подите станьте вот здесь и взгляните на эти картинки, чтоб им... Видели когда-нибудь подобную мазню?

Я послушно встал рядом, но от замечаний благоразумно воздержался. Рисунки, как я теперь сообразил, были не чем иным, как эскизами журнальной обложки. На каждом листке броским шрифтом было выведено название: «Новый мир». Первый был сплошь разрисован летательными аппаратами, пароходами и автомобилями. На двух других летательным аппаратам отдавалось явное предпочтение. Далее коленопреклоненный мужчина в набедренной повязке воздевал руки навстречу восходящему солнцу, которое почему-то вставало из-за его спины. На следующем был изображен наполовину освещенный земной шар, а еще на одном — просто рабочий, шагающий ранним утром к себе на фабрику.

— Смит,— произнес мистер Чизмен.— Этот журнал покупать вам, а не мне. Какая на ваш вкус лучше всех? Слово за вами. Fiat experimentum in corpore vili [1].

— Вы это про меня, сэр? — невинно спросил я.

Щетинистые брови мистера Чизмена удивленно приподнялись.

[1] Буквально: Ставь опыт на малоценном организме (*лат.*).

— Видно, теперь все мы оснащены одним и тем же набором цитат,— заметил он.— Ну так — какая же?

— Такие, сэр, как эта, с аэропланами, уже, по-моему, давно всем намозолили глаза.

— Х-мм...— промычал мистер Чизмен.— И Солнце говорит то же самое... Стало быть, на такую вы бы не польстились?

— Вряд ли, сэр. Слишком приелось.

— Ну, а земной шар?

— Чересчур похоже на атлас, сэр.

— Но разве география, путешествия — это не интересно?

— Конечно, сэр, но как-то не слишком увлекательно.

— Интересно, но не увлекательно. Х-мм... Устами младенцев... Что ж, стало быть, вон тот парняга на фоне зари? Его купите, м-м?

— А что за журнал, сэр? Изобретения, открытия, научные достижения, да?

— Оно самое.

— По-моему, сэр, заря подойдет, а этот работяга скорее годится для дружеского шаржа ко Дню труда. Довольно неприглядная фигура, сэр. Подагрик какой-то: тяжелый, грузный... Может, убрать его, оставить одну зарю?

— Будет смахивать на ломоть ветчины, Смит,— тонкие розовые полоски...

Меня вдруг осенило.

— Тогда так, сэр. Зарю оставить, только чтоб была ранняя весна. Почки по деревьям пустить. А позади, сэр, можно снежные горы—неярко так, вдалеке. И прямо поперек листа, крупно — рука. Рука куда-то указывает. И все, сэр.

— Куда указывает — вверх?

— Нет, сэр; вперед и только чуть-чуть вверх. Это хоть вызовет интерес.

— Согласен, вызовет. Женская рука.

— По-моему, лучше пусть просто рука, сэр.

— Такой вы купили бы?

— Еще как, сэр, только б деньги были.

Мистер Чизмен немного подумал, невозмутимо покусывая карандаш, потом выплюнул щепочки за письменный стол и заговорил снова:

— То, что вы сейчас сказали, Смит, в точности совпадает с тем, что думаю я сам. Слово в слово. Очень любопытно.— Он нажал кнопку звонка на столе, и в комнату заглянула молоденькая курьерша.—Попросите сюда мистера Прельюда... Итак, Смит, вам хотелось бы поступить к нам в Сандерстоун-Хаус. Говорят, вы уже кое-что смыслите в науках. Учитесь дальше. Читатель начинает поворачивать к науке. У меня тут лежат кой-какие книжечки, вы почитайте их и отберите, что вам покажется интересным.

— Значит, сэр, вы мне сумеете подыскать работу?

— Обязан суметь. Приказ есть приказ. Посадить вас можно будет вон в той комнате...

Тут разговор наш был прерван появлением долговязого, худого, как жердь, мужчины с меланхолическим выражением безжизненно-бледного лица. То был мистер Прельюд.

— Мистер Прельюд,—обратился к нему мистер Чизмен, помахивая рукою в сторону эскизов. — Это все не пойдет. Чересчур это самое... банально. Нужно что-нибудь посвежее, с выдумкой. Как я ее вижу, эту обложку? Ну, скажем, так. Рассвет. Спокойный, простой пейзаж, главное — чтобы красиво по цвету. Вдали — цепочка гор, еле окрашенных зарей. Долина синяя, тихая. Высокие перистые облака, чуть тронутые розовым. Ясно? На переднем плане можно два-три деревца с едва набухшими почками. Главная тема — весна, утро. Ясно? Все бледно, затушевано — как бы фон. И — крупно — рука через всю обложку. Ладонь куда-то указывает—вверх и вдаль. Ясно?

Он обратил на мистера Прельюда взор, горящий победным блеском творческого вдохновения. Мистер Прельюд сделал кислое лицо:

— Солнцу понравится.

— Идея что надо,— подтвердил мистер Чизмен.

— А почему бы не вон те аэропланы?

— А почему бы не комары?

Мистер Прельюд передернул плечами:

— Не знаю, куда годится журнал о научных достижениях без летательного аппарата или цеппелина на обложке? Впрочем, ваше дело.

Сомнения коллеги, как видно, произвели на мистера Чизмена известное впечатление, но он все-таки не отступал:

— Ладно, сделаем эскиз. Как насчет Уилкинсона?

И они стали совещаться, стоит ли заказать эскиз обложки какому-то неведомому Уилкинсону. Затем мистер Чизмен обернулся ко мне.

— Кстати, Прелюд, надо как-то использовать вот этого молодого человека. Что он умеет, пока неясно, но, кажется, смышленый паренек. Я думал, может, поручить ему сделать выборки из тех научных книжечек? На что он клюнет — клюнут и они. Я эту дребедень читать не в состоянии. Некогда.

Мистер Прелюд внимательно оглядел меня.

— Никогда нельзя сказать, что умеешь, что нет, пока не попробуешь,— заметил он.— В науках разбираетесь прилично?

— Не слишком. Но все же занимался физиографией, химией, немножко — геологией. Много читал.

— Слишком вам ни к чему. Без этого вы здесь лучше обойдетесь, иначе можно удариться в чересчур высокие материи. Высокие материи находят спрос у десятков тысяч, а «Крейн и Ньюберри» — у сотен. Правда, с некоторых пор и нас, грешных, потянуло на ученость. Даешь просвещение и прогресс — вот мы теперь какие! В той мере, в какой это не мешает прибылям. Видите, написано: «Мы ведем вперед...» А все-таки, Чизмен, что всегда было и всегда будет ходовым товаром,— это журнал с хорошенькой девушкой на обложке — и чем меньше на ней надето, тем лучше. В рамках приличия. Поясняю на примере. Вот... Вас как зовут?

— Смит, сэр.

— Смит. И вот перед ним на витрине киоска все эти обложки. А затем — внимание — я достаю вот это. И что же он покупает?

«Вот это» оказалось обложкой летнего номера литературного журнала «Ньюберриз Стори Мэгэзин»: две красотки в облегающих, как перчатка, купальных костюмах резвятся на песчаном пляже.

— Смит хватает эту,— торжествующе объявил мистер Прелюд.

Я покачал головой.

— Как — по-вашему, и это не увлекательно? — Мистер Чизмен повернулся в кресле и указал на красоток обглоданным карандашом.

Я подумал немного.

— Внутри про них все равно никогда ничего не пишут.

— Сразил наповал, а, Прельюд? — усмехнулся мистер Чизмен.

— Ничуть! Чтобы выяснить, ему надо было сначала купить шесть-семь номеров. А в большинстве случаев про обложку вообще забывают, когда начинают читать.

10

Работать в Сандерстоун-Хаусе при ближайшем знакомстве оказалось совсем не так страшно, как я предполагал. Во-первых, было приятно, что мы с мистером Чизменом так сошлись в оценке тех эскизов — кстати, подобные совпадения повторялись и в дальнейшем, что очень придавало мне духу. Во-вторых, меня сразу же захватила редакционно-издательская работа; все, что происходило вокруг, было мне интересно. В моем духовном развитии совершился стремительный бросок вперед, из тех, что так свойственны юности. Уходя от мистера Хамберга, я был совсем еще мальчуганом, а не пробыв и двух месяцев у «Крейна и Ньюберри», почувствовал себя толковым и ответственным молодым человеком. У меня стали быстро складываться собственные убеждения, я научился уверенно излагать свои мысли — даже рука вдруг «повзрослела»: из небрежных или чересчур старательных детских каракулей сложился твердый и мужественный почерк. Я стал заботиться о своем костюме и о том, какое впечатление произвожу на окружающих.

Очень скоро я уже писал коротенькие статьи в наши второстепенные еженедельники и ежемесячники и подбирал мистеру Чизмену темы и материалы для солидных статей. Мое жалованье с восемнадцати шиллингов в неделю подскочило — правда, в несколько приемов — до трех фунтов, что для юнца, которому не исполнилось еще и восемнадцати лет, считалось в те дни очень приличным. Фанни проявляла самый живой интерес к моей работе, обнаруживая редкостную сообразитель-

ность во всем, что касалось моей служебной обстановки. Стоило мне только заикнуться о мистере Чизмене, мистере Прельюде или о ком-нибудь еще из моих сослуживцев, как она, казалось, уж знала про них решительно все.

Как-то раз мы с одним пареньком по имени Уилкинс сидели в комнате, смежной с кабинетом мистера Чизмена, за довольно-таки своеобразным занятием. Одна из «авторов», работающих для нашей фирмы, написала большую повесть в журнал «Стори Ридерс Парадайз». Материал уже прошел набор и был подписан к печати, как вдруг выяснилось, что писательница в минуту рассеянности дала главному злодею имя одного видного адвоката, а деревенька, в которой разворачиваются события повести, к несчастью, названа почти так же, как местность, где находится загородный дом этого адвоката. Видному адвокату ничего не стоило расценить подобную вольность как злостную клевету и причинить нам массу неприятностей. А посему мы с Уилкинсом, вооружившись для верности двумя экземплярами гранок, уселись вычитывать текст, заменяя имя известного адвоката другим, совсем не похожим. Чтобы скрасить себе это занятие, мы придумали игру: кто первый найдет в строке имя злодея, тому очко. Мы взапуски рыскали глазами по гранкам, то и дело выкрикивая: «Реджинальд Флейк!» Я успел уже перегнать Уилкинса на несколько очков, как вдруг в коридоре послышался чей-то удивительно знакомый голос.

— Они все разложены у меня на столе, сэр,— ответил ему мистер Чизмен. — Вы не заглянете ко мне?

— Мамочки,— шепнул Уилкинс.— Солнце!

Скрипнула дверь. Я обернулся и увидел, как мистер Чизмен почтительно пропускает вперед моложавого красивого мужчину с довольно приятными, правильными чертами лица и непослушной каштановой прядью на лбу. Мужчина был в очках, очень больших, круглых, с дымчатыми, чуть желтоватыми стеклами. Он встретился со мною взглядом, и на мгновение глаза его потеплели—но только на мгновение. Кого он узнал—меня? Или во мне кого-то другого? Он направился было вслед за мистером Чизменом к дверям кабинета, но вдруг круто повернулся.

— Конечно! — Он с улыбкой шагнул в мою сторону.— Вы, если не ошибаюсь, и есть юный Смит. Ну, как подвигаются дела?

Я встал.

— Я, сэр, в основном работаю для мистера Чизмена...

Роберт Ньюберри обернулся к мистеру Чизмену.

— Впечатление самое положительное, сэр. Смекалка, интерес к делу. Он здесь далеко пойдет.

— Рад это слышать, очень рад. У нас выдвинуться может каждый, и никому никаких поблажек. Никому. Побеждает лучший. Рад буду видеть вас в числе директоров фирмы, Смит. Как надумаете — валяйте!

— Постараюсь, сэр.

Он замешкался, потом еще раз очень дружески улыбнулся и прошел в кабинет мистера Чизмена...

— Где мы остановились? — спросил я.— Гранка 32, середина? Счет 22—29.

— Откуда ты его знаешь? — отчаянно зашипел Уилкинс.

— Да я и не знаю.— Меня внезапно бросило в жар. Я залился краской.— Я его и вижу-то в первый раз.

— Все равно — а он тебя откуда?

— Слышал обо мне, и все.

— От кого?

— А мне почем знать? — раздраженно огрызнулся я, чересчур раздраженно.

— У-у! — озадаченно протянул Уилкинс.— Но... Он взглянул на мое расстроенное лицо и умолк. Зато в матче на первенство по «Реджинальду Флейку» Уилкинс быстро сравнял очки, а на последней строке победоносно завершил игру со счетом 67—42.

11

Я тщательно скрывал от матери, какое участие в моем переходе на новую работу приняла Фанни и какие возможности это открыло мне в Сандерстоун-Хаусе. Только так мое возросшее благосостояние могло стать для нее хоть некоторым источником гордости и удовольствия. Теперь мне нетрудно было удвоить, а вскоре и

утроить сумму, которую я вносил на домашние расходы. Моя чердачная каморка перешла в безраздельное пользование Пру, а сам я водворился там, где некогда ютились старики Моггериджи. Мне устроили нечто среднее между спальней и кабинетом, а немного спустя я завел себе одну за другой несколько полок с книгами и даже письменный стол.

Скрывал я от матери (что толку было ее огорчать?) и мои частые встречи с Фанни. Мы начали совершать вместе небольшие прогулки, потому что моя сестра, как я убедился, чувствовала себя порою очень одинокой. Ньюберри был человек занятой, иногда ему не удавалось вырваться к ней дней десять, а то и две недели кряду. И хотя у Фанни, кажется, были и лекции, и занятия, и подруги,— все-таки нередко выпадало несколько дней, когда, если б не я, ей не с кем было бы перемолвиться словом — разве что с прислугой, приходившей к ней каждый день. Да, я старался утаить свою дружбу с Фанни от матери, хотя ее подозрительный взгляд не раз угадывал правду за сетью моих измышлений. Что ж, зато Эрни и Пру, не отягощенные бременем семейного позора, вольны были следовать зову любви. Скоро каждый из них обручился со своим «предметом», и по этому случаю в гостиной (с любезного разрешения мистера и миссис Мильтон, пребывавших по обыкновению «в отъезде») состоялось воскресное чаепитие, на которое были приглашены его невеста и ее жених. Нареченная Эрни — как ее звали, не помню, хоть убей,— оказалась нарядной и выдержанной молодой особой, обладающей обширными познаниями из жизни так называемого «общества». Она непринужденно поддерживала светскую беседу (другие больше слушали) об Эскоте[1], о Монте-Карло и событиях придворной жизни. Суженый Пру был человек более серьезного склада. Из его разговора я запомнил только одно: он выразил твердую уверенность в том, что через несколько лет непременно будет найден способ поддерживать связь с душами усопших. Мистер Петтигрю, мозольный оператор, был на очень хорошем счету в хироподологических кругах...

---

[1] Фешенебельный ипподром.

— Постой-постой! — вскричал Рейдиант.— Это еще что такое? Чепуха какая-то, Сарнак. Хиро-подо-логических: руко-ного-научных...

— Я так и знал, что ты спросишь,— усмехнулся Сарнак.— Хироподия — это выведение мозолей.

— Выведение... Питомник, стало быть? А при чем тут руки и ноги? Машины ведь уж были, верно?

— Нет, выведение, только не в том смысле. Срезание мозолей. В аптеке мистера Хамберга было полным-полно мозольных пластырей и мазей. Мозоль — это затвердение на коже, весьма болезненная и докучливая штука. Образуется, когда тесная или слишком свободная обувь натирает ногу. Мы с вами и не знаем, что такое мозоли, а в Пимлико они омрачали жизнь десяткам людей.

— Да, но зачем носить обувь не по ноге? А впрочем, неважно. Не имеет значения. Я сам знаю. Безумный мир! Шить обувь наугад, не применяясь к ноге, которой предстоит ее носить! Мучиться в тесных башмаках, когда ни одному нормальному человеку вообще в голову не придет ходить обутым... Но продолжай, рассказывай.

— Так. Постойте — речь шла о чаепитии в семейном кругу, когда мы сидели в гостиной и говорили обо всем на свете, кроме моей сестры Фанни. А очень скоро после этого заболела моя матушка. Заболела и умерла.

Болезнь ее была внезапной и недолгой. Сначала мать простудилась и ни за что не желала лечь в постель. Потом все-таки слегла, но на другой же день поднялась опять: волновалась, как там внизу хозяйничает Пру. Мало ли — недоглядит или, наоборот, увидит, что не надо... Простуда перешла в пневмонию — помните? Ту самую, что унесла старых Моггериджей. И через три дня она умерла.

С той минуты, как начался жар, моя бледная, строгая, неприступная мать исчезла, и вместо нее появилось другое существо — жалкое, полыхающее румянцем... Лицо ее осунулось и помолодело, в блестящих глазах появилось такое же выражение, как у Фанни, когда она чем-нибудь расстроена. Глядя, как моя мать, разметавшись на подушке, ловит ртом воздух, я вдруг отчетливо понял, что близок час, когда для нее все кончится: и горечь, и озлобление, и тягостно-однообразный

труд... И мое привычное чувство к ней — недоброе, упорное чувство протеста — растаяло без следа. А вместо Матильды Гуд снова появилась старинная подруга, Тильда, которая знает ее с юных лет и для которой она теперь не Марта, а прежняя Марти... Забыв о своих венах, Матильда десятки раз в день бегала вверх и вниз по лестнице, поминутно отправляя кого-нибудь из нас в магазин за дорогими яствами — чем дороже, тем лучше, только бы «соблазнилась» больная. Грустно было смотреть, как они стоят нетронутые на столике у кровати... Незадолго до конца мать несколько раз звала меня и вечером, когда я пришел и склонился над нею, хрипло прошептала:

— Гарри, сынок — обещай мне... Обещай...

Я сел рядом, взял протянутую мне руку и держал в своей, пока больная не забылась сном...

Какое обещание нужно ей было от меня, она так и не сказала. Быть может, последняя страшная клятва, которая навсегда разлучит меня с Фанни? Или, почуяв дыхание смерти, она стала думать о Фанни иначе и хотела что-нибудь передать ей через меня? Не знаю, не представляю себе... Быть может, она и сама не знала, что я должен обещать, быть может, то было угасающее желание последний раз поставить на своем... Слабая вспышка воли — и снова ничто...

— Обещай...

Имя Фанни она не произнесла ни разу, и мы не рискнули привести к ней ее грешную дочь.

Пришел Эрнст, поцеловал ее, опустился на колени у кровати и вдруг зарыдал, бурно, безудержно, как дитя,— да он и был дитя... Расплакались и мы вслед за ним. Эрнст был ее первенцем, ее любимцем, он знал ее еще до того, как она стала озлобленной и раздраженной,— он всегда был ей послушным сыном.

И вот она лежит очень прямая, застывшая, тихо и безмолвно — так тихо и безмолвно бывало в отцовской лавочке по воскресным дням. Навсегда покончены все счеты с жизнью — заботы, страсти, огорчения... Лицо — не молодое, не старое: мраморная маска покоя. Разгладилась, стерлась брюзгливо-недовольная гримаса. Я никогда раньше не задумывался, красива она или нет, но сейчас стало видно, что это от нее Фанни унаследовала свои

тонкие, правильные черты. Да, теперь она похожа на Фанни: притихшую, невеселую Фанни.

Я стоял у ее недвижного тела, охваченный скорбью, такой глубокой и тяжкой, что мне было не до слез,—безмерной скорбью не столько даже о ней самой, сколько о злой недоле, будто воплотившейся в ней. Лишь теперь мне открылось, что в моей матери нет и никогда не было ничего дурного, мне впервые открылась ее преданная душа, стремление к тому, что ее научили считать добром, и та немая, неумелая, мучительная для нее самой и других любовь, которая жила в ее сердце. Судьба изломала и искалечила даже ее любовь к Фанни, похитив прелестную умненькую девчушку, которую она уже видела в мечтах образцом женской добродетели, и вернув ее падшей женщиной. Как безжалостно мы, дети, один за другим попирали ее жесткие, суровые правила! Все, кроме Эрнста! Фанни и я — открыто, по-бунтарски, Пру — тайком... Ибо — не буду подробно рассказывать, как уличила ее Матильда,— Пру оказалась нечиста на руку...

Но еще задолго до того, как мы — Фанни, я, Пру — обманули надежды нашей матери, ей уже, несомненно, довелось изведать другое, куда более тяжкое разочарование. Кто знает, каким ореолом мужества, благочестия, порядочности окружала она моего незадачливого, несуразного, долговязого краснобая-отца, когда, принарядившись, точно в праздник, они выходили прогуляться рука об руку, изо всех сил стараясь не ударить друг перед другом в грязь лицом? Он был тогда, наверное, статным и пригожим молодым человеком, внушающим особое доверие своею склонностью к благочестивым рассуждениям. И кто знает, какие огорчения доставил ей этот славный добряк, обманув ее нехитрые, «как у людей», ожидания,— грубоватый, неловкий, своенравный, такой неприспособленный....

А дядя — дядюшка Джон Джулип! Вспомните! Замечательный, обожаемый старший брат с ухватками великосветского спортсмена — как он сжался, съежился у нее на глазах, мало-помалу превращаясь в проворовавшегося пьянчугу! Все рушилось вокруг нее, бедняжки! В те времена на улицах разрешалось продавать разноцветные детские надувные шары, будто нарочно создан-

ные для того, чтобы приносить детишкам горькие разочарования. Как похожа на такой воздушный шарик оказалась жизнь, которой господь бог наградил мою матушку! Все лопнуло и съежилось и стало пустой, сморщенной оболочкой—непоправимо, раз и навсегда. Она встретила закат своих дней, изборожденная ранними морщинами, натруженная, озабоченная, не любимая никем, кроме одного примерного сына...

Да, мысль об Эрнсте утешила меня немного — конечно, его преданность и была для нее счастьем.

Сарнак помолчал.

— Нет, невозможно отделить то, что я передумал, стоя у смертного одра матери, от массы дум и впечатлений, возникших у меня позже. В моем рассказе — хотел я того или нет — мать явилась олицетворением некоей враждебной мне силы, она предстала перед вами жесткой, немилосердной... Да, именно такую роль она и сыграла в моей истории. Но сама она была, разумеется, лишь порождением и жертвой того сумбурного века, который обратил ее природную стойкость в слепую нетерпимость, а нравственную силу — в уродливое, вздорное и пустое упорство. Если Фанни, Эрнст и я проявили силу воли, добиваясь того, в чем нам с детства было отказано судьбой; если мы сумели чему-то научиться, завоевать уважение к себе,— этой твердостью духа мы были обязаны ей. Если из нас вышли честные люди, то лишь благодаря ей. Да, ее нравоучительная черствость отравила, омрачила наше отрочество, но не ее ли страстная материнская забота оберегала нас в детские годы? Отец способен был лишь приласкать нас, полюбоваться нами — и оставить на произвол судьбы. Просто с самых ранних лет все светлые побуждения в жизни моей матери подавлял страх, ее воображение задыхалось в беспощадных тисках панической ненависти к греху, зловещей тенью нависшей над эпохой христианства. Она исступленно цеплялась за твердокаменные устои «законного» брака с его традицией самообуздания, смирения, покорности,— брака, в который вступить было легко, а вырваться так же трудно, как из капкана со стальными зубьями, хитро замаскированными завесой таинственности и лжи. Ради спасения бессмертной души своих чад мать готова была, если надо, каждого из нас отдать на заклание это-

му Молоху. И, поступая вопреки естественным побуждениям, тлеющим где-то в глубине ее души, она еще больше ожесточалась...

Вот такие-то мысли — быть может, только более расплывчатые — проносились в сознании Гарри Мортимера Смита (моего прежнего «я») в те минуты, когда он стоял у тела матери. Он — то есть я — терзался чувством непоправимой и бессмысленной разлуки, сознанием утраченных возможностей. Сколько слов я мог бы сказать ей — и не сказал, сколько удобных случаев пропустил, вместо того чтоб хоть немножко наладить наши отношения! Я перечил ей так резко! Что стоило мне быть с ней помягче и все-таки делать по-своему? И вот она лежит: слабая, маленькая, раньше времени постаревшая, исхудавшая, замученная. Как часто в запальчивости я нападал на нее сгоряча, не понимая, что наношу ей раны, которые способно нанести матери только рожденное ею дитя! Мы оба были ослеплены — она и я, а сейчас... Сейчас уже слишком поздно. Нас разделяет закрытая дверь. Дверь, которая закрылась навсегда. Навсегда...

12

Полтора года, что прошли со дня смерти моей матери до начала Первой мировой войны, предшествовавшей Химической войне и Великой разрухе, были для меня временем бурного роста — духовного и физического. Жить я продолжал у Матильды Гуд, потому что со временем привязался к этому грузному, мудрому и сердечному существу и полюбил как свою вторую мать. Правда, теперь я уже стал такой богач, что занимал целиком второй этаж и у меня была отдельная спальня и собственная гостиная... Я по-прежнему наведывался к Матильде в подвальчик к завтраку, ужину или вечернему чаю, чтобы не лишать себя удовольствия побеседовать с нею. Пру к этому времени вышла замуж за мистера Петтигрю, и теперь вместо нее и матери хозяйство тянули на себе две седенькие труженицы, сестры: одна — старая дева, другая — жена калеки, бывшего профессионального боксера.

Постоянной моею спутницей в те дни стала моя сестра Фанни. Наша прежняя душевная близость возроди-

лась и окрепла. Мы с нею были нужны друг другу, мы нашли друг в друге ту опору, которой нам не смог бы дать никто другой. Я очень скоро обнаружил, что жизнь моей сестры распадается на две весьма неравноценные части: счастливые, радостные часы (иногда дни) с Ньюберри и долгие промежутки однообразного, томительного одиночества, когда она была целиком предоставлена самой себе. Ньюберри очень любил ее и отдавал ей все время, какое только ему удавалось выкроить. Он ввел ее в круг своих друзей—тех, кому доверял, зная, что здесь ее встретят с уважением и сохранят их тайну. Фанни была отважной женщиной, твердой и верной, но до того, как судьба снова свела ее со мною, ей бывало страшно и тоскливо, а порою почти невыносимо в эти унылые периоды отсроченной радости. Сплошь да рядом ей попросту нечем было жить: записочка (он присылал их ей, кажется, каждый день), два-три наспех нацарапанных слова—вот и все, что вносило интерес и разнообразие в ее жизнь. Что толку, что он был такой замечательный? От этого ей было еще хуже. Да, он был обаятелен и нежен и горячо любил ее, но после радостных, ярких часов, проведенных с ним, долгие дни разлуки казались еще мрачнее и однообразней.

— А работа? — спросила Санрей.

— А друзья по работе? Другие женщины?— поддержала ее Файрфлай.

— Все это было не для нее. Она была на особом положении: незамужняя женщина низкого происхождения, любовница...

— Но были ведь и другие в таком же положении? И, разумеется, немало!

— Да, только они сторонились даже друг друга. Их приучили стыдиться самих себя. Ньюберри и Фанни были такие же любовники, как мы сегодня, они держались стойко и в конце концов, кажется, вступили в «законный» брак, как тогда было принято. Но эти двое составляли исключение: они были смелые люди и знали, чего хотят. В большинстве же случаев союз, не связанный узами закона, распадался: слишком томительна была скука в перерывах между свиданиями, слишком сильны искушения в разлуке... Забывчивость и ревность — вот что

обычно становилось причиной разрыва. Надолго предоставленная самой себе, девушка заводила новое случайное знакомство, а ее возлюбленный, заподозрив измену, оставлял ее. Мне предстоит еще немало поведать вам о том, какой была ревность в старом мире. Ревность отнюдь не считалась уродливым явлением, напротив: в ней видели, пожалуй, проявление силы, характера. Люди давали ей полную волю, да еще и кичились этим. А главное, случайные связи чаще всего представляли собою даже не любовный союз, а союз порока, союз обоюдной лжи. Жизнь, в которой чрезмерное возбуждение сменялось скукой; жизнь, отмеченная клеймом всеобщего осуждения,— как легко проникали в нее наркотики, вино... Вызывающая поза казалась самым простым выходом! Брошенная любовница была существом отверженным, течение прибивало ее к другим париям, еще более опустившимся и несчастным, чем она сама. Теперь, быть может, вам станет понятно, почему моя сестра Фанни жила в некотором одиночестве и отчуждении, хоть и принадлежала к довольно многочисленной группе людей.

— По-видимому,— сказал Сарнак,— суровые узы «законного» брака древних предназначены были для того, чтобы соединять любящих. Однако в бесчисленных случаях они связывали чужих друг другу людей и мешали соединиться влюбленным. Впрочем, нельзя забывать и о ребенке, который в те дни считался нечаянным даром провидения, а был, по существу, случайным плодом сожительства. Это совершенно меняло все обстоятельства дела. Если родители расходились, семейный очаг был разрушен, а надлежащих школ или иных пристанищ для детей не существовало. Нам с вами живется так спокойно... Нам трудно представить себе, как зыбко и ненадежно все было в старое время, какие опасности нависали над головкой беззащитного ребенка. В нынешнем мире всякий, кажется, рано или поздно находит себе пару, соединяется с другом или подругой, и супружество у нас не мера принуждения, но добровольный и естественный союз. Все жрецы и служители всех религий на свете не могли бы связать меня с Санрей прочнее, чем я связан сейчас. Разве надобны библия и алтарь, чтобы сочетать топор с топорищем?

Да... Все так, но факт остается фактом: моя сестра Фанни изнывала от одиночества, пока вновь не обрела меня.

Неистощимо любознательная, предприимчивая, Фанни по-хозяйски завладела моим досугом, чтобы обследовать все уголки и окрестности Лондона. Она таскала меня по музеям и картинным галереям, водила по садам, паркам, вересковым зарослям—таким местам, в которых я, пожалуй, и не побывал бы никогда, если б не она... Да и Фанни, наверное, не забрела бы туда без меня. В тот век, век исступленного обуздания естественных наклонностей, повсюду шныряли искатели любовных приключений, блуждали слабоумные. Кто мог помешать им увязаться за одинокой девушкой, да еще такой хорошенькой, как Фанни, попытаться заговорить с нею, улучив минуту, когда поблизости никого нет, докучать и досаждать ей! Их гнусная назойливость заслонила бы от нее и сияние солнца и красоту природы...

Зато вместе мы превесело бегали по всяким интересным местам! Надо отдать ему должное, этому старому Лондону: он мог похвастаться парками и садами, полными своеобразного очарования и неожиданных красот. Был, например, такой Ричмонд-парк, куда мы не раз ходили гулять: раскидистые старые деревья, изумрудные лужайки, буйные папоротники, такие пронзительно рыжие в осеннюю пору, множество оленей... Если б вы вдруг перенеслись в Ричмонд-парк, каким он был две тысячи лет назад, вы, наверное, вообразили бы, что попросту очутились в одном из современных северных парков. Правда, полусгнившие стволы развесистых великанов были в те времена обычно поражены древесной губкой, но мы с Фанни этого даже не замечали. Нам они представлялись могучими и здоровыми деревьями. С гребня Ричмондского холма открывался вид на извилистую Темзу — восхитительный вид! Невдалеке раскинулись неповторимо своеобразные старинные сады и широкие цветочные газоны Кью. Мне запомнился один альпийский садик, устроенный с большим вкусом, и цветочные оранжереи с роскошными (по тогдашним понятиям) цветами. А тропинки, затерянные в густых зарослях рододендронов — первобытных, маленьких, но таких ярких рододендронов, доставлявших нам с Фанни массу

радости! Здесь можно было выпить чашку чая за столиком прямо под открытым небом! В душном, непроветренном, наводненном микробами старом мире, где так панически боялись сквозняков, кашля, насморка, даже завтрак на открытом воздухе становился праздничным событием.

Мы пропадали в музеях и картинных галереях, обсуждали сюжеты картин, мы болтали о тысячах разных разностей. Живо помню один наш разговор во время прогулки в Хэмптон Корт. Здесь возвышался причудливый старинный дворец из красного кирпича с огромной виноградной лозою под стеклом. От дворца до самой Темзы простирался старый парк с цветочными грядами, на которых росли полудикие лесные цветы. Вдоль этих гряд в тени деревьев мы спустились к невысокой каменной стене у реки и сели на скамью. Некоторое время мы сидели молча, и вдруг, будто не в силах больше сдерживать то, что накопилось в душе, Фанни заговорила о любви.

Начала она с расспросов: с какими девушками я встречался, какие у меня знакомые в Сандерстоун-Хаусе. Я описал ей кое-кого из них. Ближе всех я был знаком с Милли Кимптон из бухгалтерии — наши отношения дошли до стадии совместных чаепитий и дружеских встреч.

— Книжками для чтения обмениваетесь? Ну, это не любовь,— заявила мне мудрая Фанни.— Ты еще понятия не имеешь, что такое любовь, Гарри!.. Но ты поймешь... Смотри только, не пропусти время! Любить — с этим не сравнится ничто на свете. Про такое обычно не рассказывают; есть сколько хочешь людей, которые даже не догадываются, что́ они теряют в жизни. Это такая же разница, как быть ничем или быть кем-то. Как живой ты или мертвый. Когда кого-нибудь любишь по-настоящему, все у тебя в порядке и ничто не страшно. А когда нет, все не на месте, все неладно. Только любовь — капризная штука, Гарри; она милей всего на свете, но она же и всего страшней. Вдруг что-то меняется. Вдруг что-то идет не так, и тебе жутко. Она не дается тебе в руки, она ускользает, а ты остаешься — ничтожный, маленький, жалкий-жалкий. И ничего уже не вернуть — да тебе, кажется, уж ничего и не нужно. Все пусто и

мертво, все кончено для тебя!.. Но вот она опять возвращается к тебе — как рассвет, как второе рождение...

И откровенно, с каким-то отчаянным бесстыдством Фанни заговорила о Ньюберри, о том, как она его любит. Она вспоминала какие-то пустяки, какие-то его привычки, черточки...

— Как только у него свободная минутка, он сразу идет ко мне.— Она повторила эту фразу дважды.— В нем вся моя жизнь. Ты не знаешь, что он для меня такое!..

Но вот все ясней зазвучал в ее словах постоянный страх возможной разлуки.

— Может быть,— говорила она,— так у нас все и останется... Пусть, мне неважно. Пусть он на мне никогда не женится, даже бросит меня в конце концов; я ни о чем не жалею. Я не задумалась бы снова пойти на все, если бы даже знала заранее, что буду покинута и забыта! И еще считала бы себя счастливой!

Ах, что она за человек, эта Фанни! Щеки пылают, в глазах блестят слезы... Что́ там у них произошло?

— Он никогда меня не бросит, Гарри! Никогда! Не сможет! Не сможет, и все. Смотри: он вдвое меня старше, а чуть что не так — тут же ко мне. Один раз... один раз он плакал передо мной. Все вы, мужчины, сильные, а такие беспомощные... Вам нужна женщина, к которой можно прийти, когда тяжело. Совсем недавно... Ну, словом, он заболел. Очень. У него болят глаза, и иногда он боится потерять зрение. А в тот раз вдруг начались страшные боли. Ему стало казаться, что он ничего не видит. И тогда он пришел прямо ко мне, Гарри. Вызвал кэб, приехал, ощупью поднялся к моей квартире, нащупал замок в двери... Я повела его к себе в комнату, спустила шторы и не отходила, пока ему не стало легче. Он не поехал домой, Гарри, хоть там и прислуга под рукой, и сестру вызвали бы в одну минуту, и сиделку, и кого хочешь; он пришел ко мне. Ко мне, понимаешь? Только ко мне. Это мой человек. Он знает, что я за него отдам жизнь. Правда, отдам, Гарри! Я бы на кусочки дала себя изрезать, только бы он был счастлив!

Она помолчала.

— Тут главное даже не боль, а страх, Гарри. Он не такой, чтобы обращать внимание на боль, и его не так-

то легко испугать. А все-таки ему было страшно — и еще как! Ничего в жизни не боялся, кроме одного: ослепнуть. Даже к врачу не решался пойти. Как маленький, Гарри, а ведь такой большой и сильный. Боялся темноты... Думал, если попадет к ним в руки, то, может, не отпустят больше, а как тогда приезжать ко мне? И не видеть ему тогда своих любимых журналов и газет. А тут еще боль подбавила масла в огонь: он и кинулся ко мне... Это я заставила его пойти к врачу. Сама отвезла. Если бы не я, он бы так и не пошел. Махнул бы рукой — будь что будет, — и ни одной живой душе на свете, при всем его богатстве и положении, не было бы до него никакого дела. И тогда — если бы вовремя не захватить — он и в самом деле мог бы лишиться зрения... Я привезла его к врачу, сказала, что я секретарь, и осталась ждать в приемной. Ужасно тревожилась, как бы ему не сделали больно. Все время слушала, как он там. А сама сижу, листаю старые журналы, будто меня нисколько не трогает, что́ они там над ним колдуют. Потом он выходит, улыбается, а на глазах — зеленый козырек. Я встаю, вежливо, как ни в чем не бывало, и жду, что он скажет. Иначе нельзя! А у самой все дрожит внутри — так меня напугал этот зеленый козырек. Напугал! Я вздохнуть не могла! Думаю: все. Конец. А он мне — небрежно так, знаешь: «Дела не так плохи, как мы думали, мисс Смит. Вы не отпустили такси? Боюсь, вам придется взять меня под руку». Я — жеманным голоском: «Конечно, сэр», — и беру его под руку, нарочно делаю вид, будто стесняюсь. В приемной люди кругом, мало ли... Держусь почтительно. И это я! Ведь он тысячу раз был в моих объятиях! Но когда мы сели в такси и нечего было бояться, он сорвал козырек, обхватил меня, прижал к себе и заплакал — по-настоящему, все лицо было мокрое от слез. И все не отпускал меня. От радости, что у него по-прежнему есть я, и по-прежнему есть глаза, и любимая работа. Сказали, что глаза надо лечить, но зрение сохранится. И сохранилось, Гарри. И болей нет. Вот уже несколько месяцев.

Фанни сидела, отвернувшись от меня, глядя в даль за сверкающей рекою.

— Как же он может меня оставить после всего, что было? Как?

Она говорила храбро, но даже мне, как я ни был молод, она показалась такой маленькой, такой одинокой на скамье у старой красной стены...

Я вспомнил занятого и оживленного человека в толстых черепаховых очках — там, вдали от нее, вспомнил, что́ шепчут про него иногда за его спиной, и мне подумалось, что ни один мужчина в мире не стоит женской любви.

— Когда он устанет, когда у него что-нибудь случится,— сказала Фанни, убежденно, покойно,— он всегда будет приходить ко мне...

ГЛАВА VI

ЖЕНИТЬБА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

1

— А теперь,— сказал Сарнак,— происходит смена костюма. Вы, вероятно, представляете себе Гарри Мортимера Смита таким: нескладный юнец лет семнадцати, одетый в так называемое «готовое платье»— мешковатое изделие массового производства. Юнец щеголял в белых воротничках, черном пиджаке и темно-серых брюках замысловатого и хитрого покроя, а на голове носил черное полушарие с маленькими полями, именуемое котелком. Отныне же этот юнец облачается в иной, еще более мешковатый комплект готовых изделий —«хаки», форму британского солдата времен Великой мировой войны с Германией. В 1914 году нашей эры, словно по мановению волшебной палочки, из края в край Европы прокатилась волна политических катастроф — и облик мира резко изменился. Процесс накопления уступил место процессу разрушения, и целое поколение молодых людей, сошедших в собранном виде с витрин Чипсайда — помните, я рассказывал,— надело военную форму, построилось в шеренги и затопало к полосам окопов и запустения, что пролегли по Европе. Уже не первая война зарывалась в ямы, пряталась за колючей проволокой, громыхала бомбами и залпами мощных орудий, но такой, как эта, еще не бывало... Всемирный хаос пе-

решел в новую стадию. Так жидкость в гигантском котле понемногу нагревается все сильней и вдруг закипает — и сразу переливается через край. Так санная колея в горах долго спускается гладко, почти ровно и вдруг, срываясь, петляет дикими зигзагами по крутому склону. Лавина, веками сползавшая вниз, достигла критической точки...

Смена костюма — да; и не только костюма: смена всей декорации. Помню паническое возбуждение тех августовских дней, когда разразилась война. Помню, каким недоверчивым удивлением встретили мы, англичане, сообщение о том, что наша крохотная армия отброшена немецкими войсками, как ощетинившийся котенок нетерпеливой метлой, что рушатся оборонительные линии французов. Затем—сентябрь: опомнились, стали восстанавливать силы. На первых порах мы, парни с Британских островов, были всего лишь взволнованными зрителями, но, когда до нас дошла весть о боях и потерях английской армии, мы тысячами — нет, десятками тысяч — устремились на призывные пункты, пока наконец армия добровольцев не стала исчисляться миллионами. Вместе с другими пошел и я.

Вас, вероятно, поразит то обстоятельство, что Великая мировая война с Германией не стала одним из центральных событий в моем рассказе. Действительно, я прошел сквозь всю войну — был солдатом, воевал, был ранен, опять вернулся на фронт, принял участие в решающем наступлении; мой брат Эрнст был произведен в сержанты, и награжден медалью за доблесть, и убит за каких-нибудь несколько недель до перемирия. Война коренным образом повернула всю мою судьбу, и все-таки она не входит в повесть о моей жизни как неотъемлемо важная часть ее. В моем нынешнем представлении мировая война — явление приблизительно того же порядка, что и географические или атмосферные явления; как если, предположим, человек живет в десяти милях от своей службы или венчается во время апрельского ливня. Человеку придется проделывать ежедневно десять миль туда и обратно или раскрыть зонтик при выходе из церкви, но это ведь не может затронуть исконных свойств его натуры или существенно изменить основное содержание его жизни. Да, мировая война принесла миллионам из

нас страдания и смерть, вызвала всеобщее обнищание, всколыхнула весь мир. И что же? Это лишь означало, что столько-то миллионов выбыло из жизни и что у каждого чуточку прибавилось тревог и неполадок. Война не изменила духовного облика тех миллионов, что остались в живых; ни их страстей, ни их ограниченности, ни их порочного образа мыслей. Мировая война, сама — порождение невежества и заблуждений, отнюдь не помогла человечеству избавиться от них. Отгремели сражения, а мир — хоть и основательно потрепанный, потрясенный — вышел из них все тем же: мелочным, бестолковым, одержимым духом стяжательства, раздробленным, ханжески-патриотичным, бездумно плодовитым, грязным, наводненным болезнями, злобным и самодовольным. Сорок столетий понадобилось для того, чтобы добиться коренных сдвигов в этом мире — сорок веков труда, размышлений, научных поисков, обучения, воспитательной работы...

Надо признать, что в начале войны действительно создалось впечатление, будто готовится нечто решающее и грандиозное: гибель старого, рождение нового... То были знаменательные дни — как для нас, англичан, так и для других народов. Мы воспринимали происходящее в самом возвышенном плане. Мы — я имею в виду простых людей — вполне чистосердечно верили, что державы Центральной Европы творят лишь зло, а правда целиком на нашей стороне; сотни тысяч из нас с радостью отдавали жизнь во имя победы, искренне думая, что вместе с нею люди обретут новый мир. Это заблуждение разделяли не только союзники Великобритании в этой войне, но и их общий противник. Я убежден, что ни один год в истории человечества — как до Великой мировой войны, так и много столетий спустя — не дал столь обильного урожая славных и доблестных дел, благороднейших жертв, героической выносливости и героического труда, как 1914, 1915 и 1916 годы. Молодежь творила чудеса; слава и смерть поживились богатой добычей в ее рядах. Однако рано или поздно не могла не выявиться несостоятельность конфликта, порожденная самою природой его, и заря напрасных надежд угасла в сердцах людей. К концу 1917 года весь мир захлестнуло разочарование. Оставалась еще одна, последняя иллюзия: ве-

ра в благородство и бескорыстие Соединенных Штатов Америки и — пока ничем еще не подтвержденное — величие президента Вильсона. Впрочем, книги по истории, вероятно, уже поведали вам, чем суждено было завершиться этой иллюзии. Я не стану останавливаться на этом. Всемогущему господу во образе человеческом еще, пожалуй, могло бы оказаться под силу объединить мир двадцатого столетия, избавив человечество от долгих веков трагической борьбы. Президент Вильсон не был господом богом...

Война... Пожалуй, о том, какой я увидел ее своими собственными глазами, тоже не стоит много говорить. Этот, совсем особый, комплекс человеческих переживаний достаточно исчерпывающе отображен в литературе и живописи, фотографиях, документах. Мы все достаточно читали о ней—все, то есть кроме Файрфлай... Вы знаете, как целых четыре года человеческая жизнь была сосредоточена в окопах, которые протянулись по Европе вдоль обоих германских фронтов. Вы знаете, что земля на тысячи миль была превращена в изрытую ямами, заплетенную проволокой пустыню. Сегодня, разумеется, никто уж не читает мемуары генералов, адмиралов и политиков того времени, а официальные военные отчеты спят вечным сном в книгохранилищах больших библиотек. Но есть и другие, человечные книги, и хотя бы одну или две из них каждому, наверное, случалось прочесть: «Дневник без дат» Инида Багнольда, «Отшельничество и викарий» Когсуэлла, «Огонь» Барбюса, «Историю военнопленного» Артура Грина или любопытную антологию под названием «Военные рассказы рядового Томми Аткинса»[1]. Я думаю, вам приходилось видеть фотографии, кинофильмы, быть может, вам знакомы и живописные произведения таких авторов, как, скажем, Невинсон, Орпен, Мьюрхед Боун, Уилл Розенстейн... Все это, могу вам поручиться, очень правдивые книги и картины. Они рассказывают о великой беде, накрывшей черною тенью солнечный диск человеческой жизни.

Какое благо, что наше сознание обладает способностью затушевывать, сглаживать впечатления, которые причиняют нам боль! Почти два года, в общей слож-

---

[1] Томми Аткинс — прозвище английского солдата.

ности, провел я в гибельном, зияющем воронками краю — в томительном бездействии блиндажей, в лихорадочной спешке сражений... А нынче это время представляется менее значительным, чем какой-нибудь один день моей мирной жизни. Я заколол двоих штыком в окопе, но сейчас мне кажется, что это был не я, а кто-то другой... Все стерлось и поблекло для меня. Гораздо отчетливей я вспоминаю, как с чувством подступающей тошноты увидел после, что мой рукав пропитан кровью и вся рука в крови, как я старался оттереть руку песком, потому что воды достать было негде. Жизнь в окопах была чудовищно неустроенной и нудной; прекрасно помню, что я изнывал от скуки, считая мучительно долгие часы, а теперь все они умещаются в скорлупку обыденного факта. Помню и грохот первого снаряда, который разорвался невдалеке от меня; помню, как медленно рассеивался дым и оседала пыль; как клубы дыма окрасились багрянцем и ненадолго затмили свет. Снаряд разорвался в поле, на фоне солнца, среди жнивья, поросшего желтенькими цветами сорняков, а что было до и после, я не помню. Чем дальше тянулась война, тем сильней мне взвинчивали нервы разрывы снарядов и тем бледнее становились впечатления.

Зато мой первый приезд в отпуск с фронта стал одним из самых ярких и волнующих воспоминаний той поры. Наша партия отпускников прибыла на вокзал Виктория и отсюда вслед за пожилыми добровольцами в нарукавных повязках с бряцанием и топотом повалила в подземку — своего рода дренажное устройство, созданное для разгрузки наземного транспорта. С винтовками, в полном снаряжении, с ног до головы запачканные окопной грязью (помыться и почиститься было некогда), набились мы в ярко освещенный вагон первого класса. Вокруг сидели люди в вечерних туалетах, спешившие на обед или в театр. Какой разительный контраст! Как если бы я вдруг увидел там Файрфлай во всем сиянии ее красоты! Мне запомнился один молодчик с двумя дамами, разодетыми в пух и прах. Он был немногим старше меня. Белый галстук бабочкой под розовым подбородком, шелковое кашне, черный плащ с капюшоном, цилиндр. Надо полагать, негоден к воинской службе по болезни, а на вид здоров, как я... Меня так и подмывало

сказать ему что-нибудь оскорбительное. Не помню, чтобы я сделал это. Вероятно, сдержался. Я только посмотрел на него, потом на свой рукав с бурым пятном и подумал, как удивительно устроена жизнь...

Да, я ничего не сказал. Я был до краев полон пьянящей радостью. Солдаты оживленно шумели, кое-кто уж был слегка навеселе, но я был сдержан — во всяком случае, внешне. Все мои чувства: слух, зрение — были обострены, как никогда. С Фанни я увижусь завтра, а сегодня... Сегодня вечером я надеялся встретиться с Хетти Маркус, в которую был влюблен до безумия. Только безусые солдаты, полгода проторчавшие в грязных траншеях Фландрии, могли понять, как я был в нее влюблен...

2

— Как описать мне вам Хетти Маркус,— сказал Сарнак,— чтоб вы увидели ее? Темноглазую, смуглокожую, своевольную и хрупкую Хетти Маркус, которая принесла мне любовь и смерть две тысячи лет назад? В ней было что-то общее с Санрей. Тот же тип. Такой же глубокий, темный взгляд, такая же тихая повадка. Сестра Санрей — только с голодным, беспокойным огоньком в крови...

Да — и такие же пухлые мизинчики... Вот: поглядите!

Встретил я Хетти на холмах — тех самых, на которые мы, бывало, взбирались с отцом по дороге за краденым товаром с угодий лорда Брэмбла. Перед отправкой во Францию мне был предоставлен краткосрочный отпуск, но вместо того, чтобы провести его в Лондоне с Матильдой Гуд и Фанни, как было бы естественно ожидать, я отправился в Клифстоун вместе с тремя другими новобранцами, которым это оказалось по карману. Не знаю, удастся ли мне объяснить вам, зачем мне вдруг понадобился Клифстоун. Меня воодушевляло сознание, что скоро я буду принимать непосредственное участие в военных действиях; я твердо рассчитывал проявить чудеса отваги на поле брани, но вместе с тем я был невыразимо удручен мыслью о том, что меня могут убить. О ранах и страданиях я даже не задумывался: они меня

«СОН»

«СОН»

вовсе не пугали. Но умереть, почти ничего не испытав, не изведав самого лучшего в жизни!.. Это было страшно, с этим нельзя было примириться! Я привык тешить себя надеждой, что меня ждет большая любовь, романтические встречи... Я содрогался, думая, что мои мечты, возможно, так и не сбудутся. Все мы, неоперившиеся юнцы, были в таком положении, но про Клифстоун я подумал первым: музыка, бульвар, по которому, постреливая глазками, порхают девушки... И рукой подать до нашего лагеря! Где, как не там, можно урвать еще что-то от жизни, прежде чем нас разнесет на куски громадный снаряд и земля Фландрии поглотит наш прах!.. Хмель юности, не приемлющей смерть, туманил нам головы и будоражил кровь. Мы потихоньку ускользнули от родных...

Сколько нас было тогда в Европе — юных, жалких, жаждущих хоть краешком глаза заглянуть перед смертью в таинственный и сказочный край любви! Вы не поверите! Миллионы... Как рассказать вам о кабаках и проститутках, подстерегавших нас, о том, что творилось на пляжах под тусклым светом луны?.. Как рассказать об искушениях, невежестве, болезнях?.. Нет, эта мерзость не для ваших ушей. Это прошло, с этим покончено, люди избавлены от этого раз и навсегда. Там, где мы ощупью брели во тьме, сейчас сияет свет. С одним из моих приятелей случилась гнусная история, другие тоже окунулись в грязь... Я как-то ухитрился не попасть в эту волчью яму — не по своей заслуге, а скорей по милости случая. В последние мгновения меня охватила брезгливость, и я отпрянул... А потом я не напивался, как другие; какая-то внутренняя гордость всегда удерживала меня от пьянства.

Однако на душе у меня было смутно: я был и возбужден и вместе с тем подавлен. Меня невольно засасывала эта трясина, я скользил вниз, и, чтобы нащупать почву под ногами, я решил оживить в памяти дни своего детства. Я отправился в Черри-гарденс взглянуть на наш старый дом, побывал на отцовской могилке, аккуратной, ухоженной — видно, Фанни не поскупилась,— а потом решил подняться на холмы и, может быть, вновь хоть в какой-то мере пережить ощущение чуда, охватившее меня, когда я в первый раз поднялся сюда по

дороге в Чессинг Хенгер. А еще — не знаю, поймете ли вы,— меня влекло предчувствие, что там меня ждут романтика и любовь. Я ведь не отказался от поисков, которые привели меня в Клифстоун, я лишь перемахнул через зловонную канаву на своем пути. Ребенком я верил, что по ту сторону холмов находится рай, но ведь золотые летние закаты в самом деле горели именно здесь! Что ж, разве не естественно отряхнуть клифстоунский прах с ног своих и направиться в поисках романтики к единственному красивому месту, которое ты знаешь на земле?

И я нашел.

На фоне неба, на самой кромке холма возникла Хетти. Я ощутил удар в сердце, но я нисколько не удивился. Она встала над кручей и заложила руки за спину, вглядываясь поверх лесов и нив вдаль, где за Блайтом и пограничной полосой виднелось море. Она сняла шляпу и держала ее в руках за спиной; солнце блестело в ее волосах. На ней была шелковая блузка цвета слоновой кости с низким вырезом у шеи, и тело ее словно просвечивало сквозь тонкую ткань.

Но вот она присела на землю и, то и дело любуясь панорамой, открывавшейся с холма, принялась рвать чахлые цветочки, которые прятались в дерне.

Разинув рот, я загляделся на нее, как на диво. Все существо мое наполнилось трепетной решимостью заговорить с ней. Моя тропинка вилась по склону, взбегая на гребень холма совсем недалеко от того места, где сидела девушка. Я стал взбираться наверх, поминутно останавливаясь будто для того, чтобы полюбоваться окрестностями и морем. Наконец я сошел с тропинки и с неумело разыгранной небрежностью направился к вершине. Поравнявшись с девушкой, я словно бы невзначай остановился ярдах в шести от нее. Я делал вид, будто не обращаю на нее внимания. Теперь уж и она заметила меня. Она не шелохнулась, не изменила позы, не обнаружила ни малейших признаков испуга; она только подняла на меня глаза. Я стиснул кулаки, чтобы сохранить хладнокровие. Твои милые черты увидел я, Санрей, и твои темные глаза, но никогда еще ни у кого я не встречал такого тихого, спокойного лица. Даже у тебя. И не то чтоб оно было каменным, застывшим, холодным — во-

все нет. Проникновенно-тихое, покойное, прекрасное лицо, как будто глядевшее с портрета.

Меня била дрожь, сердце колотилось бешено, но я не потерял головы.

— Что за прелестный вид,— начал я. — Бесподобно! Интересно: то синее пятно, похожее на плот,— вон там, где блестит вода,— это случайно не Дендж-Несс?

Она ответила не сразу — мне показалось, что очень нескоро. Она продолжала изучать меня с этим своим загадочно-непроницаемым выражением. Потом улыбнулась и сказала:

— Да, Дендж-Несс. И вы это знаете не хуже меня.

В ответ на ее улыбку улыбнулся и я. Стало быть, моя тонкая дипломатия здесь ни к чему. Я шагнул к ней с явным намерением продолжить разговор.

— Я этим видом любуюсь лет с десяти,— признался я.— Просто я не знал, что он может быть дорог еще кому-то.

Теперь и она удостоила меня признанием:

— Я тоже. А сегодня пришла взглянуть на него, наверное, в последний раз. Я уезжаю.

— И я!

— Туда? — Она кивнула головой в ту сторону, где облачком на фоне неба маячил берег Франции.

— Да. Примерно через неделю.

— Я тоже буду во Франции. Только не так скоро. Но все равно: рано или поздно я попаду туда во что бы то ни стало. Я поступаю во Вспомогательный женский корпус. Завтра назначено явиться. Как можно сидеть дома, когда всех вас, мужчин, там...— у нее едва не вырвалось «убивают», но она вовремя спохватилась и закончила: — ждут такие опасности и испытания!..

— Что поделаешь — надо.

Она взглянула на меня, склонив головку.

— Скажите, вам хочется туда?

— Ничуть. Мне вся эта подлая затея глубоко противна. Но другого выхода нет. Немцы ее нам навязали, и теперь не остается ничего другого, как довести дело до конца.— Так у нас в Англии во время войны смотрел на вещи каждый. Но я сейчас не буду отвлекаться и доказывать, каковы были истинные причины этой бойни, закончившейся две тысячи лет назад.— Да, навяза-

ли. А я ни за что бы не хотел. Я мечтал продолжать свою работу... Ну, да теперь все полетело кувырком.

— Все.— Она задумалась на мгновение.— Я бы тоже — ни за что...

— Тянется, тянется... недели, месяцы,— пожаловался я.— Скучища — сил нет! Муштра, выправка... Что ни офицеришка, то чурбан. Лучше б уж собрали всех, бросили жребий, убили сразу кого надо — и баста. Либо умирай, либо ступай домой и займись делом! А так только жизнь проходит зря. Я в этой машине кручусь целый год — и видите, до Франции еще не добрался. Увижу, наконец, немецкого солдата, наверное, расцеловать захочется на радостях. А что будет? Я его убью, или он меня — и дело с концом.

— А все-таки и в стороне стоять нельзя,— подхватила она.— Есть во всем этом что-то грандиозное. Я иногда забираюсь сюда во время воздушных налетов. Мы здесь живем совсем рядом. Налеты с каждым днем все чаще. Чем только это кончится... Прожекторы каждую ночь. Размахивают руками по всему небу, как пьяные. Но еще раньше слышишь, как фазаны всполошились в лесу: клохчут, кричат... Они всегда чуют первыми. Потом тревога передается другим пичугам: волнуются, щебечут. За ними издалека вступают пушки. Сначала глухо: «пад-пад»,— а потом, как хриплый лай простуженного пса. Подхватывают другие, все ближе, ближе: летят! Иногда различаешь, как жужжат моторы. За фермой — во-он там — большое орудие. Ждешь его. Грохнет — толчок в грудь. Почти ничего не видно: слепят прожекторы. В небе короткие вспышки. И осветительные снаряды. А пушки, пушки надрываются... Безумие. Но какая мощь! Захватывает поневоле. Либо не помнишь себя от страха, либо от возбуждения. Спать я не могу. Брожу по комнате — так и тянет из дому. Два раза я сбежала — в ночь, в этот смятенный мир, в лунный свет. Уходила далеко-далеко. Однажды к нам во фруктовый сад угодила шрапнель, забарабанила, как ливень, по крыше. Содрала кору с яблоневых деревьев, наломала веток, сучьев и убила ежика. Наутро я нашла его, бедняжечку: чуть не надвое перерезан. Шальная смерть... Смерть, опасность — это мне еще ничего. Но смятение в мире — вот что невыносимо! Даже днем иной раз: ору-

дий почти не слышно, а все равно чувствуешь — вон они там, притаились... Наша прислуга, старушка, считает, что наступил конец света.

— Может статься, что и так... Для нас,— сказал я.

Она ничего не ответила.

Я смотрел ей в лицо, а воображение... Мне уж было его не унять. Я заговорил, просто и прямо, как редко говорили в наш несмелый и путаный век. Сердце у меня стучало отчаянно.

— Я много лет мечтал,— начал я,— что когда-нибудь полюблю девушку, что в ней будет весь цвет и вся сладость жизни. Я сберег себя ради нее. У меня есть знакомые девушки, но это не любовь. А теперь я уезжаю. Туда. Еще день-два — и я буду на фронте. Как знать, что меня там ждет. И вот когда, кажется, больше уж нет надежды, я встречаю человека... Не думайте только, что я сошел с ума — пожалуйста. И не думайте, что я вру. Я вас люблю. Правда. Вы такая красивая! Голос, глаза — все... На вас молиться хочется...

Какие-то мгновения я больше не в силах был выговорить ни слова. Я перекатился по дерну и заглянул ей в лицо.

— Не сердитесь,— взмолился я.— Глупый, зеленый томми нежданно-негаданно влюбился, влюбился без памяти!

Ее серьезное личико было обращено ко мне. Ни страха, ни замешательства не прочел я в ее взгляде. Быть может, и у нее сердце билось чаще, чем я думал, но в голосе прозвучал холодок:

— Зачем вы так говорите? Вы ведь меня только увидели... Как же вы можете любить? Так не бывает.

— Я вас достаточно долго вижу...

Я не мог продолжать. Наши взгляды встретились, и она опустила глаза. Алая краска залила ей лицо. Она прикусила губу.

— Вы просто влюблены в любовь,— тихо сказала она.

— И все-таки я влюблен!

Она сорвала пучок мелких цветочков и рассеянно повертела его в руке.

— Сегодня у вас последний день?

У меня опять застучало сердце.

— Такой, как сегодня, может быть, да. Кто знает... Во всяком случае, такой день у меня надолго последний. Позвольте мне любить вас сегодня — чем вы рискуете? Почему вам не пожалеть меня? Не прогоняйте — и только. Мне ведь не так уж много нужно... Отчего бы нам не пойти погулять? Просто побродить вместе? Отчего не провести этот день вдвоем? Можно бы зайти куда-нибудь перекусить...

Она смотрела на меня все так же внимательно и серьезно.

— Почему бы и нет,— будто про себя сказала она.— Почему...

— Что тут дурного?

— Что дурного,— повторила она, не сводя с меня глаз.

Будь я старше и опытней, я догадался бы по ее потемневшему взгляду, по жаркому румянцу, что и она сегодня влюблена в любовь, что наша встреча взволновала ее не меньше меня. Вдруг она улыбнулась, и я на миг увидел, что с нею происходит то же, что и со мной. Всю ее скованность как рукой сняло.

— Иду! — решительно объявила она, легким, ловким движением поднимаясь с земли.— Но,— когда я, вскочив, нетерпеливо шагнул к ней,— вам, знаете, придется вести себя как следует. Пройдемся, поболтаем — и все... Почему бы и нет? Только будем держаться подальше от деревни...

3

Вы услышали бы самую удивительную повесть на свете, если б я начал рассказывать сейчас, как провели этот день безусый солдат и молоденькая девушка, такие чужие — мы даже не успели сказать друг другу, как нас зовут,— и уже такие близкие. Денек был прелестный, теплый и ласковый. Мы брели к западу, пока не вышли на гребень, круто спадавший к серебристому каналу, обсаженному деревьями, и, повернув вдоль склона, добрались, наконец до деревушки с гостеприимной харчевней. Здесь мы раздобыли печенье, сыр, яблоки и позавтракали. На первых порах нам было чуточку неловко после наших скоропалительных признаний. Хетти рассказывала про свой дом, свою работу. Лишь после того, как мы

позавтракали вместе, нам стало легко и просто друг с другом. И только когда на западе уже заходило солнце, когда наш день клонился к золотому закату и мы сидели в лесу на поваленном дереве, только тогда мы вдруг порывисто обнялись и я узнал от нее, каким сладостным и упоительным чудом может быть поцелуй любви.

4

Сарнак помолчал.

— Это случилось две тысячи лет назад, а кажется, будто с тех пор прошло лет шесть, не больше. Я снова там, в лесу, вокруг сомкнулись длинные, теплые вечерние тени; в моих объятиях тело Хетти, ее губы прижались к моим, и все мои мечты и надежды сбываются наяву. До сих пор в этой истории я еще мог хоть как-то отрешиться от себя, показывая вам диковинный мир издали, словно в телескоп. Быть может, я рассказывал вам так подробно про Фанни, про Матильду Гуд, потому что невольно оттягивал тот момент, когда придется заговорить о Хетти. Все связанное с нею так свежо в памяти. Я говорю «Хетти»—и оживает она вот здесь, рядом; непостижимо возникает между мною и Санрей, такой похожей и так удивительно непохожей на нее. Я вновь люблю ее и вновь ненавижу, как будто я и впрямь тот самый Смит, помощник редактора, что строчил всякий вздор в дебрях мертвого старого Лондона, в давным-давно забытом Сандерстоун-Хаусе...

— Да, сейчас я уже не могу, как раньше, бесстрастно описывать вам любопытные факты и сценки,— сказал Сарнак.— Теперь это для меня уже не прошлое. Это живые, мучительные воспоминания, они бередят душу и причиняют боль. Я любил Хетти, в ней для меня было все счастье любви. Я женился на ней, я с ней развелся, горько раскаялся в этом — и был убит из-за нее.

И кажется, будто я был убит только вчера.

Обвенчались мы с нею в Англии, прежде чем меня после ранения снова признали годным к боевой службе. Я был ранен в руку...— Оборвав фразу, Сарнак пощупал свою руку. Санрей тревожно взглянула на него и легко пробежалась пальцами от его плеча до локтя, чтобы убедиться, все ли цело. Ее озабоченное лицо просия-

ло таким явным облегчением, что все невольно прыснули, а управляющий пришел в полное умиление.

— И все-таки я *был* ранен. «Сидячий» раненый на санитарном судне... Я мог бы рассказать много интересного о санитарках, о нашем госпитале, о том, какая началась паника, когда мы едва не нарвались на вражескую подводную лодку... Я женился на Хетти прежде, чем вернуться на фронт, потому что теперь мы с нею стали по-настоящему близки и у нее мог родиться ребенок. Были и другие соображения: меня могли убить, и тогда моей жене полагалось денежное пособие. В те времена, когда для молодого парня каждый день мог оказаться последним, любовное поветрие охватило весь мир, и таких браков-скороспелок б ло великое множество.

Надеждам Хетти так и не суждено было осуществиться: она все-таки не попала во Францию. Бо́льшую часть времени она провела в Лондоне за рулем автомобиля: ее использовали как шофера при министерстве снабжения. Два дня — вот и весь наш медовый месяц. Два дня мы не могли оторваться друг от друга в деревушке Пейтон-Линкс близ Чессинг Хенгера, на ферме ее матери. (Я, кажется, не говорил, что миссис Маркус была вдовою фермера, а Хетти — единственной дочерью.) Хетти была девушка даровитая, начитанная. Она преподавала в начальных классах, проявляя в своем деле удивительную для сельской учительницы выдумку и инициативу. Она и словом не обмолвилась обо мне своей матери. Та даже не подозревала о моем существовании, пока Хетти не сообщила ей в письме, что собирается выйти замуж.

Когда миссис Маркус привезла нас со станции на ферму, я помог ей распрячь пони, и старушка, до сих пор сохранявшая непроницаемую мину, немного смягчилась.

— Ну что ж. Бывает хуже. Вид подходящий, да и плечи ничего, даром что городской. Ладно, поцелуй меня, сынок, хотя, конечно, не ахти какая радость сменить «Маркус» на «Смит». Да и потом, не представляю себе, как можно рассчитывать прокормить себя и жену с такой несерьезной профессией? Книжки издавать... Я-то

сперва надеялась, что ты ресторатор [1]. Да нет, говорит, в издательстве работает. Ну, а подходишь ли ты для Хетти по годам — это покажет время...

Да, время показало — и очень скоро,— что я совсем еще не подхожу для Хетти, хотя я лез из кожи вон, доказывая себе, что дело не в этом.

По сравнению с предками люди нашего века чрезвычайно бесхитростны и непосредственны. В старом мире нас сочли бы до неприличия искренними и простодушными. Они не только кутали и прикрывали нелепыми уборами и одеждами свои тела — они еще скрывали и уродовали свои души. И если нынче у всех одинаковые, простые и чистые понятия о половом воздержании и половой свободе, то в прежние времена их существовало множество — самых различных, запутанных, невысказанных, полузатаенных. Мало сказать, затаенных — даже не осознанных до конца. Зрелые, продуманные взгляды подменялись предрассудками, не имеющими ничего общего с уважением к свободе другого человека или стремлением обуздать самые дикие проявления ревности. Представления Хетти о любви и браке, возникшие на скудной почве мещанской морали, сложились под влиянием романов и стихов, которые она поглощала с жадностью. Затем Лондон, вольные нравы военного времени, атмосфера распущенности... Хетти была темпераментной, или, как у нас говорилось, «артистической», натурой. Я же, несмотря на свою любовь к Фанни и веру в нее, почти бессознательно перенял строгие принципы своей матушки. Я, не особенно раздумывая, усвоил тот взгляд, что поклонение женщине уместно лишь пока не завоевана ее любовь; затем мужчина становится повелителем; что безусловная покорность жены призвана облегчить мужу бремя верности, возложенное, разумеется, на обоих. Что же касается женщины, ей при любых обстоятельствах надлежит сохранять монашескую неприступность, окружающую ее незримой и непроницаемой стеной. Более того, предполагается, что до встречи с господином и владыкой, уготованным ей судьбою, ей вообще никогда не приходит в голову мысль о любви.

---

[1] Игра слов: «паблишер» — издатель; «пабликан» — владелец питейного заведения (*англ.*).

Вы скажете, смешно, невероятно? Но вот Санрей читала старые романы и может подтвердить, что моральные установки были именно таковы.

Санрей кивнула.

— Общий дух схвачен верно.

— То-то и оно. В действительности же Хетти была не только на полгода старше меня, но и в тысячу раз опытней в науке любви. Она была моей наставницей. Покуда я набирался книжной премудрости об атомах, научных исследованиях, о Дарвине и социализме, Хетти по капелькам всасывала мед чувственной страсти из сентиментальных романов, стихов Шекспира, произведений старинных драматургов. И, как я теперь понимаю, не только из книг... Я был пленен и укрощен ею, как дикое животное, она овладела моими чувствами и моим воображением. Наш медовый месяц был сказочным блаженством. Она упивалась мной, и я был пьян ею. А потом мы расстались, тоже как в сказке, и я уехал воевать последние пять месяцев, увозя на губах соленый вкус ее слез.

Я и сейчас вижу ее такой, как в тот день, когда она провожала меня на станции Чессинг Хенгер: тоненькая, похожая на подростка фигурка в бриджах хаки и шоферской куртке машет рукою вслед отходящему поезду...

Она писала прелестные и сумасбродные письма, после которых меня еще мучительнее тянуло к ней. А как раз в те дни, когда мы брали оплот германской обороны, линию Гинденбурга, пришло известие о том, что у нас будет ребенок. Она мне ничего не сообщала до сих пор, потому что была не совсем уверена. Сейчас она уверена. Наверное, я разлюблю ее теперь, когда она уже не будет больше стройной и изящной. Разлюблю? Я готов был лопнуть от гордости!

Я написал ей, что мою должность в Сандерстоун-Хаусе оставили за мной, что мы непременно найдем себе дом, «миленький домик» где-нибудь в пригороде, и я буду беречь и лелеять ее. В ответ пришло письмо — нежное и необычное. Она писала, что я чересчур добр к ней, больше, чем она заслуживает; она тысячу раз в самых страстных выражениях повторяла, что любит меня, что никого не любила и не сможет полюбить, кроме меня, что ей жизнь не мила в разлуке со мной и я должен

сделать все, все на свете, чтобы добиться увольнения из армии, вернуться и быть с ней вместе. И никогда, никогда больше не расставаться с нею. Она еще никогда не тосковала по моим объятиям так, как сейчас. Я читал эти признания и ничего не видел между строк. Казалось — так, очередная прихоть, настроение...

Настойчиво требовал моего возвращения и Сандерстоун-Хаус; война значительно способствовала росту влияния и могущества издателей, владельцев газет и журналов. Итак, месяца через три после перемирия я был демобилизован и вернулся к Хетти — совсем новой Хетти, удивительно мягкой, ласковой, покорной, еще более чудесной, чем та, которую я знал раньше. Видно было, что она влюблена в меня сильнее прежнего. Мы сняли меблированную квартирку в районе Ричмонд-парка, недалеко от Темзы, и ринулись на поиски веселого, чистенького домика, в котором предстояло появиться на свет нашему ребенку. Напрасно: после войны найти веселый, чистенький домик было непосильной задачей.

Но вот мало-помалу мрачная тень легла на наше вновь обретенное счастье. Прошли урочные дни, а у Хетти все не было ребенка. Его все не было, хотя уже почти два месяца, как миновал крайний срок, когда это еще мог оказаться *мой* ребенок...

5

Наш мир с раннего детства прививает людям терпимость и чуткость к другим, внутреннюю дисциплину, умение не идти на поводу собственных прихотей и капризов. Нам с первых дней дают ясное представление о том, что человек по своей природе сложен и противоречив. Вам трудно понять, до чего груб и непрост был старый мир. У вас, как говорилось в старину, «слишком тонкое воспитание». Как вам охватить воображением тот вихрь соблазнов, искушений, легкомыслия, который закружил и привел к измене Хетти, когда в ней проснулась женщина? Как вам разобраться в хитросплетении страха, отчаяния и нечестности, помешавших ей открыто признаться мне во всем, когда я вернулся? Она молчала. Но если б она и не заставила меня подозревать, догадываться, обвинять, а сразу призналась в своей пре-

зренной и отвратительной слабости, не думаю, чтобы и тогда она нашла во мне хоть чуточку больше сострадания.

Теперь-то я вижу, что с первого же дня, как я приехал, Хетти все время порывалась поведать мне о своей беде, все время искала случая, но тщетно. Впрочем, неясные намеки, которые проскальзывали в ее речах и поведении, точно семена, западали в мой мозг и пускали там корни. Хетти встретила меня такой бурной, такой горячей радостью; та первая неделя, что мы провели вместе, была самым счастливым временем в моей прежней жизни! Однажды к нам в гости пришла Фанни, потом мы все поехали к ней обедать. Что-то случилось с моей сестрой, не знаю, только она была тоже счастлива. Хетти понравилась ей. После обеда, целуя меня на прощание, Фанни задержала меня на минутку и шепнула:

— Она душенька! Я думала, что буду ревновать тебя к жене, Гарри, а сама в нее влюбилась.

Мы не стали брать такси, а пошли домой пешком, потому что Хетти было полезно ходить. Да, то была очень счастливая неделя. Неделя — десять дней — почти целых две недели безоблачного счастья!.. А потом постепенно стали сгущаться тучи подозрений.

И вот, наконец, я решился поговорить с Хетти начистоту. Произошло это ночью, когда мы уж были в постели. Я проснулся и долго лежал без сна, не двигаясь, с широко открытыми глазами, вглядываясь в нависшую над нами беду. Потом я повернулся, сел на кровати и сказал:

— Хетти! Это не мой ребенок!

Она отозвалась тотчас же. Ясно, что она тоже не спала. Она ответила глухо — наверное, уткнулась лицом в подушку:

— Да.

— Что ты сказала? Да?!

Она пошевелилась, и голос ее зазвучал отчетливей.

— Я сказала: да. Ох, Гарри, милый, лучше бы мне умереть! Господи, хоть бы умереть!

Я окаменел. Она тоже больше не проронила ни звука. Мы затаились в молчании, во тьме, в неподвижности, как два испуганных зверька в дремучем лесу.

Но вот она снова шевельнулась. Ее рука медленно потянулась ко мне, ища моей,— и я очнулся. Я отпрянул.

На какую-то долю секунды я еще застыл в нерешительности — простить или... И затем, не раздумывая более, безраздельно отдался гневу.

— Посмей только *коснуться*, ты!..— гаркнул я и, соскочив с кровати, зашагал из угла в угол.— Я так и знал! — кричал я.— Знал! Чувствовал! И я еще тебя любил... Так обмануть! Ах ты, бессовестная тварь! Подлая лгунья!

6

Я, кажется, уже рассказывал вам вначале, как вели себя члены нашего семейства, когда сбежала из дому Фанни. Как все мы добросовестно и шумно возмущались, будто ограждая себя защитной броней дутой добродетели от непривычной и тревожной правды. И вот сейчас, в эти трагические минуты, когда все рушилось между мною и Хетти, я вытворял то же самое, что проделывали тогда в подвальной кухоньке Черри-гарденс мои отец и мать. Я бушевал. Я метался по комнате, осыпая Хетти оскорблениями. Я был сознательно глух и слеп к тому, что она убитое, утопающее в слезах существо, что она, конечно, любит меня, что меня самого раниг ее горе. Оскорбленная гордость повелевала мне исполнить мой суровый долг!

Я зажег газовую лампу — не помню уж, в какой момент,— и дальнейшие события разыгрывались при этом жиденьком освещении викторианской эпохи. Я начал одеваться, ибо разве мог я отныне лечь в постель рядом с Хетти? Никогда! Одеться, высказать ей все — и прочь из этого дома. У меня, понимаете ли, были сразу две заботы: во-первых, клеймить ее презрением и громогласно негодовать; ну, а кроме того, приходилось разыскивать различные принадлежности своего туалета, натягивать через голову рубаху, шнуровать ботинки. Так что в буре моего праведного гнева иной раз наступало затишье, и тогда Хетти тоже удавалось вставить словечко, а я был вынужден слушать.

— Все это случилось в один вечер,— говорила она.— Разве я тебе заранее собиралась изменить? Не думай, даже не помышляла! Их отправляли на фронт, и это у него был последний день. Он был такой несчастный...

Я оттого только и пошла с ним, что вспомнила тебя. Просто из сострадания. Две наших девочки собирались пойти пообедать со своими знакомыми и упросили меня. Так я с ним встретилась. Все трое — офицеры, друзья со школьной скамьи. Лондонцы. Три парня перед фронтом — совсем как ты тогда. Казалось, просто свинство испортить им компанию...

Я в ту минуту мучился с воротничком и запонкой, но все же не упустил случая облить ее презрением:

— Ну, как же! Ясно! В подобных обстоятельствах элементарная вежливость диктует... сделать так, как ты! О господи!

— Послушай же, как все случилось, Гарри. Погоди на меня кричать хоть минутку. После он попросил, чтоб мы зашли к нему. Сказал, что остальные тоже сейчас подойдут. На вид такой безобидный...

— Очень!

— Как раз такой, каких всегда убивают. Так жалко его было. Волосы, как у тебя. Еще светлей. Вообще в тот вечер я все видела по-другому... А потом он меня схватил, стал целовать. Я отбивалась, но не было сил справиться. Я как-то не отдавала себе отчета, что́ происходит...

— Вот именно! Тут я вполне готов поверить!

— В тебе нет жалости, Гарри. Может быть, это и справедливо: наверное, следовало предвидеть, чем я рискую. Но ведь не все такие сильные, как ты. Других людей подхватывает и несет. Другие иной раз делают так, что сами потом не рады. Я поступила, как умела. Когда дошло до сознания, что́ случилось, я как будто проснулась вдруг. Он уговаривал, чтоб я осталась с ним. Я вырвалась и убежала. С тех пор я его не видела ни разу. Он мне писал, но я не отвечала.

— Он знал, что ты жена солдата?

— Да, знал. Он негодяй. Он все задумал, еще когда мы обедали. Умолял, божился — и все лгал. Только чтоб я его поцеловала, только один поцелуй. Из милости. С этого поцелуя все и началось. Вино еще пила за обедом, а я не привыкла к вину... Гарри! Ах, милый, если б умереть! Но я ведь и до тебя целовалась и дурачилась с мальчишками. Думала, ах, ерунда! Опомнилась — слишком поздно.

— Ну, вот и доигрались.— Я подошел и сел на кровать. Я посмотрел на нее, растерзанную, несчастную, и вдруг она мне стала мила и трогательна.— По-настоящему, пойти бы и прикончить эту скотину. Хотя, честно говоря, я бы охотней тебя убил!

— Убей, Гарри! Прошу тебя!

— Как его звать? Где он сейчас?

— Какая разница! При чем тут он?— сказала Хетти.— Со мной — как хочешь, но из-за этого ничтожества ты на виселицу не пойдешь... Я говорю, он ни при чем. Он мерзкая случайность. Он подвернулся, и все.

— Выгораживаешь его?

— Его! *Тебя* я выгораживаю.

Я посмотрел ей в глаза и снова на миг заколебался. И снова счел за благо разразиться гневом.

— О господи! — Я вскочил.— Господи! — повторил я с надрывом. Я опять обрушился на Хетти с высот своего благородного негодования: — Что ж, конечно. Мне некого винить, кроме себя. Что́ я знал о тебе, когда женился? Что́ было до меня? Видимо, я не первый, а он не последний. Действительно, тогда какая разница, как зовут! Представляю себе, как ты обрадовалась, когда напала на меня: сам бог послал молокососа, простачка! — И так далее. Я расхаживал по комнате и бесновался.

Она сидела в постели, растрепанная, с тихим, скорбным лицом, не сводя с меня заплаканных глаз.

— Ах, Гарри!— изредка вырывалось у нее.— Гарри мой!..

А моя тяжеловесная фантазия, ломая и круша, изрыгала потоки грубых оскорблений. Я то и дело подскакивал к кровати и надвигался на жену.

— Имя! — орал я.— Скажи мне его имя!..

И Хетти качала головой.

Наконец я был совсем одет. Я посмотрел на часы.

— Пять.

— Что ты собрался делать? — спросила она.

— Не знаю. Уйду, наверное. Я не могу здесь оставаться. Меня тошнит! Сложу кое-что из вещей и уйду. Сниму где-нибудь комнату. Скоро будет светать. Я уйду до того, как ты встанешь. Пока посижу в столовой. Может, прилягу на диване...

Хетти подняла на меня взгляд, полный участия.

— Да там камин не горит! Холодно. Даже дрова не сложены. А тебе еще нужно выпить кофе!

Она тотчас же неловко сползла с кровати, сунула ноги в домашние туфли, накинула веселый халатик, которому мы с ней так радовались — десять дней назад... Она смиренно прошлепала мимо меня, с трудом неся свое бедное, отяжелевшее тело, пошарила в буфете, достала пучок лучин для растопки и, опустившись на колени у камина, принялась выгребать остывшую с вечера золу. Я и не подумал ее останавливать. Я отвернулся и стал собирать книги и разные мелочи.

Только теперь, видно, она начала действительно отдавать себе отчет в том, что́ происходит. Прервав свою возню с камином, она обернулась ко мне.

— Ты на первое время оставишь немножко денег?

Отличный предлог, чтобы совершить очередную низость! Я презрительно усмехнулся:

— Не волнуйся, оставлю. По-видимому, я обязан тебя содержать, пока мы связаны. А там уж это его забота. Или того, к кому ты перейдешь потом.

Она снова занялась камином. Налила чайник, поставила кипятить. Потом села в кресло у огня. Лицо ее осунулось и побледнело, но она не плакала. Я подошел к окну, поднял штору и выглянул на улицу. Еще горели фонари. Все было тускло, уныло, безрадостно в холодных, жутких предрассветных сумерках. Хетти зябко поежилась и плотнее запахнула халатик.

— Я уеду к маме. Для нее это будет ужас, когда узнает, но она добрая. Она будет добрее, чем... Поеду к ней.

— Можешь делать, как знаешь.

— Гарри! Я никогда никого не любила — только тебя. Если бы я могла убить ребенка, если бы тебе так было лучше...— У нее даже губы побелели.— Да. Я все перепробовала, что знала. Но есть средства... Я на такое не могла пойти. А теперь он уже живой...

Она замолчала. Мы посмотрели друг другу в глаза — секунду, другую...

— Нет! — вырвалось у меня.— Я не вынесу, не смогу примириться. Теперь уж не склеишь. Ты тут наговорила... Почем мне знать? Обманула один раз — обманешь и еще. Ты отдала себя этому скоту. Век буду

жить—не прощу. Отдала себя! Откуда я знаю, что не ты его соблазнила? Факт остается фактом: ты отдалась. Ну и ступай себе. Иди туда, где отдавалась! Такого не простит ни один уважающий себя мужчина. Такую грязь нельзя прощать. Он тебя украл, а ты разрешила. Так и доставайся ему! Жаль только... Если бы в тебе была хоть капля порядочности, ты никогда бы не допустила, чтоб я к тебе вернулся! Подумать только — все эти дни... И ты... Такое таить на сердце! Гнусность какая! И это женщина, которую я любил...

У меня навернулись слезы.

Сарнак помолчал, глядя в огонь.

— Да,— сказал он.— Я плакал. А хотите знать, отчего я проливал эти слезы? Удивительное дело: от чистейшей жалости — к себе.

С начала и до конца я подходил к случившемуся лишь с собственной, эгоистической точки зрения, не замечая, какая трагедия разыгрывается в сердце Хетти. И, что самое чудовищное, пока все это продолжалось, она же еще и варила мне кофе, а когда он был готов, я выпил этот ее кофе! Под конец она подошла ко мне и хотела поцеловать — «на прощание», как она сказала,— а я гадливо оттолкнул и ударил ее. Я собирался только отстранить Хетти, но моя рука сама собой сжалась в кулак, будто только и ждала удобного случая...

— *Гарри!* — выдохнула она. Словно оцепенев, глядела она, как я ухожу. Потом повернулась — внезапно, резко— и убежала назад в спальню.

Я хлопнул входной дверью, спустился и вышел на улицу. Еле брезжил рассвет. Голо, пустынно протянулись мостовые Ричмонда: ни экипажей, ни автомобилей.

Я тащил свой чемодан на станцию, чтобы сесть на лондонский поезд. Я набрал с собою столько вещей, что чемодан тяжело оттягивал мне руку. Бедный молодой человек, с которым так позорно обошлись и который с таким достоинством сумел постоять за себя...

7

— Ах, бедняги! — вырвалось у Старлайт.— Ах, несчастные человечки! Такие маленькие, жалкие и такие безжалостные... Слушать больно. Хорошо, что эта исто-

рия — всего лишь сон, иначе я бы, кажется, не выдержала. Отчего они все были так беспощадны друг к другу, так глухи к чужому горю?

— Не умели по-другому. В нашем мире климат мягче. У нас с первым же неумелым глотком воздуха дитя вдыхает милосердие. Мы привыкли, приучены думать о других, чужая боль становится нашей болью. А ведь две тысячи лет назад мужчины и женщины еще недалеко отошли от грубого образца, созданного природой. Их заставали врасплох собственные душевные побуждения. Они дышали зараженным воздухом. Их пища была отравой. Их лихорадило от страстей. Они еще только начинали постигать искусство быть человеком.

— Но как же Фанни...— начала Файрфлай.

— Вот именно,— подхватила Уиллоу.— Как же Фанни, от природы такая мудрая в любви,— как она не образумила тебя, не заставила вернуться к твоей незадачливой Хетти — простить, помочь?

— Фанни ведь сразу услышала только мою версию,— сказал Сарнак.— Когда вся история предстала перед нею в истинном свете, было уж слишком поздно, чтобы предотвратить развод. Услышав от меня, что, пока я сидел в окопах, Хетти вела в Лондоне распутную жизнь, Фанни ни на секунду не усомнилась в моих словах, хоть и была поражена.

— А ведь она произвела на меня такое милое впечатление,— сказала моя сестра.— Казалось, она так тебя любит... Удивительно, до чего разные бывают женщины! Значит, есть и такие, что только ты с глаз долой, как и она уж совсем не та. А мне, Гарри, очень пришлась по душе твоя Хетти. Есть в ней особенное обаяние, какая б она там ни была. В жизни бы не подумала, что она тебя обманет и втопчет в грязь. Бегать по Лондону, приставать к мужчинам... Уму непостижимо! У меня такое ощущение, будто она предала меня...

У Матильды Гуд я также встретил полное сочувствие.

— Не бывает, чтоб женщина поскользнулась один только раз,—заявила Матильда.—Ты правильно сделал, что покончил с нею.

У Матильды как раз освобождался гостиный этаж (Мильтоны покидали Пимлико), так что я мог его за-

нять. Я с радостью ухватился за возможность водвориться на насиженном месте.

Хетти же, надо полагать, собрала, как умела, свои пожитки и перебралась из Ричмонда на ферму к матери. Там, в Пейтон-Линкс, и родился ее ребенок...

— А сейчас,— сказал Сарнак,— я хочу обратить ваше внимание на одну особенность, по-моему, самую поразительную в этой истории. Я не помню, чтобы за все это время, вплоть до самого развода, да и во время судебного процесса, во мне хоть раз шевельнулось что-нибудь похожее — я уже не говорю на любовь,— хотя бы на жалость или доброе чувство к Хетти. А между тем в этом своем сне я был, в общем, тем же самым человеком, что и теперь. Но только тогда меня обуревали недоверие, оскорбленное самолюбие, ужасающая животная ревность. Они-то и толкали меня на злобные поступки, ныне почти невероятные. Мне удалось узнать, что Самнер — так звали того мужчину — отъявленный прохвост, и теперь я прилагал все усилия, чтобы у Хетти после развода не было иного выхода, кроме брака с ним. Я надеялся, что он окончательно испортит ей жизнь и она будет несчастна. Я рассчитывал проучить ее таким способом: пусть она горько раскается, что так поступила со мной. Но в то же время я с ума сходил при мысли о том, что он сможет вновь обладать ею. Будь моя воля, Хетти досталась бы Самнеру калекой, уродом. Я свел бы их друг с другом в клоаке, в обстановке изощреннейшей жестокости...

— Сарнак! — вырвалось у Санрей.— Как ты можешь! Хотя бы и во сне...

— Во сне! Так люди были устроены наяву! Они и сейчас такие же, стоит только отнять у них воспитание, свободу, счастливые жизненные обстоятельства. Лишь ими мы избавлены от самих себя. Подумай: ведь нас отделяют от Смутной эпохи всего каких-нибудь двадцать веков! А сбросьте еще несколько тысячелетий — и вот вам волосатый обезьяночеловек, который выл на луну в первобытных чащобах Европы. Это он, что в похоти и гневе правил стадом детенышей и самок, породил всех нас. Да, как в Смутную эпоху, наступившую вслед за периодом Великих войн, так и поныне человек был и остается порождением того волосатого праще-

ра. Разве я не брею бороду каждый день? И разве мы не пускаем в ход всю свою науку и все умение: воспитываем, учим, создаем законы,— чтобы не вырвался из клетки древний зверь? А ведь во времена Гарри Мортимера Смита наши школы еще недалеко ушли от пещерного века, наша наука только начиналась... В сфере половых отношений никакого воспитания не существовало вообще, были лишь недомолвки да запреты. Наши нравственные воззрения были по-прежнему продиктованы лишь одним: неумело замаскированной ревностью. Мужская гордость и чувство собственного достоинства были, как встарь, неотделимы от животного обладания женщиной — и точно так же гордость и самоуважение женщины были обычно связаны с животным обладанием мужчиной. Нам чудилось, будто это обладание и есть краеугольный камень бытия. Всякая неудача в этом центральном вопросе воспринималась как чудовищное поругание, в ответ на которое убогая, истерзанная душа слепо искала исцеления в самых звериных средствах. Мы прятали правду, мы извращали и искажали ее — мы уклонялись от истины. Человек так уж создан, что в обстановке принуждения он начинает ненавидеть и творить зло. А мы тогда еще жили в условиях ужасающего гнета...

Впрочем, полно мне заниматься поисками оправданий Гарри Мортимеру Смиту. Он, как и мы, был лишь дитя своего мира. И в моем сне он — то есть я — ходил по этому старому миру, работал, следил за своим внешним поведением, употребляя всю силу своей оскорбленной любви на то, чтобы как можно верней обречь Хетти на несчастье.

Одна мысль в особенности подчинила себе мое истерзанное сознание: во что бы то ни стало и как можно скорей найти себе новую подругу, развеять колдовскую силу ласк Хетти, избавиться от неотступного, как призрак, влечения к ней... Мне было чрезвычайно важно заставить себя поверить, что я ее, в сущности, никогда не любил, заменить ее в своем сердце кем-то другим, убедить себя, что эта другая и есть моя истинная, настоящая любовь.

Я начал вновь искать общества Милли Кимптон. До войны мы с нею были близкие приятели, так что я без

особого труда сумел внушить себе, что был всегда к ней чуточку неравнодушен — ну, а она и вправду была всегда более чем неравнодушна ко мне. Я посвятил ее в подробности своей семейной трагедии. Она была оскорблена за меня и безмерно возмущена тою Хетти, которую я ей изобразил.

Мы поженились через неделю после того, как я получил окончательный развод.

8

Милли была постоянна; Милли была добра — точно прохладный грот после палящего, злого зноя моей страсти. Ни гнев, ни тоска не омрачали широкое, открытое лицо ее, обращенное к солнцу, с уверенной, самодовольной, приятной улыбкой. Очень светловолосая, чуточку слишком широкоплечая для женщины, нежная, хоть и не пылкая, она была не чужда духовных интересов, но не блистала ни богатством фантазии, ни остроумием. Она была почти на полтора года старше меня. Я, как принято было говорить, «приглянулся» ей, когда еще только впервые пришел в издательство неотесанным, неискушенным юнцом. На ее глазах я стал быстро продвигаться по службе, заняв в редакции место мистера Чизмена (его перевели работать по типографской части), и подчас она очень помогала мне. На службе нас обоих любили; когда мы поженились и Милли оставила работу в бухгалтерии, в ее честь был устроен прощальный обед, на котором произносились речи и нам был преподнесен замечательный свадебный подарок: серебряные столовые ножи, вилки и ложки в дубовом, окованном медью ящике, украшенном серебряной дощечкой с трогательной надписью. Когда я женился в первый раз, весь Сандерстоун-Хаус (в особенности девушки) очень сочувствовал Милли; я же впал в большую немилость, так что мое запоздалое возвращение к истинной избраннице сочли весьма счастливым завершением романтической истории.

Мы подыскали себе очень подходящее жилье на Честер-Террас, рядом с одним из центральных парков Лондона — Риджент-парком. (Чтобы добиться определенного архитектурного единства, часть улиц сплошь застраи-

вали оштукатуренными домиками с одним общим фасадом.) Выяснилось, что у Милли есть небольшое состояние: почти две тысячи фунтов, на которые ей удалось очень мило обставить наш дом в общепринятом вкусе. Здесь же в урочный час она родила мне сына. Я встретил появление младенца бурным и шумным ликованием. Вы поймете, я думаю, как важно было для меня, одержимого навязчивой идеей — вытравить, вырвать из своего сердца Хетти,— чтобы Милли родила мне ребенка.

Я очень много работал в этот первый год нашей супружеской жизни и был, в общем, вполне счастлив. Правда, это было не очень щедрое и глубокое счастье. Это счастье складывалось из довольно внешних и вполне осязаемых элементов. Милли была мне очень дорога; в известном смысле я даже любил ее: честная, покладистая, невзыскательная — золото, а не человек. Ко мне она была привязана всей душой, радовалась, что я так внимателен к ней, помогала мне, окружила меня заботами, восхищалась моей энергией в работе, свежестью моих идей. И все же нам было как-то не очень просто и легко говорить друг с другом. С нею я не мог дать волю своим мыслям, не заботясь о том, в какую форму их облечь; я был вынужден все время приноравливаться к ее суждениям и взглядам, которые весьма существенно расходились с моими. Лучшей жены нельзя бы и желать, если б только не одно обстоятельство: Милли не была для меня тем единственным, тем милым спутником и другом, которого так жаждет сердце человеческое, той самой близкой тебе душой, с которой ты и счастлив, и свободен, и никакая беда тебе не страшна. Такую близкую душу я уже встретил в жизни — и оттолкнул от себя. А разве подобное счастье приходит к человеку дважды?

— Как знать? — отозвалась Санрей.

— Мы по крайней мере научились его ценить,— заметил Рейдиант.

И только Уиллоу ответила Сарнаку:

— Может быть, через много лет. Когда все заживет. Когда ты сам вырастешь и станешь другим.

— Да, Милли была мне хорошим другом, но этой милой спутницей не стала никогда. Хетти я рассказал

про Фанни в первый же вечер, когда мы только познакомились и пошли прогуляться по холмам,— и с первого же моего слова Хетти была уверена, что полюбит мою сестру. Ее воображению Фанни представлялась очень отважным и романтическим существом. Милли же я ни слова не говорил почти до самой свадьбы. Вы скажете: разве Милли виновата в том, что мне было неловко перед нею за Фанни? Нет, просто такие у нас с ней сложились отношения. Милли явно заставила себя примириться с существованием Фанни лишь ради меня и лишь ради меня воздержалась от чересчур придирчивых расспросов. Она свято верила в незыблемость брака, в то, что женщина обязана при всех условиях оставаться непогрешимо целомудренной. Фанни была для нее непредвиденным осложнением.

— Какая жалость, что им нельзя пожениться,— сказала Милли.— Это так неудобно и для нее самой, наверное, и для ее знакомых. Как, например, представить ее своим близким...

— А зачем? Не нужно,— сказал я.

— Мои родные — люди старых понятий...

— Им вовсе не обязательно знать.

— Да, так, пожалуй, мне будет проще, Гарри.

Горячие слова любви к Фанни замирали у меня на губах, когда я видел, как старательно Милли заставляет себя быть великодушной.

Еще труднее казалось открыть ей, что возлюбленный Фанни не кто иной, как Ньюберри. Наконец я решился.

— Так, значит, вот как ты попал в Сандерстоун-Хаус? — спросила Милли.

— Да, попасть мне удалось именно поэтому,— подтвердил я.

— Я себе представляла иначе. Я думала, ты сам туда пробился.

— Я сам пробился наверх. Мне не было никаких поблажек.

— Да, но все-таки... Как, по-твоему, Гарри, люди знают? Начнут еще говорить бог весть что.

Для вас уже не секрет, конечно, что Милли была не слишком умна и что она весьма ревниво оберегала мою честь.

— Думаю, из тех, кого ты имеешь в виду, никто не знает,— ответил я.— Фанни об этом не кричит на всех углах. Я тоже.

И все-таки Милли была явно недовольна положением вещей. Ее несравненно больше устроил бы мир, в котором нет никакой Фанни. Милли нисколько не тянуло увидеть эту сестру, которую я так любил, и, может быть, найти в ней что-то хорошее. Под разными предлогами — незначительными, хоть и вполне благовидными,— она целую неделю оттягивала свидание с Фанни. Она никогда не заговаривала о Фанни первой — я был вынужден всякий раз сам напоминать ей о сестре. Да, в остальном Милли была со мной предупредительна и мила, но она пустила в ход все доступные ей средства, чтобы изгнать Фанни из нашей жизни. Она и не подозревала, сколько теплого чувства к ней самой изгнала она этим из моего сердца...

И когда они встретились, наконец, встреча получилась скорей искусственно оживленной, чем сердечной. Между нами незримой стеной встало отчуждение, отделив Фанни не только от моей жены, но и от меня. Милли заранее подготовила себя к тому, чтобы явить моей сестре великодушие и ласку, закрыв глаза на ее незавидное общественное положение. Боюсь, что она несколько оторопела при виде туалета Фанни и убранства ее квартиры. Обстановка всегда была слабостью Милли — слабостью, ставшей больным местом после того, как мы положили столько усилий, пытаясь на приличную, но и не слишком разорительную сумму завести прелестную обстановку в своем собственном доме. Я и раньше замечал, что у Фанни очень симпатичная квартирка, но мне не приходило в голову, что это, как выразилась моя жена, «нечто сногсшибательное». Одна только полированная горка красного дерева, объяснила мне потом Милли, должна стоить не менее ста фунтов.

— И за что, казалось бы...— Милли была способна отпустить иной раз такую фразу, липкую, точно осенняя паутина на лице...

Строгое платьице Фанни было, как я понял, тоже слишком шикарно. В те дни, когда материалы производились в избытке, а умения не хватало, простые туалеты были самыми дорогими.

Но все это открылось мне лишь позже, а сейчас я ломал себе голову, отчего в голосе Милли звучит затаенная обида, а Фанни держится с ледяной любезностью, вовсе не свойственной ей, насколько я знал.

— Как чудесно, что я вас встретила наконец,— говорила Фанни.— Я так давно и много слышала о вас. Помню, однажды в Хемптон Корте, еще задолго до... войны и всего прочего, мы сидели у стены — знаете, там, над рекой,— и Гарри рассказывал о вас.

— Ну как же, и я помню,— подхватил я, хоть в моей памяти оставила след вовсе не та часть разговора, которая касалась Милли.

— Где мы с ним только не гуляли в те дни,— продолжала Фанни.— Такой был чудный брат...

— И будет, думаю,— милостиво вставила Милли.

— «Сынок женится — переменится»,— вспомнила Фанни старушечью присказку.

— Ну что вы,— запротестовала Милли.— Надеюсь, мы увидим вас у себя, и не раз.

— Я — с удовольствием. Хорошо, что вам посчастливилось так легко найти себе дом. В наши дни это редкость.

— У нас там, правда, еще не все готово,— спохватилась Милли,— но как только совсем отделаем, непременно надо будет выбрать день, когда вы свободны...

— Я часто бываю свободна.

— Условимся все-таки точно, в какой день.— Как видно, Милли твердо решила оградить наш дом от неожиданных посещений моей сестры: ведь в это время у нас могли быть люди...

— Как удачно, что вы с ним служили вместе и хорошо разбираетесь во всем, что связано с его работой,— сказала Фанни.

— Мои были страшно против, чтоб я пошла служить. А оказалось — к счастью.

— К счастью для Гарри. А что ваши... близкие — они живут в Лондоне?

— В Дорсете. Не хотели отпускать в Лондон. Они у меня, знаете ли, немножко патриархальные и набожные. Но я им прямо заявила: либо колледж, либо служба. А сидеть дома, пыль вытирать да поливать цветы — благодарю покорно. С родными иной раз приходится про-

водить твердую линию — вы не находите? А тут у меня, кстати, тетушка обнаружилась в Бедфорд-парке, так что и приличия были соблюдены и сразу решилась неизбежная проблема жилья. Да... почему служба, а не колледж... Потому, что дядя Херивęд, мой самый главный дядюшка — он у нас викарий в Педдльбурне,— считает, что высшее образование женщине ни к чему. Ну, и потом здесь сыграл известную роль денежный вопрос.

— Гарри, наверное, очень интересно познакомиться с вашей родней.

— Тетю Рейчел он совершенно покорил, хотя сначала она была настроена враждебно. Мы, кажется, единственная ветвь Кимптонов, которая ведется еще с начала прошлого века, а я — младший отпрыск. Естественно, на меня возлагались большие надежды. Чтоб им угодить, мне надо бы мужа с родословной длиною в целый ярд.

Я только диву давался, отчего Милли так напирает на свое дворянское происхождение и ни слова не проронила о том, что ее отец — простой ветеринарный врач где-то под Уимборном... По-видимому, мне все-таки не дано было оценить всех особенностей обстановки Фанни и ее манер, возбудивших в Милли этот дух самоутверждения.

В таком же деланно-приподнятом тоне они заговорили о достоинствах района Риджент-парка с точки зрения социальных преимуществ и пользы для здоровья.

— Во-первых, гостям туда нетрудно добираться,— рассуждала Милли.— Потом там масса интересных людей: актеры, критики, писатели — знаете, такой народ. Они как раз живут в том районе. Естественно, Гарри теперь надо поближе сойтись с артистическим миром, с литераторами. Думаю, придется назначить приемный день для этой публики, устраивать для них чай, закуску. Возня, конечно, но что поделаешь — необходимо. Гарри нужно заводить знакомства.

Она наградила меня горделиво-покровительственной улыбкой.

— Гарри, я вижу, пошел в гору,— заметила моя сестра.

— Разве это не замечательно? Правда, чудесно иметь такого брата?

Она принялась расхваливать квартиру. Фанни предложила ей осмотреть все комнаты, и обе на время удалились. Я подошел к окну. Отчего они не могут вести себя иначе, сердечнее? Ведь они обе любят меня — разве это одно не должно хоть немножко роднить их друг с другом? То были, как видите, рассуждения, которые делают честь мужской проницательности.

Затем был подан чай, знаменитый чай со множеством вкусных вещей — правда, я был уже не тот ненасытный пожиратель снеди, что прежде. Милли хвалила угощение с видом герцогини, удостоившей своим посещением простую смертную.

— Ну так,— произнесла она наконец тоном светской дамы, обремененной множеством визитов.— Боюсь, что нам пора...

С первой минуты, как мы вошли, я очень внимательно наблюдал за Фанни и поражался: откуда эти сухие, изысканно-вежливые манеры?.. А как тепло, как естественно принимала она Хетти всего полгода назад! Отчего такая разница? Нет, я не мог ждать другого случая. Хоть несколько слов, но сейчас. Я поцеловал ее на прощание (даже поцелуй не тот!); миг нерешительности — и она поцеловалась с Милли, а потом мы сошли на площадку, и я услышал, как наверху закрылась дверь.

— Перчатки забыл,— спохватился я.— Ты иди вниз, а я сейчас.— И я бросился обратно по лестнице.

Фанни открыла дверь не сразу.

— В чем дело, Гарри?

— Перчатки! Ах нет. Вот они, в кармане. Дурацкая рассеянность... Ну, как она тебе, Фанни? Понравилась? Она ничего, да? Смущалась немножко при тебе, но, в общем-то, она хорошая.

Фанни подняла на меня холодные глаза.

— Ничего,— сказала она.— Вполне. С *этой* тебе не надо будет разводиться, Гарри. Будь покоен.

— Я не думал... Хотелось, чтобы это... чтоб она тебе понравилась. А ты вроде как-то не слишком душевно...

— Дурачок ты мой глупенький.— Это опять была прежняя Фанни, моя нежная сестра. Она притянула меня к себе и поцеловала.

Я начал спускаться по лестнице, но на второй ступеньке обернулся.

— Сама знаешь, каково бы мне было, если б она тебе не очень...

— Она мне очень,— сказала Фанни.— А теперь — счастливо тебе, Гарри. Мы с тобой... В общем, мы сейчас с тобой прощаемся — понимаешь? Мне уж теперь не слишком часто придется тебя видеть, при такой деловой жене, которая сама знает, с кем тебе встречаться. И у которой такие связи... Ну, в добрый час, старичок. Успеха тебе, братик, всегда и во всем.— Глаза ее были полны слез.— Дай бог, чтобы ты был счастлив, Гарри, милый. Будь счастлив — на свой лад. Это... Это уж не то...

Фанни не договорила. Она плакала.

Я рванулся к ней, но дверь захлопнулась перед моим носом, и, потоптавшись с глупым видом секунду-другую, я стал спускаться к Милли.

ГЛАВА VII

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

1

Прошло два года. За это время я лучше узнал и оценил свою практичную, положительную жену и еще больше привязался к ней. Рассудочная и осмотрительная, она была очень решительна, очень благоразумна и честна. Я был свидетелем ее борьбы—нелегкой борьбы— в тот час, когда родился наш сын, а ведь подобные испытания во все времена, да и по сей день, связывают мужчину и женщину прочными узами. Правда, она так и не научилась угадывать мои желания и мысли, зато я вскоре без труда читал в ее душе. Я сочувствовал ее стремлениям и вместе с нею переживал ее неудачи. Она положила много сил, чтобы навести в нашем доме уют и порядок. Ей были по вкусу добротные, «солидные» вещи, сдержанные сочетания тонов. В том старом, загроможденном «имуществом» мире, где каждый дом представлял собою как бы независимое маленькое государство, весьма существенное значение приобретала проблема домашней челяди. Милли же умела взять с прислугой верный тон, предписанный социальными традициями того времени, соблюдая как раз ту меру доброты,

которая исключает всякую фамильярность. Она неизменно проявляла разумный интерес ко всему, что происходит в Сандерстоун-Хаусе, и очень близко принимала к сердцу мои успехи.

— Погоди, не пройдет и десяти лет, как ты у меня будешь в директорах,— говорила она.

И я работал. Я очень много работал, и не только из честолюбия. Я действительно понимал, какая ответственная воспитательная миссия возложена на наше огромное и так плохо поставленное дело, и я верил в него. Со временем и Ньюберри, признав во мне своего единомышленника, начал посвящать меня в свои новые замыслы и советоваться по поводу тех или иных усовершенствований производственного процесса. Он все больше полагался на меня и все чаще беседовал со мною. И, помню, странная вещь: словно по молчаливому соглашению, мы никогда во время этих бесед не заговаривали о Фанни — ни прямо, ни косвенно.

Во многом я изменился за эти два с половиной года своей семейной жизни. Я закалился, возмужал, приобрел светский лоск. Я был выдвинут в кандидаты, а затем избран членом одного почтенного клуба и очень преуспел в искусстве красноречия. Круг моих знакомств все ширился. Теперь в него входили и весьма известные люди, причем я убедился, что они не внушают мне ни малейшего трепета. Я умел выразить свое суждение меткой, хлесткой фразой, чем быстро снискал себе репутацию человека остроумного. Меня все больше увлекала суетная, бесплодная игра, именуемая партийной политикой. У меня зрели смелые планы на будущее. Я вел деятельную жизнь. Я был доволен собой. Чудовищное оскорбление, нанесенное моему мужскому самолюбию, бесследно изгладилось из моей памяти... И все-таки я был не очень счастлив. Жизнь моя напоминала комнату, выходящую на север,— удобную, со вкусом обставленную комнату, где во всех вазах стоят свежие цветы, а в окна никогда не заглядывает солнце...

2

Ни разу за эти два с половиной года я не видал Хетти, и не по своей воле я встретился с нею вновь. Я сделал все возможное, чтобы с корнем вырвать ее из своей жиз-

ни. Я уничтожил ее фотографии, уничтожил все, что было способно растревожить мне душу напоминанием о ней. Если, случайно замечтавшись, я и ловил себя на мысли о Хетти, то сейчас же усилием воли заставлял себя сосредоточиться на чем-нибудь другом. Порою, в час очередной удачи, во мне вспыхивало злорадное желание, чтобы она узнала об этом. Низкое желание, согласен, но оттого не менее свойственное человеку и по сей день — стоит лишь отнять у него навыки, воспитанные нашей культурой... По временам она являлась мне в сновидениях, но то были недобрые сны. И я старательно поддерживал в себе любовное, горделивое чувство к Милли. По мере того как росло наше благополучие, Милли училась понимать толк в туалетах — теперь это была эффектная и элегантная женщина, которая отдавалась мне с довольной, чуть снисходительной улыбкой, ласково и не очень страстно.

В те дни люди еще совсем не умели разбираться в своих душевных побуждениях. Мы были в этом смысле гораздо менее наблюдательны, чем нынешние женщины и мужчины. Я приказал себе любить Милли, не сознавая, что любовь по самой сущности своей неподвластна нашей воле. Недаром моя любовь к Фанни и Хетти была естественной, насущной потребностью. Но теперь мое время было строго распределено между работой и Милли, так что наша дружба с Фанни почти заглохла. А Хетти... Хетти была замурована в моем сердце, совсем как те жалкие, ссохшиеся трупики монахов, преступивших обет, что были замурованы в монастырских стенах во времена расцвета христианства в Европе. Я только стал замечать, что с некоторых пор во мне пробудился какой-то особый интерес к женщинам вообще. Я не задумывался, что означают эти невинные проявления непостоянства; мне было стыдно, но я не противился им. Я заглядывался на других женщин даже в присутствии Милли и, ловя на себе их многозначительные ответные взгляды, испытывал волнующее и неясное чувство.

Я пристрастился к чтению романов, хотя теперь меня в них занимало не то, что прежде. Отчего меня так потянуло на романы, я и сам тогда не мог объяснить, зато могу теперь: из-за того, что в них было написано про женщин. Не знаю, Санрей, замечала ли ты, что

многие романы и драматические произведения того времени были в основном рассчитаны на то, чтобы поставлять живым мужчинам и женщинам иллюзорных возлюбленных, с которыми те предавались в воображении любовным утехам. Мы, респектабельные и благополучные, шли предначертанным нам путем, исполненные достоинства и довольства, пытаясь унять смутный голод своей неутоленной души такой ненасыщающей пищей.

Однако именно этот повышенный интерес к женщинам и стал причиной того, что я вновь встретился с Хетти. Случай свел меня с нею весной, в марте, кажется, или в самом начале апреля в скверике, совсем недалеко от Честер-Террас. Сквер этот лежал немного в стороне от прямого пути, которым я, возвращаясь со службы, обычно шел домой от станции подземной железной дороги. Однако на званый чай, который устраивала сегодня Милли, спешить было еще рано, а теплое весеннее солнышко так и манило меня сюда, где все цвело, зеленело и распускалось. Этот сквер у нас назвали бы весенним садиком; небольшой, но умело спланированный участок, искусно засаженный цветами и садовыми деревьями: бледно-желтыми и белыми нарциссами, гиацинтами, миндальными деревьями и перерезанный укатанными дорожками. В самых живописных уголках были расставлены скамеечки, и на одной из них, у клумбы с желтофиолями, спиной ко мне сидела одинокая женщина. Меня поразила безотчетная грация ее позы. Такое нечаянное видение милой сердцу красоты, спрятанной в мире, неизменно волновало меня, точно вызов, пронзая душу щемящей болью... Одета она была очень бедно и просто, но ее старенькое платье было как закопченное стекло, которое держишь перед глазами, глядя на ослепительный диск солнца.

Проходя мимо, я замедлил шаги и оглянулся, чтобы посмотреть на ее лицо. И я увидел тихое лицо Хетти, очень серьезной, очень скорбной Хетти — уже не девочки, а женщины,— глядящей на цветы и вовсе не замечающей моего присутствия.

Властное чувство охватило меня, заставив отступить гордость и ревность. Я все-таки прошел несколько шагов дальше, но чувство было сильнее меня. Я остановился и повернул назад.

Теперь она заметила меня. Она взглянула мне в лицо, заколебалась — узнала.

Все с тем же, как и встарь, недвижным лицом смотрела она, как я подхожу к ней и сажусь рядом.

— Хетти! — Целая буря чувств прозвучала в моем изумленном возгласе.— Я не мог пройти мимо.

Она ответила не сразу.

— А ты...— начала она и остановилась.— Наверное, нам так или иначе суждено было когда-то встретиться. Ты как будто вырос, Гарри. Какой у тебя здоровый и благополучный вид.

— Ты что, живешь здесь где-нибудь?

— В Кэмден-Тауне в данный момент. Мы, знаешь ли, кочуем.

— Ты вышла за Самнера?

— А как, по-твоему? Что мне еще оставалось? Я, Гарри, свою чашу выпила до дна.

— Но... А ребенок?

— Он умер. Еще бы! Несчастный мой малыш... И мама умерла год назад.

— Что ж, у тебя еще есть Самнер.

— У меня есть Самнер.

В любое время до этой встречи известие о том, что ребенок Самнера умер, наполнило бы меня злорадным ликованием. Но сейчас, когда я увидел горе Хетти—где ты, былая ненависть? Явись, торжествуй!.. Я вглядывался в это лицо, такое родное и такое непохожее, и в моей душе после двух с половиной лет мертвого оцепенения оттаивала, оживала любовь. Какая она прибитая, поникшая, эта женщина, которую я так мучительно любил и ненавидел!

— Как все это сейчас далеко, Гарри: Кент, мамина ферма...

— Ты с ней рассталась?

— И с фермой и с обстановкой, и уже, кажется, все ушло. Самнер играет на скачках. Он почти все спустил. Понимаешь: работу найти нелегко, а угадать призового рысака — ничего не стоит. Который никогда не приходит первым...

— И у меня отец когда-то тоже так,— сказал я.— Я этих скаковых лошадей всех перестрелял бы до одной.

— Ах, что за мука была продавать ферму!.. При-

шлось. Переехали сюда, в этот закоптелый старый Лондон. Самнер притащил. Он и теперь меня тащит — на дно. Он не виноват: такой уж человек. А потом вдруг выдастся весенний денек, как сегодня, вспомнишь Кент, ветры на холмах, терновые изгороди, и желтые носики первоцвета, и первые сморщенные листочки бузины — хоть плачь, хоть кричи! Но ведь все равно не вырваться. Вот так-то! Видишь, пришла посмотреть на цветы. Что проку? От них только еще больней.

Она смотрела на цветы остановившимся взглядом.

— О господи! — вырвалось у меня.— Это ужас что такое! Я и не ожидал...

— А чего ты ожидал? — Хетти подняла ко мне свое спокойное лицо, и я умолк.— Что ж тут ужасаться? — продолжала она.— Это ведь моих рук дело. Правда, зачем господь бог велел мне любить все красивое, а потом поставил капкан и не дал разума обойти...

Наступило молчание. Нарушил его я.

— Так встретиться... Все начинаешь видеть другими глазами. Понимаешь, раньше, тогда... ты, казалось, была во многом настолько сильней меня... Значит, я просто не понимал. А теперь такое чувство... В общем, мне надо было получше о тебе позаботиться.

— Хотя бы пожалеть, Гарри. Да, я себя осквернила, опозорила. Все так. Но ты был беспощаден. Мужчины не знают сострадания к женщинам. А я — с начала и до конца — я тебя любила, Гарри. Всегда по-своему любила и теперь люблю. Когда вот сейчас взглянула и вижу: ты повернулся и идешь ко мне... На миг совсем как прежний. На миг будто и для меня пришла весна... Да только что теперь говорить! Поздно.

— Да,— отозвался я.— Слишком поздно...

Опять наступила долгая пауза. Хетти пытливо всматривалась мне в лицо. Снова первым заговорил я — медленно, взвешивая каждое слово.

— Я ведь так и не простил, Хетти. До этой самой минуты. А сейчас вот увидел — и так жаль, неимоверно жаль, что не простил тогда. Что не решился начать все сначала — вместе с тобой. Как знать... Ну, а если б, Хетти?... Что, если бы я тебя простил тогда?

— Не надо,— тихо проговорила она.— Увидят —скажут: довел женщину до слез. Давай не будем об этом.

Ты лучше расскажи о себе. Я слышала, ты опять женился? Говорят, красивая женщина. Это Самнер позаботился, чтоб я узнала. Ты счастлив? У тебя такой благополучный вид, а нынче, после войны, не каждому улыбается удача...

— Как тебе сказать, Хетти... Сносно. Работаю много. Большие планы. Служу на старом месте; пока что заместитель директора, но уже недалеко осталось до директора. Видишь, высоко залетел. А жена, она хорошая, и большая помощница мне... Понимаешь, встретил тебя и... Ах, Хетти! Что мы с тобой наделали! Нет, что ни говори, а вторая жена — не первая. Ты и я... Я тебе вроде как кровный брат, и этого ничем не изменишь. Помнишь наш лес — тот лесок, где ты меня поцеловала? Почему мы это не смогли уберечь? Зачем мы все разбили, Хетти? Такой клад достался в руки... Эх, дуралеи мы с тобой! Ладно, что было, то прошло. Но и с враждой между нами покончено. Тоже прошло. Если я могу что-нибудь сделать для тебя сейчас — скажи. Сделаю.

На мгновение глаза ее заискрились былым юмором.

— Разве что убить Самнера, разнести в пух и прах весь мир... Стереть воспоминания целых трех лет... Ничего не выйдет, Гарри. Мне надо было сберечь свою чистоту. А тебе — быть тогда чуточку добрее ко мне.

— Я не мог, Хетти.

— Знаю, что не мог. А я разве могла подумать, что меня в один недобрый вечер попутает моя горячая голова? Ну, а вышло вот что! Встретились, как мертвецы на том свете. Смотри — кругом весна, но для других, не для нас с тобой. Видишь, как крокусы раскрыли свои трубочки? Целый духовой оркестр! Только теперь они трубят свой гимн другим влюбленным. Что ж, пусть им больше повезет.

Мы помолчали. Где-то в глубине моего сознания бледным, но требовательным видением возникла Милли, стол, уставленный чайной посудой. Голос Милли: «Ты опоздал...»

— Где ты живешь, Хетти? Какой у тебя адрес?

Она на секунду задумалась и покачала головой.

— Лучше тебе не знать.

— Но, может, я бы все же чем-то помог?..

— Это всех нас только взбудоражит, и больше ничего. Я уж как-нибудь допью свою чашу... грязной воды. Сама заварила, самой и расхлебывать. Чем ты можешь помочь?

— Хорошо,— сказал я.— Но мой адрес, во всяком случае, запомнить нетрудно. Все тот же, что и тогда... Что и в те дни, когда мы жили... Ну, словом, Сандерстоун-Хаус. Вдруг — мало ли что...

— Спасибо, Гарри.

Мы поднялись. Мы стояли лицом к лицу, и тысячи обстоятельств, разделяющих нас, растаяли, словно дым. Остались только она и я — два израненных, потрясенных человека.

— До свидания, Хетти. Всего тебе хорошего.

— И тебе.— Она протянула мне руку.— Я рада, что мы так встретились, Гарри, пусть это и ничего не меняет. И что ты наконец хоть чуточку простил меня.

3

Встреча с Хетти произвела на меня огромное впечатление. Она рассеяла ленивый рой моих праздных грез, распахнула дверь темницы, откуда хлынул в мое сознание целый поток запретных мыслей, томившихся прежде взаперти. Я думал о Хетти неотступно. Мысли о ней, расплывчатые и несбыточные, являлись ко мне по ночам, днем, по дороге на службу и даже в минуты коротких передышек в рабочее время. Воображение рисовало мне подробности волнующих встреч, объяснений, чудесные и внезапные повороты событий, которые возвращали нам с нею наш утраченный мир. Я прогонял эти туманные видения, но тщетно; они теснились перед моим умственным взором помимо моей воли. Мне трудно даже сосчитать, сколько раз я заходил в тот скверик рядом с Риджент-парком,— с того дня я всегда шел от станции к дому этим окольным путем. А завидев где-нибудь меж цветочных клумб одинокую женскую фигуру, мелькающую за ветвями деревьев, я сворачивал на боковую дорожку, делая еще круг в сторону. Но Хетти больше не приходила.

Вместе с неотвязными мечтами о Хетти меня все больше мучили ревность и ненависть к Самнеру. Я, ка-

жется, не хотел обладать Хетти сам; я только горел желанием отнять ее у Самнера. Это враждебное чувство уродливой тенью росло бок о бок с моим раскаянием и вновь пробудившейся любовью. Самнер стал теперь воплощением злой силы, разлучившей меня с Хетти. Мне ни на секунду не приходило в голову, что это я, я сам швырнул ее в лапы Самнера, когда с тупым упорством добивался развода.

Все эти думы, и мечты, и фантастические планы, рожденные желанием, чтоб между мною и Хетти произошло что-то еще,— все это я переживал в полном одиночестве: я и слова не проронил о них ни одной живой душе. Меня одолевали угрызения совести; я чувствовал, что совершаю предательство по отношению к Милли. Я даже както предпринял несмелую попытку рассказать ей, что встретил Хетти и был потрясен ее бедственным положением. Мне хотелось, чтоб Милли передалось мое душевное состояние, чтобы она разделила мои чувства. И вот однажды, когда мы вышли вечерком пройтись по Хемпстед-Хит, я как бы невзначай сказал, что во время последнего приезда в отпуск с фронта гулял вдоль гряды холмов у Круглого пруда вместе с Хетти.

— Интересно, как она сейчас поживает,— добавил я.

Милли молчала. Я взглянул на нее: лицо ее застыло, на щеках выступили багровые пятна.

— Я надеялась, что ты ее забыл,— глухо проговорила она.

— Забыл, а здесь вот вспомнил.

— Я стараюсь о ней вообще не думать. Ты не знаешь, что меня заставила вынести эта женщина, какое унижение. И не только за себя. За тебя тоже.

Она ничего больше не сказала, но и без слов было ясно, как страшно расстроило ее одно лишь упоминание о Хетти...

— Бедняги вы, бедняги! — вскричала Файрфлай.— Вы были все просто одержимы ревностью!

Не пошел я тогда и к Фанни, чтобы поделиться своею новостью. Ведь в свое время я представил ей факты в ложном свете, изобразив Хетти самой заурядной распутницей. Теперь это было не так-то просто исправить. Кстати, в последнее время я виделся с сестрою далеко не так часто, как прежде. Мы с Фанни теперь

жили в разных концах города. Ее отношения с Ньюберри стали гораздо более открытыми, и у нее появился свой круг знакомых, в котором ее очень любили. А Милли из-за этой гласности стала относиться к ней еще холоднее: боялась, как бы не разразился скандал оттого, что брат Фанни занимает такое видное положение в фирме «Крейн и Ньюберри»! Ньюберри снял дачу под Пангборном, и Фанни жила там по целым неделям, совершенно вне нашего поля зрения.

Однако очень скоро произошли события, заставившие меня опрометью ринуться к Фанни за помощью и советом.

4

Нежданно-негаданно, в июле, когда я начинал уже думать, что никогда не увижусь с Хетти вновь, она обратилась ко мне с просьбой помочь ей. Нельзя ли нам встретиться в один из ближайших вечеров, писала она, у фонтана в парке возле зоологического сада? Там можно взять шезлонги и посидеть. Она должна кое о чем поговорить со мной. Только не надо писать ей домой: Самнер за последнее время стал очень ревнив. Лучше поместить объявление в «Дейли экспресс» под буквами А. Б. В. Г. и указать день и час.

Я назначил свой ближайший свободный вечер.

Вместо угасшей, равнодушной Хетти, которую я видел весной, я встретил Хетти возбужденную и энергичную.

— Я хочу найти такое место, где нас никто не увидит,— сказала она, едва я подошел к ней.

Она взяла меня за руку, повернула и повела к двум зеленым шезлонгам, стоявшим немного поодаль, в стороне от главной аллеи. Я заметил, что на ней то же поношенное платьице, что и в прошлый раз. Однако держалась она теперь совершенно иначе. Теперь в ее манерах и голосе сквозило нечто интимное и доверительное, словно она за это время тысячу раз мысленно встречалась со мною,— так оно, разумеется, и было.

— Скажи, Гарри, в тот раз ты все говорил серьезно? — начала она.

— Совершенно.

— Ты правда готов мне помочь?

— Чем только могу.

— Даже если б я попросила денег?

— Естественно.

— Я хочу уйти от Самнера. Сейчас есть такая возможность. Это осуществимо.

— Расскажи, Хетти. Я сделаю все, что в моих силах.

— Многое переменилось, Гарри, с той нашей встречи. Я ведь тогда совсем дошла до точки. Что на меня ни свалится — пусть, все равно. Пока не увидела тебя. Не знаю отчего, но это всю меня перевернуло. Быть может, рано или поздно это произошло бы и так. Короче говоря, я не могу больше с Самнером. И вот как раз представился случай. Только понадобится много денег — фунтов шестьдесят, а то и семьдесят.

Я подумал.

— Это вполне возможно, Хетти. Если бы ты могла немного подождать — неделю, скажем, или дней десять.

— Понимаешь, у меня есть подруга, которая вышла замуж за одного канадца. Когда ему нужно было вернуться на родину, она осталась здесь, потому что вот-вот ждала ребенка. Теперь подруга едет к мужу. Она недавно болела и не совсем еще поправилась, так что ей неприятно пускаться одной в такую дальнюю дорогу. Мне было бы совсем нетрудно уехать с ней под видом двоюродной сестры — как будто я ее сопровождаю. Если б только привести себя в приличный вид... Мы уже с ней все обсудили. У нее есть один знакомый, он мог бы выправить мне паспорт на девичью фамилию. Вот такой у нас план. А вещи и все прочее можно оставить у нее. И я бы сбежала потихоньку.

— Ты хочешь сменить фамилию? Начать там все сначала?

— Да...

Я задумался. Что ж, хороший план.

— С деньгами затруднений быть не должно,— сказал я.

— Я не могу больше жить с Самнером. Ты никогда его не видел. Ты не знаешь, что это такое.

— Красивый, говорят.

— Я ли не изучила это лицо, воспаленное, слабое! Враль и мошенник. Хвастает, будто ему ничего не стоит провести кого хочешь. И ко всему стал пить. Бог его зна-

ет, зачем только я вышла за Самнера. Как-то казалось естественно: ты со мною развелся, а ребенку нужен отец. Но он мне противен, Гарри. Омерзителен. Я больше так не могу. Я не вынесу. Ты не представляешь себе: тесная каморка, да еще в такую духоту... Чего это стоит — не подпускать его к себе, раскисшего, пьяного... Если бы не этот спасительный выход, добром бы не кончилось.

— Почему тебе не уйти прямо сейчас? — спросил я.— Зачем вообще к нему возвращаться?

— Нет. Уйти надо так, чтобы сжечь все мосты. Иначе быть беде. И так, чтобы ты не был замешан. Он сразу же заподозрит тебя, если дать хоть малейший повод. Это как раз самое главное — чтобы все шло через кого-то другого: деньги, письма и все остальное. А ты будь в стороне. Нельзя давать мне чеки — только деньги. Нельзя, чтобы кто-то видел, что мы встречаемся. Даже здесь, сейчас, и то опасно. Он уже давно увязает все глубже. Сейчас связался с одной темной шайкой. Они шантажируют букмекеров на скачках. Ходят с оружием. Что где узнают — передают друг другу. Началось с пари на ипподроме, а теперь хотят вернуть свое кровное — это у них так называется... Если они пронюхают, что ты замешан, тебе не уйти.

— Траншейная война в Лондоне! Ничего, рискнем...

— Рисковать ни к чему, надо только действовать осторожно. Вот если бы найти, через кого держать связь...

Я сразу подумал о Фанни.

— Да, это надежно,— сказала Хетти.— Надежнее не придумаешь. Мне бы так приятно было ее увидеть снова. Она мне понравилась с первого взгляда... И до чего же ты хороший, Гарри. Такая доброта... Я не заслужила.

— Вздор, Хетти. Не я ли тебя столкнул в грязь?

— Я сама прыгнула.

— Нет, упала. Не ахти какая доблесть помочь тебе выбраться.

5

На другой же день я отправился к сестре, чтобы подготовить ее к встрече с Хетти. Я выложил ей все начистоту, сознался, что в свое время очернил Хетти, раз-

дув ее вину, и попросил Фанни выручить ее теперь. Фанни сидела в кресле и слушала, не сводя с меня глаз.

— Надо мне было повидать ее, Гарри, а не полагаться сразу на твои слова,— сказала она.— Хотя у меня и сейчас не укладывается в сознании, как это можно вынести, чтобы тебя кто-то целовал, когда любишь другого. Правда, ты сам говоришь, что она до этого выпила вина. Мы ведь, женщины, не все устроены одинаково. Каких только не встретишь — мир велик. Есть и такие, что теряют голову от первого поцелуя. Мы с тобой, Гарри,— другое дело. Вот ты сидел, говорил, а я думала: до чего же мы оба, в сущности, похожи на покойницу маму, хоть она и воевала со мной! Нам надо следить за собой хорошенько — не то в два счета станем сухарями. А Хетти твоя была молода — много ли она понимала? Один только раз оступилась, а разбита целая жизнь... Я и не подозревала, Гарри, как все было на самом деле.

И Фанни стала вспоминать, какое впечатление произвела на нее когда-то Хетти, какая она живая, темпераментная, какая тонкая, интересная собеседница.

— Я еще, помню, сказала себе, когда вы ушли: вот в ком есть изюминка! Первая остроумная женщина на моем веку. В ней какая-то особенная поэзия: что ни скажет — все получается немножко иначе, чем у других. Каждая фраза — как цветок в живой изгороди. Правда. Она и сейчас такая?

— Х-мм... Я до сих пор не задумывался. Да, пожалуй, действительно есть своеобразная поэзия. Я, кстати, только на днях вспоминал — что это она тогда сказала, когда мы встретились в первый раз? Что-то такое...

— Стоит ли повторять ее слова, Гарри. Остроумие — оно цветет только на корню. Если сорвешь — увянет. Взять хотя бы нас с тобой, Гарри: смекалкой бог не обидел и разумом, но такой блеск — это нам не дано.

— Я тоже всегда любил ее слушать...

Я подробно изложил Фанни план действий и объяснил, что требуется от нее. Сам я Хетти больше не увижу. Те сто фунтов, что мы сумели набрать, ей передаст Фанни. Она же свяжется с приятельницей, которую Хетти будет сопровождать, и посадит Хетти на пароход. Фанни слушала меня серьезно и соглашалась.

Когда я кончил, она задумалась.

— Отчего бы тебе самому не отвезти ее в Канаду, Гарри? — внезапно спросила она.

6

Я отозвался не вдруг.

— Не хочу.

— Ты ведь по-прежнему любишь Хетти, я вижу.

— Любишь... Не надо мне этого.

— Не надо? Быть с ней вместе?

— Исключено. Зачем только задавать такие мучительные вопросы? Все умерло.

— А воскресить нельзя? И почему исключено? Из гордости?

— Нет.

— Почему же?

— Милли.

— Ты не любишь Милли.

— Этого я тебе не разрешаю касаться, Фанни. И потом, я ее люблю.

— Не так, как Хетти.

— Совсем иначе. Но Милли мне верит. Полагается на меня. Предать Милли — все равно, что вытащить деньги из детской копилки...

— Это ужас, до чего благородно мужчины относятся к нелюбимым женам,— с горечью заметила Фанни.

— Ньюберри — другое дело,— сказал я.— У меня сынишка. Работа. И — хоть ты не желаешь этого признать — я все-таки люблю Милли.

— В известном смысле. Интересно тебе с нею? Весело?

— Я ей верю, и я привязан к ней. А насчет Хетти... Ты не совсем понимаешь. Я ее люблю. Больше всего в мире люблю. Но наша встреча — свидание скорбных призраков в лунную ночь. Мы умерли друг для друга. Ты нас не сравнивай с собой, это совсем не то. Я вижу, что Хетти в аду, и сделаю, кажется, все на свете, чтобы ее вызволить. Но мне с ней даже встречаться незачем. Только бы вытащить ее из этой идиотской помойной ямы, чтобы она могла начать все сызнова. Мне больше ничего не надо. Ей — тоже. Быть снова вместе? Обме-

няться поцелуем любви? После того, как мы сами осквернили и ограбили себя? А сколько зла я ей принес!.. Куда нам! Ты, видно, путаешь нас с кем-то, Фанни. Ты, видно, судишь о нас с Хетти по кому-то еще.

— Может быть. Да, наверное. Ну что ж, значит, она едет в Канаду и начинает все сначала. Отойдет, поправится, воспрянет духом... С ее темпераментом, Гарри, нельзя жить в одиночестве, без мужчины, который любил бы ее.

— Пусть себе живет, пусть любит. Возьмет другую фамилию. И друзья будут рядом, не дадут в обиду... Пусть забудет. Пусть для нее начнется новая жизнь.

— С другим?

— Может, и так.

— И тебе ничего?

Это было очень больно, но я сдержался.

— Какое я теперь имею право думать об этом?

— Будешь, все равно. И останешься жить со своей супругой, которую ценишь и уважаешь. И которая до того скучна и пресна, что впору повеситься.

— Нет. С матерью моего ребенка. С верной подругой, которая связала со мной свою судьбу. И потом у меня есть работа. Быть может, для тебя все это ничто. А с меня и этого довольно. Мне есть чему посвятить жизнь. Да, я люблю Хетти. Я хочу помочь ей вырваться из западни, в которую она попала. Но разве это значит, что я обязан добиваться невозможного?

— Серые будни,— сказала Фанни.

— А вся наша жизнь — не серые будни?..

— И тут,— сказал Сарнак,— я произнес пророческие слова. Я произнес их... Когда? Две тысячи лет назад или две недели? Здесь, в маленькой гостиной Фанни, этом уголке старого мира, я, плоть от плоти этого мира, предсказал, что не вечно мужчинам и женщинам страдать, как страдаем мы. Я говорил, что мы пока только жалкие дикари, а наше время — лишь хмурая заря цивилизации. Мы страдаем оттого, что дурно обучены, дурно воспитаны, ужасающе невежественны во всем, что касается нас самих. Однако,— говорил я,— мы уже сознаем, как мы несчастны, и в этом залог того, что настанут лучшие дни, когда добро и разум взойдут над миром и люди перестанут мучать себя и других, как му-

чают сегодня повсюду и везде, во всех концах нашей земли, при всех законах и ограничениях, в ревности и злобе...

— Сейчас еще слишком темно вокруг,— говорил я,— и нам не видно, куда идти. Каждый бредет наугад и спотыкается, каждый сбивается с пути. Напрасно стал бы я сейчас гадать, что правильно, а что нет. Как я сейчас ни поступлю, все будет скверно. Мне надо бы по-настоящему уехать с Хетти и снова стать ее возлюбленным. Я и рад бы, что скрывать? Но я обязан остаться верным Милли, верным делу, которое нашел себе в жизни. Направо повернешь или налево — обе дороги сулят лишь раскаяние да печаль. И вряд ли во всем нашем сумрачном мире, Фанни, найдется хоть одна душа, которая не оказалась бы, рано или поздно, перед таким же тяжким выбором. Я не обрушу свод небесный на голову Милли. Я не могу: она доверилась мне. А ты... Ты моя милая сестра, и я тебя люблю. Мы ведь с тобой всегда любили друг друга. Помнишь, как ты, бывало, водила меня в школу? Как крепко держала за руку, когда мы шли через дорогу? Вот и теперь: не делай так, чтобы мне стало еще тяжелей. Только помоги мне вызволить Хетти. И не терзай меня. Она полна жизни, молода, и она — Хетти. Там, далеко, она по крайней мере сможет все начать заново...

7

И все-таки я еще раз увиделся с Хетти, прежде чем она оставила Англию. Она написала мне в Сандерстоун-Хаус и предложила встретиться.

«Ты так добр ко мне,— писала она.— Это почти так же *хорошо*, как если б ты не ушел от меня тогда. Ты благородная душа, ты вернул мне счастье. У меня столько надежд! Я уже сейчас в радостном волнении при одной мысли об океане, об огромном корабле. Нам дали проспект с изображением парохода — ни дать ни взять роскошный отель; и на плане точно обозначено, в каком месте наша каюта. Канада, королева снегов,— как чудесно! А по пути — Нью-Йорк. Нью-Йорк, фантастический, неповторимый—утесы, громады окон, уходящие в самое небо. А мои новые вещи — какой восторг! Я иногда тайком забегаю к Фанни, чтоб хоть потрогать их. Да, я

взволнована, благодарна, да, я исполнена надежд. Но, Гарри, Гарри, сердце мое болит и болит. Я хочу тебя видеть. Знаю, что я не заслужила, но хочу тебя увидеть еще раз. У нас все началось с прогулки — так отчего бы нам и не кончить прогулкой? В четверг и пятницу вся шайка будет в Лидсе. В любой из этих дней я могла бы отлучиться из дому хоть до вечера, и будет просто чудо, если кто-нибудь узнает. Жаль, что нельзя повторить ту нашу первую прогулку. Наверное, это слишком далеко и трудно. Что ж, мы ее отложим, Гарри, до тех времен, когда умрем и станем двумя дуновениями ветерка в траве или пушинками, летящими бок о бок. Но ведь у нас с тобой была и другая прогулка — помнишь, когда мы отправились в Шир и прямо через северные холмы дошли до Летерхеда? Под нами раскинулся Вилд, а на горизонте, далеко-далеко, были видны и наши холмы, южные. Сосны и вереск, холмы, холмы... И запах дыма — внизу жгли сухие листья...»

Ответ я должен был написать на адрес Фанни.

Конечно же, мы совершили эту прогулку — влюбленные, которые воскресили лишь тень своей любви. Мы даже не вели себя, как влюбленные, хотя поцеловались при встрече и само собою подразумевалось, что поцелуемся на прощание. И разговаривали мы, наверное, как усопшие души, что вспоминают мир, в котором жили некогда. О чем мы только не говорили тогда — даже о Самнере! Сейчас, на пороге избавления, весь ужас Хетти перед ним и вся былая ненависть исчезли. Самнер, рассказывала она, полон страсти к ней, она ему по-настоящему нужна; это несправедливо, более того, губительно для него, что она его презирает. Это ранит его чувство собственного достоинства, приводит в исступление, толкает на отчаянные поступки. Другая, любящая женщина не пожалела бы труда, чтобы смотреть за ним, заботиться, как подобает настоящей жене, и, глядишь, сделала бы из него человека.

— Но я, Гарри, никогда не любила его, хоть и старалась. Правда, я вижу, когда и отчего ему бывает больно. Я знаю, что порой он страшно мучается. Он творит подлые дела, но ведь от этого ему не легче...

Самнер, как выяснилось, еще и тщеславен. Ему стыдно, что он неспособен прилично заработать. Он очень бы-

стро катится на преступную дорожку, а у нее нет власти удержать его.

Как сейчас, слышу голос Хетти, вижу ее на широкой верховой тропе меж пышных кустов рододендронов. Серьезно, ровно, доброжелательно рассказывала она про этого прохвоста, который обманул, сломил ее, надругался над нею. В тот день я увидал ее с какой-то новой стороны, но это была, конечно, все та же Хетти — прежняя, милая Хетти, которую я любил, которую я оттолкнул и потерял, умная, быстрая и больше наделенная чуткостью, чем волей...

Долго сидели мы на самом гребне над Широм, откуда открывался особенно привольный и красивый вид. Мы вспоминали прежние счастливые дни в Кенте, говорили о просторах, раскинувшихся перед нами, и о пути через океан, о Франции — обо всем на свете.

— У меня такое чувство,— сказала Хетти,— как, бывало, в детстве, в конце школьной четверти. Я уезжаю, передо мной мир нового. Надень платьице, Хетти, надень шляпку, тебя ждет большой корабль. Мне и жутко и все-таки радостно... Жаль только... Ну, да что там!

— Жаль только?..

— О чем же мне еще жалеть!

— Ты хочешь...

— Что пользы? Праздные мечты.

— Я связан, Хетти. И работа. Я начал и должен довести до конца. Но если хочешь знать, я мечтаю о том же. О господи, если б желания могли избавить нас от оков!

— Ты нужен здесь. Будь даже моя воля, Гарри, я все равно не взяла бы тебя с собой. Ты сильный человек, ты выдержишь. Будешь заниматься делом, для которого ты создан. А я положусь на судьбу. Там, вдали отсюда, многое, пожалуй, забудется — и Самнер и это безвременье. Зато я буду часто думать о тебе, о наших южных холмах и о том, как мы с тобой сидели рядом...

Быть может,— продолжала Хетти,— рай — это такое место, как здесь. Высокий склон, куда ты добрался наконец. Твои труды, твои усилия, надежды, разочарования, маята, несбыточные желания, горькая ревность,

зависть — все это позади, с этим покончено раз и навсегда. Ты здесь. Ты сел и отдыхаешь. И ты не один. С тобою твой любимый, он рядом, он легонько касается тебя плечом, вы сидите близко, очень тихо, и все грехи прощаются тебе; твои ошибки, заблуждения — их словно не бывало. Тебя захватывает красота, ты растворился в ней, вы растворились в красоте вдвоем, вы все забыли вместе, вы растаяли; все горести исчезли, все обиды и печали, и ничего уж не осталось больше, лишь ветерок на склоне, да солнце, да вечный покой... И все это,— Хетти проворно вскочила на ноги и выпрямилась,— все это пустой звук, и только! Ах, Гарри! Вот чувствуешь что-то, а попытаешься сказать — и получается одна шелуха. До Летерхеда нам с тобой еще идти и идти, а ведь к семи тебе надо домой. Так что вставай, Гарри. Вставай, дружище, и пошли. Ты самый хороший на свете, ты просто прелесть, что пошел со мной сегодня. Я, честно говоря, побаивалась, что ты скажешь: неблагоразумно...

Уже под вечер мы добрались до деревушки Литтл-Букхэм и здесь выпили чаю. До станции оставалось еще около мили. Едва мы поднялись на платформу, как показался лондонский поезд. Пока все шло хорошо.

И тут грянул первый гром. В Летерхеде, когда мы с Хетти сидели у окошка, глядя на перрон, мимо нас к соседнему купе просеменил низенький и румяный человечек; судя по виду — конюх или что-нибудь в этом роде. Простоватый, приземистый, с еврейским носом, из-под которого торчал кончик сигары. Уже садясь в вагон, он случайно бросил взгляд в нашу сторону. Миг сомнения — и в глазах его блеснула уверенность. Хетти отшатнулась от окна.

— По вагонам! — объявил кондуктор, давая свисток.

Поднялась толчея, и человечек скрылся из виду.

Хетти была бледна, как полотно.

— Я знаю этого типа. И он меня. Это Барнадо. Что теперь делать?

— Ничего. Он с тобой близко знаком?

— Заходил к нам домой раза три...

— Может быть, он тебя как следует и не узнал...

— Нет, думаю, узнал. Что, если пожалует на той остановке, чтобы окончательно удостовериться... Как

быть — притвориться, что это не я? Не узнавать? Или ответить...

— Притвориться... А ну как все равно узнает? Почует неладное — и сразу к твоему супругу! Наоборот: если ты будешь держаться как ни в чем не бывало, он, возможно, и не подумает ничего особенного. Скажи, что я твой двоюродный брат или, там, зять. Нельзя давать ему повод для подозрений — он тут же доложит Самнеру. А так, может, и не додумается... Но, Хетти, так или иначе, ты завтра едешь в Ливерпуль. Какое это имеет значение — узнал или нет?

— Я о тебе беспокоюсь.

— Так он ведь не знает меня. Насколько я могу судить, никто из этой компании меня в глаза не видел...

Поезд сбавил ход у следующей станции, и мистер Барнадо был уже тут как тут: сигара, все честь честью, глаза блестят от любопытства.

— Точно: Хетти Самнер, а я что говорю? И кого только, бывало, не повстречаешь — чудеса!

— Мистер Дайсон, мой зять,— представила меня Хетти.— Ездили с ним проведать его дочурку.

— А мне и невдомек, миссис Самнер, что у вас есть сестра.

— У меня нет сестры,— с грустной ноткой в голосе возразила Хетти.— Мистер Дайсон — вдовец...

— Ах, извиняюсь. Не сообразил,— сказал мистер Барнадо.— И который годок дочурке, мистер Дайсон?

Что сделаешь? Пришлось тут же на месте изобретать сиротку, описывать и обсуждать ее. У мистера Барнадо оказалось целых три дочери, и — боже, до чего он был знаток по части детей! Как разбирался в особенностях каждого возраста! Просто беда. Он, несомненно, был образцовый отец. Я старался как мог, поощряя изъявления отцовской гордости со стороны мистера Барнадо и скромно отказывая в них себе. И все-таки с каким огромным облегчением услышал я наконец:

— Ух ты! Никак уж Эпсом! Приятно было познакомиться, мистер... А черт! Я забыл.

— Диксон,— поспешно подсказала Хетти, и мистер Барнадо, рассыпавшись в прощальных любезностях, удалился из вагона.

— Слава тебе, господи, что ему не в Лондон! — вздохнула Хетти.— В жизни не встречала человека, чтоб так не умел лгать, как ты, Гарри. Ну, кажется, сошло благополучно.

— Сошло,— согласился я.

И все же, пока мы доехали до Лондона, где нам с ней предстояло расстаться навсегда, мы раза три возвращались к этой неожиданной встрече, вновь и вновь успокаивая себя этим «все сошло благополучно».

Простились мы на вокзале Виктория — довольно сдержанно. Мистер Барнадо вернул нас, так сказать, в будничную и прозаическую атмосферу. Мы даже не поцеловались напоследок. Теперь для нас весь мир был полон чужих и внимательных глаз.

— Все хорошо,— бросил я Хетти на прощание деловым, бодрым тоном — то были последние мои слова, обращенные к ней.

На другой день, потихоньку выскользнув из дому, Хетти уехала в Ливерпуль, где ее встретили друзья, и навсегда скрылась из моей жизни.

8

Первые три-четыре дня я не особенно ощущал тяжесть этой второй разлуки с Хетти. Я был еще слишком поглощен подробностями ее отъезда. На третий день она прислала мне в Сандерстоун-Хаус телеграмму (так назывались в наши дни сообщения, передаваемые по беспроволочному телеграфу). «Отъездом благополучно. Погода дивная. Бесконечно благодарю, люблю». Шли дни, и постепенно чувство утраты овладело мною; сознание безграничного одиночества росло и ширилось, пока, подобно ненастной туче, не затянуло мой духовный горизонт. Отныне я был совершенно убежден, что ни одно живое существо, кроме Хетти, не может дать мне истинного счастья. А я второй раз отвергаю возможность быть с ней вместе... Мне, видно, нужна была любовь без жертв, а в старом мире, как представляется мне теперь, любовь доставалась человеку лишь неслыханно дорогой ценой: ценою чести, любимой работы, ценою унижений и мук. Я уклонился, не уплатил этой цены за Хетти, и вот она уходит, унося из моей жизни все

трогательное и непередаваемое, что составляет сущность любви: нежные и смешные прозвища, привычные маленькие ласки, грациозные движения души и тела, минуты веселья и гордости и полного понимания. С каждым днем моя любовь уплывала от меня все дальше на запад. Днем и ночью все неотступнее преследовало меня навязчивое видение: содрогаясь от мерного биения машин, рассекая крутые и пенистые валы, движется по неспокойным водам Атлантики огромный пароход. Клубы черного дыма вырываются из высоких труб и вьются на ветру. Я видел эту океанскую махину то под лучами солнца, то под ночными звездами, залитую светом от носа до кормы.

Меня томило горчайшее раскаяние, я предавался бесконечным фантазиям. Вот я лечу за океан вдогонку за Хетти и внезапно появляюсь перед ней: «Хетти, я не могу так. Я пришел к тебе...» А между тем все это время я ни на шаг не отступал от избранного мною пути. Я допоздна засиживался за работой в Сандерстоун-Хаусе. Я делал все, чтобы направить свое воображение по другому руслу: задумал два новых псевдонаучных издания, добросовестно водил Милли по ресторанам, театрам и интересным выставкам. И где-нибудь в разгар осмотра я вдруг ловил себя на непрошеной мысли: а что сказала бы о той или иной картине Хетти, окажись она сейчас рядом?.. Однажды в Элпайн-Гэллери была устроена небольшая выставка пейзажей, среди которых было несколько картин с ландшафтами холмов. Одна из них изображала залитый солнцем склон под сонными барашками облачков. Почти как свидание с самою Хетти...

Ровно через неделю после того, как Хетти прибыла в Нью-Йорк, мне было суждено впервые столкнуться с Самнером. Произошло это в тот час, когда я обыкновенно приходил на работу. Я как раз только что свернул с Тоттенхэм Корт-роуд в переулочек, ведущий к воротам Сандерстоун-Хауса. Здесь же, в переулочке, ютилась плохонькая пивная, а у ее дверей на тротуаре в выжидательной позе торчали два субъекта. Один, низенький и румяный, с еврейским лицом, шагнул мне навстречу. В первый момент я его совершенно не узнал.

— Мистер Смит? — Он ощупал меня настороженным, цепким взглядом.

— К вашим услугам,— отозвался я.

— Часом, не мистер Дайсон, э? Или Диксон? — злорадно ухмыльнулся он.

«Барнадо!» — вспыхнуло в моей памяти. Я узнал. Наверное, меня выдало выражение лица: наши глаза встретились, и между ними не было тайн.

— Нет, мистер Барнадо. (Боже! Какой я идиот!) Моя фамилия — просто Смит...

— Ничего, мистер Смит, ничего,— с изысканной вежливостью успокоил меня Барнадо.— Мне только померещилось, что я вас — словно бы — уже где-то встречал.— Он обернулся к своему приятелю и слегка повысил голос.— Точно, Самнер, он самый. Как дважды два.

Самнер! Я взглянул на этого человека, сыгравшего столь зловещую роль в моей судьбе. Он был примерно моего роста и сложения; угреватый блондин в клетчатом сером костюме и серой, видавшей виды фетровой шляпе. Он мог бы сойти за моего сводного брата, которому не повезло в жизни. Мы обменялись враждебными, любопытными взглядами.

— Боюсь, я не тот, кто вам нужен,— бросил я Барнадо и пошел дальше. Я не видел смысла в том, чтобы вступать с ними в переговоры тут же, на улице. Если уж встреча так или иначе неминуема, пусть она хотя бы произойдет в тех условиях, которые я сам сочту удобными, и не сейчас, а немного погодя, когда я успею продумать обстановку. Я услышал за спиной какую-то возню.

— Заткнись ты, дурень! — раздался голос Барнадо.— Ты же узнал, что требуется.

Минуя комнаты и коридоры Сандерстоун-Хауса, поднялся я к себе в кабинет и тут, оставшись наедине с собой, сел в кресло и крепко выругался. С каждым днем после отъезда Хетти во мне росла уверенность, что хоть это по крайней мере не случится. Я рассчитывал, что Самнер легко, надежно и окончательно выведен из игры.

Я взял блокнот и стал набрасывать примерную схему ситуации. «Основные условия»,— написал я.—

«1. Чтобы не напали на след Хетти.

2. Милли не должна ничего знать.

3. Никакого шантажа».

Я подумал.

«Но если солидный куш...» — начал я и тут же зачеркнул.

Так. Теперь — выделить наиболее существенные моменты.

«Что известно С.? Есть ли улики? Какие? Не ведет ли нить к Фанни? Нет. Только вместе в поезде. У него будет внутренняя уверенность, но кого еще это убедит?»

Я написал новый заголовок: «Какой тактики держаться с ними?»

Я обдумывал план действий, а рука моя выводила на бумаге причудливые виньетки и фигурки... Кончилось тем, что я разорвал исписанную страницу на мелкие кусочки и выбросил в корзину для бумаг. В дверь легонько постучали. Вошла курьерша и подала мне анкетный бланк, на котором значились два имени: Фред Самнер и Артур Барнадо.

— Почему не указано, по какому делу?

— Они говорят, вы знаете, сэр.

— Это не отговорка. Я требую, чтобы каждый посетитель заполнял бланк. Извольте передать им, что мне некогда принимать без дела посторонних людей. Я слишком занят. Попросите указать все, что требуется.

Вот бланк снова на моем столе. Ага: «По вопросу о пропавшей без вести жене мистера Самнера».

Я невозмутимо сощурил глаза.

— Не помню, чтобы мы получали такую рукопись... Скажите, что до половины первого я занят. Потом мог бы уделить минут десять только одному мистеру Самнеру. Подчеркните: одному. При чем тут мистер Барнадо, не ясно. Дайте им понять, что я не принимаю каждого встречного.

Курьерша больше не появлялась. Я вернулся к своим размышлениям. Ничего, до половины первого их воинственный пыл поостынет. Оба скорее всего явились откуда-нибудь с окраины, так что деться им некуда, будут ждать на улице или в пивной. К тому же мистера Барнадо собственные дела, возможно, призовут обратно в Эпсом. Он меня опознал, стало быть, его миссия выполнена. Во всяком случае, я не намерен вести переговоры с Самнером при свидетеле. Если появится вместе с

Барнадо, не приму. Для Барнадо у меня один план, для Самнера — другой. Обоим вместе не подойдет.

Моя тактика отсрочек оказалась удачной. В половине первого Самнер пришел уже один. Его провели ко мне.

— Садитесь,— коротко бросил я и, откинувшись на спинку кресла, смерил его глазами. Я молчал. Я ждал, чтобы он начал первый.

Несколько мгновений Самнер медлил. Он, видимо, рассчитывал, что я для начала задам ему вопрос и тут-то он мне ответит! Вместо этого его заставляют плюхнуться на стул и разглядывают как ни в чем не бывало. Это сразу смешало его карты. Он попытался было смутить меня свирепым взглядом, но я продолжал изучать его физиономию бесстрастно, словно географическую карту. И, вглядываясь в него, я чувствовал, как стихает, гаснет моя ненависть. Его нельзя было ненавидеть: это был не тот случай. Такое жалкое и посредственное лицо увидел я, такое глупое, безвольное, кое-как слепленное, смазливенькое... Оно то и дело подергивалось от нервного тика. Соломенные усики были подстрижены неровно: с одной стороны короче. Узел потрепанного галстука распустился и съехал вниз, открыв запонку и несвежий воротничок. Пытаясь придать своей физиономии грозное выражение, он скривил рот, вытянул шею и что было сил вытаращил на меня свои голубенькие, довольно водянистые глазки.

— Где моя жена, Смит?—произнес он наконец.

— Далеко, мистер Самнер, не достать. Ни мне, ни вам.

— Куда вы ее спрятали?

— Она уехала. Я тут ни при чем.

— Она вернулась к вам.

Я покачал головой.

— Где она, вы знаете?

— Ее нет и не будет, Самнер. Вы ее выпустили из рук.

— Я? Это вы ее выпустили, я и не подумаю! Не на такого напал. Берет, понимаешь, девчонку, женится, балуется с ней, а когда попался человек, который чуть больше него похож на мужчину и обращается с ней как

положено, тогда он ее бросает, разводится, причем разводится, когда у нее не сегодня-завтра будет ребенок, и после всего начинает подбираться и подкапываться, чтоб увести ее от человека, которому она отдала свою любовь...

Тут ему не хватило слов — может быть, и дыхания,— и он замолк. Ему, очевидно, хотелось вывести меня из терпения, вызвать на скандал. Я не проронил ни звука.

— Мне нужна Хетти,— вновь заговорил он.— Она моя жена, и я требую ее назад. Она все равно моя, так что давайте кончайте эти дурацкие шутки, и чем скорей, тем лучше.

Я подался вперед и положил локти на стол.

— Вы не получите ее назад,— очень спокойно сказал я.— Что думаете предпринять по этому поводу?

— Да черт же побери, я все равно ее верну! Пускай меня хоть вздернут за это...

— Вот именно. Что ж вы все-таки намерены предпринять?

— Ха — все! А что мне? Я муж.

— Ну, а дальше?

— Она у вас.

— Увы, нет.

— Факт тот, что у меня пропала жена. Я могу пойти в полицию.

— Ради бога! И что будет?

— Заявлю на вас, и вами займутся.

— Не выйдет. Они меня не тронут. У вас пропала жена, вы идете в полицию. Прекрасно! Полиция начинает расследование и накрывает всю вашу шайку. Там, я думаю, только и ждут удобного момента. Беспокоить *меня*? С какой стати! Это у вас все подвалы перероют, чтоб найти труп, — и в этом доме и в том, где вы жили раньше. И обыск вам устроят и все обшарят сверху донизу. А что не сделает полиция, докончат ваши же дружки.

Самнер наклонился вперед и скорчил невообразимую гримасу, чтобы придать своим словам больший вес.

— Видели-то ее в последний раз с вами.

— Попробуйте, докажите.

Самнер смачно выругался.

— Он вас своими глазами видел!

— Буду категорически отрицать. Да и свидетель у вас с душком. Это, знаете, скользкое дело, когда исчезает женщина, а ты соглашаешься возвести поклеп на человека, которого невзлюбил ее муж. Я бы, Самнер, на вашем месте не становился на такой путь. Допустим даже, Барнадо вас поддержит,— что вы этим докажете? Знаете вы еще кого-нибудь, кто якобы видел меня с Хетти? Никого. И не узнаете...

Мистер Самнер потянулся рукою к моему столу. Он сидел слишком далеко, и, чтоб ударить кулаком как следует, ему пришлось подвинуться вместе со стулом. Удар все же получился довольно неубедительный.

— Слушайте, вы.— Он облизнул губы.— Мне нужна моя Хетти, и я ее получу. Вы тут сейчас сидите гоголем, и сам черт вам не брат. Но ничего. Вы у меня еще попляшете. Думает, увел жену, пугнул меня, и я отстану. Нет, ошибся, голубчик. Ну, скажем, я не пойду в полицию. Скажем, я буду действовать напрямик. Что, если я загляну к вам домой и подниму шум при вашей супруге?

— Это будет скверно,— признался я.

Самнер поспешил закрепиться на выгодных позициях:

— Еще как скверно!

Я задумчиво посмотрел на его театрально-злодейскую физиономию.

— Что ж, скажу, что об исчезновении вашей жены мне ничего не известно, а вы лгун и шантажист. Люди мне поверят. Моя жена поверит мне безусловно. Она не позволила бы себе усомниться в моих словах, будь ваша версия даже в десять раз более правдоподобна. Тоже мне обвинители, вы и ваш друг Барнадо! Скажу, что вы просто полоумный ревнивый осел, а если вы все-таки не угомонитесь, то и в тюрьму посажу. Я, знаете, не очень буду плакать, если вы попадете за решетку. Мне в вас давно уж кое-что не нравится — так, пустячки... Совсем неплохо будет сквитаться.

Моя взяла! Он был ошарашен и зол, но я уже ясно видел, что крыть ему нечем.

— И вы знаете, где она? — спросил он.

Меня слишком захватил этот поединок — я послал благоразумие к чертям.

— Я знаю, где она. Только, что бы вы ни учинили, вам ее не видать. И — как я уже успел заметить — что вы можете предпринять по этому поводу?

— О господи, что ж это,— пробормотал он.— Моя законная жена...

Я откинулся в кресле и посмотрел на свои ручные часы, как бы говоря, что аудиенция окончена.

Он встал.

— Ну-с? — Я смерил его веселым взглядом.

— Послушайте,— сбивчиво начал он.— Это у вас не пройдет. Ей-богу... Она мне нужна, говорю я вам! Мне нужна Хетти. Я желаю, чтобы она была со мной, и я с ней буду поступать, как мне вздумается. Вы что, вообразили, будто я это так и оставлю? Это я-то? Она моя, ты, ворюга поганый...

Я взял со стола эскиз какой-то иллюстрации и, держа его в руке, устремил на Самнера взор, исполненный кротости и долготерпения. Видно, это его взбесило:

— Разве я не женился на ней — а кто меня заставлял? Самому нужна? Так какого же дьявола не держался за нее, когда она была при тебе? Ну нет, не пройдет этот номер. Сказано — не пройдет!

— Самнер, друг мой, я ведь уж вам говорил: что вы можете здесь поделать?

Он перегнулся через стол и наставил на меня пистолетом свой палец.

— Сквозняк сквозь тебя пропущу.— Он потряс пальцем у меня перед носом.— Сквознячок тебе устрою.

— Ничего, я как-нибудь рискну.

Он довольно обстоятельно изложил мне, что он обо мне думает.

— Не берусь оспаривать ваши соображения,— отозвался я.— По-видимому, наш обмен мнениями, в общих чертах, завершен. Сейчас сюда войдет мой секретарь, прошу вас, не нужно ее смущать.

И я нажал кнопку звонка на своем столе.

Его реплика «под занавес» прозвучала довольно беспомощно:

— Мы еще поговорим. Я слов на ветер не бросаю.

— Не споткнитесь, там порог,— сказал я.

Дверь закрылась. Нервы мои были натянуты, я весь дрожал от возбуждения, но я торжествовал. Я чувствовал, что одержал верх, что я и дальше с ним справлюсь. Не исключено, что он пустит в ход оружие. У него, вероятно, есть револьвер. Только надо сперва еще выследить меня, подстеречь, набраться храбрости... Десять шансов против одного, что на это его не хватит, десять против одного, что он промахнется. Это слабое, подергивающееся личико, эти дрожащие руки... Будет палить кое-как, не целясь, раньше времени. А если и попадет, все шансы за то, что только легко ранит. Тогда я буду настаивать на своей версии. Милли, вероятно, будет расстроена на первых порах, но с нею я как-нибудь улажу.

Долго еще сидел я так, обдумывая, прикидывая, разбираясь в положении вещей. И чем больше я размышлял, тем больше мне нравилась занятая мною позиция. Было уже два часа, когда я — с большим опозданием — отправился в клуб завтракать. Я заказал себе полбутылки шампанского: сегодня не грех было и кутнуть...

9

До последней минуты я не верил, что Самнер способен меня застрелить. До той самой минуты, пока он все-таки не застрелил меня.

Он подстерег меня все в том же переулочке, ведущем во двор Сандерстоун-Хауса, когда я возвращался на службу после завтрака. Со времени нашего столкновения прошла ровно неделя, я уж начал надеяться, что он примирился со своим поражением. Самнер успел уже где-то выпить, и при виде его раскрасневшейся физиономии, полуразъяренной, полутрусливой, у меня мгновенно мелькнуло предчувствие того, что может произойти. Помню, я еще подумал: если что-нибудь случится, надо дать ему бежать, иначе он все разболтает после моей смерти. Но даже тогда я не верил по-настоящему, что у него хватит духу меня убить. Я и сейчас не верю.

Он выстрелил просто из-за того, что потерял способность рассчитывать свои движения.

Револьвера он не вынимал, пока я не поравнялся с ним.

— Ну,— проговорил он,— теперь не уйдешь. Где моя жена? — И тут, когда я оказался в ярде от него, он выхватил револьвер.

Не помню, что я ответил. Кажется: «Ну-ка уберите» — или что-то в этом роде. И сделал нечаянное движение. Видимо, Самнеру показалось, что я хочу его обезоружить, потому что в то же мгновение раздался выстрел — мне он показался очень громким,— и я почувствовал, как меня словно ударили ногой в поясницу. Револьвер был из тех, что автоматически стреляют все время, пока нажат спуск. Он выпустил еще две пули; одна попала мне в ногу и раздробила колено.

— Проклятая штука! — взвизгнул Самнер, швыряя пистолет на землю, словно тот ужалил его.

Я пошатнулся.

— Спасайся, ты, болван! — крикнул я.— Беги...— Меня качнуло на него, и его перекошенное от страха лицо вдруг очутилось рядом с моим. Он оттолкнул меня; я увидел, падая, как он рванулся мимо и бросился бежать в сторону улицы.

Наверное, упав, я перекатился на спину в полусидячее положение, потому что отчетливо запомнил, как Самнер, точно напуганный заяц, улепетывает по переулку и исчезает на Тоттенхэм Корт-роуд. Вот в просвете, где кончается переулок, проплыл фургон, за ним автобус, точно и не было этих оглушивших меня выстрелов. Вот так же безучастно показалась и скрылась девушка, потом мужчина... Ушел! Ах ты, горемычная душонка! Я отнял твою Хетти! А теперь...

Сознание мое работало четко и ясно. То место, куда вошла пуля, онемело, но боли я не ощущал. Меня больше занимало раздробленное колено. Что за месиво! Лохмотья штанины, клочья алой массы, маленькая розоватая штучка с острыми краями — должно быть, конец кости... Дурацкий вид.

Вокруг откуда-то возникли люди. Что они говорят... Это они набежали с нашего двора или из пивной. Я принял мгновенное решение.

— Пистолет. Разрядился у меня в руке.— Я закрыл глаза. «Больница»,— тревожно пронеслось в сознании.

— Тут близко мой дом. Риджент-парк, Честер-Террас. Восемь. Туда — пожалуйста.

Я слышал, как повторили мой адрес. Вот голос привратника Сандерстоун-Хауса.

— Да, верно. Мистер Мортимер Смит. Могу я чем-нибудь помочь, мистер Смит?

Что было дальше, я помню лишь в общих чертах. Когда меня тронули с места, появилась боль. Очевидно, я изо всех сил заставлял себя сосредоточиться на том, что говорить и как себя вести. Остальное прошло мимо, не оставив четкого следа в памяти. Кажется, я раза два терял сознание. Каким-то образом во всем этом принимал участие Ньюберри. По-моему, он отвез меня домой на своем автомобиле. Он спросил — это я как раз помню очень ясно:

— Как это произошло?

— Пистолет разрядился в руке,— ответил я.

Зато одна мысль вошла в мое сознание прочно: что бы ни случилось, он не должен попасть на виселицу, этот жалкий, безмозглый, затравленный проходимец Самнер. Что бы ни случилось — нельзя, чтобы всплыла история с Хетти. Если она раскроется, Милли подумает только одно: что я изменял ей и поэтому Самнер меня убил. С Хетти теперь все в порядке. О Хетти мне больше беспокоиться нечего. Надо думать о Милли и о Самнере. Странная вещь: с той самой секунды, как он выстрелил, я почему-то уже знал, что ранен смертельно.

Вот полное тревоги лицо Милли. Я собрал все силы.

— Несчастный случай,— сказал я ей.— Револьвер выстрелил у меня в руке.

Вот и моя кровать.

Срезают одежду. К колену прилипла ткань. Новый серый костюм, а я рассчитывал, что он прослужит все лето...

Возникли две незнакомые фигуры. Наверное, врачи. Шепчутся. Один закатал рукава. Жирные розовые руки. Губки, таз. Звонкое бульканье воды. Проткнули чем-то.

Опять. А, *дьявол!* Как больно! Потом что-то жгучее. К чему? В этом теле, которое они колют и щупают,— я. Я все о нем знаю. И я уверен, что это конец.

Снова Милли.

— Хорошая моя,— шепчу я.— Дорогая...— И ее горестное, заплаканное лицо сияет любовью, склоняясь ко мне.

Милли! Какой она молодец! Судьба всегда была не очень-то к ней справедлива...

Фанни... Поехал за нею Ньюберри? Во всяком случае, он куда-то исчез.

Она ничего не скажет про Хетти. На нее можно положиться, как на... что? Как это... Положиться, как на... что-то.

Милые, бедные люди! Как они все всполошились. Просто позор радоваться, что я ухожу от всего этого.

Да, я был рад. Этот выстрел словно разбил окно в душной комнате. Сейчас мне хотелось еще только одного: оставить добрые, светлые воспоминания тем несчастным, которые переживут меня; тем, кто, быть может, обречен еще долгие годы томиться в мире хаоса и сумбура. Жизнь! Что это был за дикий клубок нелепейших ошибок! Хорошо хоть, что не придется теперь дожить до старости...

Это еще что за вторжение? Какие-то личности выходят из туалетной комнаты. Полицейский инспектор в форме. Другой — в штатском. Тоже из полиции, по всему видно. Ну — теперь держись, настал момент. Голова ясная — вполне. Надо следить за каждым словом. Если что-нибудь не захочу ответить, можно закрыть глаза, и все.

— Внутреннее кровоизлияние,— сказал кто-то.

Инспектор присел на кровать — ну и туша! Начал задавать вопросы. Интересно, успел кто-нибудь заметить Самнера? Самнера, который улепетывал, точно испуганный заяц. Придется рискнуть.

— Пистолет. Выстрелил в руке,— сказал я.

Что он говорит? Давно ли у меня револьвер?

— Купил сегодня в перерыве на завтрак.

Кажется, он спросил — зачем. Да.

— Поупражняться. Чтобы не разучиться стрелять.

Где? Ему надо знать, где.

— Хайбери.

— В какой части Хайбери?

Хотят разнюхать, откуда револьвер. Не годится. Поиграем в жмурки с господином инспектором.

— Около Хайбери.

— Значит, не в самом, а около?

Сделаю вид, что путаются мысли и плохо соображаю.

— Да... Где-то там,— туманно отозвался я.

— Закладная лавка?

Лучше не отвечать. Потом — как бы через силу:

— Лавочка... мал...

— Невыкупленный заклад?

На это я ничего не ответил. Хорошо бы добавить еще один штрих к почти готовой картине. Я заговорил возмущенно и слабо:

— Я думал, он не заряжен. Откуда я знал... что заряжен? Какое право имеют... продавать заряженный пистолет? Я только хотел посмотреть...

Я замолчал на полуслове, прикидываясь, что впал в изнеможение. Потом понял, что не прикидываюсь. Что я в самом деле изнемог. Ах, черт! Нет, выдохся, точка.

Я падал, я летел вниз, из этой спальни, от этой горсточки людей. Вот они уменьшаются, тускнеют, блекнут... Еще что-нибудь надо сказать? Пусть, все равно. Поздно. Я погружаюсь, проваливаюсь в сон, такой глубокий, бездонный...

Где-то вдали осталась маленькая комнатка, крохотные фигурки людей.

— Отходит...— тоненько сказал кто-то.

Я на мгновение пришел в себя.

Послышался шорох платья: ко мне подходила Милли... А потом... потом я услышал вновь голос Хетти и открыл глаза. И я увидел прелестную лужайку, горы и Хетти, которая склонилась надо мной. Только теперь это была моя милая Санрей, владычица моей жизни. Солнце заливало нас светом, ложилось на ее лицо. Я потянулся — у меня слегка затекла спина и неловко подвернулось колено...

— И я сказала: «Проснись!» — и встряхнула тебя за плечо,— закончила Санрей.

— Тут подошли мы с Файрфлай,— подхватил Рейдиант.— И еще посмеялись над тобой.

— А ты сказал: «Значит, другая жизнь все-таки существует»,— добавила Файрфлай.— Подумайте, и это только сон... Да, это замечательный рассказ, Сарнак. И знаешь, ты все-таки заставил меня поверить, что это быль.

— Но ведь так оно и есть,— сказал Сарнак.— Вчера я был Гарри Мортимером Смитом. Я убежден в этом не меньше, чем в том, что сегодня, здесь, я — Сарнак.

ГЛАВА VIII

ЭПИЛОГ

1

Хозяин гостиницы пошевелил догорающие поленья, и они вспыхнули в последний раз.

— Я тоже,— произнес он с глубочайшим убеждением.— Эта история — правда.

— Но как это может быть?— спросила Уиллоу.

— Я бы скорей поверил, что это правда,— заметил Рейдиант,— если б Сарнак не ввел в свой рассказ Санрей под видом Хетти. С каждым словом Хетти становилась все больше похожа на его милую подругу и наконец совсем растворилась в ней.

— Но если Смит — как бы прообраз Сарнака,— возразила Старлайт,— естественно, что он отдал свою любовь прообразу Санрей!

— Ну хорошо, а как же быть с другими? — настаивала Уиллоу.— Узнал ты в них кого-нибудь из ваших близких? Есть, скажем, в нашем мире Фанни? Или Матильда Гуд и братец Эрнст? А мать Сарнака — была она похожа на Марту Смит?

— И все же,— веско сказал хозяин,— эта история не сон. Это — воспоминание, вспорхнувшее из глубокой тьмы забвения и залетевшее в родственный мозг.

— Ведь что такое личность? — стал рассуждать вслух Сарнак.— Личность неотделима от памяти. Если воспоминания Гарри Мортимера Смита живы в моем

мозгу, стало быть, я и есть Смит. Я так же уверен в том, что две тысячи лет назад был Смитом, как что сегодня утром я Сарнак. У меня и прежде иной раз бывало во сне такое чувство, будто я живу чьей-то забытой жизнью. Вам не случалось испытывать нечто подобное?

— Мне, например,— заявил Рейдиант,— приснилось на днях, что я пантера. Я повадился совершать набеги на одну деревеньку, где возле хижин играли голые ребятишки и бегали псы,— очень вкусные песики... Три года на меня охотились, ранили пять раз и уж потом только застрелили. Отлично помню, как я загрыз какую-то старушку, собиравшую хворост, и спрятал часть трупа под корнями дерева, чтобы прикончить назавтра. Очень был живой сон. И ничего страшного во всем этом я не видел, когда он мне снился. Правда, это был не такой ясный и последовательный сон, как твой. Ясность и последовательность несвойственны мозгу пантеры; вспышки интереса перемежаются в нем с периодами апатии и полного забвения.

— А когда дети видят страшные сны? — спросила Старлайт.— То они попадают в дремучие леса, где рыскают хищные звери; то кто-то долго гонится за ними, и им едва удается спастись... Быть может, это в их мозгу оживают воспоминания каких-то давно исчезнувших существ? Что знаем мы о природе памяти, помимо того, что она является функцией мозга? Что знаем об отношениях между сознанием и материей, сознанием и энергией? Четыре тысячелетия люди ломают сebe над этим головы, но и сегодня известно не более того, что знали еще в Афинах, когда учил Платон и творил Аристотель. Да, развиваются науки, и растет могущество человека, но только в строгих рамках: от рождения до смерти. Мы можем подчинить себе и время и пространство, но одну тайну мы не постигнем никогда: что́ мы такое, отчего нам дано быть материей, наделенной чувством и волей... Нам с братом много приходится работать с животными, и я все больше убеждаюсь: они — то же, что и я. Животное — инструмент с двадцатью струнами, а человек — с десятком тысяч, но это один и тот же инструмент; одно и то же заставляет звучать наши струны; то, что убивает животных, смертельно и для нас. Жизнь и смерть заключены внутри невидимой сферы,

которая вечно служит нам пределом. Жизнь не в силах прорваться за этот рубеж; смерть не вольна. Что такое воспоминания, мы сказать не можем. И почему бы мне не верить, что после нашей смерти они уносятся, подобно сеточкам осенней паутины, витают неведомо где и могут вернуться рано или поздно, сплетаясь с такими же летучими паутинками? Кто взялся бы противоречить мне? Быть может, жизнь с самого своего возникновения вплетает ниточки в ткань воспоминаний. Возможно, нет такой пушинки в прошлом, которая бы не оставила воспоминаний о себе — и они здесь, они нас окружают! Когда-нибудь — как знать — люди научатся ловить эти забытые паутинки, сплетать их нити воедино, пока не восстановят ткань минувшего и жизнь не явится пред ними цельной, единой. Тогда только, пожалуй, и разобьется невидимая сфера... Впрочем, как бы то ни было, чем бы ни объяснялись подобные явления, я всей душой готова верить, что Сарнак действительно — и без всяких чудес — проник в недра воспоминаний невыдуманного человека, который жил и страдал две тысячи лет назад. Я верю, потому что рассказ его полон жизненной правды. С начала и до конца я чувствовала: о чем бы нам ни вздумалось спросить в любой момент — какие пуговицы были на его пиджаке, какова глубина сточной канавы у края тротуара, почем он покупал сигареты,— немедленно последует ответ, уверенный и точный, какого нам не дал бы ни один историк.

— Я тоже верю,— сказала Санрей.— Сама я не помню, чтоб я была Хетти, но этот Смит... Во всех его словах и поступках, даже самых суровых и черствых, я узнаю Сарнака. Я ни минуты не сомневаюсь, что Сарнак прожил эту жизнь на самом деле.

2

— Но эта жестокость! — воскликнула Файрфлай.— Эта бесчеловечность! Тоска и боль в каждом сердце!

— Так, может быть, это всего лишь сон,— упорствовала Уиллоу.

— Я думаю сейчас даже не о варварстве,— продолжала Файрфлай.— Да, войны, болезни, изломанные, укороченные жизни, уродливые города, убогая природа—

все так. Но страшней всего эти сердца, истерзанные скорбью; эта всеобщая неприязнь друг к другу, неумение понять другого, ощутить горечь его обманутых надежд, напрасных желаний — проявить участие к нему. Я вспоминаю эту быль и не могу найти в ней ни одной живой души, которая была бы счастлива, как счастливы мы с вами. Это с начала до конца история загубленной любви, стремлений, бескрылых, точно мухи на липкой бумаге, история запретов и искусственных преград. И все — во имя чего? Все лишь из злобы и гордыни. В целом мире — ни одного щедрого сердца, готового давать, давать, не размышляя, не считая... Бедная Милли! Думаешь, Сарнак, она не знала, как мало ты ее любил? Думаешь, ее ревность не была рождена сомнением и страхом?.. Жизнь, целая молодая жизнь, шутка ли — четверть века, и за все это время бедняга Гарри Смит так и не встретил ни одного счастливого человека, а сам один лишь раз подошел к порогу счастья! А ведь он только один из десятков, сотен миллионов! От колыбели и до гроба шли они тяжким, мучительным путем, шагали неуклюжей поступью, давя и отталкивая друг друга...

Нет, этого хозяин гостиницы вынести не мог!

— Но было хоть какое-то счастье! — едва не плача, возопил он.— Счастливые минуты, настроения...

— Урывками, проблесками—пожалуй,— сказал Сарнак.— Но, по совести говоря, я думаю, что Файрфлай права. Во всем моем мире не найти было человека, прожившего счастливую жизнь.

— А дети?

— Я сказал — жизнь, не часть жизни. А дети будут смеяться и прыгать — пусть недолго,— даже если они родились в аду.

— И из этой тьмы,— сказал Рейдиант,— человечество за каких-нибудь двадцать коротких веков пришло к светлой, вольной жизни, полной терпимости и милосердия...

— Для меня лично это очень слабое утешение,— заявила Файрфлай,— когда я думаю о тех загубленных жизнях!

— Постойте! — вскричал хозяин.— А не в том ли разгадка, что каждый из нас, рано или поздно, нахо-

дит в сновидении печальную, некогда прожитую жизнь? Тогда бы еще можно примириться. Это означало бы, что каждый горестный призрак наших воспоминаний обрел сегодня счастье в этой жизни и справедливость восстановлена. Вот где дано вам утешиться, бедные души,— в этой стране вашей мечты, стране, где сбываются все ваши надежды. Здесь вы живете вновь в более полном и гармоническом воплощении. Здесь влюбленных не разлучают за то, что они любят, здесь твоя любовь не мука для тебя... Да, теперь я вижу, почему это правда, что человек бессмертен: иначе какой же вопиющей несправедливостью должен быть весь его крестный путь! Сколько их было на земле, добрых малых, вроде меня, общительных и дородных весельчаков, великих ценителей вин и кулинарии, любивших людей, пожалуй, так же нежно, как ту еду, что их питает... Конечно же, и меня в один прекрасный день посетят воспоминания глубокой старины, когда я был содержателем какого-нибудь жалкого кабачка с правом торговли спиртными напитками, забитым, затравленным, неимущим трактирщиком, с горечью и стыдом обносившим посетителей дрянным зельем... И все его обиды и тревоги вновь оживут во мне, счастливом управляющем этой милой моему сердцу гостиницы. Если тот несчастный был я, мне больше ничего не нужно. Но если то был другой добрый человек, который умер, так и не познав утешения, значит, в сердце бога нет справедливости. А потому, отныне и навсегда, я нерушимо верую в бессмертие — не из желания урвать себе местечко в будущем, но во имя загубленных жизней прошлого. Взгляните-ка!— встрепенулся он.— Наступает утро. В щели между шторами видно, что за окнами светлей, чем в доме. Отправляйтесь-ка вы теперь на воздух полюбоваться, как встает солнце в горах. Я приготовлю каждому по чаше теплого питья, и мы соснем часок-другой, а там позавтракаете — и в путь.

3

— То была жизнь,— сказал Сарнак,— и то был сон. Сон в этой жизни, но ведь и эта жизнь — тоже сон... Сны во сне; сны, в которых спишь и видишь сновиде-

ния. И так, пока в конце концов, быть может, мы не придем к тому, кто видит все эти сны,— к существу, в котором заключено все сущее. Нет предела чудесам, которые творит жизнь, как нет предела красоте, которую она рождает.

Сарнак встал и откинул тяжелую штору.

— Мы проговорили всю ночь. Целую ночь провели мы с вами в темном мире Смутной эпохи, и вот уж близится рассвет.

Он вышел на крыльцо гостиницы и остановился, глядя на горы, которые выступали из туманной мглы таинственными темно-синими глыбами, вознося свои вершины навстречу алой заре.

Он стоял совсем тихо, и мир, казалось, тоже замер, и лишь издалека, снизу, легким облачком поднималось из горной дымки разноголосое щебетание птиц.

1924

Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь

Посвящается
бессмертной памяти Кандида

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

где повествуется о том, как мистер Блетсуорси был отправлен в морское путешествие для поправки здоровья, а также о его душевном состоянии в этот период времени

1

РОД БЛЕТСУОРСИ

Блетсуорси, к роду которых я принадлежу, всегда были люди глубоко порядочные и мягкосердечные — уилтширская ветвь, пожалуй, еще в большей степени, чем сессекская. Да простится мне это отступление, я скажу о них несколько слов, прежде чем начну рассказывать о самом себе. Я горжусь своими предками и традициями культурного поведения и обхождения с людьми, которые я унаследовал от них; самая мысль о моих предках, как вы потом увидите, поддерживала меня и подкрепляла в трудные моменты жизни. «Как поступил бы истинный Блетсуорси?» — спрашивал я себя и по мере сил старался дать надлежащий ответ своим поведением.

В общественной жизни южной и западной Англии всегда играли роль Блетсуорси, и всегда это были люди примерно одного и того же склада. Говорят, ветвь нашего рода и поныне существует в Лангедоке, но об этих Блетсуорси я ничего не знаю. Кое-кто из Блетсуорси в свое время эмигрировал в Америку, в частности в Вир-

гинию, но там они, кажется, затерялись, растворившись в местном населении. А между тем представители нашего рода отличаются стойкими чертами характера, искоренить которые не так-то легко. Возможно, что кто-нибудь из американцев — читателей моей книги — знает, какая судьба постигла эту ветвь нашего рода. Такой случай не исключен. В Солсберийском соборе можно увидеть мраморную статую некоего епископа Блетсуорси, которая была перенесена сюда из старого храма в Саруме, когда его снесли, воздвигая этот собор; мраморная голова сильно напоминает черты моего дяди, настоятеля Гарроу-Хоуарда, и прекрасные руки статуи очень похожи на его руки. В Америке непременно должны быть Блетсуорси, и я крайне удивляюсь, что мне не довелось о них слышать. Судя по тому, что мне рассказывали, виргинский ландшафт чем-то сродни моим предкам — он широкий, ласковый и приветливый, подобно холмистым равнинам моей родины, только озарен более ярким солнцем.

Блетсуорси — порода творцов и носителей культуры. Они имели мало отношения к торговле как оптовой, так и розничной и не играли сколько-нибудь значительной роли в развитии того, что называют индустриализмом. Они предпочитали служение церкви — юриспруденции, а древних классиков, ботанику и археологию — и тому и другому; однако землевладельцы под фамилией Блетсуорси встречаются в Кадастровой книге, и банк Блетсуорси — один из последних больших частных банков, сохранившихся в нашу эпоху крупных трестов. Он все еще играет видную роль в коммерческой жизни западной Англии. Разумеется, Блетсуорси занялись банкирским делом не из жажды наживы, но пойдя навстречу нуждам и запросам своих менее состоятельных соседей в Глостершире и Уилтшире. Сессекские Блетсуорси не столь чужды коммерческим интересам, как уилтширские; они занимались «свободной торговлей» еще в эпоху войн с Францией, когда такая торговля, строго говоря, была незаконной и считалась авантюрой; несмотря на трагическую смерть сэра Кэрью Блетсуорси и его племянника Ральфа во время кровопролитного столкновения с таможенными чиновниками на улицах города Рей, Блетсуорси нажили немалые бо-

гатства, приобрели влияние в своей округе благодаря этим занятиям и по сей день имеют отношение к импорту шелков и коньяка.

Отец мой был человек весьма достойный, но с большими странностями. Многие его поступки нуждались в объяснении; некоторые так и остались непонятными — то ли из-за отдаленности арены его деятельности, то ли по его обычной беспечности, то ли по другим причинам. Блетсуорси не мастера оправдываться. Они привыкли полагаться на свою репутацию. Пятый сын в семье, не имея никаких видов на наследство и не обладая дарованиями, которые могли бы его прокормить, мой отец послушался советов своих друзей и родственников и отправился попытать счастья за границу: в молодых годах он покинул Уилтшир, намереваясь «поискать», как он говорил, золота; «искал» он его без особой алчности и обычно в самых неподходящих местах. Насколько я знаю, месторождения золота известны наперечет и ищут его, как правило, скопом во время так называемых «золотых лихорадок». Но отец мой питал отвращение к толпе, ко всякого рода стадности, предпочитая разыскивать сей редкостный и драгоценный металл в приятной обстановке, там, где ему не досаждали всякие грубияны своей бесцеремонной конкуренцией. Пробавлялся же он, в ожидании лучшего будущего, на скромные суммы, которые ему время от времени посылали его более удачливые родичи. Разумеется, при таком образе действий у него было маловато шансов обнаружить золото, зато в случае удачи ему ни с кем не пришлось бы делиться находкой.

В вопросах брака он был менее разборчив, чем остальные Блетсуорси, неоднократно вступал в брак и порою совсем неофициально — правда, все мы несколько опрометчивы в своих брачных союзах.

Мать моя была португальско-сирийского происхождения, с примесью крови аборигенов острова Мадейры, где я и появился на свет.

Я родился самым законным образом; правда, брачный формуляр моего отца с течением времени оказался весьма запутанным, но это потому, что брак в тропических и субтропических странах носит крайне непостоянный характер.

Мать моя, судя по письмам отца, была натура страстная и самоотверженная; некоторые ее черты передались мне. Я полагаю, что именно ей обязан своей говорливостью и манерой совершенно бескорыстно прикрашивать словами действительность. «Она любит-таки поговорить,— писал отец моему дяде еще при ее жизни.— Никак ее не уймешь!» Дело в том, что она так остро и тонко переживала все события своей жизни, что бессознательно искала облегчения в словах, и, чтобы успокоиться, ей необходимо было выговориться до конца. Она придавала своему рассказу художественную форму, ретушировала. Как я ее понимаю! Я знаю, как мучительно, когда не имеешь возможности высказаться. Более того: я ей обязан уже совсем несвойственным Блетсуорси глубоким нравственным разладом. Эта книга покажет, какую борьбу мне приходилось вести с самим собой. Я не знаю душевной гармонии и мира, характерных для истинного Блетсуорси. Я в распре со своим «блетсуорсианским» естеством. Отцовская предприимчивость сочеталась во мне со склонностью к самоанализу. Я настаиваю на том, что я — Блетсуорси, заметьте, именно настаиваю. Этого вы не дождетесь ни от одного чистопробного Блетсуорси. Я убежденный Блетсуорси, ибо я не совсем и не всецело Блетсуорси. Во мне живет как бы несколько личностей, совершенно независимых друг от друга. Быть может, я потому так верен своим семейным традициям, что они имеют для меня принципиальное значение.

Мать моя скончалась, когда мне было пять лет, и мои скудные воспоминания о ней безнадежно спутаны с воспоминанием об урагане, опустошившем остров. Эти две катастрофы разразились одновременно и вызвали ряд ужасных перемен. Как сейчас помню вывороченные с корнем деревья и кучи мокрых алых лепестков, смешанных с грязью в канаве, помню также, как кто-то сказал, что мать моя умирает, а затем — что она умерла. Кажется, я не был особенно огорчен, а скорее ошеломлен.

Отец мой после бесплодной переписки с родственниками с материнской стороны, жившими в Португалии, и с богатым дядей из Алеппо в конце концов вверил меня попечениям начинающего пастора, ехавшего из

Мадейры в Англию, поручив ему передать меня с рук на руки в Челтенхеме тетке, мисс Констанции Блетсуорси, которая благодаря этому впервые узнала о моем существовании. Отец снабдил своего посланца документами, удостоверяющими мою личность. Я смутно помню, как поднимался на борт парохода в Фуншале, но воспоминания о морском путешествии, к счастью, изгладились из моей памяти. Гораздо отчетливее вспоминается мне гостиная тетки в Челтенхеме.

Мисс Констанция Блетсуорси была весьма величавая дама в белокуром парике или с белокурыми волосами, причесанными таким образом, что они смахивали на парик; при ней была компаньонка, похожая на нее, но гораздо полнее, на редкость дородная особа, и ее грандиозный бюст сильно поразил мое детское воображение. Помню, как они восседали в креслах высоко надо мной, а я примостился на подушечке у камина. Разговор с молодым пастором был весьма знаменателен и врезался мне в память. Обе дамы были того мнения, что пастора по ошибке направили в Челтенхем и что ему следует немедленно проехать со мной по железной дороге — всего час пути — к моему дяде, настоятелю церкви в Гарроу-Хоуарде.

Тетка несколько раз повторила, что она, конечно, тронута доверием моего отца, но что состояние здоровья не позволяет ей заняться мною. И она и компаньонка начали распространяться о ее болезнях, и, думается, молодому пастору было не совсем удобно это выслушивать, причем они сообщали совершенно ненужные подробности. Видно было, что они усиленно обороняются. А пастор, при всем сочувствии, к какому вынуждал его сан, проявлял явное желание отмахнуться от этих излияний, грозивших осложнить порученное ему дело. Отец, мол, ничего ему не говорил о своем брате в Гарроу-Хоуарде, наказав доставить меня к тетке Констанции, старшей его сестре и оплоту их семьи, как он выразился.

Пастор заявил, что он не вправе отступать от полученных им инструкций. Он утверждал, что добросовестно выполнил свое поручение, сдав меня на руки тетке, и теперь необходимо уладить вопрос о кое-каких дорожных расходах, не предусмотренных моим отцом.

Между тем я продолжал стоически сидеть на своей подушечке, делая вид, что внимательно разглядываю каминную решетку и очаг, каких не встречал на Мадейре, но старался не проронить ни единого слова из их разговора. Мне не очень-то улыбалось остаться у тетки, но хотелось поскорее распроститься с молодым пастором, так что я горячо желал ему успеха в его попытках оставить меня здесь и обрадовался, когда он настоял на своем.

Это был толстый человек с круглым бледным лицом и высоким придушенным тенорком, скорей пригодным для чтения молитв, чем для житейской беседы. В начале нашего знакомства он проявил ко мне самые пылкие дружеские чувства и предложил спать на его койке; но моя неспособность терпеливо переносить качку и бороться с ее последствиями мало-помалу испортила наши отношения, поначалу обещавшие быть идеальными. Ко времени прибытия в Саутгемптон у нас развилась взаимная неприязнь, смягчавшаяся лишь надеждой на близкую и длительную разлуку.

Короче говоря, он хотел поскорее отделаться от меня...

Я остался у тетки.

Челтенхем оказался для меня не очень счастливым приютом. Пятилетний мальчик все время ищет, чем бы ему заняться, неблагоразумен в выборе забав и разрушителен в своих попытках основательнее ознакомиться с любопытными, но хрупкими предметами, которыми изобилует окружающая его обстановка. Тетка помешана была на коллекционировании челсийских статуэток и вообще старого английского фарфора; она любила эти причудливые вещицы, но не способна была понять моего пристрастия к ним, оценить творческой игры моего воображения, вносившей трагическую сумятицу в мирок ее сокровищ. Не понравились ей также мои попытки затеять игру и внести разнообразие в жизнь двух огромных дымчато-голубых персидских кошек, служивших украшением ее дома. Я и не знал, что если хочешь поиграть с кошкой, то не надо слишком рьяно преследовать ее, и что даже очень метко направленные пинки редко вызывают в кошке ответное веселье. Мои герой-

ские подвиги в саду, где я воевал с теткиными георгинами и астрами, словно с полчищами свирепых врагов, не вызывали у нее ни малейшего сочувствия.

Двое престарелых слуг и сморщенный садовник, следившие за порядком в доме и охранявшие достоинство моей тетки и ее компаньонки, разделяли мнение своей хозяйки, что воспитание детей должно носить исключительно репрессивный характер, так что мне приходилось действовать тайком. Помнится, ко мне был приглашен молодой учитель, которому было поручено ходить со мной гулять как можно дальше и внушать мне правила нравственности как можно тише; но я плохо помню его — разве только, что он носил пристегивающиеся манжеты, что было мне в диковинку. Словом, Челтенхем оставил у меня впечатление какой-то безотрадной пустыни: бесконечные широкие улицы, светло-серые дома под бледно-голубым небом, ванная комната, плетеные стулья и полное отсутствие ярких красок и веселых происшествий, в противоположность жизни на Мадейре.

Месяцы, проведенные в Челтенхеме,— возможно, что это были недели, хотя они представляются мне бесконечно долгими месяцами,— я отмечаю как некое междуцарствие, предшествующее моей настоящей жизни. Витавшие вне поля моего зрения тетка с компаньонкой, наверное, прилагали самые ревностные усилия, чтобы переместить меня в другую обстановку, ибо на мрачном фоне моих челтенхемских воспоминаний появлялись и исчезали еще более смутные фигуры — все это были Блетсуорси, они разглядывали меня, не проявляя ни симпатии, ни враждебности, и быстро обнаруживали нежелание иметь со мной дело в дальнейшем. Помнится, тетке давали различные советы. Одни уговаривали ее оставить меня, так как я буду отвлекать ее от мыслей о болезни,— хотя она явно не желала отвлекаться от этих мыслей, да и кто этого хочет? Другие уверяли, что лучше всего вернуть меня отцу: но это было невозможно, потому что он переехал с Мадейры в Родезию, не сообщив своего нового адреса, а наша имперская почта не принимает маленьких мальчиков, адресованных до востребования в дальние колонии. Наконец,

третьи полагали, что все это «дело», под каковым подразумевали меня, следует предоставить на усмотрение моему дяде, преподобному Руперту Блетсуорси, настоятелю Гарроу-Хоуарда. Все они были того мнения, что для Блетсуорси я обещаю быть слишком маленького роста.

Мой дядя в то время находился с несколькими английскими епископами в России, где обсуждался вопрос о возможном соединении англиканской и православной церквей,— это было еще задолго до мировой войны и до прихода к власти большевиков. Письма моей тетки летели ему вдогонку, но запаздывали, и им так и не суждено было настигнуть дядю. И вдруг, когда я уже начал примиряться со своим бесцветным существованием в Челтенхеме под надзором воспитателя с пристегивающимися манжетами, появился мой дядя.

Он сильно напоминал моего отца, но был ниже ростом, розовощекий, кругленький и одевался, как всякий богатый и преуспевающий пастор, тогда как отец ходил в мешковатом, обтрепанном и застиранном фланелевом костюме. В дяде тоже многое было не совсем понятно, но это не так бросалось в глаза. Волосы у него были серебристо-седые. Он сразу же расположил меня в свою пользу и внушил доверие. Нацепив на нос очки без ободка, он стал разглядывать меня с улыбкой, которая показалась мне необычайно привлекательной.

— Ну-с, молодой человек,— начал он почти отеческим тоном,— они тут, кажется, не знают, что с вами делать. Что вы скажете, если я предложу вам переехать ко мне и жить со мною?

— Охотно, сэр! — сказал я, как только уяснил смысл его вопроса.

Тетка и компаньонка так и просияли. Они отбросили в сторону всякое притворство. Я и не подозревал, какого они хорошего мнения обо мне!

— Он такой милый, смышленый,— нахваливали они меня,— такой любознательный! Если за ним смотреть как следует и кормить его хорошенько, из него получится замечательный мальчик!

Итак, судьба моя была решена.

2

СВОБОДОМЫСЛЯЩИЙ СВЯЩЕННИК

Я считаю, что с переселения в Гарроу-Хоуард начинается моя настоящая жизнь. Память сохранила лишь клочки и обрывки событий раннего детства, но воспоминания мои становятся связными и отчетливыми с того самого дня, как я прибыл в этот на редкость гостеприимный дом. Мне кажется, я мог бы начертать план пасторского дома и, уж конечно, сада; я помню характерный запах сырости от колодца во дворе, за службами, и девять ноготков, посаженных на равном расстоянии друг от друга у серой каменной стены. Каждый год старый садовник Блекуэлл пересаживал их. Я мог бы составить хронику династии тамошних кошек и подробно описать характер каждой из них. За выгоном была канава, а дальше круто вставал безлесный холм. Бывало, в снежную зиму или в жаркое лето я скатывался с него на доске: сухая трава летом была еще более скользкой, чем лед. Перед пасторским домом расстилалась лужайка с аккуратно подстриженной травой, окаймленная изгородью из тисов, слева — ряд коттеджей и у самой дороги — почтовая контора и универсальная лавка. Церковь и погост составляли нашу границу с другой стороны.

Дядя взял меня к себе, когда я был маленьким, еще не сложившимся, податливым существом, из которого можно было вылепить все что угодно, и в Гарроу-Хоуарде из меня получился настоящий Блетсуорси, каким я остаюсь и по сей день.

С первой же минуты нашего знакомства дядя стал для меня чем-то необходимым, я почувствовал, что найду в нем защиту. Словно я проснулся в одно прекрасное утро и увидел его перед собой. До его появления все в моей жизни было смутно, тревожно и вдобавок неустойчиво: я чувствовал, что со мной что-то неладно, что положение мое непрочно, что я окружен какими-то таинственными разрушительными силами и на каждом шагу меня подстерегает роковая опасность. Под покровом повседневной жизни притаилась буря. Теперь же ощущение, будто я сплю наяву и мое сновидение

в любой миг может превратиться в кошмар, который уже не раз врывался в мою детскую жизнь, бесследно исчезло на много лет.

Сидя в гостиной в Челтенхеме, дядя сказал:

— Да, жизнь обошлась с тобою несколько сурово, но, по существу говоря, все обстоит благополучно.

Пока он был жив, и впрямь все обстояло благополучно или же обаяние его личности порождало иллюзию благополучия. Даже и сейчас я не мог бы сказать, как в действительности было.

Свою тетку Доркас я не могу припомнить так живо, как дядюшку. Конечно, я хуже помню ее, чем старика Блекуэлла или кухарку. Это странно, потому что она наверняка немало повозилась со мной. Но она была вечно в заботах, на заднем плане, и все, что она делала, получалось как-то само собой и, казалось, иначе и быть не могло. Я думаю, что ей очень хотелось иметь собственных детей, и первое время она была, вероятно, огорчена, что ей придется воспитывать племянника, наполовину чужеземца, уже вышедшего из младенчества, существо недоверчивое, любопытное, с трудом орудующее небольшим запасом английских слов, пересыпая их португальскими. Может быть, некоторая духовная отчужденность навсегда осталась между нами. Я никогда не чувствовал, что ей нужна моя привязанность, свой долг по отношению ко мне она выполняла безупречно, но, когда я теперь оглядываюсь на прошлое, мне становится ясно, что между нами не было сердечных отношений матери и сына. Я не занимал сколько-нибудь важного места в ее жизни.

Но тем больше я привязался к дяде, который, казалось, распространял вокруг себя душевное тепло, подобно тому, как свежескошенное сено разливает аромат на лугу в погожий день. В моем детском воображении он царил не только над домом, церковью и всем населением Гарроу-Хоуарда, но и над широкой равниной, даже над солнцем. Поразительно, как быстро он вытеснил у меня из памяти образ отца!

Мои представления о боге неразрывно связаны с дядей. На Мадейре мне часто приходилось слышать слово «диос» (бог) в клятвах и молитвах — это был субтропический бог, гневный громовержец. Только достиг-

нув сознательного возраста, я смог сопоставить и связать воедино два совершенно разных представления о божестве. В Англии бог предстал мне как некая дружественная тень моего дядюшки, это был милый английский «бог-джентльмен», какой-то державный сверх-Блетсуорси, бог ясный, как роса, лучезарный, как морозное утро, услужливый и беззлобный, излюбленными праздниками которого были рождество, пасха и праздник урожая. Этот бог царил в благоустроенном мире и хмурился лишь для того, чтобы вновь заулыбаться. Даже в страстную пятницу, сугубо торжественный день строгого поста, дядя давал нам понять, что молодой джентльмен вернется цел и невредим в день светлого воскресенья. Конечно, надо настроиться на серьезный лад, не худо поразмыслить на духовные темы, но мы всякий раз получали горячие сдобные булочки с выпеченным на них крестом.

В дядиной церкви были кресты, но не видно было ни распятий, ни терновых венцов, ни гвоздей.

Бывало, дядя откинет рукава стихаря на своих красивых руках и, наклонившись над перилами кафедры, начнет приятным голосом беседовать с прихожанами о приятной «верховной силе, управляющей миром»; говорил он обычно минут двадцать, не больше, ибо господь бог не должен утомлять немощную братию. Этот блетсуорсианский бог иногда требовал пояснений, действия его приходилось оправдывать в глазах людей, но так, чтобы это не было скучно. В своих проповедях дядя особенно любил упоминать о радуге, о ковчеге и о благих божественных обетованиях. В его представлении господь бог отличался необычайной порядочностью, и, слушая поучения дяди, мне хотелось также быть порядочным, безупречным джентльменом. «Честное благородное слово», «вопрос чести», «к вашим услугам, сэр!» — эти слова не сходили у меня с языка. Все годы юности я прожил в этом особом мирке и чувствовал себя превосходно. Неужели же это было только сном?

Зло было где-то далеко-далеко, ад — в совершенном забвении. «Не делайте того-то»,— говорил дядя, и мы не делали. «Сделайте это»,— говорил дядя, и мы добросовестно делали. «Друзья мои,— взывал он,— не будьте

слишком строги к своим ближним». Сам он был весьма снисходителен к бедным грешникам. «Почем вы знаете, может быть, он уже встал на путь истинный»,— бывало, говаривал он. Даже цыгане, кочевавшие по мирной холмистой равнине, с которыми дяде приходилось иметь дело в качестве судьи, были глубоко англизированные цыгане; если они иной раз и крали, то какую-нибудь мелочь, и уж их никак нельзя было назвать разбойниками.

Добрая старая Англия! Увижу ли я тебя когда-нибудь снова такой, какой ты мне представлялась в те счастливые, безмятежные годы? Говорят, Лангедок и Прованс — прекрасные страны, да и Саксония тоже. В Скандинавии найдется немало мест, где царит всеобщее благополучие и лишь кое-что нуждается в объяснении. Но я незнаком с этими странами. Сердцу моему милы холмистые равнины Англии.

Итак, дядюшка, откидывая рукава стихаря и наклоняясь над перилами кафедры, улыбался ласково и убедительно, и в его устах все становилось ласковым и прозрачным, как воздух Англии, и, казалось, я вижу высоко в голубом эфире другого, еще более ласкового дядюшку, поучающего свой счастливый мир. Внизу, как бы на скамьях храма, восседают монархи, владыки и сильные мира сего, исполненные самых благих намерений,— в чем мне пока что не приходилось сомневаться. А над всеми возвышается королева Виктория, простодушная, добрая и мудрая, похожая на круглый деревенский хлеб, увенчанный короной, и кажется она мне не просто королевой и императрицей, а каким-то наместником бога на земле. По воскресеньям она восседает на своем месте перед самой кафедрой господней и уж, наверное, приглашает господа бога к себе на завтрак. Чернокожим царькам, для которых она могущественнее господа бога, она дарит томики авторизованного английского перевода библии, великодушно препоручая их своему другу и повелителю. Без сомнения, она пишет ему важные письма, высказывая свои личные пожелания, подобно тому как писала лорду Биконсфильду и германскому императору о мероприятиях, отчасти подсказанных ей бароном Стокмаром и имеющих целью благо ее империи, самого господа бога, вселенной и всего ее семейства.

Пониже королевы — иерархия подчиненных ей благодетелей рода человеческого. Например, наш местный магнат сэр Уилоуби Денби, великий специалист по орошению субтропических областей и разведению хлопка для нужд манчестерских прядилен и населения всего земного шара, видный, румяный, склонный к ожирению мужчина, разъезжавший по селу на сытом клеппере. Далее, к Дивайзу, простирались владения и сфера влияния лорда Пенхартингдона, банкира и археолога, мать которого была урожденная Блетсуорси. По существу говоря, наследственные земли Блетсуорси тянулись от Даунтона до Шефсбери и далее до Уинкентона.

В этом благополучном мире, сотворенном моим добросердечным дядей и его богом на взгорьях Уилтшира, я перешел от детства к возмужалости, и кровь моей матери, беспокойная и страстная, струилась в моих жилах, ничем не выдавая себя. Пожалуй, для Блетсуорси я был не в меру болтлив и чересчур способен к иностранным языкам. Вначале у меня была гувернантка, некая мисс Даффилд из Борз-хилла близ Оксфорда, дочь приятеля моего дяди, благоговевшая перед ним и весьма успешно преподававшая мне французский и немецкий языки, а затем меня определили пансионером в превосходную школу в Инфилде, которая стараниями сэра Уилоуби Денби была поставлена на высоту и наделена особыми правами. Она пользовалась репутацией передовой по тому времени школы; там нас обучали плотничьему ремеслу, проделывали при нас всякие опыты над растениями и лягушачьей икрой и заставляли изучать историю Вавилона и Греции вместо греческой грамматики. Дядя мой был попечителем этой школы, заходил туда время от времени и вел с нами беседы.

Говорил он кратко, минут пять—десять, не больше, и его речь производила впечатление импровизации. Видимо, он наспех обдумывал тему беседы, пока шел к нам в школу. Он не стремился навязать нам свои убеждения, нет, это было просто доброе слово, которым он хотел помочь нам в наших затруднениях и давал живой отклик на запросы юности, вечно жаждущей деятельности и познаний.

— Цивилизация! — наставлял он нас. — Вырастайте здоровыми и крепкими и отправляйтесь насаждать на земле цивилизацию.

Так вот для чего существовала инфилдская школа! Цивилизация была лозунгом дяди; мне кажется, он произносил это слово раз в шесть чаще, чем слово «христианство». Богословие он считал игрой ума, и, пожалуй, даже праздной игрой. Он стоял за воссоединение церквей в интересах цивилизации и возлагал большие надежды «на святых мужей», проживавших в Троице-Сергиевской лавре под Москвой, вдали от мирской суеты. Он мечтал о сближении между православным и англиканским духовенством. Он склонен был всегда и во всем усматривать сходство, не обращая внимания на существенные различия. Ему казалось, что длинноволосый бородатый русский священник, по существу, тот же благонамеренный английский викарий. Он воображал, что русские помещики могут стать чем-то вроде английских сквайров и заседать в каком-нибудь этаком парламенте в Петербурге. Он переписывался кое с кем из кадетов. И вопрос о «Filioque»[1], этот спорный догматический пункт, на котором расходятся латинская и греческая церкви,— я сильно опасаюсь,— представлялся ему своего рода софизмом.

— В конце концов мы ведь одной веры,— говорил он мне, приготовляя меня к причастию.— Не стоит волноваться из-за обрядов и догматов. В мире существует только одна истина, и все добрые люди владеют ею.

— А Дарвин и Хаксли? — подумал я вслух.

— Оба хорошие христиане,— ответил он,— в полном смысле этого слова. То есть честные люди. Вера никуда не годится, если ее нельзя проветрить, повертеть на все лады и поставить на голову так, чтобы она устояла!

Он стал уверять меня, что епископское сословие много потеряло в лице Хаксли — это был «атлет духа» и до мозга костей респектабельный человек. Его слова имели особенный вес. Наука и религия — две стороны одной и той же медали, то есть истины, но из этого не следует, что они должны враждовать между собой. Быть инстинктивно христианином — в этом, может быть, сущ-

[1] И сына (*лат.*). Пункт из символа веры.

ность здорового христианства. «Если ты стоишь,— говорил дядя, приводя цитату из священного писания,— берегись, как бы тебе не упасть». В сущности, все люди имеют в виду одно и то же, и каждый из нас в глубине души человек добрый. Но иные люди изменяют себе. Или же не находят правильного объяснения вещам. Вопрос о происхождении зла мало тревожил моего дядю, но порою его, думается мне, ставила в тупик нравственная неустойчивость ближних. За завтраком, читая газету, он любил побеседовать с женою, с мисс Даффилд и со мною или же с нередко появлявшимися у нас гостями о преступлениях, о досадном поведении достойных сожаления лиц, вроде душегубов, мазуриков и тому подобных.

— Фи, фи! — говорил он бывало, приступая к завтраку.— Это уж прямо из рук вон!

— А что они там натворили? — допытывалась тетка Доркас.

— Какая злоба и какая глупость! — отвечал он.

Мисс Даффилд, откинувшись на спинку стула, с восторгом смотрела на него, ловя каждое его слово; тетка же продолжала завтракать.

— Да вот один непутевый парень ни с того ни с сего вздумал отравить свою жену! Он застраховал ее на кругленькую сумму — это-то и привлекло внимание к данному делу,— а потом возьми да и подсыпь ей яду. А ведь у них трое прелестных ребятишек! Когда в суде стали расписывать, как женщина мучилась и перед смертью проклинала его, так бедняга чуть не задохнулся от слез. Бедный идиот! Ну и ну!.. Да он просто не знал, где достать денег... Несчастный!

— Но ведь он ее убил,— заметила тетка Доркас.

— Впадая в такое ужасное состояние, они теряют всякое чувство меры. Я часто сталкивался с такими субъектами, когда был судьей. Утрачена вера в жизнь,— а затем они впадают в состояние какого-то безумия. Весьма вероятно, что этот тип хотел достать денег потому, что не мог видеть, как страдает от нищеты несчастная женщина. А потом жажда денег всецело овладевает человеком. Денег во что бы то ни стало подавай ему, да и только! Больше он ни о чем не может думать.

Мисс Даффилд энергично кивала головой в знак полного одобрения, но тетка Доркас все еще сомневалась.

— Но что бы ты с ним сделал, дорогой? — спросила она.— Неужели ты бы позволил ему отравить еще кого-нибудь?

— А разве ты уверена, что он бы это сделал? — отвечал дядя.

— Христос простил бы его,— тихо и как бы нерешительно проговорила мисс Даффилд.

— Я думаю, его следовало бы повесить,— начал дядя, обстоятельно отвечая на вопрос тетки.— Да, я думаю, что его следовало бы повесить. (Какая чудесная копченая селедка! В последнее время таких что-то не попадалось!) — Тут он стал обсуждать вопрос с разных сторон.— Я бы отпустил ему его грех, но не помиловал бы его. Нет! Его следует повесить — для острастки, чтобы не вводить в соблазн немощных братьев. Да. Он должен быть повешен.— Дядя глубоко вздохнул.— Но по-культурному. Понимаете?.. Кто-нибудь должен поговорить с ним по душе и объяснить ему, что его казнят без всякой злобы; мы понимаем, что все мы бедные грешники, подверженные соблазнам, ни на йоту не лучше его, нисколько не лучше, все мы грешники, но именно потому он и должен умереть. Мы должны его покарать для общей пользы. Правда, ему придется пройти через неприятные переживания, но он умрет за благо человечества, совсем как солдат на поле битвы... Я предпочел бы, чтобы дело обошлось без палача. Палач — это варварство. Куда культурнее была бы чаша с цикутой, два-три благорасположенных к нему свидетеля, ласковые слова, дружеские утешения... Мы к этому еще придем,— продолжал дядюшка.— Таких случаев становится все меньше: ведь и люди делаются терпимее и порядки лучше. Чем цивилизованнее мы становимся, тем меньше озлобления, отчаяния и подлости, которыми вызваны подобные преступления. И тем реже приходится прибегать к суровым мерам. Дела поправляются. Когда ты доживешь до моих лет, Арнольд, ты сам увидишь, насколько все стало лучше!

Он грустно покачал головой и, казалось, колебался, стоит ли еще толковать о газетах.

Нет, на сегодня довольно! Он рассеянно поднял голову, стал пристально разглядывать шкаф и взял новую порцию копченой селедки...

Он любил рассказывать, что за всю его судейскую деятельность ему ни разу не случалось судить действительно дурных людей, ни мужчин, ни женщин, а только невежественных, морально тупых и безнадежно слабоумных. Теперь я понимаю, до какой степени он был непоследователен. Все его профессиональное богословие построено было на доктрине грехопадения, а он ежедневно ее опровергал.

В самом деле, что такое грех? Грех отступает перед цивилизацией. Может быть, в далеком прошлом и существовали смертные грехи, но эти плевелы так долго и упорно искоренялись, что теперь стали прямо-таки редкостью. Все его высказывания сводились к тому, что, откровенно говоря, не существует греха,— только человеческое недомыслие и заблуждение. Поэтому-то он и не проповедовал. Куда легче было давать объяснения!

Дядя учил меня не бояться жизни. Бесстрашно и без оглядки заходить в самые темные закоулки. Говорить правду и «посрамлять дьявола». Платить, сколько запросят, не торгуясь и не задавая вопросов. Порой тебя могут обмануть или грубо с тобой обойтись, но, в общем, если верить людям и доверяться им,— не прогадаешь. Совершенно так же тебя не может укусить собака, если ты не разозлишь и не испугаешь ее. Хуже нет, как дразнить животное или выказывать перед ним страх. Если ты идешь спокойно, собака ни за что не тронет тебя.

Когда ему возражали, что на земле существуют не одни только собаки, но также тигры и волки, он отвечал на это, что в цивилизованном мире они так редко встречаются, что их можно не принимать во внимание. Мы живем в цивилизованном мире, который с каждым днем становится все культурнее. Если мы что-либо игнорируем, то для нас, можно сказать, это как бы не существует. В жизни бывают моральные потрясения и материальные потери, но вокруг нас достаточно честных людей, достаточно доброжелательства, и мы вправе не считаться с неприятными случайностями и ходить безоружными. Он полагал, что человек, носящий

оружие, или буян, или трус. Он не признавал никаких мер предосторожности, направленных против наших ближних. Ненавидел сейфы. Презирал всякого рода шпионство. Терпеть не мог прятать вещи от людей и прибегать к каким-нибудь уловкам. Ему казалось, что всякий секрет омрачает нашу жизнь, а всякая ложь — грех.

Все люди добры, пока их не преследуют или не выводят из себя, не обманывают, не морят голодом, не раздражают или не устрашают. Люди — поистине братья. Таковы были взгляды и убеждения моего милого дядюшки, убеждения, которые он проводил в жизнь, и так именно понимал он цивилизацию. Когда весь мир, наконец, станет цивилизованным, все и каждый будут счастливы!

Благодаря этому его учению и живому примеру дяди, доверчивого и душевно чистого человека, я сделался тем, что, надеюсь, и сейчас собою представляю, хотя мне пришлось пережить опасные приключения и проявлять страх и подлость; несмотря на эти теневые стороны характера, я могу себя назвать цивилизованным человеком.

Я почти не имел представления о военных и социальных конфликтах, уже грозивших нам в эти золотые викторианские дни. Последняя серьезная война была между Францией и Германией. Порожденная ею вражда, по словам дяди, ослабевала с каждым годом. Мысль о том, что между Германией и Англией когда-нибудь может разгореться война, противоречила законам кровного родства. Ведь человек не может жениться на своей бабушке, а тем более драться с нею; а королева Англии — всему миру бабушка, в частности и германскому императору Вильгельму!

Революции еще менее угрожали нам, чем войны. Социализм, учил меня дядя, представляет весьма здоровый корректив к некоторой жестокости, которую проявляют фабриканты и дельцы, охваченные жаждой наживы. Объясняется это главным образом тем, что они плохо разбираются в социальных вопросах. Дядя дал мне прочесть Рескина «В грядущие дни», а затем «Вести ниоткуда» Уильяма Морриса. Я глубоко проникся духом этих книг и со спокойной уверенностью ожидал будущего, когда все и каждый поймут друг друга и будут жить в согласии.

3

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ДЯДИ

В школьной жизни мне вряд ли пришлось испытать больше всякого зла, чем в доме дяди. Впоследствии я немало слыхал о чрезвычайной испорченности школьников и о школах Великобритании,— их считали сущей моральной клоакой. Я убежден, что многое в этих слухах преувеличено; во всяком случае, в Инфилде ученики как будто не отличались испорченностью. Мы не лишены были характерной для нашего возраста любознательности и удовлетворяли ее без особых эксцессов; как все мальчишки, мы любили подтрунивать над тем, что принято прикрывать фиговым листком общественных условностей.

Провидение в своей неисповедимой премудрости устроило так, что иные стороны жизни вызывают сомнения в духовной ценности человека, и юношеское сознание в своих попытках постичь смысл мироздания неизбежно проходит сквозь фазу удивления, протеста и вполне естественной иронии.

Если не считать кое-каких легко объяснимых странностей и душевных уклонов, я рос простодушным, чистым и здоровым мальчиком. Я недурно изучил три языка и естественные науки и добился значительных успехов в крикете, научившись сильными и четкими ударами посылать мяч по кривой, которую со стороны можно было принять за прямую. Научился ездить верхом и играть в теннис, который в ту пору был еще совсем примитивным. Я сильно вытянулся, и волосы у меня посветлели. Тот, кто увидел бы, как я шествую во фланелевом костюме в парке сэра Уилоуби Денби к спортивной площадке, вряд ли мог заподозрить, что моя мать наполовину португалка, наполовину сирийка с примесью крови аборигенов Мадейры, а также подумать о том, что отдаленные предки Блетсуорси были украшены шерстью и хвостом,— так глубоко я проникся духом Блетсуорси, настолько цивилизовался.

Из меня получился морально чистый, уверенный в себе и доверчивый юноша, и если я не любил смотреть в лицо неприятным фактам, то главным образом потому,

что в этой тихой, богатой зеленью округе Уилтшира мало было неприятных фактов, бросавшихся в глаза. И когда я наконец отправился в Оксфорд, в Лэтмир, то ни там, ни по дороге не встретил никаких досадных неожиданностей.

За мое обучение в Оксфорде платила тетка Констанция Блетсуорси; она умерла и оставила мне все свое небольшое состояние за вычетом годовой пенсии, выплачиваемой ее компаньонке,— пенсии, поглощавшей большую часть дохода. Обе эти женщины, вначале смертельно меня боявшиеся, почувствовали ко мне искреннюю симпатию, когда я пышно расцвел, пригретый любовью заботливого дяди. Завещание было составлено, когда мой отец был убит в Бечуаналенде и я остался нищим сиротой. Он убит был при крайне запутанных и никогда полностью не выясненных обстоятельствах, где бурская война, его спорный брак с дочерью одного бечуаналендского чиновника и права на какие-то участки, которые оспаривал его предполагаемый тесть, играли значительную роль. Он не сумел объяснить, почему очутился на бурской территории за линией фронта в связи с каким-то делом, имевшим отношение к его всегда сложной, но никогда, думается мне, не бесчестной личной жизни и мудреным, малопонятным поискам золота. Но в то время мы считали, что он пал «за короля и отечество» на поле битвы.

Бурская война не оставила никаких болезненных следов в моей детской душе. Конечно, это была «самая культурная война во всей истории», где проявлено было немало благородства и рыцарства, «война белых людей», которая кончилась взаимным уважением врагов и дружескими всеобщими рукопожатиями. Большинству из нас рано или поздно суждено осиротеть, и иметь отца, который давно забыт и погиб, как полагали, смертью храбрых в честном бою, было большим утешением.

Смерть королевы Виктории также ничуть не огорчила меня; Виктория ознаменовала собой блистательную эпоху, и я был слегка удивлен, обнаружив, что «Панч» по-прежнему существует и англиканская церковь тоже. Да, все осталось на прежнем месте, и вскоре мы убедились, что жизнь идет своим чередом; правда, Англия, казалось, осиротела, но у нее не было убитого ви-

да. Вместо Виктории воцарился король Эдуард, морально обновленный, и по-прежнему любезный, и чувство устойчивости существующего порядка не только не поколебалось, но кончина королевы даже его укрепила.

Живя в Лэтмире, я уверовал в мировую цивилизацию. Я сознавал себя не только в безопасности, но чувствовал, что обладаю известными привилегиями. Я увлекался греблей и сидел четвертым номером на гичке нашего колледжа. Я хорошо плавал. Я помадил волосы и делал посредине пробор. Наряжался. Носил элегантный красный вязаный жилет в желтую полоску. Научился различать сорта вин. У меня были приятели, и кое с кем из них я завязал тесную пылкую дружбу; я влюбился в дочь вдовы табачника, державшей лавку на одной из улиц Лэтмира. Я усвоил всю премудрость, необходимую для получения ученой степени. И принимал скромное участие в спектаклях, организуемых Драматическим обществом Оксфордского университета.

В те дни у меня были все основания чувствовать себя счастливым. И теперь я оглядываюсь на этот период времени, как осужденный на пожизненное заключение вспоминает какой-нибудь праздничный летний день своей привольной, мирной юности. Оставленное мне теткой небольшое, но вполне приличное состояние избавило меня от погони за заработком, на которую обречено большинство вступающих в жизнь молодых людей. Смерть ее бывшей компаньонки, сделавшая меня нераздельным владельцем всего наследства, я перенес спокойно и мужественно и готовился прочно занять свое место в установленной и освященной свыше общественной иерархии, наивно уверенный в прочности этого порядка вещей. Мне и в голову не приходило, что все мое благополучие и светлые надежды окажутся лишь блестящей мишурой, прикрывающей ряд уготованных мне тяжких переживаний.

Первой черной тенью, упавшей на мою молодую жизнь, были быстро последовавшие одна за другой смерти тетки и дяди. Дядя, кажется, первым заболел, а умер после тетки. Чем именно он был болен, я не знаю и думаю, что это так и осталось невыясненным. Благодаря профессиональной выучке и кастовой организации английские врачи приобретают весьма почтенный вид,

любовь к комфорту и степенные манеры, но отнюдь не искусство ставить диагноз. Медики как-то глухо упоминали об аппендиксе, почках, печени, селезенке, желудке, симпатической нервной системе и какой-то таинственной инфекции как о возможных причинах его дурного самочувствия и болезни, благоразумно избегая точного диагноза. В свидетельстве о смерти говорилось о сердечной слабости как следствии простуды. Специалистов не приглашали, ибо пришлось бы пригласить их слишком много, а гонорар за все прогнозы был дяде не по карману. В этом глухом, удаленном от Лондона местечке приходилось полагаться главным образом на память врача, припоминавшего, как он и его коллеги лечили в аналогичных случаях, да на ассортимент лекарств в местной аптеке.

Дядя переносил жестокие страдания с мужеством и не теряя надежды. Он был очень тронут, когда доктор явился на вызов в ночной час, покинув теплую постель и пройдя не меньше двух миль под дождем; он словно чувствовал себя виноватым, что страдает такой непонятной болезнью и что приступ случился в столь неурочное время. Ему казалось, что с его стороны прямо-таки некрасиво задавать столь трудную задачу своему доброму другу да еще беспокоить его так поздно.

— Вы, доктора, воистину соль земли! — говорил он.— Что бы мы делали без вас?

Тетка простудилась, ухаживая за дядей, и скончалась от воспаления легких. Два или три дня он лежал, не зная о своей утрате.

Почти до самого конца он надеялся на выздоровление.

— Я стреляная птица! — твердил он и не оставил мне никаких распоряжений.

Узнав наконец (хотя он вряд ли полностью осознал этот факт) о смерти жены, он как-то странно притих.

— Умерла,— глухо отозвался он, когда ему в осторожной форме сообщили о ее кончине в ответ на его вопрос о ней, и вздохнул.— Умерла. Доркас умерла,— повторил он и больше о ней не говорил. Он как бы замкнулся в себе и ушел в свои мысли. Умер он через три дня на руках деревенской сиделки.

Перед концом он совсем не страдал, забылся и слегка бредил. Должно быть, он пребывал где-то близ свое-

го бога, которому всегда служил; казалось, все в мире стало теперь ему ясным и понятным.

— Какое чудо — цветы, какое чудо — звезды,— шептал он,— какое чудо — сердце человека! Зачем сомневаться хоть на мгновение, что все создано для блага? Зачем сомневаться? — И вдруг как бы случайно прибавил: — Всю свою жизнь я ходил по земле и не удивлялся, как прекрасны кристаллы, как прекрасны драгоценные камни. Черная неблагодарность! Все принимал как нечто само собой разумеющееся. Все хорошее в жизни принимал как должное, а малейшее неизбежное испытание — как бремя!

Долгое время он лежал молча, потом вновь заговорил. Он уже забыл о драгоценных камнях и кристаллах. Он о чем-то спорил сам с собою, обнаруживая явное пристрастие.

— Бремя всегда дается нам по силам. Если же иной раз оно кажется тяжким... Воистину нет несправедливости.— Голос его замер, и он тяжело дышал.

Последнее, что осталось у меня в памяти,— это его голос, глухо прозвучавший в тишине комнаты, тускло освещенной лампой, когда он вдруг произнес мое имя. Должно быть, он заметил, что я стою в дверях. Окно его спальни было раскрыто настежь, но ему не хватало воздуха.

— Свежего воздуха,— твердил он,— побольше свежего воздуха. Выведите их всех на свежий воздух, всех на свежий воздух. Тогда все будет хорошо!.. Держите окна настежь. Всегда держите окна настежь. Шире, как можно шире... И ничего не бойтесь, ибо все совершается по воле божьей, хотя нам этого и не понять. Да, все по его воле...

Лицо его выражало напряженное внимание. Вдруг веки его опустились, он перестал смотреть на меня, дыхание стало затрудненным и вырывалось из груди со свистом.

Долгое время он хрипел; никогда не забуду его агонии. Хрип то замолкал, то возобновлялся, то опять затихал. Но вот морщины на лице его разгладились, и оно посветлело; он медленно раскрыл глаза и спокойно, пристально поглядел перед собой.

Я смотрел на него, ожидая, что он скажет, но он безмолвствовал. Меня охватил страх.

— Дядя! — прошептал я.

Деревенская сиделка дернула меня за рукав.

Утром, когда меня позвали к нему, лицо его уже стало маской и глаза навсегда закрылись. Черты его сохраняли приветливое выражение, но казалось, он был погружен в созерцание какой-то невыразимой тайны.

Мраморная статуя его предка в приделе Солсберийского собора — вылитый дядя. Даже руки у него были так же скрещены.

Мне так хотелось говорить с ним, сказать ему многое-многое, чего я не успел высказать, но было ясно, что отныне мы расстались с ним навеки.

Никогда еще мир не казался мне таким пустым и холодным, как в это солнечное утро. Я сидел у изголовья дяди и долго смотрел на милое мне застывшее лицо, такое знакомое и уже ставшее таким чужим, и тысячи мыслей проносились у меня в голове, и самых возвышенных и самых низменных. Я горевал о своей утрате и в то же время — я это хорошо помню! — подло радовался тому, что вот я жив.

Но вскоре мною овладело ощущение непривычного холода в сердце. Это чувство не было похоже на страх, оно было слишком глубоким и приглушенным. Я пытался прогнать это ощущение. Я подошел к окну: залитый солнцем безмятежный пейзаж как будто потерял волшебную веселость, которою раньше был напоен. Те же знакомые крыши пристроек, та же серая каменная ограда двора, выгон и престарелый пони, живая изгородь и крутой склон холма. Все было на месте, но все стало каким-то чужим.

Холод, пронзивший меня при виде дядиного лица, не уменьшился, а только усилился, когда я бросил взгляд на привычную обстановку; мне думается, то было не физическое ощущение, а какой-то душевный холод, совсем новое чувство — чувство одиночества и сознание, что у меня нет больше опоры в этом мире, который, быть может, совсем не таков, каким мне представляется.

Я отвернулся от дяди, испытывая смутный протест против этой перемены.

Опять мне захотелось сказать ему что-нибудь, и я убедился, что сказать мне нечего.

4

ЛЮБОВЬ И ОЛИВИЯ СЛОТЕР

Некоторое время жизнь моя текла без существенных перемен. Предчувствие одиночества, овладевшее мною у смертного одра дяди, нависло надо мной; оно все усиливалось, но я боролся, я старался изгнать его из своей души, что посоветовал бы мне и дядя, будь он в живых.

Окончив курс, я снял скромную квартирку в деревушке Кэрью-Фосетс, близ Борз-хилла, на окраине Оксфорда. Несколько приятелей и знакомых по университету составляли всю мою компанию, и казалось, лучшего места я нигде не найду. Я мечтал о длительных поездках в Альпы, в Скандинавию, в Африку и на Ближний Восток, а также о пешеходных прогулках по Лондону, чтобы ознакомиться с его многообразной жизнью. Подумывал я и об артистической поездке в Париж. Здесь я надеялся познакомиться с Америкой и Россией в лице их представителей. К России же, как таковой, я повернулся спиной: это была дикая страна, где пользовались несуразным алфавитом и изъяснялись на корявом языке. Отмахнулся я и от блеска и шума Нью-Йорка, от его веселья, яркого света и экзальтации, как от неприятного факта, которого можно избегнуть. Если людям нравится ездить туда, быть американцами и создавать там свой собственный мир, из этого не следует, что это должно меня интересовать.

Мне казалось, что я не лишен известной живости ума и одаренности, хотя никогда ясно себе не представлял, что это за дарования; во всяком случае, мне хотелось получше устроиться в жизни. Я сознавал, что мне повезло, что я нахожусь в привилегированном положении, и считал, что должен внести свой вклад. Мне думалось, что, пожалуй, лучше всего заняться какимнибудь искусством. Хорошо бы, например, написать роман-трилогию,— в те дни пользовался уважением лишь романист, производивший на свет тройню; подумывал взяться за изучение картинных галерей Европы на манер Рескина и записывать свои впечатления; завести печатный станок для издания ряда выдающихся произве-

дений или использовать опыт, приобретенный в драматическом обществе, для писания пьес. Подумывал я и о поэзии, вынашивал какую-то поэму, но вскоре решил, что технические трудности этого искусства стесняют полет моего творческого воображения. Я не был равнодушен к социальным вопросам того времени и решил, что моя художественная деятельность, в чем бы она ни состояла, должна иметь какую-нибудь высоконравственную и гуманную цель.

Приятели уговорили меня взять на себя обязанности почетного секретаря дышавшего на ладан «Клуба стрелков из лука», и здесь я достиг значительных успехов.

Вопрос о своих жизненных задачах я обсуждал со всяким, кто согласен был меня слушать; особенно часто я беседовал с моим другом Лайолфом Грэвзом, с которым совершал дальние прогулки, а также с Оливией Слотер, прелестной девушкой, о которой я уже упоминал; мое юношеское восхищение и дружба вскоре перешли в большую идеальную любовь. Как хороша была эта блондинка с тонкими чертами! Я до сих пор не могу ее забыть. Ее белокурые волосы отливали золотом. Она сияла в окне лавки между пачками табака и папирос, выставленных в витрине, как солнце сияет сквозь листву. В мои студенческие дни она часто подходила к дверям лавки и улыбалась мне, когда я проходил мимо по какому-нибудь делу,— и удивительно, до чего же часто у меня случались дела в той стороне! Она смеялась и бровями и глазами: рот у нее был прямо классических очертаний, и когда она улыбалась, верхняя губка слегка приподнималась, обнажая ослепительно белые зубы.

Поводы к коротким беглым беседам подвертывались все чаще, и на третий год моего обучения я ухитрялся чуть ли не каждый день видеться с ней. Однажды к концу дня мы встретились на велосипедах близ Абингдона и провели вместе восхитительный вечер. Мы пили чай в придорожном коттедже, а потом во фруктовом саду, спускавшемся к реке, стали целоваться, влекомые друг к другу неодолимой силой. Я поцеловал уголок ее рта, там, где поблескивали зубки, потом обнял, привлек к себе и стал целовать ее стройную тонкую шею; ее мягкие волосы щекотали мне щеку. После этого мы на-

правились к Оксфорду, ехали вместе до тех пор, пока позволяли приличия, и расстались, причем на обратном пути едва ли обменялись двумя словами. Мне казалось — вероятно, так казалось и ей,— что произошло величайшее событие в жизни.

Разгорался мягкий, теплый, золотой солнечный закат; она сама была такая нежная, теплая, золотая,— все казалось мне чудесным, и сердце мое плясало, как мошка в ослепительном солнечном луче.

После этого мы вошли во вкус поцелуев, и так как я был хорошо воспитан, то приправлял наши объятия разными изящными и благородными словесными пояснениями. В промежутках между поцелуями я говорил о высоких целях, которым должна быть посвящена наша любовь. Я вознес Оливию на недосягаемую высоту, и она царила в моей душе, как некое божество, незримо пребывающее в алтаре храма. После душеспасительных разговоров я опять переходил к поцелуям. Она целовала меня так страстно и ласкала так нежно, что только мысль о ее целомудрии сдерживала мой пыл; я был наверху блаженства.

Так как душа моя после священного залога любви переполнена была Оливией, что не вязалось с моей врожденной сдержанностью, то Оливия стала постоянным предметом моих разговоров с Лайолфом Грэвзом. После долгих бесед о нашем призвании мы с ним выработали весьма обнадеживающий план нового типа книжной торговли, которому не только надлежало сыграть серьезную просветительную роль в нашем отечестве, но и сделаться источником нашего богатства и известности. В те дни в Англии велось немало разговоров и споров по поводу недостатков нашей книжной торговли, и мы собирались ответить на эти жалобы созданием фирмы «Блетсуорси и Грэвз». Мы намеревались открыть сперва в двух-трех, а затем во многих городах целый ряд книжных магазинов, красиво убранных, где стены будут окрашены в совершенно особый синий тон. Магазины мы собирались обставить как гостиные, с креслами и удобными лампами для чтения, а с покупателями вести назидательные беседы и скорей соблазнять их чтением, чем навязывать покупку книг. В дождливые дни мы будем вывешивать плакат «Зайди и читай, пока дождь пройдет».

Мы мечтали ввести и много других усовершенствований в книжное дело.

Во время прогулок мы с Лайолфом Грэвзом наперебой доказывали друг другу, насколько выгодны будут наши предприятия для нас самих и для всего человечества. Мы будем покупать книги большими партиями, подчиним себе издателей и в конце концов завоюем любовь и уважение всего интеллигентного мира.

— Мы будем организовывать общественное мнение! — говорил Лайолф Грэвз.

Мы намеревались оказывать покровительство, поощрять хорошие молодые издательские фирмы, бороться с дурными и «реформировать» их. Я лелеял мысль о гегемонии в области критики и художественного вкуса, которая будет осуществлена путем издания литературного обозрения в обложке той же пленительной синевы, которая должна была, по нашему замыслу, украсить фасады наших магазинов. Я полагал, что писатели должны считать для себя честью печататься в таком журнале. Прогуливаясь как-то вечером, мы перечисляли людей, которых допустим сотрудничать в нашем журнале.

И вот наконец мы учредили торговую компанию. Нужен был капитал в четыре тысячи фунтов, и каждому полагалось внести половину этой суммы. Так как у Грэвза не было своих денег, то я ссудил ему необходимые две тысячи фунтов под значительные проценты. Сперва я не хотел брать процентов, но Грэвз — необычайно щепетильный в денежных делах! — уговорил меня. Мы назначили себя директорами-распорядителями с жалованьем по пятьсот фунтов в год каждому, так что мой личный доход, как видно, даже увеличился от этих комбинаций. Мы решили открыть наш первый магазин в Оксфорде. Сняли на выгодных условиях в долгосрочную аренду ветхое, полуразвалившееся, но просторное здание между мясной лавкой и магазином гробовщика и, перестроив дом, оборудовали контору, обставленную комфортабельными и дорогими письменными столами и книжными шкафами, а в верхнем этаже, над лавкой, премиленькую квартирку, где должен был водвориться Грэвз, чтобы наблюдать за делом. Он настаивал на том, чтобы все происходило у него

на глазах; дни и ночи он будет посвящать нашему великому начинанию.

Три раза мы перекрашивали фасад нашего магазина, пока не остановились на одном оттенке синевы — и в самом деле, редко приходилось мне видеть такой веселый магазин! К несчастью, декоратор так высоко ценил наш вкус, что закупил слишком много краски и, чтобы использовать излишек, убедил владельцев чайного и кондитерского магазинов на той же улице приобрести по сходной цене эту краску. А мы-то надеялись, что наш магазин будет выделяться своим цветом среди всех остальных! В результате у нас время от времени стали спрашивать китайский чай и бутерброды, и предполагаемые читатели наших книг стали расходовать свои скудные сбережения на чисто физические удовольствия. Мы спросили нашего юрисконсульта, нельзя ли заявить авторские права на эту краску, но юридическая сторона вопроса оказалась слишком туманной, чтобы предъявлять иск.

Если не считать этих мелких огорчений, наше дело началось благоприятно. Этот период моей жизни вспоминается мне как один из самых счастливых. В роде Блетсуорси была почтенная традиция: не пренебрегать деловыми операциями, но облагораживать их,— и я уже мысленно видел, как магазины Блетсуорси («Блетсуорси и Грэвз») распространяются по лицу земли и выполняют столь же полезную и почтенную задачу, как банк Блетсуорси и его филиалы на западе Англии. Я уже видел себя в роли идейного вдохновителя предприятия, не слишком вмешивающегося в дело, которым будет руководить мой более решительный, практичный и, пожалуй, более энергичный компаньон. Жизнь моя будет озарена присутствием моей Оливии, а свой пространный досуг,— который станет еще пространнее, когда наше предприятие заработает с четкостью механизма,— я посвящу развитию своих несомненных художественных и интеллектуальных дарований, как только окончательно найду себя.

Я здесь рассказываю о тайных помыслах молодого человека, о возвышенных и обширных планах, с которыми юность вступает в жизнь. Внешне я держал себя скромно и благопристойно, всегда признавая

чужое превосходство, учтиво уступал дорогу и никогда не оспаривал претензий лиц, которые могли оказаться моими конкурентами. Но в душе был до крайности самонадеян. Мне казалось, что я единственный в своем роде и весьма выдающийся малый, и все меня окружающее приобретало оттенок какой-то исключительности. Я видел перед собой путь к значительной и ответственной деятельности. И Грэвз был чудесный союзник, изумительно одаренный, хотя все самые утонченные и замысловатые идеи рождались у меня. А сияющим топазом, огневым опалом с бледными губками и аметистовыми очами была моя Оливия Слотер, целомудренно-страстная, непорочно-загадочная, существо, полное глубокой, несравненной прелести, о которой со временем будут упоминать в связи со мною; она войдет в мою биографию, подобно тому как Джоконда в биографию Леонардо, этого всемирного светила, только на еще более законном основании.

У меня не сохранилось моего портрета этой поры жизни, когда я так и дышал самодовольством. Впрочем, не думаю, чтобы самодовольство и безграничные претензии отразились на моей внешности и повадках. Полагаю, что я был довольно симпатичным юнцом, каких немало бродило по нашей земле. Во всяком случае, я был хорошего мнения о себе, мне нравилось все, что меня окружало, и вселенная казалась прекрасной. Но вскоре пузырь моего самодовольства лопнул, безжалостно проколотый,— на радость всем завидовавшим моему счастью.

Я поехал в Лондон на несколько дней, чтобы уладить кое-какие мелкие дела. Мои поверенные, представители старинной нотариальной конторы, к которой перешли мои дела по наследству от дяди, несколько превысили свои права, не одобряя мое предприятие, и мне хотелось успокоить их насчет Грэвза. Кроме того, задумав подарить Оливии ожерелье из зеленого нефрита, оправленного в золото, я хотел, чтобы его выполнили в точности по моим указаниям. Вдобавок один из Блетсуорси, живших в Сессексе, женился, и я решил, что мне необходимо присутствовать на его

свадьбе. Я предполагал пробыть четыре дня, но мой родственник обвенчался через три дня, и я решил вернуться в Оксфорд днем раньше и порадовать Оливию своим неожиданным появлением утром. Теперь мы были формально помолвлены; ее мамаша «приняла» меня и облобызала с большим чувством; теперь я мог открыто подносить Оливии подарки и купил роскошный букет цветов, чтобы сделать сюрприз еще более приятным.

Я приехал вечером, пообедав в поезде, и отправился в новый магазин — ключ от него был со мной,— чтобы взять свой велосипед. В квартире Грэвза, наверху, было темно, и я решил, что его нет дома. Вошел я, кажется, бесшумно и вместо того, чтобы сразу взять велосипед, некоторое время стоял посреди магазина, разглядывая его превосходную, бесподобную обстановку. Лишь в очень немногих магазинах имелись такие кресла и большой стол, заваленный книгами, точь-в-точь как в клубной библиотеке!

Тут я заметил, что в конторе горит лампа под зеленым абажуром. «Должно быть, Грэвз забыл потушить лампу»,— подумал я и решил сделать это сам.

В комнате не было ни души. Но на большой конторке Грэвза лежало несколько листков недоконченного письма. Я бросил на него взгляд и прочел первые слова: «Дорогой Арнольд». Чего ради вздумалось ему писать мне письмо? Ведь он видит меня каждый день. Итак, без зазрения совести я уселся в его вращающееся кресло и начал читать.

Сперва я довольно небрежно скользил по строчкам, но скоро письмо приковало мое внимание.

«Есть вещи, которые лучше объяснять в письменной форме,— таково было начало,— особенно же когда это связано с цифрами. Ведь ты всегда отмахивался от цифр...»

Что же наконец стряслось?

Накануне я провел два неприятных часа в Линкольнс-Инне. Престарелый Ферндайк (фирма «Ферндайк, Пактуфл, Хобсон, Старк, Ферндайк и Ферндайк»), бывший школьный товарищ моего дяди, а с материнской стороны — родич Блетсуорси, несколько критически отнесся к действиям Грэвза, и мне пришлось ему возразить:

«Ну, сэр, ведь это прямо инсинуация!» На что старый Ферндайк ответил: «Да что вы! Ничего подобного! Ничего подобного! С нашей стороны вполне естественно задавать подобные вопросы!» «Это совершенно излишне в отношении Грэвза»,— заверил я. Старый джентльмен молча пожал плечами.

Странное дело: просыпаясь ночью, я вспоминал его слова, и они звучали у меня в голове, когда после обеда я ехал в поезде. Я уразумел их по-настоящему, когда прочитал в письме своего компаньона следующую фразу:

«Дорогой Арнольд! — писал он.— Дела наши плоховаты».

Смысл письма сводился к тому, что мы слишком широко задумали свое предприятие. Он хотел, чтобы я как следует себе это уяснил. Со временем, вероятно, все уладится, но сейчас мы оказались в тяжелом положении. «Ты помнишь, я с самого начала говорил тебе, что это дело требует капитала в десять тысяч фунтов,— писал он.— Так оно и есть».

На украшения, меблировку, предварительные расходы, оборудование конторы и директорские оклады мы потратили, в сущности, все наличные ресурсы. Мы едва только начали закупать товар. «Вдобавок я взял со счета значительно больше гарантированной тобою суммы»,— писал он. Я вспомнил, что дал ему весьма путаную и бестолковую доверенность на тысячу фунтов. Мы уже выплачивали жалованье двум приказчикам, рассыльному и стенографистке Лайолфа, а официально торговля еще даже не началась. Правда, магазин был открыт и мы обслужили несколько случайных клиентов, но торжественное открытие мы хотели приурочить к началу учебного года. Тут мы собирались произвести сенсацию, а сенсация всегда обходится недешево. Основную часть товара нам предстояло еще закупить, и в течение нескольких месяцев надо было вести дела в кредит. В Оксфорде всегда приходится так делать. Желторотые студенты хватают литературу с жадностью прожорливого утенка, но не за наличные. «Ничего не поделаешь,— писал Грэвз,— остается одно — увеличить капитал и продолжать дело. Теперь уже поздно отступать...»

На этом письмо обрывалось. По-видимому, ему помешали.

Я держал письмо в руке, тупо глядя на новенькое бюро, на которое лампа отбрасывала коричневую тень. Еще капитал? У меня был капитал, но я уже приближался к тому, что Ферндайк называл «чертой безопасности». До сих пор я рисковал только сокращением своих доходов,— теперь пахло потерей независимости, которую я так ценил. Передо мной ярко встал образ старого Ферндайка, и я услышал его слова: «Согласитесь, что у вашего друга немного не хватает... как бы это сказать?.. умственного балласта да и жизненного опыта».

Я оглядел нашу весьма солидную, внушительную контору. Было так интересно обставлять ее, но не слишком ли она велика?

Неужели Грэвз, мой сообразительный и изобретательный друг, менее солиден, чем, скажем, наш чудесный шкафчик, рассчитанный на хранение десятков тысяч писем?

Погруженный в размышления, я не сразу расслышал какое-то движение и скрип, доносившиеся сверху. Наконец я сообразил, что, наверное, Грэвз у себя в спальне. Необходимо сейчас же переговорить с ним обо всем! Квартира Грэвза имела особый вход с улицы; выйдя из конторы, я прошел по коридору в переднюю. Пол в магазине и лестница были устланы превосходными дорогими голубыми эксминстерскими коврами. Поднявшись по лестнице, я очутился в полутемной гостиной, прежде чем Грэвз заметил мое присутствие. Дверь спальни была приоткрыта, в спальне горел газ.

Я уже собирался окликнуть Грэвза, но меня остановил звук поцелуя, скрип мебели и чей-то громкий вздох.

И тут — о ужас! — до меня донесся голос Оливии Слотер, слишком хорошо мне знакомый.

— Ну,— сказала она со вздохом глубокого удовлетворения,— ты настоящий чемпион по части поцелуев.

Потом послышался шепот Грэвза и какая-то возня.

— Да отстань! — как-то лениво протянула Оливия Слотер, а затем добавила с деланной строгостью: — Отстань, говорят тебе!

Тут память мне изменяет. Не могу сказать, сколько прошло времени,— целая вечность или несколько се-

кунд. Но вот что за картина предстала моим глазам, когда я распахнул дверь спальни: Грэвз и Оливия лежат на кровати, уставившись на меня. Грэвз приподнялся на локте. Он в спортивном костюме, шелковая рубашка расстегнута у ворота. Оливия лежит ничком и смотрит на меня через плечо. Блузка ее смята и расстегнута, прелестный торс обнажен больше, чем мне когда-либо приходилось видеть, и голая рука лежит на обнаженной груди Грэвза. Оба красные и растрепанные. Они смотрят на меня с каким-то бессмысленным удивлением, но вскоре их лица принимают разумное выражение и в глазах вспыхивает тревога. Медленно-медленно, не отрывая от меня глаз, они поднимаются и садятся на кровать.

Кажется, я спрашивал себя, что предпринять, и уже ясно помню, как внезапно принял решение: не сдаваться, показать характер!

У Грэвза был большой вкус, и за счет предприятия он украсил каминную доску в своей комнате двумя изящными старинными итальянскими графинами. Оба они оказались тяжелее, чем я думал, ибо он для устойчивости наполнил их водой. Один из них я швырнул ему в голову и попал в цель, он разлетелся вдребезги, залив Грэвза водой и осыпав осколками. Второй пролетел мимо, и вода окатила постель. Потом я, кажется, ринулся к умывальнику, ибо помню, как выплеснул воду из кувшина на кровать и в руках у меня очутился пустой, чересчур легкий, чтобы швырнуть его, умывальный таз. Тут снова провал памяти. Потом вижу, как Грэвз стоит передо мной и на лбу у него багровая полоса, из которой еще не начала сочиться кровь. Я аккуратно поставил на место таз, прежде чем броситься на Грэвза. Лицо у него мертвенно-бледное и словно излучает свет, а в глазах застыл вопрос. Он был слабее меня и весил меньше, я мигом вышвырнул его из спальни, поволок через гостиную и спустил с лестницы. Потом вернулся к Оливии.

Богиня, которой я поклонялся, обратилась в прах. Передо мной была самая обыкновенная молодая женщина со спутанными волосами цвета спелой пшеницы, которая была мне прежде столь желанна да и сейчас еще волновала меня. Она старалась застегнуть брошкой во-

ротник блузки. У нее так дрожали руки, что это ей никак не удавалось. Лицо у нее было испуганное и сердитое.

— Грязные негодяи! Вы подстроили мне это — ты и твой компаньон! Ты думаешь, я ничего не понимаю? А еще сватался! Проклятые мерзавцы!

Я стоял неподвижно, не слушая ее, хотя потом отчетливо вспомнил ее слова, и раздумывал, как бы ее растоптать, унизить. Не могу сейчас припомнить, какие бешеные чувства раздирали мою душу в тот момент. Знаю лишь одно, что внезапно схватил ее и начал срывать с нее платье. Она отчаянно отбивалась, потом перестала сопротивляться, но не сводила с меня глаз. Я раздел ее почти донага и бросил в кровать. Тут я встретился с ней глазами. Я был потрясен. В ее взгляде исчезла враждебность! Одному богу известно, над какой бездной я стоял в этот момент. Но вот гнев снова налетел на меня, как ураган.

— Вон отсюда! — крикнул я, схватил ее и вышвырнул на лестницу.

Несколько мгновений я с ужасом думал о том, что могло случиться. Я презирал себя и за свое низменное желание и за то, что отступил.

В полной растерянности, не зная, что делать, я метался по комнате, восклицая:

— Боже мой! Боже мой!

Потом мне вспоминается испуганное, но далеко не растерянное лицо Грэвза в проеме дверей. По щеке его струйкой текла кровь, и он говорил:

— Да отдай же ее платье, дурак! Люди скажут, что мы нарочно все подстроили!

Это было благоразумно. Это было весьма благоразумно. Несмотря на смятение чувств, рассудок вернулся ко мне. Но мне еще предстояло совершить презабавные вещи. С минуту я размышлял, потом сгреб изорванную, смятую одежду Оливии в охапку и неожиданно швырнул ее Грэвзу в лицо.

— Убирайтесь вы оба вон! — крикнул я.

Грэвз высвободил голову из груды тряпок. Собрав принадлежности ее туалета, он исчез из комнаты.

Я слышал, как он спотыкался, спускаясь по лестнице.

— Нельзя же выйти на улицу в таком виде! — ворчал он.

Ни его спальня, ни гостиная не могли теперь служить мне приютом. Я вспомнил, что оставил в магазине свой велосипед. Приняв вид оскорбленного достоинства, я направился к двери, открывавшейся в магазин, и запер ее за собой. Теперь я окончательно овладел собой. Ощупью пробрался к велосипеду, чиркнул спичкой и зажег лампу. Я вспомнил о письме Грэвза, которое недавно читал. Оно куда-то исчезло, и я чувствовал, что у меня не хватит сил подняться по лестнице и разыскивать его. Букет цветов лежал на конторке у самой ручки велосипеда. Я совершенно позабыл о цветах. Машинально я взял букет, понюхал и положил на место.

Затем вышел в переднюю дверь магазина, сел на велосипед и поехал по освещенным улицам через мост, а затем по безлюдной дороге, ведущей в Кэрью-Фосетс.

Я немедленно лег в постель и крепко спал бóльшую часть ночи, но на рассвете проснулся, словно кто-то меня толкнул, и в недоумении спрашивал себя: «Что случилось?»

Я услышал чириканье птиц, но меня это только раздражало. Их гомон нарушал ясное течение моих мыслей.

5

ИНТЕРМЕДИЯ С МИССИС СЛОТЕР

Я считаю необходимым рассказать читателю обо всем, что пережил в дни, последовавшие за катастрофой. Но это не так-то легко сделать. Воспоминания мои носят крайне беспорядочный характер: то они очень ясны, обстоятельны, отчетливы, словно это случилось со мной вчера, а не четверть века назад, то становятся туманными, искаженными и зыбкими, то перемежаются с фазами полного забвения. Я не могу найти ни смысла, ни системы в странной работе своего мозга. Не могу объяснить, почему мне с такими подробностями вспоминается пробуждение в то утро, и — да простится мне это мелочное копание в своей душе! — к воспоминаниям об этом утре примешивается воспоминание о событиях предыду-

щего вечера. Я не только помню, что запустил в Грэвза графином, а помню, что вспомнил об этом утром и недоумевал: зачем я это сделал?

Вероятно, эти часы бессонницы так хорошо запомнились мне потому, что они были первыми в длинном ряду подобных же переживаний. Казалось, весь мир изменился и я вместе с ним; казалось, мое «я», так хорошо мне знакомое, было каким-то сновидением в мире грез, а теперь наступило пробуждение и я очутился лицом к лицу с суровой действительностью. Начало светать; но это был рассвет непривычного, безрадостного дня; солнце залило мою комнату потоками теплого света, но в этом свете не было души. Запели птицы, в переулке заскрипела телега и засвистел какой-то мальчуган; но я знал, что птицы — просто поющие машины, телега едет куда-то зря, а мальчуган, хоть он того и не подозревает,— ходячий омерзительный труп.

Я старался разрешить неразрешимую проблему: почему такое место в моей жизни заняла эта безмозглая, вульгарная полудева и компаньон, которого можно было бы назвать мошенником, не будь он тщеславным и самодовольным дураком? И еще больше смущала меня задача: как распутать этот узел, стряхнуть оцепенение и оторваться от этих двух случайно выбранных спутников жизни?

Но вне всякой связи с предыдущим в основной поток моих мыслей врывалось особое, остро волнующее воспоминание. Передо мной совершенно неожиданно всплывал образ полураздетой Оливии Слотер — какой она была в тот момент, когда, прекратив сопротивление, смотрела на меня с каким-то странным выражением. Я презирал ее и даже ненавидел, но эта женщина возбуждала во мне такое сильное желание, какого я никогда раньше не испытывал. Ну и дурак же я был, что оставил ее и ушел! Как связать эти столь различные потоки мыслей, вихрем проносившиеся у меня в мозгу? Было похоже на то, что я, молодой дикарь, сижу и молча мечтаю о чем-то своем, в то время как старый джентльмен бок о бок со мной рассуждает о пространстве, времени, предопределении и свободе воли.

Какая-то частица моего мозга строила планы о том, как я вернусь в Оксфорд и захвачу Оливию Слотер

врасплох, а что будет потом, наплевать! Между тем как основное мое «я» все еще допытывалось: что стряслось с моей душой и почему мой мир обречен на гибель? О Грэвзе я думал мало и всякий раз с презрением и злобой. Я не столько злился на него, что он обманул меня с Оливией Слотер, сколько на Оливию Слотер, что она обманула меня с ним. И смутно, но настойчиво мой мозг сверлила мучительная мысль, что как-никак я изменник, ибо вместе с ними (только не могу сказать, когда — до или после печального открытия) я изменил самому себе.

Но какому это «себе»?

Причудливо сменялись мои настроения.

Наконец я встал и швырнул в камин ее вставленный в рамку портрет, стоявший на комоде. Стекло треснуло, но не разбилось на осколки. Потом я поднял портрет и поставил его на место. «Погоди, сударыня!» И я в самых оскорбительных выражениях высказал, как именно намерен был с ней расправиться.

Затем мне вспоминается поездка солнечным утром на велосипеде в Оксфорд. Кажется, я завтракал, разговаривал со своей хозяйкой и где-то слонялся часов до одиннадцати, но все подробности я начисто забыл. Кажется, я раздумывал о том, чем бы мне заняться в Оксфорде. Помню, между прочим, я заметил, что листья на деревьях кое-где слегка пожелтели и начали покрываться багрянцем, и задал себе вопрос: оттого ли, что уже приближается осень, или же от стоявшей в то время засухи?

Оказывается, Грэвз уложил вещи и уехал. Когда явилась утром наша приходящая служанка, его уже и след простыл. Она была весьма озадачена, увидев осколки стекла и черепки, мокрую постель, в которой, как видно, никто не спал, и на полу три шпильки. Я проявил к ее словам довольно слабый интерес. Об этом ей следовало спросить Грэвза.

— Без сомнения, мистер Грэвз объяснит вам все, когда вернется,— заявил я.

Потом я, помнится, приказал нашему рассыльному закрыть ставнями окна магазина (служащие собрались в обычный час, и я рассчитал весь свой персонал). Между прочим, я отчетливо помню, что цветы, брошенные

мною в лавке, стояли в большой нарядной вазе посреди стола, заваленного книгами. Промелькнула мысль: кто бы это мог сделать? Увольнение персонала как будто доказывало, что я решил окончательно прекратить торговлю книгами. Вероятно, служащие ушли в большом изумлении. Сейчас я даже не могу припомнить ни их лиц, ни фамилий. Должно быть, я напустил на себя мрачное величие, чтобы они не вздумали меня расспрашивать или вступать со мной в разговор. Наконец все они убрались, а я, оставив цветы увядать в вазе, направился к выходу и простоял несколько минут, наблюдая прохожих на залитой солнцем улице, перед тем как захлопнуть за собой дверь. Велосипед мой стоял прислоненный к тротуарной тумбе.

Вдруг я заметил на улице довольно далеко миссис Слотер, которая спешила ко мне и знаками старалась привлечь мое внимание.

Как сейчас помню, какое отвращение охватило меня при виде этой особы. Отвращение, смешанное с ужасом. Я совсем позабыл о существовании миссис Слотер!

Велосипед стоял тут же, но обратиться в бегство было ниже моего достоинства.

— Одно словечко, мистер Блетсуорси! — вымолвила она, поравнявшись со мной.

Она была ниже Оливии и выглядела совсем иначе. Волосы у нее были с рыжеватым отливом, лицо красное и веснушчатое — какой контраст с матовым цветом лица Оливии, напоминавшим слоновую кость теплого оттенка! Глаза были не синие, как у Оливии, а карие и малюсенькие; она раскраснелась и слегка запыхалась. На ней было темное рабочее платье, а на голове сомнительной чистоты чепец. Вероятно, один из уволенных мною служащих мимоходом сказал ей, что я в магазине. Возможно, что она справлялась обо мне еще до моего прихода.

С минуту я смотрел на нее, не произнося ни слова, а затем молча провел ее в темный конец магазина.

У нее была приготовлена речь. Начала она в тоне дружеской укоризны.

— Что такое произошло между вами и Оливией? — спросила она.— Что это за разговоры о разрыве, о том, что вы никогда больше не будете видеться? Из-за чего

вы, дети мои, повздорили? Я ничего не могла толком от нее добиться, она только и сказала, что вы крепко рассердились и подняли на нее руку. Поднять на нее руку! И вот она, бедненькая, плачет, заливается. Всю душу выплакала! Я и не знала, что она была вчера вечером здесь. Она прокралась домой тихо, как мышка. А когда я утром поднялась к ней,— гляжу, она лежит в постели и рыдает! Всю ночь так и проплакала!

В таких фразах миссис Слотер изливала мне свое материнское горе.

Тут я впервые раскрыл рот.

— Я ничего не говорил о разрыве,— заметил я.

— Она говорит, что между вами все кончено,— возразила миссис Слотер, как-то безнадежно махнув рукой.

Я оперся на прилавок, устремив взгляд на ни в чем не повинные цветы, которые, казалось мне, были положены на гроб моих разбитых иллюзий...

— Я не думаю,— процедил я сквозь зубы,— чтобы между нами все было кончено.

— Ну, это — другое дело! — с жаром воскликнула миссис Слотер; я уставился на ее глупую физиономию, впервые измерив всю бездну тупости, на какую способна мать взрослой дочери.

— В таком случае нам не придется поднимать вопрос о привлечении вас к суду за нарушение обещания жениться,— продолжала она, скомкав длинную, заранее обдуманную тираду и ограничившись этой одной фразой.

По правде сказать, я еще меньше думал о такого рода процессе, чем о самой миссис Слотер. Но от такой особы, как миссис Слотер, можно было всего ожидать.

— Да, да,— согласился я,— не стоит говорить об этом.

— Но если так, то из-за чего же вся перепалка? — спросила миссис Слотер.

— А это,— отвечал я,— дело Оливии и мое.

Миссис Слотер впилась в меня глазами, и на лице ее появилось выражение боевого задора. Она сложила руки на груди и вздернула голову.

— Скажите на милость! — вскричала она.— Не мое дело, говорите вы?

— Не ваше, насколько я понимаю.

— Стало быть, счастье моей дочери не мое дело? А? Мне, что ж, оставаться в стороне? А? В то время как вы разбиваете ее сердце. Нет, молодой человек, этого не будет! Не будет!

Миссис Слотер замолчала, видимо, ожидая ответа, но я не доставил ей этого удовольствия. Я хотел было сказать, что счастье ее дочери меня теперь ничуть не интересует, но вовремя удержался. Мое молчание сбивало ее с толку, ибо вся сила ее аргументации заключалась в репликах.

Пауза затянулась. Я держался безупречно, не теряя терпения. Миссис Слотер быстро изменила выражение лица и подошла ко мне поближе.

— Да послушайте же, Арнольд! — проговорила она сугубо материнским тоном, и мне стало приятно, что я сирота.— Не вздумайте только с Оливией ссориться из-за пустяков и валять дурака! Ведь вы же ее любите! Ведь это так! Вы знаете, что она только о вас одном и думает! Не знаю, из-за чего у вас вышла размолвка, но совершенно уверена, что из-за сущих пустяков. Ревность или что-нибудь в этом роде. Разве я этого не понимаю? Разве я не пережила того же самого со Слотером много лет назад? Выбросьте это из головы! Не думайте об этом! Ведь она плачет так, что того и гляди заболеет! Вернитесь к ней. Расцелуйте ее, скажите, что все в порядке,— и через десять минут вы будете обниматься и ворковать, как два голубка! Хватит вам дуться. Терпеть не могу, когда дуются! Сейчас же идите к ней, говорю я вам, и уладьте дело и скорей кончайте! Завтрак уже на носу, и у меня баранина варится. Вы еще ни разу не соизволили пообедать у меня. Милости просим ко мне и покончим с этой напастью. Поцелуйтесь, помиритесь и останьтесь у нас на весь вечер. Повезите ее куда-нибудь! Вот мой совет, Арнольд. Лучше я не могу придумать!

Она умолкла, но сквозь ее напускное добродушие проглядывала тревога.

Я чуть было не назвал ее «милая моя», что было бы уже совсем оскорбительно. Я начал говорить медленно, взвешивая каждое слово.

— Миссис Слотер! — сказал я.— Повторяю, это дело касается лишь меня и Оливии. Я разберусь во всем этом с нею, и только с нею!

Миссис Слотер хотела было перебить меня, но я повысил голос:

— Только не сегодня. Не сегодня. Иногда следует подождать, чтобы немного остыть, а иногда необходимо, чтобы кое-что созрело.

У нее вытянулась физиономия. Она увидела нечто такое, чего до сих пор не замечала.

— Почему это магазин заперт? — спросила она.

— Он заперт по деловым соображениям,— ответил я.— Но опять-таки я не могу это обсуждать в данный момент.

— А мистер Грэвз?

— Его здесь нет.

Таков в общих чертах был наш разговор. Она произнесла еще несколько незначительных фраз, возвращаясь все к тому же, и наконец ушла, вспомнив о баранине, оставленной без присмотра. Кажется, я долго еще стоял в магазине.

Мне хорошо запомнилось, как я стоял одной ногой на тротуаре, перекинув другую через седло велосипеда, и спрашивал себя: «Ну, куда же мне, черт возьми, теперь ехать?»

6

СТОЛКНОВЕНИЕ В ПОТЕМКАХ

Я сидел и пил чай на берегу Темзы в полутемной, но сияющей чистотою гостинице «Парящий орел», которая, несмотря на свою миниатюрность, числится в списке «Ста замечательных гостиниц». Хозяин, солидный джентльмен в сюртуке бутылочного цвета, с медными пуговицами, удостоил меня беседы.

— Не случалось вам терять самого себя? — спросил я его.

— И находить кого-нибудь другого?

— Я ищу некоего Арнольда Блетсуорси, пропавшего часов шестнадцать назад!

— Ну, все мы играем в прятки сами с собой. Что же, этот Арнольд Блетсуорси был молодой человек, полный надежд и честолюбивых замыслов?

Я кивнул головой.

— Вот они всегда так — пропадут, как в воду канут.

— А потом возвращаются?

— Как когда. Иной раз возвращаются. И даже очень скоро. А то и совсем нет.

Он вздохнул, посмотрел в широкое окно, находившееся низко над полом, и тут что-то приковало к себе его внимание. Пробормотав какое-то извинение, он покинул меня. Он так и не вернулся; спустя некоторое время я уплатил по счету кельнерше и поехал на велосипеде по направлению к Эмершэму. Застенчивость помешала мне дождаться хозяина. Мне досадно было, что не удалось возобновить с ним беседы: его голос и манеры понравились мне, и он как будто хорошо понимал мое душевное состояние. Впрочем, если бы он вернулся, я, вероятно, заговорил бы о чем-нибудь другом.

Я катил по дороге, испытывая чувство полнейшего одиночества.

Я бесцельно ехал теплым летним вечером, повернув голову на восток, чтобы лучи заката не били мне в глаза. Я разрешал сложную проблему собственной личности. Неужели же Арнольд Блетсуорси — только имя и оболочка целого ряда противоречивых «я»?

Мне известен был блетсуорсианский кодекс чести и нравственности, которым мне надлежало бы руководствоваться в этом моем кризисе. Я великолепно знал его. Что меня больше всего удивляло, так это ураган похоти, животной похоти, смешанной с гневом и прикрытой чувством самооправдания, которая с презрением отшвыривала прочь весь этот кодекс и всякую сдержанность! Кто этот гневный и похотливый эгоист, который хотел взять верх надо мной и которого преследовал образ Оливии — обнаженной, испуганной и податливой? Это был не я. Ну, конечно, не я! Это нарушитель спокойствия. В старое время его называли сатаной или дьяволом. Неужели дело меняется оттого, что в наше время этого непрошеного гостя называют «подсознательным я»? Но я-то кто? Арнольд Блетсуорси или тот, другой? Сквозь яростный вихрь страсти, грозивший лишить меня свободы воли, начинал звучать другой голос, надменный и презрительный; казалось, говорил какой-то циничный наблюдатель, подававший мне дурные советы. «Дурак ты был,— дока-

зывал он,— и дураком остался. Дурак и мозгляк. К чему все эти негодующие позы? Если ты желаешь эту девушку,— возьми ее, а если ненавидишь,— разделайся с нею. Но поступай так, чтобы не попасть в беду. Пусть инициатива исходит от нее, а не от тебя. Ты видел по ее глазам, какую власть имеешь над нею! Погуби ее — и уходи! Не давай ей поработить тебя, увлечь в бездну позора. Стоило тебе поглядеть на ее теплое и гибкое тело, как ты скис, мой мальчик! Ничего не скажешь, соблазнительная девчонка! Но что тут удивительного? И неужели других нет на свете? Я спрашиваю тебя: разве нет на свете других?»

В этот вечер я несся не по проселкам, а сквозь вихрь своих переживаний. Вспоминаю, между прочим, что мной вдруг овладело сильнейшее желание войти в сношение с «духом» моего дяди. Только бы мне вспомнить как следует его образ и голос, тогда злые силы сразу отступятся от меня. Кто знает, может быть, частица его души еще реет над холмами Уилтшира? Но когда я посмотрел на запад, закатное солнце вонзило мне в глаза свои пламенеющие копья, и я отпрянул назад.

Вы спросите: молился ли я? Обрел ли я хоть какое-нибудь облегчение в религии моих предков? Ни на минуту! Яснее, чем когда-либо, я понимал, что верил-то я в своего дядю, а вовсе не в милосердного бога, образ которого лучи дядюшкиной доброты отбрасывали на это равнодушное небо. Во всех моих злоключениях я ни разу не воззвал к богу. Для меня это все равно, что молить о помощи, скажем, Сириус.

Стемнело, но я не зажег фонаря. Обогнув угол, я увидел на расстоянии какого-нибудь ярда заднюю стенку фургона, тускло маячившую в сумерках. Я думал, что фургон движется, и хотел обогнать его, но вдруг задняя стенка фургона сузилась с какой-то волшебной быстротой и я понял, что он поворачивает— правда, слишком поздно, чтобы избегнуть столкновения. Как сейчас вижу: мой велосипед быстро несется навстречу огромным деревянным колесам, я порываюсь свернуть в сторону и — увы! — теряю равновесие.

До этого момента я все помню ясно и отчетливо, но затем я словно куда-то провалился. Вероятно, я ударился головой о фургон. Об этом история умалчивает.

Должно быть, я был оглушен. Но странно, что я запамятовал, как произошло столкновение. Свет, так сказать, погас в ту минуту, когда я ударился колесами в стенку фургона.

7

МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ СОВЕРШЕННО ИСЧЕЗАЕТ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ПАМЯТИ

Начиная с этого происшествия, мой рассказ становится сбивчивым и туманным. Все события последних недель совершенно стерлись в моей памяти. Я так и не знал, что сталось с моим велосипедом и как я добрался до Оксфорда. В тот вечер я вернулся домой в Кэрью-Фосетс в кэбе, с перевязанной головой, но в приличном виде.

Должно быть, я шатался по Оксфорду с неделю или даже больше. Бестолково занимался своими делами. Я узнал, что Грэвз исчерпал до последнего гроша предоставленный мною ему кредит, а затем поступил на службу агентом в одну торговую компанию и отправился на Золотой Берег. Кажется, он прислал мне письмо, обещая уплатить свои долги и выражая сожаление по поводу всего происшедшего. Вероятно, так оно и было, но документ как будто не сохранился. По-видимому, мистеру Ферндайку я ничего не сообщил о своих разочарованиях и деловых неудачах. Это было бы для меня слишком большим унижением после всех обещаний. Вместо этого я пригласил какого-то захудалого адвокатишку из Оксфорда, который главным образом вел дела «жучков» на скачках, улавливающих в свои сети юных, неопытных студентов, и с его помощью очень быстро и весьма невыгодно для себя распорядился имуществом нашей компании. Все это совершенно стерлось у меня из памяти.

Кажется, раза два, а может быть, и больше, я пытался повидаться с Оливией Слотер с глазу на глаз; вероятно, она сказала своей матери, что боится меня; из этих попыток, во всяком случае, ничего не вышло. Возможно, что широкая повязка, закрывавшая мой глаз,

придавала мне отталкивающий вид. Мне смутно вспоминается, что я приходил в бешенство, но едва ли это было при свидетелях. Процесса о нарушении обещания жениться против меня так и не возбудили.

Никому в точности неизвестно, как и когда я покинул Оксфорд. Я куда-то исчез, и моя квартирная хозяйка забеспокоилась обо мне. За квартиру мою впоследствии заплатил мистер Ферндайк, и он же забрал мои вещи. Где я скитался в течение трех недель, осталось невыясненным. В конце концов меня обнаружили в переулке на окраине Норвича. Нашел меня полисмен в три часа ночи. Я был весь в грязи, без шапки, без гроша в кармане и в сильном жару. Говорят, я пил запоем, прибегал к наркотикам и, несомненно, вращался в дурном обществе. От меня сильно пахло эфиром. Я начисто забыл свою фамилию, забыл, кто я такой, а бумаг, которые могли бы удостоверить мою личность, не было. Из полицейского участка меня отправили в больницу при работном доме, а там смекалистая сиделка, обратив внимание на изящный покрой моего костюма, догадалась пошарить в моих внутренних карманах и нашла карточку оксфордского портного с обозначением моей фамилии и факультета; так была восстановлена истина о моей утерянной и забытой личности. Но я оставался в постели, не отвечал, когда меня окликали по имени, испытывал сильное недомогание, находился в состоянии апатии, и не было надежды, что я скоро поправлюсь.

Новое самосознание формировалось во мне медленно, но верно. Не помню, когда начался этот процесс. У меня осталось смутное впечатление, что меня перевели в частную, хорошо оборудованную лечебницу, и я обрадовался, когда узнал, что мистер Ферндайк собирается меня навестить. Я вспоминаю, что он был любезен и приветлив, но себя самого не помню. Первым признаком возвращения к жизни было чувство антипатии к моей сиделке, болтливому созданию с редкими льняными волосами, весьма враждебно настроенной к двум людям, имена которых, чем бы ни занималась, она вечно повторяла как изводящий припев: «Холл Кейн» и «Холл Дейн». Холл Кейн, как видно, был крупный английский романист, обидевший ее тем, что одна из его героинь, Глория Сторм, была изображена в виде си-

делки, охваченной преступной страстью; а Холл Дейн оказался не кем иным, как лордом Холденом, который внес какие-то изменения в закон об армейских сестрах милосердия. Я лежал и с ненавистью думал о сиделке и вдруг вспомнил о приезде лорда Холдена в наш спортивный союз. Это воскресило несколько фраз, сказанных Лайолфом Грэвзом — Лайолф Грэвз сидел на соседней скамье.

Я — Арнольд Блетсуорси из Лэтмира!

Разрозненные воспоминания хлынули в мою душу, как дети в школу после каникул. Они расселись по своим местам, принялись кивать мне, выкрикивать свои имена и перекликаться между собою.

На другой день пришел старик Ферндайк — розовый, в очках, полный участия. Его круглое, чисто выбритое лицо почему-то странно разрослось в моем воображении, принимая огромные, прямо-таки чудовищные размеры, словно я смотрю на него через большущую линзу. Лицо ласковое, как у моего дядюшки, но «светское», каким никогда не бывало дядюшкино. Над одним веком нависла складка, и поэтому кажется, что его очки без ободка сидят криво. Волосы его на одном виске чуть тронуты сединой, они гладкие и чистые, как шерстка у кошки. Беседуя со мной, он внимательно вглядывается в меня, как человек, привыкший к трудным казусам.

— Неврастения,— успокаивает он меня.— Неудача за неудачей. Это со всяким может случиться. Вы просто надорвались. Жалеть или стыдиться тут нечего.

Он уставился на свою красноватую левую руку, словно хотел получить от нее совет.

— Я мог бы многое вам порассказать о том, как я вступал в жизнь,— сказал он конфиденциальным тоном.— Правда, фортуна была ко мне благосклонней. «Надежда — смертному отрада...» Словом, дорогой мой мистер Блетсуорси, всем нам приходится через это пройти! Но не всем выпадают на долю такие испытания. На вас это свалилось, как снег на голову. Вам ничего не остается, как взять себя в руки, быть верным себе и продолжать жить согласно нашим лучшим традициям!

— Я и сам хочу этого,— отвечал я.

— Выскажите мне свои пожелания. Что нам теперь делать?

— Может, вы что-нибудь посоветуете мне, сэр? — предложил я.

— Отлично,— согласился он.— Ну-с, во-первых, не волнуйтесь насчет этой истории в Оксфорде! Предоставьте нам уладить дело. Мистер Грэвз исчез с деньгами. Это спишите со счета. Он скверно кончит, а как, одному богу известно. Что касается другой истории,— ну, мамаша, как видно, не лишена благоразумия и не станет ни на чем настаивать, особенно теперь, когда думает, что вы разорились. Об этом не беспокойтесь! Но в данный момент вы как бы вырваны с корнем. Вы, можно сказать, витаете в облаках. Если вернетесь в Оксфорд или Лондон, то жизнь вам покажется пустой и бесцельной. Следовательно, нечего вам возвращаться в Оксфорд или в Лондон,— лучше поезжайте-ка за границу, и я уверен, что вы вернетесь в Англию с надеждами и новыми перспективами. Путешествуйте! Совершите кругосветное путешествие! Никаких пассажирских пароходов и роскошных отелей — как-нибудь попроще. Путешествуйте на торговых пароходах и верхом на муле. Я думаю, это подействует на вас благотворно, удивительно благотворно. Подумайте только, сколько способов передвижения придется вам перепробовать на пути между Англией и Калифорнией, если вы двинетесь на восток! Как это будет занятно! Пожалуй, вы еще напишете книгу.

— Как Конрад,— вставил я.

— А почему бы и нет? — спросил мистер Ферндайк, не проявив восторга, когда я клюнул эту наживку, но и не выразив сомнений насчет моей способности писать на манер Конрада.— Это будет здоровая жизнь! Ваши нервы окрепнут! Вы справитесь с этим своим недомоганием. И, я думаю, вас можно будет избавить от всяких предварительных хлопот. Ведь Ромер, компаньон фирмы «Ромер и Голден», судовладелец, приходится вам кузеном. Он встретился с вами на чьей-то свадьбе, и вы понравились ему. Корабли фирмы бороздят все моря и океаны; вас посадят на любой из них, хотя не все берут пассажиров. Вы можете поехать в качестве письмоводителя, бухгалтера или надзирателя над грузом —

в общем, кем угодно. Вас могут отправить во все уголки земного шара — а ведь он бесконечен. Вы увидите, как люди трудятся, познакомитесь с торговлей, испытаете приключения — настоящие приключения! Увидите владения Британской империи и значительную часть земного шара. Будет с вас Верхней Темзы — этой речонки, где впору плескаться ребятишкам! Плывите по Нижней Темзе, откуда можно проехать во все концы вселенной. Начните жизнь сызнова. Юность ваша миновала, ушла навсегда. Пусть так! Ну что же из того, мистер Блетсуорси? Поезжайте и возвращайтесь мужчиной!

Мистер Ферндайк закашлялся и весь побагровел. Он несколько увлекся риторикой. Глаза его слегка увлажнились, или это ему только почудилось. Он снял очки, протер их и опять посадил на нос немного криво, точь-в-точь как они сидели раньше.

— Короче говоря, мистер Блетсуорси,— продолжал он горячо,— я советую вам для начала совершить хорошенькое морское путешествие. Дела ваши расстроены, но у вас еще есть на что существовать. Все еще можно поправить.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

где рассказывается о том, как мистер Блетсуорси отправился в плавание, о его путешествии, о том, как он потерпел кораблекрушение, был покинут на корабле и как появились дикари, взявшие его в плен

1

МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ ВЫБИРАЕТ КОРАБЛЬ

В присутствии мистера Ферндайка мне казалось, что я тот же самый Блетсуорси, каким был до катастрофы. Но когда после второго свидания с ним в Лондоне, обсудив и приняв окончательно его план, я вышел из его конторы и направился из Линкольнс-Инн по красивой площади в деловой каньон Чэнсери-Лейн, мне было очень не по себе, и я испытывал острую потребность в моральной поддержке. Порой у меня в сознании всплывали отголоски дней, проведенных в тупом, бессмысленном распутстве, в ушах звучал грубый хохот, мелькали обрывки старых впечатлений. Я познал всю низость своих мнимых друзей и заглянул в темные подвалы своей души. Мистер Ферндайк при этом втором свидании уделил мне ровно двадцать минут, затем взглянул на часы и выпроводил меня с вежливым поклоном. Да, он пришел мне на помощь, но помощь его носила преходящий характер. Мне нужен был д р у г. Мне нужен был друг, который терпеливо выслушивал бы меня, ободрил бы меня и рассеял мои сомнения.

«Море! Кругосветное путешествие! Человечество!» — прекрасные слова, что и говорить, но я не сумел ответить на них должным образом; как жаль, что я не нашел нужных слов!

Например, я мог бы сказать ему: «Вы правы, сэр. Поверьте, Блетсуорси всегда найдет выход из положения».

Как это странно: мысленно говорить человеку слова, которых никогда не скажешь ему в действительности!

Мне понравился молодой Ромер, который был старше меня всего на каких-нибудь десять лет; он также сделал для меня все, что смог. Он провозился со мной чуть не полдня. Он толковал о кораблях, плавающих по всему свету, об их репутации и достоинствах. Если угодно, он даст мне рекомендательные письма к различным лицам во всех портах, куда корабль будет заходить. По большей части это торговые корреспонденты, но кое-кто может мне понравиться. Ромер водил пальцем по списку. Не хочу ли я поехать в Манаус на Амазонке? Это можно проделать в сравнительно короткий срок. Интересен также рейс на Канарские острова, а затем через океан в Бразилию и в Рио. Или же... Ну да, можно миновать Канарские острова. А то я могу поехать на Восток! Вот в Бирму отправляют большой груз бутылок с фарфоровыми пробками, дешевых швейных машин, целлулоидовых кукол, медных икон, парафиновых ламп, катушек, патентованных лекарств, детской муки и немецких часов. Что я скажу о Бирме? А то не заглянуть ли мне в атлас, лежащий у него в приемной, руководствуясь и этим списком?

Это все ободряло меня, и я испытывал такое чувство, будто у меня в руках весь мир и я могу просматривать его, как меню в ресторане.

В конце концов мы остановились на «Золотом льве», направляющемся первым рейсом в Пернамбуку и Рио.

2

МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ

Я думаю, тысячи людей испытывали иллюзию расширения своего кругозора, какую пережил я, стоя на шаткой палубе «Золотого льва» и наблюдая, как берега Кента и Эссекса проплывают мимо и убегают назад, к Лондону. В этот вечер мне казалось, что моя прежняя мелкотравчатая жизнь окончилась и начинается другая, полная свободы и приключений, что я найду себя в пронизанных соленым ветром просторах и вернусь обновленный и морально возрожденный.

Кончились широко раскинувшиеся приземистые, с толпами людей доки по обоим берегам реки, где дома, харчевни и церкви, кажется, плывут по реке, как суда; в Тидбери, где паром, пыхтя, пробирается к Грэвсэнду, один за другим стали появляться желтые огоньки, их становилось все больше и больше; еще немного — и огромный город показался мне мазком копоти под заревом заката; по одну сторону потянулись низменные берега острова Кенви, по другую — мягкие очертания холмов Кента. Синева сумерек сгустилась до черноты; мимо нас проплыл усеянный огнями берег Саусэнда, длинная дамба погрозила нам своим острием, затем повернулась в сторону Лондона. Миновали курорты Кента—пятна яркого света на кромке ночи. Сверкающие глаза огней, желтые и красные, мигали, закрывались и опять подмигивали, точно собирались сообщить какую-то тайну, белые полосы света, шаря над водой, направляли наш курс, смыкались за нами, отступали вдаль и тонули в море — и вот наконец мы остались одни в морском просторе, если не считать какого-нибудь отдаленного судна, освещенного не из внимания к нам, а для собственной безопасности.

В этот вечер я чувствовал, что выплываю в какую-то необъятную ширь, тогда как в действительности впервые в жизни оказался в заточении.

В мировой литературе, особенно в английской, нередко говорится о том, что отправиться в море на корабле — значит выйти на «открытый» простор! В действительности же в мире нет ничего «открытого», есть дороги и тропинки в стране с доброжелательным населением. Итак, городские огни и толпы остались позади. Позади осталось необъятное пространство, где можно двигаться, где разыгрываются события и совершается история. Со всех сторон вас окружает ночь, непроглядная ночь. Вы спускаетесь вниз, снова поднимаетесь по трапу, шагаете по узенькой палубе, и вам кажется, будто вы сливаетесь с бесконечностью. Потом возвращаетесь к себе в каюту и засыпаете. Скрипучий рассвет прокрадывается в сумрачную каюту, и качающаяся керосиновая лампа становится мутно-желтой.

Вы долго озираетесь, соображая, где это вы находитесь. Вы узнаете свои наполовину распакованные че-

моданы. Все кругом как-то странно ходит ходуном, предметы медленно накреняются во все стороны, придвигаясь к вам. Небо и море слились в бесконечной медлительной пляске. Вы встаете, кое-как одеваетесь, идете по трапу на палубу и хватаетесь за поручни. Вода. Бесконечный водный простор, а над вами — влажный ветер. Вот они, беспредельные и невидимые стены покаместещe не осознанной вами тюрьмы! На суше всякая тюрьма имеет по крайней мере дверь, открывающуюся в мир, хотя она и крепко заперта. Но эта тюрьма не нуждается в замках: вы и без того в окончательном плену.

У мистера Ферндайка были самые лучшие намерения, когда он отправлял меня в плавание. Мне кажется, меня он прекрасно понял, но он не имел представления о море! По привычке и по традиции он верил, что плавание, особенно на судне, не приспособленном для пассажиров,— источник приятных и захватывающих переживаний. Так думал бы и мой дядя. Британия, наша родина, управляет и сама управляется морскими волнами, и раненая душа британца в трудную минуту обращается к морю, как дитя к матери. Морские ветры обвевают наш остров со всех сторон, и, на счастье Англии, нет в ней такого места, которое отстояло бы и на сто миль от спасительной стихии. Существует мнение, что все мы, Блетсуорси, инстинктивно тянемся к морю. Как только мы становимся на «морские ноги», мы чувствуем себя дома, мы счастливы. Я добросовестно старался почувствовать себя «дома и счастливым», но в то утро мои «морские ноги» еще не окрепли. Все же я цепко держался за поручни, вертел головой во все стороны, как заправский морской волк, и напевал сквозь зубы матросскую песенку, единственную, которую знал. Я еще помню ее слова, ибо внезапно почувствовал, до какой степени она не подходит к моим обстоятельствам, и оборвал на середине припева.

Она стоит, и вслед глядит,
И машет мне рукой.
«Мой Джек, прощай! Не забывай
Любимую тобой!»
Моя звезда со мной всегда,
Далекому верна.
Друзья, живей, друзья, ловчей!
Наддай!..

Эту до крайности нелепую песенку я мурлыкал для того, чтобы усыпить свои сомнения.

А сомнения начали меня обуревать. Я должен жить в ладу со своими спутниками по кораблю; они, как мне было известно из книг английских авторов, совсем особые люди, весьма своеобразного склада. Соленые люди. Бесспорно, с виду суровые и грубые, но в душе на редкость нежные и деликатные. Нелюбезный прием, оказанный мне накануне капитаном, проявленная им грубость и властность (он заспорил с помощником, когда корабль маневрировал по реке), конечно, всего лишь шероховатая кожура, под которой таится драгоценный плод — человеческая душа...

За кораблем тянулся след, терявшийся в волнах, как недоконченный рассказ; дым относило далеко на подветренную сторону. В маленькой будке на мостике, у штурвала, смутно виднелась фигура, подальше вырисовывалась чья-то голова и спина; других спутников я пока что не видел. Волнующаяся, переливающаяся вода, серо-голубое небо — и больше ничего.

Вот что, размышлял я, с небольшими вариациями представляют собой почти три четверти земного шара. Таков нормальный пейзаж нашей планеты, Земли. Сухопутный ландшафт является исключением. Это надо как следует запомнить. Бедняги, толпящиеся на берегу, живут, повернувшись спиной к трем четвертям земного шара. Право же, это предосудительно с их стороны.

Я старался отдать должное мужеству пяти своих ближних, обитавших вместе со мной на этом осколке человеческого мира. Ведь эти пять человеческих душ на неопределенный срок должны были составлять все мое общество. Остального же населения корабля, кроме Ветта, вертлявого маленького стюарда, я почти не видел вплоть до нашей высадки в Пернамбуку.

Лишь мельком мне удалось взглянуть на кочегара, вышедшего подышать воздухом, а также на трех-четырех матросов, занятых какой-то непонятной мне работой под руководством второго помощника капитана; и непрестанно звучало концертино, то и дело начинавшее и никогда не заканчивавшее кафешантанную песенку,— всякий раз она внезапно обрывалась, словно

инструмент вырывали из рук музыканта; небольшие кучки людей, сидящих на палубе в погожий вечер и беседующих за починкой тряпья,— вот все, что я помню о жизни «низшего класса» в этом маленьком сколке человеческого общества. Между ними и нами зияла глубокая пропасть. Предполагалось, что их интересы не наши интересы, их мысли не наши мысли. Мы, шестеро, были слеплены из другой глины и вели более возвышенную жизнь. Мы обращались к ним сухим тоном и со скупыми словами. Казалось, вражда между нами кое-как приглушена и может разгореться в любой момент, как только ослабнут связывающие нас узы дисциплины. Разгуливая по палубе, я чувствовал, что из черного отверстия на баке за мной настороженно следят чьи-то глаза, а мне вовсе не хотелось быть предметом наблюдений и пересудов.

Без сомнения, я находился в особом состоянии духа, был настроен весьма критически и оказался совсем неподходящим товарищем для пяти человек, которым было навязано мое общество. Со всей своей юной наивностью в возвышенном порыве я ринулся в жизнь, но испытал жестокое разочарование, и мой пыл, остыв, подернулся холодным пеплом уныния. Жизнь искалечила меня, и я теперь с трудом переносил людей. Я постепенно утратил к ним доверие, стал подозрителен и даже немного побаивался их. Не то, чтобы я замыкался от людей, нет, мне просто было с ними не по себе, и поэтому мои первые попытки завязать с моими спутниками сердечные, товарищеские отношения отличались известной искусственностью. И с первой же минуты — то ли ему не понравилась моя внешность, выговор и манера держаться, то ли с досады, что меня ему навязали,— Старик, так называли капитана, затаил злобу против меня.

Это был дюжий мужчина, с квадратным лицом, рыжими волосами, белесыми ресницами и жесткой линией рта. Он язвительно поглядывал на меня своими маленькими серо-зелеными глазками.

— Уж в третий раз мне подсовывают чертова пассажира на эту проклятую старую калошу! — проворчал капитан, когда Мидборо, второй помощник, которому меня поручил молодой Ромер, представил меня ему в доке.

С этими словами капитан отвернулся и больше не обращал на меня внимания.

Вскоре он опять меня задел.

— Ветт,— рявкнул он как раз в тот момент, когда я подумал о кофе, — позвал ты нашего экстра-сверхджентльмена?

Несколько обескураженный таким обращением, я начал налаживать отношения со своими спутниками. Но решительно все оглядывались на капитана. Механику по всем правилам и традициям полагалось быть шотландцем — но это был малый ярко выраженного семитического типа, рослый, смуглый, курчавый, с выдающейся нижней губой и акцентом, приобретенным в низовьях Темзы. Старший помощник капитана был маленький, тщедушный седоватый субъект с озабоченным выражением лица, имевший обыкновение отпускать глубокомысленные замечания во время затянувшихся пауз. Он то и дело ковырял в зубах и соглашался с капитаном решительно во всем, даже прежде, чем тот кончал фразу Мидборо, второй помощник, был белокурый, худощавый и бледнолицый северянин и держал себя с капитаном весьма осторожно. А Рэдж, молоденький третий помощник, до смерти боялся капитана.

Видя, чтó за деспот этот капитан, я сделал ошибку, обращаясь к нему слишком часто и настойчиво, ведь капитан, как некая царственная особа, не нуждается в темах для разговора, он сам выбирает их. Из страха показаться робким я не проявлял к капитану должной почтительности. Мне, собственно, следовало бы присмотреться, как другие с ним обходятся, а потом следовать их примеру.

Кроме того, поскольку я был еще очень молод и мало знал мир за пределами Уилтшира и Оксфорда — ибо злополучный опыт порочной жизни уже стерся из памяти,— мне волей-неволей приходилось говорить о себе, об оксфордских делах, о кое-каких прочитанных мною книгах, о спорте и играх. Или же о роде Блетсуорси. Я думал, что если буду рассказывать своим спутникам о себе, то вызову с их стороны подобную же откровенность; но теперь мне ясно, что я должен был произвести на них впечатление существа эгоистичного и ограниченного.

— Вы когда-нибудь занимались стрельбой из лука, капитан? — спросил я однажды за столом.

Капитан на минуту перестал жевать, а потом издал неопределенный звук, я не мог разобрать, то ли он лязгнул зубами, то ли пробормотал: «Что?».

— Стрельбой из лука,— повторил я.

Тут капитан положил свою вилку и нож и чрезвычайно серьезно посмотрел на меня. Пауза, которую я истолковал как немой вопрос, затянулась.

Молчание нарушил старший помощник.

— Да, есть такие искусники,— сказал он.— Я видел в Фолкстоне, как они забавлялись стрельбой. Стреляют в большую мишень, похожую на днище бельевой корзины. Просто удивительно, как это у них здорово получается!

— Это очень занятно,— продолжал я,— на зеленом лугу, в солнечный день...

— Если нечего делать, то, пожалуй...— вставил корабельный механик.

— Это значит воскрешать времена Робина Гуда и его веселых товарищей,— изрек я заранее приготовленную фразу.— Добрую старую Англию и золотой век. Оперенные стрелы и всякие такие штуки.— Тут я ударился в воспоминания.— Некоторые наши профессора замечательно метко стреляли!

Больше никто не мог ничего сказать о стрельбе из лука, и вновь последовала долгая пауза. Я уже собирался было спросить капитана, увлекался ли он когда-нибудь любительскими спектаклями, когда он сам нарушил молчание, задав старшему помощнику какой-то весьма специальный вопрос насчет груза. Я внимательно вслушивался, надеясь вставить и свое словечко, но тема, как нарочно, была взята такая, чтобы я не мог раскрыть рта.

— Что это за переборки, о которых вы говорите? — отважился я спросить.

Никто не удостоил меня ответом.

В течение нескольких дней я пытался наладить беседу и сблизиться с этими людьми, но в конце концов отчаялся. Эти пятеро моряков ни под каким видом не желали сближаться со мной, я им был не нужен! Мои неуклюжие попытки потерпели неудачу. Мало-помалу я

становился пассивным слушателем острот капитана, изречений старшего помощника, болтовни механика и поддакиваний двух младших помощников. Но моряки с таким презрением относились ко мне, и видно было, что мое общество так им неприятно, что они не давали мне просто стушеваться; они позволяли себе всяческие сарказмы, намеки и шпильки, которые меня задевали и ставили в тупик. Так, механик изобрел остроумное оскорбление. Вначале он называл меня «мистер», потом пустил в ход скороговорку, стал проглатывать второй слог и обращался ко мне просто: «Мисс!» Капитан в веселые минуты, обычно в конце обеда, принимался рассказывать пошлые анекдоты, которые он откровенно смаковал, а молодые люди встречали с подобострастным восторгом.

Старший же помощник словно окаменел и не высказывал ни одобрения, ни недовольства.

— Боюсь, что мы шокируем вас, мисс Блетсуорси,— говорил механик после каждого анекдота.

Но как-то раз мне удалось отпарировать удар.

— Ничуть,— ответил я на очередной выпад механика.— Я знаю одного грязного старого пакостника в пивной Оксфорда, так он дал бы капитану сто очков вперед по этой части!

Это заставило их умолкнуть.

— Трудно поверить! — произнес с опозданием штурман, словно делая пробный промер лотом.

— Этот старик знал целую кучу похабных стишков,— сказал я.— Вот это так были стихи!

Кое-что я в свое время действительно слышал и теперь продекламировал стишок-другой, из самых забористых. Никто не посмел засмеяться, а капитан бросил из-за салфетки на меня уничтожающий взгляд.

— Не ожидал я этого от вас, мисс! — с укором проговорил механик.

И тут капитан нанес мне сокрушительный удар.

— Если вы не можете вести себя за столом прилично, мисс Блетсуорси, то вам придется обедать у себя в каюте! — брякнул он.

В первую минуту я растерялся.

— Я думал, что вы любите такие стишки,— пробормотал я, впервые за все время добавив почтитель-

ное «сэр», без которого не начинали речи мои товарищи.

Капитан яростно хрюкнул.

Но после этого его тон значительно смягчился, а механик уже больше не пытался сконфузить меня. Все же я чувствовал, что своим присутствием вношу атмосферу вражды и недоверия и, пожалуй, даже какую-то неловкость. Между завтраком и обедом мне приходилось либо тосковать в одиночестве, либо спать. Стоило мне приблизиться к кому-нибудь из моих спутников, как он немедленно сворачивал в сторону. Когда стояла хорошая погода и корабль шел равномерным ходом, день казался бесконечным, медленно ползли часы за часами, дневной свет неприметно переходил в сумерки и, наконец, наступала нескончаемая ночь. Часы на стене как будто засыпали и не думали просыпаться. Младшие помощники резались в карты, поочередно падали духом или приходили в возбуждение. Механик запоем читал, а старший помощник пребывал в какой-то летаргии. Капитан почти не показывался.

Раз или два я брал книги у механика, который давал их мне неохотно, по одному томику, и строго ставил на вид, что необходимо аккуратно обращаться с ними и вовремя отдавать. Он дал мне потрепанный том «Истории мира» Гельмгольца, где рассказывалось о татарских династиях и о Китае, книгу «Как ездить на лыжах» и воспоминания Стэнли о том, как он разыскивал Ливингстона. Сам же он сидел чуть ли не все время над книгой Керка «Руководство по физиологии», пытался изучить строение мозга по описаниям и таблицам, многого не понимал и приходил от этого в дурное настроение. Я всячески старался завязать с ним беседу по поводу этих книг, но мог высказать лишь суждения общего порядка, а ему нужны были только факты.

По его словам, все эти книги он купил на улицах Лондона, на лотках у букинистов, и ни за одну не заплатил дороже шиллинга. Он любил толстые книги на актуальные темы. Беллетристику он презирал, считая ее обманом. Читал он, распустив свои расхлябанные губы, и при этом обыкновенно почесывал щеку. Все, что он прочитывал, как видно, глубоко оседало в его со-

знании, а на поверхности не оставалось ничего; он терпеть не мог, когда ему задавали вопросы о прочитанном. Если его спрашивали, он вздрагивал, таращил глаза и отвечал уклончиво или недружелюбно. Он требовал, чтобы я прочитывал взятую у него книгу от доски до доски, прежде чем начать другую. Эти татары прямо-таки доконали меня. Я дал себе обещание скупить в Пернамбуку все романы на английском и французском языке, какие мне попадутся.

Мне страстно хотелось добраться, наконец, до Пернамбуку. Дни тянулись за днями, не внося почти никакого разнообразия в мою жизнь. Волны то усиливались, то спадали под переменчивым ветром, и несколько дней держалась маслянистая мертвая зыбь без малейшего ветерка; машины ухали, корабль скрипел и вздрагивал, все казалось неустойчивым и раздражающим, палуба как будто пыталась принять удовлетворительный наклон к горизонту и неизменно терпела неудачу в этих попытках, матрос с концертино на баке делал отчаянные усилия сыграть все время заглушаемую мелодию, а мне ни на миг не удавалось забыть беспредельную водную пустыню, окружавшую нас со всех сторон.

Всего милей в моем ограниченном мирке показались мне звезды, я ожидал их появления на небе, как ждут возвращения друга. Они становились все ярче и казались крупнее, по мере того как мы плыли к югу, к тропикам. Млечный Путь все больше походил на яркую сверкающую россыпь. Меня радовало, что я знаю названия некоторых звезд. Я сразу же находил Орион и Сириус, потом узнавал Канопус (стоявший прямо над головой), Арктур и Ригель в углу трехзвездия Ориона. Все это были мои друзья, и я приветствовал их. Большая Медведица неотступно следовала за Полярной звездой; я начал разыскивать Южный Крест и был разочарован — едва поверил глазам, когда нашел его. Затем лунный серп стал появляться каждый вечер на закате; он становился все больше, все надменнее и заливал морскую гладь ярким голубым сиянием, изгнав с неба все звезды, кроме самых ярких. До поздней ночи простаивал я на палубе, любуясь небом, а утром просыпался очень поздно; ночь была не так скучна, не так пустынна и не так бестолкова, как день.

Мало-помалу раны моей души затянулись защитной пленкой байроновского презрения, которая некоторое время успешно ограждала меня. Я презирал житейскую грязь, я дружил с прекрасными звездами. Я уже реже хватался за поручни и за борт и все чаще скрещивал руки на груди. На смену нервной готовности услужить и почтительности пришла холодная молчаливость. Я размышлял о своих разочарованиях и пороках и теперь находил в этом какое-то мрачное удовлетворение. Эти люди и не подозревали, кого они прозвали «мисс Блетсуорси»! Но — о боже! — как бесконечно тянулись эти дни, когда мои мечты летели к Пернамбуку!

3

ВЫСАДКА В ПЕРНАМБУКУ

Когда мы прибыли в Ресифи — таково настоящее название города, в просторечии именуемого Пернамбуку,— и встали на рейде, я испытал ту же иллюзию близкого освобождения, как и при отплытии из Лондона. Город гостеприимно раскинулся передо мною, точно приманивая меня. Мы вырвались из мрачной, безлюдной пустыни, и каждая набережная, каждая улица и здание казались блаженным приютом после разболтанной ржавой железной посудины, в которой мы пересекли Атлантический океан. На баке стояла группа людей, их лица и жесты выражали нетерпение и жажду свободы. Теперь-то я знаю цену всему этому, но в ту пору был в плену общей иллюзии. Я так ликовал, что не прочь был бы пошутить с самим капитаном, будь такая шутливость хоть сколько-нибудь уместна. Механику я простил от всего сердца все его выходки. Очень трудно было стоять, скрестив руки, и даже внешне сохранять байроновскую позу!

Но тот, кто стал пленником моря, не так-то скоро разорвет эти узы. Каждый из приветливых домов, которые кажутся столь гостеприимными прибывающему в гавань моряку, в действительности снабжен замками и засовами. А широко раскрытые двери некоторых домов на набережной — не что иное, как ловушки для изголо-

давшейся и одинокой души моряка. Таможня будет осматривать его убогий багаж, как бы приглашая воспользоваться изобилием нового края, а позади таможни и портовых контор — целый заградительный кордон, множество людей, готовых удовлетворить в своих корыстных целях его неотложные нужды и слабости. Ему предлагают явно фальшивую любовь, фальшивую дружбу и гнусные, распутные забавы. Если же ему усилием воли удастся избежать этих соблазнов, он будет скитаться по улицам, вдоль которых выстроились магазины, глазеть на совершенно ненужные ему вещи, пробираясь в толпе людей, чьи привычки, обычаи и язык коренным образом отличаются от его собственных. Трамваи и омнибусы манят его посетить предместья и кварталы с причудливыми названиями, но когда он туда доберется, он никому там не нужен.

Надежда умирает только с жизнью, ибо жизнь и надежда — одно и то же, и вот моряк слоняется по городу, стремясь вступить в легкое и свободное общение с людьми, которые бесконечной вереницей проходят мимо него: кажется, это так просто, а на деле совершенно невозможно. И если он получает расчет, то чувство бездомности на чужом берегу только обостряется, ибо человеку уже некуда податься, даже на корабль не вернешься.

Когда я увидел своих спутников, которые готовились сойти на берег, чтобы провести ночь в городе, и более или менее принарядились, мне прямо-таки не верилось, что мы когда-нибудь вновь все очутимся на корабле. Однако в свое время мы все же собрались. Капитан превратился в элегантную особу в мягкой шляпе, и кончик носового платка кокетливо выглядывал из его бокового кармана. Механик был просто ослепителен в рыжеватом костюме и вызывающе ярком галстуке. Мидборо и Рэдж выглядели невероятно будничными в темно-синих костюмах и котелках, и шли они бок о бок, совсем как близнецы. Преобразились и матросы. «Взгляните, какие мы молодцы! — казалось, говорили они, прихорашиваясь.— Принимайте как следует заморских джентльменов!» И вот один за другим, окрыленные надеждами, мы повернули спиной к «Золотому льву» и сошли на берег, а старший помощник, остав-

шийся охранять корабль, провожал нас завистливым взглядом. Пернамбуку же не проявил ни особого испуга, ни удовольствия по поводу нашего вторжения.

Удастся ли хоть одному счастливчику прорваться сквозь все эти рогатки и преграды и встретить сочувствие и человеческое отношение? Город осветился яркими огнями, когда мы сходили на берег, но вид у него был равнодушный — ни малейшего намека на гостеприимство, ему не было дела до наших надежд!

Я видел другие порты и гавани, но эта высадка в Пернамбуку стала как бы квинтэссенцией всех моих морских впечатлений. Море — часть необъятного внешнего мира, и кто сможет передать словами ужас, какой внушает оно человеку? Мы отчаливаем от пристани и пускаемся на своем хрупком суденышке в водную пустыню, и матросы вынуждены плыть на нем, ибо они потеряли почву под ногами на суше.

Возможно, что овладевшее мною глубокое разочарование окрашивало все окружающее в мрачные тона; возможно, что все и каждый на «Золотом льве» не так уж стремились поскорей уйти от товарищей, как мне показалось в тот раз. Допускаю, что в эти дни пессимистическое настроение заставляло меня видеть мир в черном свете. Однако и сейчас мне кажется, что моряк непрестанно стремится обрести почву под ногами на суше, норовя остаться на берегу всякий раз, как подвернется случай, и торчать там до тех пор, пока голод не погонит его снова на море,— ведь на суше он не может заработать себе на хлеб. В конце концов он опять будет вынужден жить на корабле, на баке или на шканцах (в зависимости от его должности), заключенный в одну из этих шатких, пыхтящих железных коробок, груженных товарами, которых он никогда не будет потреблять и само назначение которых, вероятно, навсегда останется ему неизвестным. Но всякий раз, как он приближается к берегу, он снова надеется включиться в основной поток человеческой жизни.

Я отправился в город один-одинешенек.

Молодой Ромер дал мне письмо к торговому корреспонденту, с которым фирма поддерживала дружеские отношения. Он был датчанин и кое-как объяснялся по-английски. В этот вечер он оставил свою контору и отпра-

вился домой; контора оказалась запертой, и я выбрал наугад какой-то отель. Мне предстояло самому искать себе развлечений, но их оказалось очень мало. Я пообедал в ресторане, хозяин которого, швейцарец из Тичино, с грехом пополам говорил по-английски и помог мне в выборе блюд; потом я отправился побродить по улицам. Улицы были или широкие и хорошо освещенные, или убийственно темные и узкие. Я попробовал было зайти в театр, но, видимо, час был поздний, словом, по каким-то причинам меня не впустили. Объяснений я не понял. Чтобы услышать живое человеческое слово, я подошел бы к одной из проституток, зазывавших меня, если бы нашлась хоть одна, знающая по-английски не одни только непристойные слова. И когда, наконец, усталый и разбитый, я стоял у входа в свой отель, мимо меня прошли Мидборо и Рэдж в компании огромного негра. Он что-то оживленно им рассказывал. Лица у них раскраснелись, и вид был возбужденный. Стало быть, они нашли в конце концов провожатого и куда-то отправились! Мне хотелось пойти за ними, но я воздержался.

Помню, я долго сидел на кровати, не раздеваясь. «Что я за пропащая душа? — спрашивал я себя.— Неужели я ненавижу весь род человеческий? Что такое со мной стряслось? Почему я очутился вдали от людей и сижу здесь один, как перст?»

4

ВИЛЛА ЭЛЬСИНОР

Мистер Андерсен, к которому я явился с письмом на другой день, не слишком-то помог мне выпутаться из моих затруднений, хотя проявил величайшее доброжелательство и гостеприимство. Он говорил по-английски весьма витиевато и с большим жаром, но далеко не правильно, научился он языку главным образом путем чтения, и, если не прерывать его каждую секунду вопросами, очень многое ускользнуло бы от слушателя. Так как его, видимо, смущало, что я плохо его

понимаю, то я сделал вид, что слегка туг на ухо. Но оказалось, что он в свое время был студентом медицинского факультета в Копенгагене и даже сейчас усердно лечит своих знакомых. Добрых полчаса он потратил на обследование моих ушей. Диагноз он поставил такой: мой слуховой аппарат в полном порядке, но я страдаю психической глухотой, возникшей в результате беспорядочных увлечений молодости. Затем, не переставая тараторить, он повел меня завтракать в тот же самый швейцарский ресторан, где я обедал накануне вечером. По его словам, это замечательный ресторан, и иностранцы еще не открыли его.

Он подбодрил себя превосходным бразильским красным вином, название которого я позабыл, и по мере того как он разогревался, в его английский язык вкрапливалось все больше датских фраз, а порой врывались французские слова и, как мне показалось, даже португальские.

Но он стал говорить как-то медленнее, и его речь стала более понятной. Он начал описывать мне Бразилию с враждебностью иностранца, представителя чуждой расы, исповедующего иную религию, главная задача которого — скупать по низким ценам местные продукты и отправлять их за границу, а также сбывать заграничные товары неподатливому туземному покупателю. Однако женился он на бразильянке.

Он рассказывал жуткие анекдоты о неряшливости, недобросовестности и бесчестности местных жителей, и у меня сложилось представление, что этот народ нехотя и спустя рукава работает на сахарных плантациях, а праздники и свободные дни проводит в танцах, на скачках, за картами, в пьянстве, разврате и всевозможных развлечениях, поэтому у них самое обычное явление — ссоры, поножовщина, убийства. Под конец он пригласил меня на завтрак в свой загородный дом на следующий день — это было воскресенье,— с тем чтобы я потом составил партию в теннис с его дочерьми.

Он хвастал, что его дочери владеют хорошо английским; быть может, они и знали этот язык, но почему-то избегали говорить на нем, и я беседовал с ними и их матерью на упрощенном, условном французском языке. Мать оказалась представительной, смуглой и откро-

венно пожилой, довольно привлекательной женщиной; дочери были высокого роста и красивые, с волосами цвета льна, с золотистой кожей и прекрасными темно-серыми глазами. Они наперебой занимали меня приятной болтовней, пока не ворвались двое молодых бразильцев, которые своим поведением подчеркивали, что имеют какие-то права на этих девиц и не слишком обрадовались моему появлению. Разговор пошел на португальском языке и сделался очень быстрым. Мне дали ракетку, принадлежащую одному из молодых бразильцев, и я заметил, что он не одобряет моего способа отбивать мяч, но сделал вид, что не понимаю того, что говорилось, и продолжал играть на свой лад, только с известной осмотрительностью. Все играли в теннис так же плохо, как и я; корт был пыльный и местами очень рыхлый, и партия изобиловала сюрпризами. Когда молодые бразильцы окончательно потеряли терпение, мы пошли пить чай.

Мистер Андерсен, удалившийся соснуть, вышел освеженным и залопотал на ломаном английском языке еще быстрее, чем прежде; миссис Андерсен ворковала по-французски. Юные джентльмены упрямо изъяснялись только по-португальски, а девицы стрекотали так, что положительно нельзя было понять, по-португальски ли они говорят или же на ломаном французском. Я говорил наполовину по-английски, наполовину по-французски. Таким образом мы высказали друг другу свое мнение о Вагнере и Ницце, о Лазурном береге (несколько минут мне казалось, что речь идет о побережье Корнуэльса, но не все ли равно?), о доктрине Монро, потолковали о нравственных качествах Эдуарда VII, о своеобразном очаровании Парижа и о том, что он во многих отношениях похож на Ресифи, о богатстве тропической флоры, о мошках, осах, змеях и незадолго перед тем вошедшей в моду игре в бридж. По крайней мере мне кажется, что мы говорили именно об этом, но может статься, мои собеседники затрагивали совсем другие темы. Мне приятно было поупражняться в салонном разговоре после долгого вынужденного молчания на «Золотом льве», но через некоторое время я почувствовал усталость. Хозяева, кажется, тоже утомились. Но все мы, опасаясь, как бы это утомление не

было замечено и истолковано в дурную сторону, стали с новым пылом развивать свое красноречие, между тем молодые люди удалились в сторону теннисной площадки, оттуда они возгласами и знаками приглашали в свое общество девушек, причем предполагалось, что я ничего этого не замечаю.

Чтобы прикрыть эту неловкость, миссис Андерсен пустилась в какое-то любопытное описание, которому, казалось, не будет конца: не то она восхищалась ослепительным оперением южноамериканских колибри, не то красотой местных цветов, не то чудесной окраской рыбы, пойманной в тропических водах, не то блеском роскошных карнавальных украшений и нарядов или же говорила сразу обо всех этих предметах, а возможно, и ни об одном из них. Но описание было превосходное, а ее жесты и интонации очаровательны.

— Mais oui,— повторял я.— Mais oui [1].

Когда, наконец, я стал прощаться, члены семьи Андерсен, делая вид, что воспылали ко мне бескорыстной симпатией, забросали меня приглашениями на завтра и на послезавтра, вообще на любой день,— приглашениями, которые я принимал с таким же энтузиазмом. Но наиболее молчаливая из дочерей внесла совершенно новую нотку в разговор, тихонько сказав в последний момент (при этом она опустила глазки):

— В будни мы бываем совершенно одни...

Я понял, что приличия требовали повторить визит. Я был у них после этого несколько раз.

Когда я думаю об этих посещениях виллы Эльсинор, я вижу себя как бы смотрящим сквозь темную кисейную занавеску в надежде обнаружить ближнего, который, может быть, за ней скрывается. В интонациях голоса младшей Андерсен мне почудилось обещание какой-то мистической женской дружбы, которой душа мужчины постоянно алчет и жаждет, и этого обещания она не выполнила, даже не повторяла и, вероятно, вовсе и не давала. Но я жил этой надеждой в Ресифи. Я приходил якобы для того, чтобы быть четвертым партнером в теннисной партии, играя с двумя дочерьми и мамашей, ибо в будни обрученные с девицами бразиль-

[1] Ну да, ну да *(франц.)*.

цы были заняты в городе делами. Андерсен корчил из себя англомана и прогрессивную личность, и дочери его пользовались свободой, совершенно немыслимой в Бразилии в те довоенные дни. Они даже разъезжали на велосипедах по сравнительно безопасным маршрутам в развевающихся юбках, открывавших лодыжки, и воротничках, открывавших шею. И умели спрягать чудесный английский глагол «флиртовать»! Можно было предположить, что младшая сестра флиртует со мной, и, уж конечно, трудно было придумать более «английскую» ситуацию.

Но дальше этого я не пошел. Мне так и не удалось проникнуть за таинственную завесу.

Однажды в саду, когда я находился наедине с младшей, мне показалось, что она не прочь поцеловаться со мной, но я упустил этот случай, не успев проверить, так ли это. Возможно, что она сочла меня непредприимчивым и решила больше не подавать мне повода. Сейчас я не могу в точности припомнить, что навело меня на эту мысль и вызвало эти колебания. И трудно себе представить, что за «треугольник» получился бы у нас, если бы мы действительно поцеловались! Я покупал ей и ее сестре шоколад, а матери — огромные букеты цветов. Мы отбивали ракеткой теннисные мячи, перебрасывались отрывочными фразами на скверном французском языке и снова брались за теннис, чтобы избавиться от необходимости говорить. Беседовали мы не для того, чтобы что-нибудь сообщить друг другу, а только, чтобы скрыть то обстоятельство, что нам решительно не о чем говорить. Призрачное обещание развеялось, как дым, и, когда «Золотой лев» кончил разгрузку и погрузку и был готов к отплытию, я так же был склонен ехать дальше, как и весь наш экипаж.

Совершенно необычное настроение, похожее на сдержанную благожелательность, царило на пароходе, когда город, покидаемый нами, потонул в зареве заката. Был чудесный тихий вечер; погода по-прежнему стояла прекрасная. Я спросил второго помощника, удалось ли ему развлечься, и он ответил, что на его долю выпало слишком много ответственной работы и он провел всего три ночи на берегу. Он любезно пробурчал что-то насчет апатичности штурмана и ненужности третьего по-

мощника; механик, когда я показал ему купленные мной книги, без тени враждебности изрек свое порицание «этой макулатуре». Штурман согласился со мной, что Ресифи — крупный железнодорожный центр, а третий помощник, без просьбы с моей стороны, передал мне соль. Но капитан оставался непреклонным.

Это прямо меня бесило. Обычно он громко прихлебывал суп за обедом, и вдруг мне пришло в голову проделать такую же точно штуку со своим супом. Все, оторопев, на меня уставились, а капитан покосился в мою сторону с каким-то злобным интересом.

Я неторопливо доел свой суп, причем финал был особенно шумный. Потом хладнокровно положил ложку на стол и стал терпеливо, с самым равнодушным видом выжидать, когда капитан кончит есть. Он доел суп совсем беззвучно, и лицо у него побагровело. Старший помощник и механик поспешили его выручить, как ни в чем не бывало затеяв разговор, к тому же помощник закашлялся. Мидборо был ошеломлен, но, встретившись с ним глазами, я прочел в его взгляде уважение, смешанное с ужасом.

В тот момент мне казалось, что меня осенила блестящая мысль, но в ночные часы на меня находили сомнения, и я был недоволен собой.

Я позволил себе непристойную, омерзительную выходку, и мне было стыдно. Я ненавидел и презирал капитана, стараясь преодолеть страх, какой он мне внушал, а вот и сам опустился до его уровня. И все же я боялся его. Нет, я не достоин называться Блетсуорси.

5

ПЕРЕХОД ДО РИО

Я остановился так подробно на этих первых неделях плавания потому, что хотел по возможности обрисовать обстановку и условия, в которых медленно развивалось мое душевное заболевание. Ибо весь мой рассказ, по существу говоря, не что иное, как история психической болезни.

После пережитого мною надлома воли и помрачения памяти я думал, что это была лишь неприятная случайность и мне удастся вполне оправиться. Я согласился с мнением, что стоит мне вырваться из Оксфорда и Лондона, порвать с ними связь, начать новую жизнь,— и все пойдет хорошо; но теперь на меня нахлынули сомнения, и в бесконечно долгие часы бессонницы я пытался доискаться причины обрушившейся на меня беды и делал всевозможные догадки.

На меня угнетающе подействовала перемена погоды, которая после Пернамбуку сильно испортилась, и к смятению мыслей и чувств присоединился чисто животный страх. Казалось, стихии вступили в заговор с людьми и обрушились на меня, подрывая во мне мужество и самоуверенность. Неужели я заболеваю морской болезнью? Этого еще не хватало! Теперь я стану всеобщим посмешищем.

Напрасно старался я отогнать эти мысли.

Чтобы подчинить себе непокорную диафрагму, я пробовал по-дилетантски применять методы «христианской науки». Предвосхищая систему самовнушения Куэ, я то и дело повторял: «Я не заболею морской болезнью! Я не заболею морской болезнью». А за обедом в тот же день решил, что заболеваю, и с позором выскочил из-за качающегося стола.

Ночью шторм усилился. Каюта моя все сильнее качалась и скрипела, ее подбрасывало кверху, швыряло из стороны в сторону; я чувствовал, что корабль уже не может быть для меня твердым, надежным оплотом. Каюта прыгала, металась, поднималась все выше и выше, но стоило мне примириться с ее стремлением ввысь, как она, взвившись на дыбы, на мгновение замирала как бы в задумчивости и потом стремглав летела в бездну. Или внезапно ложилась набок. Корабль, как огромный штопор, ввинчивался в пучину. Потом он прикидывался ярмарочными качелями. Затем новое превращение: он становился лифтом, который испортился и летит вниз, проваливаясь в бездонный колодец. Или вагонеткой фуникулера, медленно совершающей головоломный спуск. Тогда неприятные ощущения сменялись чувством нарастающего ужаса. Корабль то и дело отчаянно встряхивало. Вспененная волна врывалась в каюту,

как заблудившаяся собака в поисках хозяина, металась из угла в угол, промачивала все насквозь и убегала. Все неприкрепленные предметы прыгали по каюте. Мои ботинки были подхвачены волной и унесены в море; я вывихнул себе кисть руки и ушиб колено. Фляга с водой отделилась от стола, ударилась об стену, разлетелась вдребезги, и ее осколки метались во все стороны, грозя моим рукам и ногам. Пять суток прожил я в этом аду. Мало-помалу я начал есть, хотя приступы тошноты все еще меня мучили. Я пил горячий кофе все с бо́льшим удовольствием и жадно проглатывал хлеб, который приносил мне Ветт.

Четыре или пять дней я провел у себя в каюте во время шторма, и обо мне все позабыли, кроме Ветта, вездесущего стюарда, да как-то раз на минуту заглянул второй помощник, и механик задал мне несколько вопросов, на которые не получил ответа; эти дни встают в моем воображении как вихрь смутных, мучительных загадок, которые, в сущности, угнетали меня и до и после этого времени. Я ломал голову над этими загадками, метался и ерзал по койке, а кошмарные образы неотвязно кружились передо мной. Меня и тошнило и хотелось есть. И только в отрывочных, бессвязных словах могу я поведать обо всем, что происходило со мной.

Я старался осмыслить свое положение; корень зла, как мне казалось, был в том, что я вступил в жизнь с величайшей верой в себя, в человечество, в природу и внезапно утратил эту веру. Я перестал верить в свои силы. Я стал чужим всем своим собратьям, я боялся их и теперь находился в томительном разладе с окружающим меня негостеприимным миром. Я и понятия не имел о своей слабости, о своем неумении приспосабливаться и защищаться, а тут как раз стихии и случай неожиданно ополчились на меня. До чего ужасно было это протекавшее в одиночестве путешествие; казалось, ему не будет конца. С моей стороны было сущим безумием отправиться в море. Зачем, зачем повернулся я спиной к своей настоящей среде? Зачем последовал совету старика Ферндайка? Раньше я был счастлив; если и не был счастлив в полном смысле этого слова, то, во всяком случае, успел приспособиться к своей среде. Промокший до костей, изнемогая от качки, я метался по скачущей

козлом койке, то и дело увертываясь от своих вещей и мебели, которые нахально бросались на меня, и с удивлением думал о том, что некогда мне жилось хорошо и спокойно. Я ходил по твердой земле спокойными, уверенными шагами и дружески улыбался звездам. Я вспоминал залитые солнцем холмы Уилтшира и вечерние улицы Оксфорда, как нечто неправдоподобное, но неизменно прекрасное. Неужели же все это было на самом деле? Да, к этому миру, к благоустроенной жизни в Центральной и Южной Англии, я был вполне приспособлен. Я принимал необходимые в обществе условности, доверял людям, жил добропорядочно, легко и уверенно чувствовал себя среди них. Мои бедствия начались лишь после того, как я решительно порвал с этим миром. И вот я все дальше и дальше отхожу от него!

Да, но разве можно назвать нормальным мое полное неумение приспосабливаться?

Я припоминаю, как у меня в мозгу, подобно ритмическому качанию маятника, размеренно звучали слова: «Нормально, ненормально, нормально, ненормально, нормально?»

Вот, например, у нас на корабле я больше всех страдаю от морской болезни. Интересно знать, испытывают ли другие это недомогание и тошноту? Приходилось ли им раньше так страдать? А может быть, и они сейчас страдают? Я присматривался к Ветту. А он-то вполне здоров? Он пошатывался. Он ходил бледный, весь мокрый. Но добросовестно исполнял свои обязанности и приносил мне кофе.

Меня непрестанно угнетало сознание своей полной непригодности к жизни, но неужели никто из этих людей не испытывал такой мрачной подавленности?

Быть может, они грубее меня, более толстокожи?

Откуда такое недружелюбие? Неужели оно вызвано моей болезненной застенчивостью, неумением сходиться с людьми? Или же это происходит потому, что я не могу думать ни о чем, кроме постигшей меня катастрофы? Я не знаю, умеют ли они действительно сходиться с людьми? Или, может быть, они так же безмерно одиноки, как и я, только не сознают этого? Замечают ли они, до чего они необщительны? Но если все они живут одиноко, то что же в таком случае человеческое об-

щество, как не иллюзия? В Оксфорде человек говорит «Добрый день!», «Как дела?», надеясь получить дружелюбный ответ. Да полно, так ли это? Быть может, это нам только так кажется? И встречаешь ли когда-нибудь сочувствие у людей? Вот, например, если теперь, утратив юность, я вернусь домой, найду ли я прежний Оксфорд, и Уилтшир, и дружбу?

Да, в конце концов, дружба связывавшая меня с Лайолфом Грэвзом, обернулась против меня и оказалась такой же пустой, как и любовь. И если весь этот заманчивый мир был только сном и я пробудился от сновидений лишь для того, чтобы ошалело метаться среди бурлящих вод, то что ждет меня дальше?

Помнится, несколько дней меня била лихорадка, и в бреду я разговаривал с Веттом. Но вот ветер стал понемногу затихать, выглянуло ослепительно яркое солнце и просушило палубу нашей железной посудины, треск и стоны корабля обрели обычный ритм, тяжелые всплески волн сменились мерной и плавной пляской и постепенно перешли в тихую зыбь. Я почувствовал, что ко мне вновь вернулись аппетит и силы. Ветт помог мне привести в порядок каюту, я сбрил, морщась от боли, отросшую жесткую щетину, переменил белье, надел чистый воротничок, повязал галстук и вышел к обеду.

— Возвращаетесь к жизни? — приветливо проговорил механик, не переставая жевать.— Теперь вы знаете, что такое море!

— А вот как обогнем мыс Горн, так будет еще почище,— сказал старший помощник.

— Хотите бобов? — предложил Ветт, протягивая консервную банку.

— С удовольствием!

До чего вкусные и сытные были эти бобы!

— У меня была книга,— начал механик,— где говорилось о силе прилива и волн. Эта сила прямо-таки ужасна. В книге были вычисления. Правда, я их не совсем понял, но цифры меня потрясли. Представьте себе, что если использовать силу волны, можно построить огромную башню, пустить в ход все поезда в Европе и

осветить электричеством чуть не весь мир. И все это пропадает даром! Ну, не чудо ли это?

— Не верится,— сказал штурман.

— Ну, положим, с математикой не поспоришь,— возразил механик.

— Мы скользим по поверхности вещей,— сказал я, но, кажется, никто не оценил моего замечания.

— А вот я знаю одно местечко возле Нью-Хэвена, где пробовали использовать приливы,— с усилием выговорил третий помощник.

— И что же, затея провалилась? — спросил старший помощник.

— Ни черта не вышло, сэр.

— Так я и думал,— отвечал старший помощник.— А зачем им понадобилось использовать приливы?

— Не знаю, сэр!

— Они и сами того не знали,— с величайшим презрением отозвался старший помощник.

Капитан не проронил ни слова. Он сидел неподвижно и глядел перед собой в пространство. Лицо у него было бледное, жесткое и казалось еще более свирепым, чем обычно. Белесые ресницы прикрывали его глаза. «О чем он думает?» — недоумевал я.

— Рио! — вдруг проговорил он с какой-то горечью в голосе.— Рио!

Никто не ответил; да и что было отвечать? И он ничего не прибавил. Несколько мгновений старший помощник глядел на своего товарища, слегка прищурив один глаз, потом снова принялся за еду.

— Вы найдете в Рио сколько угодно матросов почище наших,— сказал механик, очевидно, разгадав мысли капитана.

6

МАШИНЫ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ

Сначала мы прибыли в Рио, а затем Рио преспокойно вышвырнуло меня и моих спутников в море, как это было в Пернамбуку; «Золотой лев» сильно пропах кофе, ромом и какой-то растительной гнилью и поплыл

дальше, навстречу злоключениям и всяким недобрым делам.

Отплывая из Рио, я находился в подавленном состоянии духа. Здесь я чувствовал себя еще более одиноким, и мне еще труднее было найти пристанище, чем в Ресифи. У меня не было никаких рекомендательных писем хотя бы к таким лицам, как Андерсен; я поселился один во второсортной гостинице и развлекался, как умел,— в сущности, весьма плохо. Меня поразил этот большой и шумный город, тропическая растительность и ослепительное солнце, широкий, красивый проспект — я позабыл его название,— своего рода Елисейские поля, восхищали бесконечные виллы и чудесные пляжи.

Я сделал поразившее меня открытие, что у жителей Южной Америки имеются курорты с горячими водами куда веселее нашего Брайтона или Борнемута. Они построили музей изящных искусств, где было великолепное собрание картин современных художников, и я часами простаивал там. Очень помогли мне и кинотеатры, большие, прекрасные кинотеатры. Это была золотая пора кинематографии, когда без всякого шума и рекламы постоянно на экране появлялся Чарли Чаплин. Жители показались мне гораздо более счастливыми и благоденствующими, чем у нас в Англии. Я не прочь был бы развлечься, но находился в такой прострации, что ни с кем не удалось мне свести знакомства. У меня были встречи с уличными женщинами, о которых лучше не упоминать. Какой превосходной и благотворной могла бы стать профессия куртизанок, если бы к ней относились с уважением и умей они утешать одиноких людей, прибегающих к ним! Но я не мог купить ничего, кроме грубого хохота и неуклюжих попыток утолить желание. Я попробовал пить, но после моих похождений в Норвиче у меня осталось смутное отвращение к выпивке. Все мое существо теперь взывало к дружбе и жаждало близости. Я бродил по этому богатому, великолепному городу и мучительно спрашивал себя: найдется ли в этой толпе, казавшейся такой веселой и довольной, человек, который сможет понять мою безумную жажду человеческого тепла? Или же это—просто сборище одушевленных масок, производящих впечатление дружески

расположенных друг к другу людей? Эти мысли угнетали меня.

Во-первых, я не говорил по-португальски. Казалось бы, и без того много всяческих барьеров между людьми, а тут еще незнакомый язык. Частенько я слышал английскую речь и раза два видел довольно симпатичных соотечественников, сначала — семейство из пяти человек, потом — чету туристов, это были, как видно, новобрачные; я шел за ними по пятам, пока не возбудил у них подозрений. Я как-то по-глупому тащился за ними, даже не пытаясь придумать предлога, чтобы заговорить.

Мое одиночество приобрело характер какой-то одержимости и сковывало меня на каждом шагу.

В конце концов, спрашивал я себя, что я могу дать этим людям? Ведь, пожалуй, и сам я только маска. Мне еще нужно обрести человечность не только в окружающем мире, но и в самом себе. Допустим, что эти приятные на вид люди вдруг согрели бы меня лаской, пригласили бы позавтракать с ними или пойти вместе на прогулку, заставили бы меня разговориться, что сказал бы я им? Чем бы я мог их занять и развлечь? Куда мы могли бы вместе отправиться?

И вот мы, обитатели корабля, снова на своих местах. Нас потянуло назад в море, как рабочего в понедельник утром тянет на фабрику или горняка — в шахту, ибо некуда больше идти и нечего делать. Мы вернулись в нашу гремучую тюрьму и поплыли через огромную гавань, направляясь в открытое море.

В этот вечер эпитет «гремучая тюрьма» весьма подходил к «Золотому льву».

— Мистер Мидборо! — отважился я обратиться ко второму помощнику, который случайно оказался около меня. — Наши старые часы как-то странно тикают!

— Так и вы это заметили? — сказал он.

— Неужели что-нибудь случилось во время последнего шторма? — продолжал я.— Мне казалось, что машины были не в порядке еще до прибытия в Рио. Слышны были какие-то перебои, но не так отчетливо, как сейчас.

Он шагнул ко мне и задумчиво процедил сквозь зубы, словно обращаясь к бразильским холмам:

— Старик упрям, как осел. Раз уж он сказал, что машины выдержат до Буэнос-Айреса, так ему наплевать, что бы там ни говорил механик, он не слушает.

— Да разве машины сами не говорят? — заметил я.

Мы перестали смотреть на берега и начали прислушиваться к прерывистому ритму машин.

— Разваливаются к черту! Каждый толчок может нас доконать... Нам каюк? Нет, еще плывем... Колесо погнулось. Прислушайтесь-ка! Машины здорово смазаны. Да разве все дело в смазке? А механик сидит себе да книжки почитывает!

Я ждал дальнейших откровений.

— Послали каблограмму в Лондон,— продолжал он.— Капитан твердит свое, а механик — свое. В Буэнос-Айресе встанем на ремонт. Капитан настаивает на этом. И если погода не испортится, мы махнем туда.

Мистер Мидборо испытующим оком обвел горизонт. Он, видимо, не доверял погоде.

— Есть такие люди, которые считают себя чуть ли не богами,— задумчиво проговорил он.— Как Старик сказал, так и должно быть! А когда дело идет не так, как надо, крика и брани не оберешься. Он все еще думает, что он бог, и ищет только, на ком бы сорвать свой священный гнев.

7

РЕВОЛЬВЕР МЕХАНИКА

Еще до того как мы прибыли в Рио, я смутно ощущал, что у капитана какие-то нелады с командой. Но я не обращал на это внимания, так как напряженно, мучительно думал о своем. В Рио вышел скандал из-за выплаты жалованья. Обращались даже в британское консульство. На улице раздавались крики, ругань, и пришлось вызвать полицейского.

— Старик здорово разбушевался, ну, да теперь, пожалуй, нам будет получше,— сказал Рэдж, обращаясь к Мидборо, когда мы возвращались на пароход.

Я не стал задавать вопросов, да это, по правде сказать, меня и не касалось.

Мидборо пробормотал что-то насчет засилья «итальяшек» у нас на корабле.

Присматриваясь к экипажу, я приметил одно или два новых лица, а кое-кого из матросов недосчитался. Наше великолепное концертино, очевидно, сошло на берег в Рио да так и не вернулось.

Я спрашивал себя, уж не связана ли напряженная атмосфера в кают-компании с недовольством, царившим на баке? Должно быть, капитан привык воевать со своими матросами. Этот человек был всецело во власти рутины, и ссоры с матросами были единственным развлечением, вносившим разнообразие в его скучную жизнь.

Быть может, на каждом торговом судне между начальством и командой идет своего рода классовая борьба. Но только после Рио я понял, что за мрачная, зловещая фигура этот капитан; недаром мои попытки сблизиться с ним ни к чему не привели.

Мне нужно было вернуть книгу о кооперативных молочных фермах в Дании со статистическими таблицами и диаграммами — эту книгу механик рекомендовал мне «для легкого чтения». Войдя в каюту, я увидел, что он держит в своей мускулистой руке только что вычищенный револьвер, а запас патронов аккуратно разложен на койке.

— Тяжеловатая у вас игрушка,— заметил я.

— Да это вовсе не игрушка,— буркнул механик.

— Но зачем вам заряжать его здесь? Ведь от людей и вообще от земли нас отделяют добрых две сотни морских миль!

— В том-то и дело,— сказал механик, словно раздумывая, стоит ли со мной откровенничать, и, очевидно, решил промолчать.

— А вы прочли всю книгу от начала до конца? — спросил он через минуту-другую.— Сомневаюсь. Вы скользите по поверхности жизни, молодой человек! Вы через все перескакиваете. Я бы сказал, что вы порхаете, как мотылек.— Он помолчал и, заметив, что я не свожу глаз с коротенького, черного, отливавшего сине-

вой револьвера, зажатого у него в руке, добавил более мягко: — Уж этот ваш Оксфорд! Какой от него толк! Наплодили на свет нарядных бабочек и всяких там мошек. Летают, порхают и только портят вещи. А работать никто не умеет. Это не университет, а какой-то инкубатор для насекомых.

— Я вашу книгу прочел до конца.

Он что-то недоверчиво пробурчал в ответ.

— Теперь я могу вам дать только книгу Робинзона «Функциональные расстройства кишечника». У вас тоже есть кишечник, но станете ли вы читать ее? Ведь нет!

— А вы пробовали читать романы, которые я вам давал?

— Достоевский не так уж плох. Все остальное дрянь. Достоевский интересен в некоторых отношениях. Я перевел рубли и копейки, встречающиеся у Достоевского, в шиллинги и пенсы. Некоторые вещи вдвое дороже, чем в Лондоне, а кое-что чуть не вполовину дешевле.

Он вложил последний патрон в обойму, щелкнул пистолетом, прислушался к неровному стуку машин и, словно прячась от меня, повернулся к шкафчику, набитому подержанными книгами.

8

КРИК ВО ТЬМЕ

Я не знаю, что произошло в эту ночь, и до сих пор упрекаю себя за свое равнодушие. Мне следовало вмешаться в это дело! Кажется, я уже говорил, что страдал бессонницей и по ночам имел обыкновение бродить по палубе. Но в эту ночь я проснулся от выстрела. Возможно, это мне приснилось после того, как я увидел револьвер механика. Этот звук был похож и на хлопанье троса. Но мне стало как-то не по себе. Я сел на постели и стал прислушиваться, потом наспех оделся и поднялся на палубу.

Пароход прокладывал себе путь по маслянистой зыбкой поверхности моря; волны бились о борта парохо-

да, слабо фосфоресцируя, небо было покрыто рваными тучами, сквозь которые порой проглядывала луна. Я прошел на фордек. С минуту все казалось спокойным. Высоко надо мной, неподвижная, как изваяние, маячила туманная фигура рулевого, тускло освещенная луной. Впереди вырисовывалась другая фигура, еле различимая в темноте и словно окаменевшая под качающимся фонарем. Потом мне почудилось, что во мраке у передних люков происходит какая-то возня. Я скорее ощутил, чем увидел, матросов, сгрудившихся на палубе у входа в кубрик; они толкались и бурно жестикулировали. В то же мгновение я заметил двух вахтенных, неподвижно стоявших в тени у неосвещенного входа на бак. Внезапно послышался резкий крик, почти вопль, и голос, по-видимому, принадлежавший юноше, жалобно простонал:

— Ой-ой! Ради бога!

И тотчас же раздался грубый голос капитана:

— Будешь ты завтра работать как положено?

— Да. Если только смогу. Ой! Ой, ради бога! Буду! Буду!

Последовала пауза, которая показалась мне бесконечной.

— Отпустите его,— послышался голос старшего помощника.— Хватит с него.

— Что? — прорычал капитан.— Да разве такую ленивую свинью когда-нибудь проучишь?

Старший помощник понизил голос:

— Дело ведь не только в нем.

— Пускай хоть все соберутся, наплевать! — рявкнул капитан.

— Помощник прав,— вмешался механик.

Капитан снова выругался.

Послышался звук, как от брошенного на палубу троса, вслед за тем — всхлипывание, похожее на плач испуганного или больного ребенка. Я хотел было кинуться вперед и вмешаться, но страх удержал меня. Я неподвижно стоял в лучах луны. Опять все стихло. Затем штурман что-то вполголоса сказал капитану.

— Он притворяется,— бросил капитан и тут же добавил: — Эй, вы там, отнесите его на койку!

Раздался глухой звук, словно кого-то пнули ногой.

На баке замелькал свет фонаря, и я увидел движущиеся силуэты людей. До меня донеслись приглушенные голоса.

— Я заставлю их слушаться! — прогремел голос капитана.— Пока мы в море, я хозяин на корабле... А британский консул может убираться к черту!

Я увидел, как с палубы подняли какой-то неподвижный предмет и он тотчас же исчез в кубрике. Фигуры капитана, штурмана и механика четко выделялись в розоватом свете фонарей; они стояли почти неподвижно, спиной ко мне, слегка подавшись вперед. Механик заговорил, понизив голос, и в его тоне мне почудился упрек.

— К черту! — яростно крикнул капитан.— Что, я не знаю своего дела?

Они направились в мою сторону.

— Здравствуйте! — воскликнул механик, заметив меня.

— Вот как, господин шпион? — сказал капитан, заглядывая мне в лицо, освещенное луной.— Слежкой занимаетесь? А?

Я промолчал; да и что я мог ответить? Все трое прошли мимо меня на корму.

Из глубины кубрика доносился какой-то грубый, хриплый голос. Время от времени его прерывали другие голоса. По-видимому, никто из матросов не спал в эту ночь.

Наверху рулевой, словно в полусне, поворачивал колесо. Вахтенный занял свое обычное место, машины попрежнему стучали в перебойном ритме. Луна в кольце радужного сияния, плывшие по небу разорванные облака и безмолвное, чуть тронутое зыбью море, лениво отражавшее лунный свет, казались мне теперь заговорщиками, соучастниками какого-то страшного злодеяния. Что же там произошло? В долетевшем до меня крике звучала смертельная мука.

«Избили до смерти»,— вдруг пронеслось у меня в голове. Какие страшные слова!

Я тихонько пробрался к себе в каюту и не мог заснуть до утра.

Неужели на этом свете ничего нельзя добиться, не прибегая к грубому насилию?

9

ПОХОРОНЫ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

На следующее утро Ветт заметил вскользь, что один из матросов «надорвался» и, кажется, умирает, а после второго завтрака, за которым все угрюмо молчали, Рэдж сказал мне, что матрос умер. Механика нигде не было видно; он был внизу, у своих расхлябанных машин, не то я спросил бы его кое о чем. Рэдж сделал вид, будто не знает, отчего умер матрос. Неужели я так и не доберусь до истины?

Какой-то длинный белый предмет лежал возле люка, и, подойдя, я различил контуры окоченелого тела, закутанного в одеяло. Я остановился и несколько минут разглядывал его; человек пять матросов, стоявших и сидевших около покойника, при моем приближении замолчали и наблюдали за мной в каком-то загадочном безмолвии. Мне хотелось расспросить их, но я не сделал этого, боясь услыхать страшную истину или вызвать взрыв негодования.

Я чувствовал, что мне бросают вызов, но был не в силах ответить на него. Подняв голову, я увидел, что капитан стоит на мостике и, перегнувшись через перила, наблюдает за мной с явной враждебностью. Я подошел к борту и задумался, закрыв лицо руками. Пойти разве расспросить матросов? Но хватит ли у меня смелости на это?

Ветт упрямо твердил одно: «Надорвался».

На следующий день погода, до сих пор пасмурная и теплая, начала меняться. Мертвая зыбь усилилась, и поднялась качка. Вяло работавший винт то и дело останавливался.

К вечеру мертвеца предали морю. Почти все, кроме кочегаров, механика и трех подручных, работавших в машинном отделении, присутствовали на церемонии. Зашитое в грубую парусину тело было положено ногами вперед на две смазанных салом доски и прикрыто замызганным красным флагом; вопреки установившейся традиции молитву читал не капитан, а старший помощник. Казалось, капитан поменялся с ним ролью и отдавал приказания, стоя на рубке. Помощник с минуту

медлил, потом взглянул, правильно ли положено тело, поспешно вытащил молитвенник, бросил взгляд на зловещее небо, словно спрашивая у него совета, и принялся читать заупокойные молитвы. Читал он отрывисто, раздраженным тоном. Казалось, он выражает протест против всей этой церемонии. Я встал у поручней, возле Мидборо, держа в руке шляпу. Почти все обнажили головы. Капитан по-прежнему оставался на рубке; сутулый, неподвижный, он поглядывал вниз, как филин с дерева, а матросы стояли или сидели на корточках в угрюмом молчании. Двое из них должны были столкнуть тело за борт.

Меня так взволновала эта трагическая сцена, что я не обратил внимания на резкие перемены в атмосфере. На время я совершенно забыл о погоде. Лица у всех приняли какое-то зловещее выражение, чувствовалось, что надвигается беда, и мне стало ясно, что это связано с печальным событием, происшедшим во мраке. Нависло гнетущее молчание. Казалось, вот-вот раздадутся упреки и обвинения. Угрозы готовы были сорваться с уст матросов. Что-то будет? За пределами власти жестокого капитана, на суше, нас ожидала власть закона, нудная процедура следствия и неясный исход дела. Начнутся доносы, свидетельские показания, лжесвидетельства, а затем, может быть, последует несправедливый приговор. Интересно, что скажет тогда хотя бы старший помощник, который сейчас поспешно бормочет молитвы? О чем будут спрашивать механика? Будут ли эти люди лгать, чтобы спасти себя и капитана? И вся эта тайна исчезнет во мраке навсегда. Что именно видели матросы? Знают ли они что-нибудь определенное, или же им пришлось только догадываться? Может быть, они сообща сочинят какую-нибудь сказку? Кто узнает о трагедии, разыгравшейся на корабле в ту темную ночь? Да и можно ли докопаться до правды? Допустим, меня вызовут на допрос — что я смогу, собственно, показать? И выдержу ли я перекрестный допрос?

Старший помощник продолжал бормотать молитвы. Тут только я смутно почувствовал, что мрачное волнение окружающих перекликается с надвигающейся грозой. Покамест он читал — а читал он плохо, не делая остано-

вок на знаках препинания,— за его спиною вздувались волны; они медленно вырастали, поднимались над его головой и проваливались в бездну, и тогда одинокая фигура старшего помощника четко выступала на фоне туч.

Вдруг я заметил, что небо как-то странно побелело, стало почти ослепительным. Его обычная синева потускнела. Я понял, что нам угрожает шторм.

Корабль швыряло во все стороны. Я обвел глазами небосвод. О ужас! Огромная свинцово-синяя туча с лохматыми, вихрастыми краями тяжело наползала, закрывая небо. На моих глазах эти взлохмаченные края превратились в чудовищные когти и вцепились в солнце, а водное пространство залил зловещий медный блеск. Палуба погрузилась в холодную темноту. Все люди и предметы казались тоже черными, как чернила. Зато небо с подветренной стороны посветлело, стало еще белее и ярче.

Все стоявшие на палубе перевели взгляд с мертвеца, распростертого на досках, на черный балдахин туч, который злые духи вот-вот опустят на нас. Старший помощник глянул на небо, перевернул страницу и загнусавил еще быстрее, проглатывая слова; капитан что-то крикнул в машинное отделение. Замолчавшие было машины через минуту снова застучали.

— *Да ну, кончайте же!* — *глухо бросил Мидборо.*

Вдруг раздался адский грохот, словно ударили сразу в тысячи литавр; я увидел, что помощник, не выпуская молитвенника из рук, подает знаки матросам, стоявшим около покойника.

Теперь уже невозможно было расслышать слова молитвы. Палуба накренилась навстречу огромной желтовато-зеленой водяной горе, и белый кокон, жалкая оболочка того, кто еще недавно был живым человеком, соскользнул с доски и стремглав полетел в водяную пучину; в следующий миг борт закрыл от меня море. Помощник, медленно поднимавшийся кверху, дочитывал последние слова молитвы, но его уже никто не слушал,— все лихорадочно принялись за работу, готовясь встретить шторм.

Как удары бича, по палубе захлестал град.

Я бросился к ближайшему трапу и едва успел добраться до него, как раздался короткий сухой удар, похожий на выстрел.

Мелькнула фигура помощника, без шапки, с раскрытым молитвенником в руках, он шатался, как пьяный; тут меня сбросило толчком в люк, я скатился по трапу и чуть не ползком стал пробираться к себе в каюту.

10

ШТОРМ

К этому времени я уже несколько привык к причудам океана и теперь уже более стойко переносил шторм. В начале плавания я физически страдал морской болезнью, но интеллект мой не был затронут, и я достаточно точно могу восстановить все события.

Во всех моих воспоминаниях неизменно играет роль разъяренный капитан.

Странное дело: только теперь, когда он стал впадать в бешенство, я начал понимать этого человека! Так, по крайней мере, мне помнится, хотя возможно, что я постиг его характер несколько позже. Вначале он казался мне олицетворением зла и низменных качеств. Он вел отчаянную борьбу с жестоким миром, бессознательно утверждая свою волю, и потерпел поражение. Подобно мне, он вступил в жизнь, окрыленный надеждами и далеко простиравшимися туманными желаниями, мечтал упиваться всеми благами жизни, но судьба упорно ему в этом отказывала. Как необузданны были его аппетиты! Как пламенно верил он в свой успех! А жизнь безжалостно указывала ему на его место, заставляя тянуть лямку капитана торгового судна, быть вечно озлобленным начальником столь же ожесточенных и ушибленных жизнью людей, хозяином ветхого суденышка, которого он явно стыдился. Он ненавидел свой корабль; он с удовольствием вывел бы его из строя. Он негодовал на владельцев этого корабля за то, что был у них в подчинении, но, пожалуй, ненавидел бы их еще больше, если бы они не взяли его на службу. Он презирал свои обязанности, сводившиеся к перевозке в Бразилию стен-

ных часов, швейных машин и готового платья; кофе, сахар, папиросы и хлопок он доставлял в Аргентину, а оттуда с остатками британских товаров и всякой дребедени направлялся в другое полушарие. В сущности, если пренебречь расстоянием и опасностями, наш капитан немногим отличался от какого-нибудь ломовика, а другие счастливцы тем временем разгуливали по суше, командовали и господствовали и наслаждались всеми земными благами. Он неохотно выполнял свои скучные обязанности, при этом всегда старался сохранить собственное достоинство. Он хотел быть неограниченным властелином в этом своем маленьком царстве. А матросы не желают его слушаться! Какое-то ничтожество, высокомерный юнец еще смеет над ним насмехаться за общим столом! Машины тоже вышли из повиновения. Погода издевается над его предсказаниями. Будь они все прокляты! Провались они в тартарары!

Погода обманула его. Он рассчитывал благополучно добраться до Буэнос-Айреса, прежде чем изменится ветер. Он обозвал механика олухом и вывел корабль из безопасной гавани Рио в открытое море. И вот за какие-нибудь два дня пути до Буэнос-Айреса погода совсем испортилась.

Жизнь сделалась прямо невыносимой для капитана, в эти дни он испытывал горькое разочарование, в ярости метался по каюте, как дикая кошка, попавшая в тенета.

Неожиданно я увидел капитана; он шел по среднему проходу вместе с механиком. Они возбужденно спорили о чем-то.

— Я уже говорил вам, что не могу за них отвечать,— оправдывался механик.— Это нужно было сделать в Рио!

Капитан проклинал так внезапно налетевший шторм. Он кричал, бранился и грозил небу кулаками. Механик скорчил гримасу и пожал плечами.

Я отскочил в сторону, но корабль внезапно накренился, и меня бросило прямо под ноги капитану. Лицо его исказилось сатанинской злобой, он ударил меня кулаком и отшвырнул к двери. Я был ошеломлен и сознавал свое бессилие. Так велик был престиж команди-

ра, что я не осмелился дать ему сдачи, и, когда капитан с механиком проследовали дальше на корму, я побрел, пошатываясь, к себе в каюту.

Корабль то зарывался носом в волны, то становился на дыбы, сражаясь с водяными громадами. Прошло несколько минут — а может быть, и часов,— как вдруг раздался металлический грохот, лязг и скрежет, и мы поняли, что машины вышли из строя. Это не было неожиданностью. Экипаж был давно готов к такому удару. Помнится, даже не было особого волнения, все приняли это стоически — как некую неизбежность. Все ждали этой катастрофы; удивительно только, что она не произошла еще раньше. Удивительно, что мы до сих пор еще плыли в этом бушующем хаосе.

Я мельком видел механика: весь мокрый, с измученным, но все еще бесстрастным лицом, хватаясь за стенки, он пробирался к себе в каюту. Ему больше нечего было делать. Да и вообще больше нечего было делать, приходилось лишь без конца откачивать воду, заливавшую судно. После катастрофы с машинами корабль окончательно потерял курс. Мы сделались игрушкой волн. Нас немилосердно швыряло из стороны в сторону. Порой мы попадали в боковую качку. Это была временная передышка, и мы напоминали гарнизон крепости, который сдался в плен и ожидает, что его вот-вот перебьют. Наш корабль, как щепка, носился по прихоти волн. Они словно сговорились нас опрокинуть не с носа, так с бортов. Мы больше уже не сопротивлялись. Не смотрели опасности в глаза. Волны яростно хлестали корабль, порой перекатывались через палубу, и тогда становилось темно, как ночью. Мы были побеждены. Корабль то проваливался в какую-то темную, ревущую бездну, то вновь поднимался на свет божий.

Может быть, корабль дал течь?

На следующее утро я выбрался из каюты, чтобы раздобыть чего-нибудь поесть. Встретил Рэджа, направлявшегося в камбуз, и мы прокричали друг другу несколько слов.

— Неужели корабль дал течь? Кажется, нет, нас только заливают волны, перекатываясь через борт.

— Воды еще не так много, с ней можно справиться,— бросил Рэдж, — только бы обшивка выдержала.

Делать было нечего, оставалось покориться судьбе. В те дни беспроволочный телеграф еще не получил распространения, и мы не могли подать сигнала бедствия. Мы были затеряны в океане; быть может, мы случайно встретим какое-нибудь судно, и оно нас подберет? Или корабль разобьется о скалы и будет выброшен на берег? Или мы попросту пойдем ко дну? Если не встретим помощи, мы будем носиться по волнам, пока не стихнет шторм, а потом начнем дрейфовать.

Таково было мнение Рэджа.

Наш кок каким-то чудом ухитрился развести огонь и сварить очень вкусный и питательный суп из мясных консервов. Суп издавал острый запах лука. Матросы один за другим пробирались в камбуз, борясь с окатывавшими их волнами, каждому хотелось получить свою порцию этой лакомой еды. Все ели из общей миски и то и дело валились друг на друга. Кричали: «Эй, вы, потише! Чего не держишься?» Всякий этикет был забыт.

Но когда внезапно в дверях камбуза показался капитан в мокром клеенчатом комбинезоне, с серыми от морской соли ресницами, и ухватился за косяк, повернув к нам искаженное яростью, неподвижное, как маска, лицо,— все мигом расступились; двое матросов поспешили уйти из камбуза, а Ветт подал ему отдельную миску.

Никто не осмелился заговорить: капитан что-то бормотал себе под нос и ругался. Я стоял возле него, грызя галету, и слышал, как он сказал:

— Мы доберемся до Буэнос-Айреса, говорю вам! Мы до него доберемся, или, клянусь богом...

— Это одному богу известно,— процедил сквозь зубы механик.

— Эти свиньи опять шатаются без дела! А? — прорычал капитан, уставившись на нас пронзительными, злыми глазами.— Погодите вы у меня, вот только стихнет ветер!..

Но прошло четыре или пять дней — не знаю, сколько именно, ибо потерял всякое представление о времени,— а ветер все не спадал. Большей частью мы сидели каждый у себя в каюте, изредка слонялись по коридорам или с отчаянными усилиями пробирались по скользкой

палубе по колено и по пояс в воде. Нас швыряло во все стороны. Мы ударялись о вещи, о стены каюты. Один раз мне показалось, что я повредил себе ребра, и я добрых полчаса ощупывал бока, делая глубокие выдохи и вдохи.

Между тем кок продолжал творить чудеса, угощая нас горячей едой, чаще всего кофе. В промежутках мы жили надеждой. Чтобы добраться до камбуза, приходилось отчаянно пробиваться сквозь бурлящие волны. Иной раз мне так и не удавалось туда попасть. Оглядев палубу, то и дело превращавшуюся в пенистый водоворот, убедившись, что по дороге не за что ухватиться, я отступал. Я припрятал у себя в каюте жестянку с галетами и питался ими, но сильно страдал от жажды. Казалось, соль оседала кристаллами у меня на губах, вкус ее постоянно преследовал меня, и я чувствовал позывы к рвоте. И сейчас я думаю, что все на корабле были близки к голодной смерти. Мы промокли до костей. Все тело было в синяках и ныло от ушибов; это были дни отчаянной борьбы за жизнь, когда волны восстали против нас и корабль, казалось, хотел вышвырнуть нас в океан. Я видел, как один матрос в полном отчаянии устремился было вниз по накренившейся палубе, но другой, держась рукой за поручни, схватил его за шиворот и, когда корабль покачнулся в другую сторону, бросил товарища в безопасное место.

Однажды мне пришлось увидеть нечто совершенно невероятное. К нам на корабль попала огромная акула. Поднялась гигантская, зеленовато-оливковая, остроконечная, как горный пик, волна, она нависла над нами, яростно шипя и встряхивая развевающейся гривою, потом всей громадою обрушилась на палубу. Я приютился под капитанским мостиком и чувствовал себя в относительной безопасности. Казалось, вот-вот эта волна расколет корабль пополам и сбросит всех нас в пучину. Вода со свистом хлестала меня по ногам, прыгала все выше, тычась мне в колени, как расшалившийся терьер. Палуба исчезла под волнами, кроме фордека и запертого входа в кубрик.

Потом из воды стала медленно выступать средняя часть палубы, вся в завитках крутящейся пены,— и вдруг появилась громадная белобрюхая рыба, которая

катилась по палубе, то сгибаясь дугой, то вновь распрямляясь и щелкая пастью; она напоминала гигантский взбесившийся чемодан. Она была куда больше человека. Рыба свирепо ударяла хвостом и бросалась из стороны в сторону, оставляя на палубе сгустки слизи, которые тотчас же сдувало ветром. Брюхо у нее было в крови. Корабль, казалось, с минуту был словно ошеломлен появлением этого нового пассажира, потом отчаянным усилием вышвырнул его вместе с клочьями пены за борт, словно возмущенный этим наглым вторжением.

Я видел это собственными глазами.

11

МЯТЕЖ И ЗЛОДЕЯНИЕ

За все это время мне ни разу не удалось сменить одежду, и я долгие часы просиживал у себя в каюте, закутавшись в одеяла и плед. Насколько я могу припомнить, шторм не ослабевал ни на минуту. Он прекратился внезапно. Очнувшись не то от обморока, не то от сна, я увидел, что буря кончилась. Однако сейчас трудно сказать, сколько времени пребывал я в состоянии полного оцепенения.

Попытавшись сесть на свою постель, я обнаружил, что с койкой творится что-то непонятное. Правда, она больше не качалась из стороны в сторону, вместе со стенкой каюты она образовала что-то вроде треугольного корыта, в котором я и лежал. Я очень ослабел, изголодался, страдал от жажды и чувствовал себя беспомощным, но все же попытался осмыслить перемену своего положения. Ухватившись за кронштейн лампы, также покосившейся, я выглянул в иллюминатор и увидел, что море, спокойное, голубое море, почему-то лежит наклонно. Это значит, что все остальные предметы покосились — каюта моя прочно заняла наклонное положение.

Я удивился. Может показаться странным, что после трепки, какую нам задал шторм, я еще способен был испытывать удивление. Но, вероятно, мой бедный мозг был так утомлен, что я не в силах был понять, почему

все предметы у меня в каюте замерли, как-то странно покосившись.

Я спустился с койки и открыл дверь каюты — посмотреть, покосился ли коридор. Так оно и было. С трудом выбравшись на палубу, я убедился, что и весь корабль перекошен. И только тут прояснился мой отупевший мозг, и я наконец понял, в чем дело. Голубая линия горизонта, которую я оглядывал, занимала прежнее положение — все тот же привычный горизонт. Корабль накренился носом вниз, а корма торчала высоко над водой. Он, видимо, получил пробоину в носовой части, и трюм до передней переборки был залит водой. Вероятно, часть груза переместилась, отчего судно покосилось налево. В раздумье я случайно коснулся рукой головы и почувствовал боль: голова была вся в ссадинах. По-видимому, я обо что-то ударился, но как это случилось, я так и не мог припомнить. Возможно, что меня толчком сбросило с койки. Должно быть, я долго лежал в обмороке или заснул от слабости и истощения.

Над кораблем кружились чайки. Одна из них была гораздо крупнее остальных и ухитрялась парить над водой, распластав неподвижно крылья. Она летала возле корабля назойливо, как родственник, ожидающий наследства. Несколько чаек опустились на поднявшуюся кверху корму. До тех пор я еще не знал, что чайки иной раз садятся на борт, и решил, что на корабле нет ни души. Но вскоре успокоился, услыхав на носу деловитый стук молотка, и пошел посмотреть, кто это стучит.

На средней палубе у капитанского мостика собралась почти вся команда. Матросы разбились на две группы. Все уже давно перестали бриться и казались каким-то подозрительным сбродом. У одного из них рука была обмотана окровавленной тряпкой. Несколько человек что-то вяло жевали, остальные сидели на корточках или валялись на палубе, вид у всех был угрюмый и подавленный. Справа лежала вверх дном шлюпка, и плотник возился над ней, приколачивая какие-то доски. Ему помогал юнга. Верхом на киле лодки с револьвером в руках сидел механик, а Рэдж прислонился к борту лодки. У старшего помощника тоже был револьвер, а Мид-

боро с самым непринужденным видом размахивал топориком. Оба стояли спиной ко мне, но, услыхав мои шаги, быстро обернулись. Они уставились на меня, как на выходца с того света.

— Как! — воскликнул механик.— Вы еще живы?

Я не в силах был отвечать. Я сделал шаг вперед, схватился за железный поручень, поскользнулся и плюхнулся на палубу. У меня закружилась голова.

— Мне дурно,— проговорил я.

— Эй, вы! Дайте же ему поесть! — приказал Мидборо.— Разве не видите, что он дошел до точки!

Матросы неохотно зашевелились. Кто-то сунул мне в руку черствую галету и кусок мяса. Очевидно, голод вызвал у меня дурноту. После первого же глотка я почувствовал себя лучше. Я съел все, что мне дали, выпил кофе. Силы медленно возвращались ко мне, и я сидел, озираясь по сторонам.

Сверху послышался голос:

— Он поедет с матросами!

Подняв голову, я увидел капитана. Благодаря крену корабля мостик нависал над нами. Капитан тоже держал в руке заряженный револьвер. Рыжая, не бритая дней пять щетина не слишком украшала его.

— Вот еще! — проговорил высокий смуглый мужчина, по-видимому, боцман.— Нет уж, берите его вы!

— На черта он мне нужен! — возразил капитан.

— Что делать! Придется его взять.

— Ведь он как-никак наш пассажир,— сказал механик, и старший помощник, стоявший рядом со мной, молча кивнул головой.

— Я что-то ничего не понимаю,— сказал я.

— Все шлюпки разбиты, осталась только одна, и ее спустили на воду,— объяснил механик.— Матросы задумали уплыть на ней в открытое море! Как только показалась земля, им удержу не было. Понятно? Только Старик смекнул, что они замышляют, и приказал им оставаться. Вот они и остались. Что бы мы делали без них? Наш милейший плотник, спасибо ему, согласился починить перед отъездом вот эту шлюпчонку для нас. Хорошо, что так! Вот каковы наши дела!

Теперь я понял, зачем им понадобились револьверы.

— Пусть только кто-нибудь попробует перелезть через борт, мы будем стрелять,— объявил механик, обращаясь ко мне и матросам.

— А плотник сядет в нашу лодку,— добавил помощник,— этим он докажет, что работа сделана хорошо.

— Ну, это мы еще посмотрим,— заявил один из матросов, рослый, смуглый малый.

— Как сказано, так и будет,— возразил механик.

— Нам самим может понадобиться плотник.

— Что и говорить, плотничье ремесло чертовски нужное,— согласился механик, не желая вступать в спор.— Вы и не представляете себе, сколько всего должен знать плотник. Об этом целые книги написаны.

Среди матросов пронесся ропот, они стали перешептываться.

— Но где же земля? — спросил я второго помощника.— Я ее что-то не вижу.

Мидборо оглядел горизонт.

— Наш корабль,— сказал он,— поворачивается вокруг своей оси. Давайте сообразим, где солнце. Земля сейчас на западе.

— Она никуда не делась,— вставил кок.— Хотел бы я знать, когда мы наконец отправимся, черт возьми! Пошевеливайся, Джимми!

— Ну тебя к дьяволу! — огрызнулся плотник.— Что же, ты думаешь, я тут забавляюсь?

— Солнце уже садится.

— А я тут при чем?

Медленно-медленно поворачивался корабль, и над головой у нас развертывалась панорама закатного неба. Оно простерлось, ярко-золотое, над свинцовой пеленой воды. Прежде чем мне ударили в глаза ослепительные косые лучи, я успел разглядеть бледные, серовато-лиловые очертания берега и изломанную линию гор вдали; мне даже показалось, что одна из вершин окутана дымом. Но через миг все потонуло в ослепительном пламени заката.

— Как же мы доберемся до берега в потемках? — раздался чей-то голос.

— «На запад, мой друг, на запад!» — продекламировал механик. Дулом револьвера он указал куда-то вле-

во.— Перед вами вся Патагония, как сплошная стена. И будьте спокойны, так на сотни миль. Приставай где хочешь.

— Мы могли бы уже быть на полпути! — послышался все тот же голос.

— Эгоистичная тварь! — отозвался механик.

— Через полчасика я кончу,— сказал плотник.— Надо перевернуть шлюпку. Помогите кто-нибудь.

— Мистер Джиббс,— обратился капитан к старшему помощнику,— прикажите мистеру Мидборо, чтобы он вместе с мистером Блетсуорси принес припасы из камбуза. Мы вчетвером будем наблюдать за командой. Двое из вас — только двое, не больше! — будут помогать плотнику. Один из этих двух — голландец, он ловкий и безобидный. Да помните, что я зорко слежу за всеми вами.

Но тут его осенила новая мысль.

— Нужно осветить палубу, мистер Мидборо, скоро стемнеет. Принесите фонари. Мало ли что может приключиться в темноте!

Человек с перевязанной рукой яростно выругался и сплюнул.

— И нам тоже не на руку темнота,— буркнул он.

— А нам нечего бояться,— бросил другой матрос и засмеялся деланным смехом.

Мы перетащили все припасы из камбуза на тот борт, откуда должны были спустить шлюпку, затем я отправился вместе с Мидборо в кладовую, где уже изрядно похозяйничали матросы.

— Берите больше,— говорил Мидборо, нагружая меня галетами.

Покамест мы занимались этим делом, солнце село, и синие сумерки начали быстро сгущаться, переходя в ночь. Мидборо повесил на палубе два фонаря; в их желтом свете матросы двигались, как черные тени. Капитан исчез в таинственном мраке.

— Получайте! — проговорил плотник, закончив работу.— Складывайте свои пожитки.

— Стоп! — резко, точно свист хлыста, прозвучал голос капитана, когда один из матросов вздумал перелезть через борт.

— Старый боров! — пронзительно крикнул кто-то.— Уж тебе всыплют, если дело дойдет до драки...

Голос оборвался, казалось, никто его не слышал.

— Нам нужен плотник! — крикнул боцман.

— Мертвый или живой? — вежливо осведомился механик.

Матросы глухо заворчали.

— Живо! Шлюпку за борт,— крикнул капитан,— и кладите пожитки!

Поднялась суматоха, послышался всплеск — шлюпка коснулась воды, потом градом посыпались в нее ящики, пакеты и банки. Я помогал, пока палуба не очистилась. Рэдж наспех упаковывал ящики.

— Чертовски мало места остается! — крикнул он.

Раздался треск и звон разбитого стекла. Оба фонаря разлетелись на кусочки и погасли.

— Сюда, Джимми! — позвал плотник.— Сюда!

— Попробуй только! — крикнул механик и выстрелил в серую мглу, но, кажется, промахнулся. Матросы один за другим попрыгали в шлюпку.

— Блетсуорси! — послышался сверху гневный голос.— Где Блетсуорси?

Повинуясь призыву, я направился к трапу, который вел к рубке. Капитан быстро и бесшумно, словно огромная кошка, спустился вниз, и не успел я понять, что он замышляет, как он схватил меня за шиворот и толкнул в приоткрытую дверь кладовки. В первый момент я был чересчур ошеломлен, чтобы сопротивляться. Я отлично слышал, как он возится с ключом, запирая дверь, и кинулся было вперед, но в этот момент он хватил меня револьвером по лицу; падая, я слышал, как он с дикой ненавистью повторял:

— На! Вот тебе! Ешь суп! Жри!

Дверь захлопнулась — я оказался взаперти.

Удар оглушил меня. Я медленно поднялся на ноги и стал ощупывать лицо — кровь ручьем лилась по щеке. Я слышал, как капитан ответил кому-то:

— Все в порядке. Он в большой шлюпке.

В темноте я стал ощупывать дверь, надеясь отпереть ее. Помнится, я принялся стучать кулаками и кричать, но было слишком поздно. Меня все равно бы не услыхали. На корабле что-то стряслось, и внимание было от-

влечено от меня. Кажется, капитан выстрелил по шлюпке, где сидели матросы. Возможно, он сделал это просто со зла или чтобы заглушить мои крики. А может быть, он стрелял, защищаясь. Не исключено, что стрелял механик, а вовсе не капитан. Так или иначе я слышал выстрелы, крики и плеск воды. Потом послышались размеренные всплески весел, и шум стал затихать. Казалось, матросы стремились уйти подальше от разъяренного капитана.

Воцарилась мертвая тишина, словно кто-то медленно задернул занавес. Некоторое время я прислушивался,. но вскоре все смолкло, и только волны мерно плескались у бортов корабля.

12

ПОКИНУТЫЙ

Лишь на рассвете я наконец выбрался из своей тюрьмы.

В темноте мне так и не удалось выломать дверь или окно. Но утром я нашел ящик, где Ветт хранил кое-какие инструменты, и с помощью стамески и молотка — отвертки не нашлось — мне удалось взломать замок. Всю ночь я задыхался от бессильной злобы, думая о капитане; расправляясь с замком, я воображал, что передо мной капитан. Мне страстно хотелось жить, чтоб разоблачить и уничтожить его! Роясь в кладовой Ветта в поисках инструментов, я нашел бутылку брэнди, немного воды, сифон, жестянки с сыром и банки сардинок, на десерт несколько коробок с финиками и прочие припасы; там же оказался запас спичек и заправленная лампа. «А ведь капитан мог загнать меня и в еще худшую дыру»,— подумалось мне. Распахнув дверь и почувствовав себя на свободе, я подкрепился едой, потом, захватив горсть фиников, отправился на разведку.

Я надеялся, что корабль относит к берегу и мне удастся вскоре нагнать своего недруга, хотя трудно было представить себе, что бы я сделал с ним и с его шайкой, если бы мне удалось разыскать их на патагонском взморье. Я поднялся на мостик. Палуба накренилась еще

больше влево, но гибель мне пока еще не грозила. Я взглянул на ненужный теперь штурвал и покосившийся компас и вошел в рубку, которая была до сих пор для меня запретным святилищем. Здесь я нашел морские карты, различные чертежи корабля и в углу — какие-то медные инструменты. Первым делом мне захотелось увидеть землю, но она исчезла. Стоя спиной к восходящему солнцу, я всматривался в бескрайний темно-синий горизонт, но береговой линии, которая так ясно вырисовывалась накануне вечером, не было и следа. Чтобы расширить свой кругозор, я взобрался на крышу рубки. Но и отсюда мне не удалось увидеть ни земли, ни чего-нибудь похожего на лодку. Я пытался убедить себя, что берег невидим потому, что его скрывает туман, но линия горизонта была ясна и бесспорна, как теорема Эвклида! По-видимому, «Золотой лев» несло течением параллельно берегу, и вчера мы проходили мимо какого-нибудь мыса. Возможно, я сейчас не вижу земли, так как проплываю мимо глубокого залива. Но земля появится. Непременно появится.

Напрасно я успокаивал себя. Безбрежный горизонт действовал на меня удручающе, и я почувствовал свою беспомощность. Исчезла надежда добраться до берега на самодельном плоту. Если бы даже мне и удалось смастерить плот, все равно на нем далеко не уплывешь.

Итак, я отказался от мысли гнаться за капитаном по горячим следам. Он с самого начала понял то, что только теперь стало мне ясно. Кто знает, сколько времени мне предстоит пробыть на этом обломке корабля?

Я слегка приуныл, но тут же принялся исследовать ту часть корабля, которая оставалась над водой. Вскоре я с радостью убедился, что мне не угрожает голод: съестных припасов хватит, пока продержится корабль, а корабль — успокаивал я себя — выстоит, если только не переменится погода, а может быть, даже выдержит и бурю. В конце концов как бы ни была велика пробоина, она — в носовой части корпуса, переборка же цела. В камбузе лежали дрова — значит, я смогу готовить себе горячую пищу. Там же я нашел картофель, остатки овощей, сушеный лук и мясо в консервах. Продолжая свои исследования, я набрел на каюту капитана и вошел

в нее. Усевшись в его камышовое кресло, я стал обдумывать, как бы мне с ним расквитаться.

Одно из двух: либо корабль прибьет к берегу, либо меня подберет какое-нибудь судно. Впрочем, могут быть и другие, менее приятные возможности. Пожалуй, лучше всего написать записку о моем горестном положении и вложить ее в бутылку. А еще лучше — написать несколько записок. Этим следует заняться немедленно. Я стал обшаривать каюту, разыскивая бумагу и чернила, и попутно заинтересовался вещами капитана, которые могли пролить свет на загадочные черты его характера.

Видимо, он мало читал, но зато — бедный, жалкий человек — собрал целую коллекцию порнографических фотокарточек; там были вырванные страницы и номера французских и испанских иллюстрированных журналов бульварного типа. Должно быть, он смаковал эту литературу, так как некоторые места были подчеркнуты карандашом. В студенческие годы я бы возмутился этим, но с тех пор успел узнать, какие страшные бури порой потрясают человеческий организм, и, обнаружив неугасимо тлеющую, мучительную похоть в своем враге, даже слегка смягчился и уже не так проклинал его за гнусное предательство. Если этот человек полусумасшедший, то его помешательство, во всяком случае, связано с нормальными потребностями здорового организма. Он возненавидел меня с первой минуты. За что, спрашивается, он меня так ненавидел? Разве я дал ему какой-нибудь повод для этого? Возможно, я был похож на кого-либо из его врагов или напоминал ему о каком-нибудь неприятном случае из его прошлого?

Я перестал ломать голову над этой загадкой. Его картинную галерею я сунул обратно в ящик и начал писать: «Я, нижеподписавшийся Арнольд Блетсуорси...» — и добавил кое-какие сведения о себе. Я сообщил дату своего отплытия из Лондона и некоторые подробности моего плавания.

«Спустя несколько дней после отплытия из Рио наши машины пришли в негодность. Корабль перестал слушаться руля, и в носовой его части образовалась течь».

Пока все шло гладко. Теперь самое главное.

«Некоторая враждебность ко мне со стороны капитана постепенно перешла во взаимную ненависть...» — на-

писал я и стал припоминать характерные черты моих спутников и обстоятельства их бегства. «Какие, однако, у меня грязные руки!» — заметил я и невольно вздрогнул.

Я поплелся в свою каюту, попутно заглядывая в каюты моих недавних спутников. У механика оказался тайный склад сигар, и я с удовольствием выкурил одну из них. В куче книг самого причудливого содержания, в переплетах и без оных, я нашел аккуратно собранные объявления подписки на девятое издание «Британской энциклопедии» на всевозможных условиях. Против обозначения цен были набросаны какие-то вычисления карандашом,— очевидно, механик рассчитывал нагрузить всеми этими знаниями весь корабль и меня в частности. Убежище старшего помощника говорило о более сухопутных вкусах. Тут была библия, несколько коробок бумажных воротничков, портреты каких-то весьма непривлекательных лиц в рамках и фотография, изображавшая какой-то дом, на которой стояла дата и надпись: «Последний взнос надлежит сделать...»

Рэдж унес свои карточки, и самым примечательным имуществом в его каюте оказались забавные игрушки, купленные, по-видимому, в подарок какому-нибудь ребенку на родине. Мидборо, как видно, интересовали санитарные условия морских портов. Мне вдруг пришло в голову: а ведь я действую, как шпик! Я направился к себе в каюту.

Там я вымыл руки, смыл грязь и кровь с лица, побрился и переоделся. Теперь я почувствовал себя Арнольдом Блетсуорси, а не грязной, скомканной тряпкой, какой был в течение долгого ряда дней. Меня даже радовало сознание, что я фактически хозяин корабля и могу делать все, что мне в голову взбредет. Я пошел в капитанскую каюту, чтобы докончить начатую жалобу, и стал переписывать ее набело. Но вскоре мне показалось, что каюта слишком пропахла капитаном; к тому же я чувствовал, что устал, и меня стало клонить ко сну. Оставив свою жалобу недописанной, я отправился искать место, где вздремнуть. После долгих дней ненастья мне хотелось погреться на солнышке. Я перенес из каюты постельные принадлежности на верхнюю палубу, положил их возле трубы и растянулся на солнце. Благода-

ря вращательному движению корабля казалось, что солнце описывает на небе спираль, и я решил, что на палубе будет теплей всего. Тень трубы медленно перемещалась надо мной. Незаметно я заснул глубоким сном.

Проснулся я, весь дрожа, со странным ощущением, что капитан находится где-то совсем близко, в лодке, и руководит затоплением судна. Мне почудилось, что птицы больше не летают над кораблем, и он все больше удаляется от суши. Вероятно, я бредил. Солнце клонилось к закату. Я встал и потянулся. Эта часть палубы выше всего поднималась над водой, и я решил принести еще несколько одеял и провести здесь ночь.

Я пошел на мостик, затем спустился на палубу взглянуть, не осел ли корабль. Помню, я долго стоял на носу. Наблюдения привели меня к неутешительным выводам. Без сомнения, корабль теперь сидел в воде глубже, чем раньше, и вдобавок слегка покачивался. Вода заливала палубу, и, если бы я захотел добраться до бака, мне пришлось бы шагать по колено в воде. Или этого я раньше не замечал, или воды в самом деле прибыло. Когда корабль накренялся, вода с чмоканьем вливалась в люки, затем медленно, словно нехотя, откатывалась назад. Я спустился по трапу в трюм: там было темно и жутко. Я заглянул в машинное отделение — там также поблескивала вода.

Уже начало смеркаться, когда я вспомнил о лампе Ветта и о спичках. Когда высыпали звезды и похолодало, я при свете лампы разыскал еще несколько одеял. Но лужи морской воды на палубе тревожили меня. Я долго не мог уснуть и лежал с открытыми глазами, глядя на звезды.

13

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОКИНУТОГО

Только ночью я начал сознавать, в каком отчаянном положении очутился.

Я уже давно понял, что отрезан от всего мира, но гнал от себя эту мысль. Мое сознание было опутано се-

тью всевозможных привычек и ассоциаций, и я сразу не сообразил, что теперь я один как перст. До сих пор я держал себя, как человек, который хочет свести счеты с врагом, покусившимся на его жизнь. Днем все выглядело по-другому, и я еще хорохорился. Но теперь мне пришло в голову, что, по существу говоря, со мной уже покончено и мне никогда не свести счетов с капитаном.

Есть ли у меня шансы вернуться в мир людей? С холодным отчаянием в сердце я стал взвешивать эти возможности. Я был жив, здоров, вполне сыт и физически чувствовал себя куда лучше, чем раньше, но никогда прежде у меня не было сознания такой полной отрешенности от всего мира. Я был так далек от человеческой суеты, как если бы очутился вне пределов нашей планеты. Я не знал в точности, где нахожусь, во всяком случае, где-то много южнее Байя-Бланка, последнего сколько-нибудь значительного аргентинского торгового порта. Было чрезвычайно мало шансов, что какое-нибудь каботажное судно подберет меня. К тому же меня отнесло слишком далеко на запад, и пароходы, огибающие мыс Горн, не могли на меня наткнуться. Будет просто чудо, если меня найдут прежде, чем разразится новый шторм и доконает корабль. А доконает наверняка! Вовсе нет надобности, чтобы открылась новая течь или треснула переборка, волны покрупней и теперь свободно перекатываются через полубак — так глубоко осело судно.

На какое-то время у меня вылетел из головы мой враг-капитан. Я хорошо сознавал, что изолирован от остальных людей и что такое положение может кончиться только моей гибелью. Однако я как-то не вполне осознал этот факт. О своем положении я размышлял так, словно готовился кому-то рассказать о нем. Может быть, наш разум не в состоянии до конца осознать одиночество? Может быть, как уверяют современные ученые, процесс мышления всякий раз сопровождается неприметным движением губ и голосовых связок, и говорить мы можем, лишь обращаясь к кому-нибудь, хотя бы к воображаемому собеседнику. Без сомнения, можно размышлять и в полном одиночестве, но не теряя при этом связи с окружающим миром.

Я начал разговаривать сам с собою, испытывая странную раздвоенность,— ощущение, от которого я никак не мог отделаться: казалось, во мне перекликались два голоса.

— Что же такое жизнь,— рассуждал я вслух,— жизнь, которая начинается так таинственно в тепле и мраке и приходит вот к такому концу? Мне кажется прямо невероятным, что меня занесло сюда и я скоро утону. Но почему, собственно, это невероятно? Какие у меня объективные основания считать это невероятным? Быть может, мне только потому кажется это невероятным, что до сих пор у меня были самые превратные представления о действительности. Но, по существу говоря, мне не следовало ожидать от жизни ничего хорошего. В детстве, чтобы мы были смирными, послушными, добрыми и доверчивыми, нам внушают всякие радужные иллюзии, которые решительно ни на чем не основаны, а когда мы узнаем правду жизни, мы оказываемся слишком далеко от людей, чтобы разоблачить этот обман. Меня приучили думать, что, если я буду честен, трудолюбив и услужлив, на мою долю выпадет достаточно счастья и жизнь мне улыбнется. И вот тебе на! Похоже на то, что я оказался жертвой какой-то скверной шутки! И сейчас, пока я невредим, сыт и меня греет солнышко — пусть в последний раз,— я могу даже посмеяться над шуткой, которую надо мной сыграли!

Вот как я разглагольствовал, обращаясь к воображаемому слушателю; но слушатель не отвечал.

— Шутка? — громко сказал я и задумался.

Если же это не шутка, тогда что же это такое, наконец? Ради чего вся эта музыка? Что, если над этим чудовищным обманом даже некому посмеяться?

Некоторое время я сидел бездумно, потом стали возникать совсем новые мысли.

— Но ведь обман,— рассуждал я,— создан нами самими. Обман кроется внутри нас. Природа никогда ничего не обещает и не обманывает. Мы только неправильно ее понимаем. Я слишком доверял людям — это и привело меня на корабль, который станет моим смертным ложем. Судьба всегда куда более жестока и сурова, чем нам угодно признавать. Жизнь — хрупкое

и неразумное дитя, которое не оправдывает возлагаемых на него ожиданий. Оно падает, разбивается. Какое же право оно имеет сетовать, что никто не внемлет его воплям? Десять тысяч семян пропадают даром, прежде чем хоть одно зернышко даст росток; почему человек должен быть исключением из этого всеобщего закона?

Вот до чего я расфилософствовался в ту ночь! Помнится, я сидел на корточках, глубокомысленно размышляя о своем сходстве с семечком растения. По всему лицу земли рассеяны такие бесплодные семена, которые с ужасом узнают о своей судьбе, когда уже слишком поздно жаловаться и взывать о помощи. Жизнь, разметавшая их наобум, идет своим чередом.

Или я забыл дальнейшие свои рассуждения, или кончилось тем, что я улегся поудобнее и заснул.

14

ТЕРПЕЛИВЫЙ СПУТНИК

На следующее утро мои мысли приняли другое направление: оставив философию, я стал снова думать о капитане. Я проснулся в скверном настроении, которое отнюдь не улучшилось после того, как мне пришлось порядком помучиться, приготовляя себе кофе. Капитан, поклялся я, поплатится за все это. После кофе я развил необычайную деятельность: настрочил жалобу в трех экземплярах, разыскал несколько уксусных и винных бутылок с крепкими пробками — я не доверял пивным пробкам — и основательно их закупорил. Потом подошел к борту и швырнул бутылки, одну за другой, как можно дальше от корабля. Все три бутылки нырнули, потом всплыли и стали покачиваться на волнах, горлышком кверху, оставаясь на месте. Помнится, меня слегка огорчило, что мои посланцы не отправились тотчас же спешно на север, туда, где царила цивилизация. Я воображал, что будет именно так. Но бутылки оставались на месте и все время дрейфовали с кораблем,

медленно к нему приближаясь, пока их не прибило к борту.

Я был разочарован. Но мне уже совсем не пришлось по душе, когда я увидел темную блестящую спину, слегка изогнутую, с плавником вдоль хребта, она на миг показалась из воды, едва раздался всплеск третьей бутылки. Какая-то рыба — я не сомневался, что это акула! — явилась посмотреть, что за предмет упал в море.

Я уже примирился с мыслью, что вскоре — не сию минуту, но очень скоро — погружусь в воду и утону, но я представлял себе, что утону с достоинством. Меня ничуть не соблазняла перспектива, очутившись в волнах, вступить в безнадежную схватку с акулой. Это было бы просто омерзительно! На время я даже перестал думать о том, что меня ждет неизбежная гибель, и вновь начал надеяться, что в конце концов меня подберет какое-нибудь судно. Между тем я пристально и взволнованно всматривался в воду, ища новых признаков присутствия акулы.

Мне стало ясно, что к акулам у меня своего рода врожденное отвращение. Совершенно так же, как у некоторых людей к кошкам. Удостоверившись, что по соседству акулы (или акула), я уже не мог не думать о них. Должно быть, они долго занимали мои мысли, так как перед вечером я пожертвовал целым кочаном капусты, чтобы проверить, не ошибся ли я. Мне почудилась за кормой в воде какая-то длинная тень, настороженно застывшая, и вот я взял кочан — это была круглая красная головка капусты, из тех, что употребляют для засола,— и изо всех сил швырнул его в сторону тени. За капустой мне, без сомнения, пришлось спуститься в камбуз, но этот момент выпал у меня из памяти.

Когда раздался всплеск, тень зашевелилась, скрылась из глаз и опять появилась, проделав спиральный поворот. Когда хищник схватил капусту, я увидел блестящее белое брюхо.

Сомнений больше не было: только акула, хватая, поворачивается на спину.

Результат моего опыта оказался весьма убедительным и далеко не отрадным.

15

ЗВЕЗДЫ-ЯЗЫЧНИЦЫ

Чтобы отвлечься от мысли об акулах, я начал снова думать о капитане, о том, как я с ним расквитаюсь. Я представлял себе самые разнообразные и полные драматизма встречи то в городе, то в зале суда, то на пустынном острове, то на негостеприимном берегу. «Наконец-то мы встретились!» Потом я бросил об этом думать, так как сообразил, что такая встреча совершенно неправдоподобна. Тут я заставил себя размышлять на философские и религиозные темы и долго сидел, ломая голову над этими вопросами, одергивая себя всякий раз, как отвлекался от них, возвращаясь к тому непреложному факту, что стены помещения, где велась эта дискуссия, были, можно сказать, оклеены обоями с изображением акул и капитанов.

Я бился над вопросом, справедлива ли выпавшая мне судьба. Я усомнился в справедливости не только своей личной участи, но и судеб всего рода человеческого. Отважные, грандиозные надежды, какие я питал в юности, я объяснял обычной юношеской самонадеянностью и ставил в связь с религией и верой, при помощи которых людей убеждают покоряться своей участи. В дни студенчества при мне кто-то упомянул в споре про книгу Уинвуда Рида «Мартиролог человека», и я поспешил ее прочесть. Сейчас перед моим умственным взором проходили одно за другим мрачные события истории человечества. Я видел, как жрецы развертывают перед народами вероучение за вероучением, прикрывая ими, как завесой, жестокую действительность; я видел, как эта торговля надеждой то и дело срывается и вновь воскресает. Я думал о длинной веренице моих предков, проходивших сквозь века, видел, как они стремятся вперед, к этому странному финалу, словно их притягивает поджидающая свою добычу ненасытная пучина,— все идут и идут под палящим солнцем и холодными звездами, свершающими свой извечный круговорот. Этот образ показался мне символичным — такова участь всего рода человеческого, думалось мне. Ну что ж, по крайней мере я умру без иллюзий!

Я пытался припомнить верования моего детства: любопытно, что от них сохранилось в моем сознании? Но живучей всего оказалась во мне бессознательная уверенность юности. Единственная всеобщая религия человечества, даже всего животного мира, сводится к простейшему догмату: «Все обстоит благополучно»,—и мы верим в это до тех пор, пока какой-нибудь удар или ряд ударов не нарушит нашего благополучия. «Что же тогда остается?» — спрашивал я себя.

Что касается человеческого рода, — он может и вовсе исчезнуть с лица земли. Жизнь всегда может начаться снова. Рождение и смерть — уток и основа жизненного процесса; жизнь похожа на плутоватого купца, который, чтобы продолжать свои аферы, уничтожает старые счета. И я просто сброшенное со счетов обязательство, обманутый кредитор, отвергнутый долг.

Я подумал о феерической судьбе христианства — этой последней для людей Запада завесы над действительностью,— столь щедрого на обещания, столь юного по сравнению с масштабами человеческой истории и так безраздельно властвовавшего над миром в дни моего ученичества; я постарался определить, имеет ли оно ценность как утешительное вероучение. Да, оно принесло утешение. Да, оно вселяло в душу твердую уверенность. В миллионах душ оно воспитало эту уверенность. Да, но устояло ли оно среди жестоких болезней и трагедий, истребляющих людей мириадами и оставляющих в живых лишь немногих счастливцев, дабы они могли поведать о катастрофе? Оставшийся в живых, естественно, будет освещать трагедию с положительной стороны. Ведь его милосердно пощадили! Зерна же, упавшие на бесплодную почву, вообще ничего не могут рассказать. Действительно ли вера придавала людям мужество? В Оксфорде мне пришлось слышать, как один смелый безбожник назвал христианство обезболивающим средством. Но можно ли быть уверенным, что тот, кто умирает, потерпев поражение, не испытывает страданий? И в самом ли деле христианство такая уж утешительная религия? А что сказать о других вероучениях, более гордых и более героических, которые существовали до христианства? А стоицизм? Я перетряхивал весь свой скудный

запас познаний и, блуждая в туманном лабиринте учения моего дядюшки, старался отыскать надежное мерило ценностей, как вдруг мне блеснула странная идея и мысли мои приняли новое течение. Она вспыхнула у меня в мозгу как некое откровение и до сих пор свежа в моем сознании. Вероятно, это самое оригинальное из наблюдений, сделанных мною в жизни.

Я смотрел на столь разочаровавшее меня созвездие Южного Креста, которое медленно перемещалось в поле моего зрения благодаря вращению корабля. «Могли бы найти крест получше»,— проворчал я. И тут меня осенило изумительное открытие. Я уселся и обвел глазами необъятный купол, усеянный звездами. Южный Крест! Из всех небесных красот на долю христианства досталось лишь одно созвездие! Христианство так еще молодо, что все звезды подвластны греческим и персидским богам! Оно еще не завоевало ни неба, ни дней недели, ни месяцев года! Там, на недосягаемой высоте, безмятежно царят древние боги. Разве не удивительно, что христианству не удалось завоевать неба! А между тем на небосводе при желании можно увидеть и капли христовой крови и гвозди, его пронзившие. Плеяды — этот священный звездный поток — напомнили мне терновый венец, а Орион стал как бы образом сына человеческого, грядущего во славе своей. Планеты — его блистательные ученики и святые, а Полярная звезда — само божественное слово, вокруг которого вращается вселенная. Я сидел и дивился: как это христиане до сих пор не удосужились перекрестить небесные тела?

Меня прямо увлекла эта мысль, я даже позабыл, что давно потерял веру, и стал мысленно перекрещивать созвездия, обращая их в христианство, и это заняло у меня добрую половину ночи.

Я так увлекся, что даже не заметил, как звезды начали блекнуть одна за другою в лучах занимавшегося дня. Они погасли не все сразу. Медленно меркли, бледнели. Желая проверить одно свое наблюдение, я бросил взгляд на нужную мне звезду, но она уже исчезла. У меня было такое чувство, словно я протянул руку, чтобы опереться на перила лестницы, а их не оказалось на месте. Тут я прекратил свои благочестивые занятия.

«Вот так,— подумалось мне,— постепенно слабеет и исчезает вера в христианские догматы. Вместе с моим поколением. Орион уже больше никогда не будет сыном человеческим, приходящим в славе своей, а Юпитер и Сатурн будут царить там, в вышине, даже когда навеки будет позабыта христианская троица, временно владевшая умами».

Вот каким размышлениям предавался я на потерпевшем аварию судне, отчаявшийся и всеми покинутый в пучине южного океана.

16

АКУЛЫ И КОШМАРЫ

Дни проходили за днями в безысходном одиночестве, и мне все труднее становилось бороться с мрачными предчувствиями и жуткими сновидениями. Сны были еще страшней мыслей, которые приходили ко мне наяву. Кончилось тем, что я стал отгонять сон: так боялся мучительных видений, одолевавших меня, едва я смыкал глаза в дремоте. Меня все больше угнетало ощущение, что корабль безостановочно погружается в пучину. Вначале мне казалось, что он потонет еще не скоро; теперь я чувствовал, что он медленно идет ко дну. Мне часто снилось, что я в трюме корабля, темном и гулком, и вода, просачиваясь сквозь переборки, жалобно всхлипывала, а когда я пробуждался, мне не верилось, что это был сон. По десять раз в день я отмечал уровень воды на палубе. Забывал, когда именно я сделал последнюю пометку, силился вспомнить, которая из меток была сделана раньше, колеблясь между надеждой и отчаянием.

Я смертельно боялся, как бы корабль не пошел ко дну, когда я сплю. Едва я пытался задремать, как мне начинало мерещиться, что корабль опускается в глубину, я вскакивал в ужасе и сидел, не в силах уснуть.

Один сон навел меня на мысль, как избежать роковой встречи с акулой. До сих пор я помню его ярче, чем иные реальные свои переживания.

Мне снилось, что я веду длительный спор с акулой, и акула по какой-то непостижимой прихоти сновидения оказывалась не акулой, а капитаном. Я видел себя сидящим по пояс в воде, но это, без сомнения, было вызвано тем, что во время сна с меня сползали одеяла и ноги начинали зябнуть. Акула появилась в огромном белом жилете с красным карманчиком для часов и пригласила меня на обед. «Но кто из нас будет хозяином,— спросил я,— а кто гостем?» Тут акула, отбросив церемонии, выложила мне всю правду: «Я съем тебя еще до того, как ты утонешь. У меня глотка так уж устроена, что выбраться из нее никак невозможно». Я заметил акуле, что, верно, она незнакома с моим дядюшкой преподобным Рупертом Блетсуорси, настоятелем Гарроу-Хоуарда, а не то ей было бы известно, что даже самые тяжелые обязанности можно выполнять учтиво, с приятностью. «Ни черта не понимаешь,— буркнула акула,— и еще смеешь меня осуждать! Грубоватость прекрасно уживается с сердечной добротой. Вот увидишь, совсем неплохо получится. Начну тебя глотать, ты и забудешь о том, что тонешь, а как вспомнишь, что идешь ко дну, забудешь о том, что я тебя глотаю. И это будет так интересно, что ты и не почувствуешь никакой боли».

Я возразил акуле, что меня совершенно не занимают эти технические подробности. Без сомнения, при данной ситуации у нее большие преимущества передо мной; она чересчур настойчиво заявляет о своих притязаниях, и я нахожу, что это прямо-таки невежливо с ее стороны. Дядюшка давно внушил мне ту истину, что кушать следует благопристойно и можно мягко и тактично руководить своими подчиненными.

Но эту акулу не так-то легко было смутить. «Такие тонкости,— возразила она,— не для нас, морских жителей, ведь море, по существу говоря, колыбель жизни! Кто не жил в море, тот не знает, что такое жизнь! Не суше учить море, как ему жить! Правда, известное число обитателей моря вылезло на сушу, но это,— утверждала акула,— было лишь уходом от настоящей жизни. Иной раз их можно, не без сожаления, увидеть на берегу. Они ползают по суше. Над сушей и воздух совсем не

тот, он совсем не бодрит. Все эти создания ничуть не лучше крабов, мокриц и прочей дряни, что прячется под камнями. А в море жизнь смелая, свободная, открытая — настоящая жизнь! И уж я знаю ей цену! Вот ты, например, сидишь на корточках на своей палубе и никак не можешь расстаться со своими дурацкими иллюзиями, да все тужишь о своей жалкой, ползучей, сухопутной жизни, а у меня, к счастью, не имеется ни легких, ни иллюзий! Куда денутся все мечты о жертве и славе, когда ты две минутки пробудешь в недрах моря, в этой великой Реальности? А ведь я реально существую! Спустись-ка в море на минутку-другую,— уговаривала меня акула,— и познай, что такое Реальность!» «Поднимись сюда,— возражал я,— и у меня на ужин будет жареная акула!» «Брось свои шуточки!» — лязгнув зубами, ответила акула. Эта любительница покушать пришла в ярость, услыхав, что ее тоже можно съесть.

Тут меня и осенило вдохновение, какое приходит только во сне.

«Ничего подобного! — отвечал я.— Ты забыла самое главное. Жалкий ты мешок с потрохами, только и умеешь, что лязгать зубами, тебе никогда не построить судно, и у тебя самое смутное представление о каютах: как только эта старая калоша начнет нырять, я пойду в свою каюту и запрусь в ней! Ну, что скажешь? Ускользну у тебя из-под носа да к тому же сохраню свое человеческое достоинство! А ты будешь тыкаться носом в доски и вертеться во все стороны, ища обед, который улизнул от тебя! Я спущусь в бездонную глубину, куда тебе, презренная тварь, так же невозможно нырнуть, как и взлететь в воздух!» «О, что за подлость! — завопила акула.— Тебе-то какая прибыль? Сколько добра даром пропадет!»

«Если не любишь акул...» — начал я.

Тут она окончательно вышла из себя и, перевернувшись в воздухе, бросилась на меня — однажды так прыгнула на моих глазах другая акула на палубе.

Я кинулся на нее, и между нами завязалась отчаянная борьба; проснувшись, я обнаружил, что вцепился мертвой хваткой в собственный матрац!

После этого я решил, что впредь буду спать только у себя в каюте и запрусь там, как только корабль начнет погружаться в море.

Очнувшись от сна, я захохотал, радуясь, что оставил акулу в дураках.

Это один из моих самых нормальных приятных снов, если только сны бывают приятными.

Но снились мне и другие сны, которые инстинкт самосохранения заставил выбросить из памяти. От этих страшных снов я внезапно переходил к кошмарной действительности. Но все мои переживания тогда, и во сне и наяву, окутаны какой-то пеленой, и все последующие мои воспоминания носят недостоверный, смутный характер.

Помню, как я носился ночью по кораблю с топориком в руке, гоняясь за исполинским осьминогом с лицом капитана, который медленно и неуклонно опутывал своими невидимыми щупальцами корабль, все крепче его сжимал, готовясь увлечь в пучину. Когда я наскочил на такое щупальце и изрубил его в куски, оно оказалось просто обрывком троса. По ночам мне мерещилось, что пароходная труба совсем не труба, а капитан, который, обернувшись трубой, остался на корабле, чтобы потопить его. Я испытывал страх и безумную ненависть к трубе и не раз бешено рубил ее своим топориком, надеясь сбросить за борт и облегчить корабль, который уже набрал много воды и кренился все больше и больше.

17

ОСТРОВ РЭМПОЛЬ ПОЖАЛОВАЛ НА БОРТ

Я с трудом припоминаю, как появились на пароходе дикари. Возможно, что это случилось, когда я был без сознания.

Я лежал на палубе и вдруг увидел, что надо мной стоят двое дикарей, внимательно разглядывая меня. Они были темно-коричневого цвета и совершенно голые. У них были необычайно свирепые лица, покрытые отвра-

тительной татуировкой, и космы черных волос торчали на затылке. Опираясь на длинные копья, они глядели на меня ничего не выражающим взглядом. Оба медленно жевали что-то, тяжело двигая челюстями.

Несколько секунд я смотрел на них, потом стал протирать глаза, думая, что это остатки кошмара, который вот-вот рассеется. Убедившись, что это живые люди, я схватил зазубренный топорик, лежавший у меня под рукой, и вскочил на ноги, готовый защищаться.

Но один из дикарей ухватил меня за руку; вдвоем они одолели меня без особого труда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

повествующая о том, как мистер Блетсуорси очутился среди дикарей острова Рэмполь, о его первых впечатлениях, о нравах и обычаях этих дикарей; о том, как он наблюдал мегатерия, исполинского земляного ленивца, сохранившегося на этом острове; что ему рассказывали о мегатерии; что он узнал о религии островитян, об их браках и законах; как он беседовал с ними о цивилизации и как на острове Рэмполь разразилась война.

1

ЗЛОВЕЩИЙ ПЛЕН

Я хочу поведать вам о моих приключениях на острове Рэмполь в той последовательности, в какой события теперь развертываются в моем сознании, по мере того как я их припоминаю. Но считаю долгом сказать что ввиду помрачения моего сознания местами будут встречаться неясности и неразбериха. Возможно даже, что я кое-где перепутал порядок событий. Спешу предупредить об этом читателя. Когда дикари схватили меня, я находился в бреду и некоторое время был тяжело душевно болен. На взгляд же дикарей я был охвачен безумием.

На мое счастье, у этих дикарей — отъявленных людоедов, беспощадно и настойчиво охотящихся за своими ближними,— сумасшедшие почитаются неприкосновенными — «табу», и они думают, что мясо их ядовито и отведавший его умрет. Как и всем невеждам на всем земном шаре, помешанные внушают им благоговейный ужас. Безумие они считают особым даром, ниспосланным их «Великой богиней». Вот почему эти людоеды дали мне пищу и кров и предоставили даже известную свободу, которой я был бы лишен в более культурном человеческом обществе.

Так как я вынужден излагать свои воспоминания отрывочно — подобно тому, как раскрываешь книгу то в одном, то в другом месте,— читатель, пожалуй, даже не поверит моему рассказу. Он предпочел бы — не спорю,

предпочел бы и я! — чтобы повествование развертывалось непрерывно и последовательно со всеми подробностями, начиная с утра понедельника до вечера субботы. Без сомнения, он многое упустил бы в таком исчерпывающем отчете, но зато его порадовало бы, что такое изложение существует. Как бы там ни было, мне приходится перескакивать через некоторые моменты. Я не вполне уверен, что все происходило именно так, как я рассказываю. Даже в первые дни моего плена у меня возникали кое-какие сомнения.

Я глубоко убежден, что два дикаря, с которыми я схватился, действительно существовали, помню, как сейчас, омерзительный запах жира, которым были смазаны их на диво крепкие тела. Еще живее я припоминаю, как страшно ударился ребрами о дно лодки, когда меня туда швырнули. До сих пор еще у меня побаливает спина от ушиба. Я упал на груду только что выловленной рыбы, которая трепыхалась и прыгала вокруг меня, и я весь облип серебристыми чешуйками. С бортов свешивались сети, и я отчетливо помню, как дикари ходили прямо по мне, возвращаясь в пирогу с добром, награбленным на борту корабля. Я смотрел снизу, и мне представлялся как бы путаный узор из ног, колен, пяток и коричневых тел. Эти люди были невероятно грязны. Помню также, как они гребли, направляясь к берегу, слышу ритмичный плеск буровато-черных весел.

Берег был высокий, и скалы показались мне слегка прозрачными. Не знаю, что это была за горная порода, впоследствии я обшарил ряд музеев, пытаясь узнать, как она называется, но нигде ничего подобного ей не нашел. Она напоминала светлое голубовато-пурпурное стекло с толстыми прослойками красноватого оттенка, переходившего в розовый. И в этой породе змеились, извивались прожилки, белые и прозрачные, как алебастр. Солнечные лучи проникали в этот минерал, и он светился изнутри, как драгоценные камни. Связанный по рукам и по ногам и охваченный ужасом, я все же был поражен красотой этих скал.

Мы подплыли к берегу и свернули в какой-то пролив, извивавшийся среди скал. В какой-нибудь сотне ярдов от входа возвышался, как бы охраняя его, высокий утес,

напоминавший женщину с поднятыми руками — странная игра природы; казалось, одна ее рука сжимала дубину; дико вытаращенные глаза были обведены белыми кругами, а впадина рта по краям испещрена пятнами красной и белой краски — создавалось впечатление зубов и сочащейся крови.

В ярком утреннем свете эта фигура производила жуткое, отталкивающее впечатление. Впоследствии я узнал, что это «Великая богиня», которой поклонялись на острове. Пирога остановилась, едва мы поравнялись с фигурой, и дикари подняли кверху весла, приветствуя богиню. Передний гребец достал со дна и протянул богине рыбу огромных размеров. Другой дикарь наклонился ко мне, приподнял мою голову за волосы, словно представляя меня божеству, затем швырнул меня обратно на кучу рыбы.

Совершив этот обряд, они вновь взялись за весла, и вскоре лодка стала приближаться к отлогому берегу, над которым нависали крутые скалы. На взморье уже собралась толпа. Наш рулевой пронзительно свистнул, и ему ответили вдали голоса.

Все это, говорю я, врезалось мне в память, как и клетка из покрытых шипами прутьев, в которую меня втолкнули. Вместе с тем эти воспоминания подернуты какою-то дымкой, все кажется не вполне правдоподобным. В то время я был ошеломлен и не очень-то верил всему виденному. Несмотря на изысканность оксфордской программы, я все же обладал кое-какими познаниями по географии и помнил, что патагонцы отличаются огромным ростом и желтым цветом кожи и что они кочуют и живут в шатрах из звериных шкур, а между тем я приближался к довольно большому селению. Никогда я не слыхал о том, чтобы на этом побережье были прозрачные скалы или такая богатая растительность. Начитавшись в детстве приключенческих романов, я воображал, что знаю решительно все обо всех народах, которых еще не коснулась цивилизация. Я думал, что нахожусь на южноамериканском материке, но впоследствии узнал, что очутился на острове, и остров этот был так необычен, что не укладывался в рамки привычных понятий и географических познаний. Думаю, и читателю не приходилось о нем слышать.

Я могу лишь просто и правдиво изложить все встающие в моей памяти события. Все происходившее было вполне реально и в то же время представлялось совершенно неправдоподобным. Весь избитый, связанный по рукам и ногам, в провонявшей рыбою пироге, под надзором рулевого, противно жующего губами, я созерцал игру мускулов на спине сидевших передо мной гребцов. Я не мог считать все это сном, но и не мог поверить, что это тот самый мир, из которого я сюда прибыл, мир, центром которого является Лондон. Неужели какой-то внезапный чудесный случай перенес меня и обломки корабля в другой век или на другую планету? Или этот извилистый пролив своего рода Стикс, а эти гребцы перевозят души людей, закончивших земное плавание, к берегам иного мира?

Разве кто-нибудь из живущих знает, что такое смерть?

Или же мне только снится, что я умер?..

2

СВЯЩЕННЫЙ БЕЗУМЕЦ

Если я уже умер, то можно было думать, что в скором времени мне придется снова умереть. Когда челнок причалил, я очутился на берегу перед толпой, которая вела себя весьма угрожающе. Я не решаюсь описать, как обстоятельно меня осматривали. Я старался держать себя с достоинством, но дикари, охваченные любопытством, не обращали внимания на мое поведение.

Один из них, по-видимому, был своего рода вождем. Через некоторое время он разогнал омерзительно пахнувшую толпу, раздавая направо и налево тумаки и затрещины тем, которые сразу его не послушались. Он был сморщенный, коренастый и горбатый, на голове у него красовалось что-то вроде короны из свернутого высохшего листа. Голос у него был громкий, но монотонный, руки необычайно длинные, сильные и волосатые, тяжелая, отвислая челюсть и огромный рот. По-видимому, он бранил дикарей за их назойливость. По его приказу меня бросили в клетку. Я пытался знаками объясниться

с ним, но он так же мало обращал на это внимания, как мясник на блеяние овцы на бойне.

Клетка представляла собой открытый сверху загон, обнесенный частоколом из толстого тростника, с такими огромными шипами, каких я в жизни не видел; прутья были переплетены стеблями и связаны крепкими волокнистыми лианами. Она занимала площадь примерно в десять квадратных ярдов. Единственной утварью там была скамейка из того же твердого темно-коричневого дерева, из какого была сделана пирога. На гладко утоптанном земляном полу виднелись следы побывавших здесь до меня пленников. На земле, возле скамьи, стоял тыквенный сосуд с водой и лежали какие-то мучнистые корни; меня оставили под охраной дикаря с длинным копьем.

Однако толпа, в большинстве женщины и дети, все еще не расходилась и продолжала разглядывать меня сквозь щели клетки. Сперва люди о чем-то переговаривались, подталкивая друг друга локтями, и малейшее мое движение вызывало взрыв хохота и визга. Но мало-помалу они успокоились и молча глазели на меня сквозь прутья решетки. Некоторые ушли, но оставалось еще немало народу: моя тюрьма была окружена кольцом вытаращенных глаз и разинутых красных ртов. Куда бы я ни повертывался, я встречал все тот же неподвижно устремленный взгляд блестящих глаз. Спасаясь от этих взглядов, я присел на скамейку и закрыл лицо руками.

Ночь быстро спустилась в этом узком ущелье. Но и с наступлением темноты зеваки не покинули меня. Наконец один за другим они стали расходиться — топот ног, шорохи и прерывистый шепот постепенно затихали в отдалении.

«Боже мой,— подумалось мне,— неужели я останусь в живых?»

И тут я расстался еще с одной своей иллюзией. «Разве я могу остаться жить? — спросил я себя.— Но что за вздор я говорю! Разве это зависит от нас? Мы говорим так лишь для того, чтобы убедить себя, что живем по собственной воле. На деле же какая-то сила переносит нас из «сегодня» в «завтра», не заботясь о том,

хотим ли мы продолжать жить или нет. Так будет и со мной. И что будет завтра?»

Я пытался было размышлять на возвышенные, значительные темы, ибо это, без сомнения, была моя последняя ночь. Но я слишком устал, чтобы размышлять о серьезных предметах. Я думал только об этих блестящих глазах, о сверкавшей в них злобе. Наконец я уснул...

До этого момента я помню все очень отчетливо.

Затем вновь туман заволакивает мое сознание.

Возможно, что я разговаривал сам с собою или пел. Может быть, я проделывал что-нибудь еще более странное. Но бессознательно я совершил как раз то, что было для меня лучше всего.

Напрягая память, я вижу перед собою большую, тускло освещенную пещеру, где высится деревянная статуя «Великой богини». Какие-то лысые старики обращаются ко мне с непонятными вопросами, проделывая странные жесты. Сам не зная почему, я отвечаю им какими-то таинственными жестами. Затем я вижу, что лежу обнаженный, связанный по рукам и ногам на солнцепеке, а женщины обдают меня кипятком и скребут изо всех сил. Потом вспоминаю какой-то чудовищный обряд. Передо мной стоят два сосуда: в одном молоко из кокосовых орехов, в другом кровь. Чрезвычайно важно, какой из двух сосудов я выберу. Я сижу наподобие погруженного в созерцание Будды. Я выбираю кровь, толпа ликует, лица принимают дружелюбное выражение, и меня заставляют выпить ее. Растительное молоко с презрением выливают на землю. Всей этой церемонией руководит старик с цилиндрическим головным убором.

И вот я расхаживаю на свободе по селению. Дети смотрят на меня с уважением. Прошло уже немало времени, кое-что уже позабыто. Я понимаю почти все, что говорят эти люди, и могу объясняться с ними. На плечах у меня шкура молодого ленивца с грубым мехом, и его черепная крышка покрывает мне голову, как шлем. Когтистые лапы его ниспадают мне на грудь.

Исполинский земляной ленивец до сих пор обитает на острове Рэмполь, и я уже видел небольшое стадо этих странных чудовищ, пасущихся высоко в горах. Этот

зверь бросает своих детенышей на произвол судьбы, они погибают, и дикари сдирают с них шкуру.

Я хожу, опираясь на посох из темного твердого дерева, на нем вырезаны непристойные эмблемы, и он украшен перламутром и зубами акулы. Мне приходит в голову, что в таком наряде я произвел бы сенсацию среди своих оксфордских друзей, и внезапно меня осеняет мысль, что ведь я когда-то был Арнольдом Блетсуорси. Что же такое я теперь? Кем я стал? Я Священный Безумец этого племени. Я обладаю даром прорицания. Могу предсказывать будущее. Когда я здоров и у меня упитанный вид, процветает и все племя, когда же я заболеваю, ему приходится плохо.

По соседству с хижинами самых знатных людей селения мне построили хижину и украсили ее человеческими черепами и берцовыми костями мегатериев. Не спрашивая, что это такое, я с удовольствием ем нежное, похожее на свинину мясо, которым меня угощают. Но вообще я вегетарианец. Сейчас все племя в большом волнении из-за того, что я не хочу взять себе жены. Но я не хочу брать жены, пока она не вымоется, а на их языке нет слова для понятия «мыться». К тому же эти люди не в состоянии уловить мою мысль или понять ее по моим жестам. Одну из невест посадили в лодку и утопили в море, воображая, что выполняют мое желание.

Итак, я вновь осознал себя, воскресла былая моя личность, и все впечатления, знания и представления, приобретенные среди дикарей, влились в поток основного моего сознания.

Все это возникло передо мною в один миг и словно из какой-то пустоты. Я все припомнил ясно и отчетливо, расхаживая по острову под тускло-синим небом, смутно напоминавшим мне небо моей родины. Оксфорд мне вспомнился как милый, чистенький и изящный уголок, где я мирно проводил полную надежд юность. Теперь он казался мне необычайно привлекательным. Я видел величественные ворота колледжа Лэтмира; однажды я долго любовался ими при свете луны, возвращаясь домой после горячего спора с приятелями в курительной комнате; мы толковали о том, что нам предстоит совершить великие дела, о творческом духе Оксфорда — в отличие от черствого материализма, господ-

ствующего в Кембридже,— о Родсе, о «бремени белого человека», о главных чертах английского характера и тому подобных возвышенных предметах.

Казалось, тот далекий Блетсуорси взывал к этому нелепому существу, одетому в шкуру и со звериным черепом на голове, которое расхаживает, опираясь на посох с непристойными изображениями, жует «всеочищающий орех» и отплевывается, согласно требованиям ритуала.

Что же со мной произошло? Что я тут делаю?

Передо мной тянулась грязная улица, где разгуливали куры. Хижины были разбросаны здесь и там по обеим сторонам широкой дороги, и перед каждой дворик, обнесенный колючей изгородью. На улице, у входа в свое жилище, стояла желтокожая нагая женщина с глиняным кувшином на голове, ее отвислая грудь говорила о том, что она выкормила не одного ребенка. Она принесла воду из «верхнего» ключа и остановилась поглазеть на меня. Справа от меня, прямо передо мной и слева, за порожистой рекой, громоздились утесы. Эти люди, жившие в стране щедрого и яркого солнца, как это ни странно, предпочитали гнездиться в ущелье, куда редко проникал ветер и где застаивались запахи. На скалистых террасах справа виднелись хижины и торчало несколько чахлых карликовых деревьев. Тропинка извивалась по скалам, поднимаясь к озаренным солнцем привольным, широким равнинам нагорья.

Я брел тяжелыми шагами. Я подцепил какую-то хроническую малярию, и движения мои утратили былую легкость и гибкость. Среди этих людей свирепствовали всякого рода заразные заболевания. Большинство страдало катаром, лихорадкой, расстройством кровообращения, у многих я видел лишаи, коросту, паразитов и т. п. По природе это был здоровый, крепкий народ, но от крайней нечистоплотности у них развились всевозможные заразные болезни. В это утро я чувствовал себя каким-то тяжеловесным, в общем, человеком пожилым. Череп мегатерия больно сжимал мне голову, жесткая, плохо выделанная, издававшая запах тления шкура тяжело лежала на плечах, как-то пригибала меня к земле, и я весь обливался потом. Зачем я терплю эту гадость? Почему я так низко пал?

Я остановился, помахал рукой женщине, как бы благословляя ее, и осмотрелся по сторонам. Затем стал разглядывать свои пальцы. Руки были грязные, и мне казалось, что они стали больше и желтее, чем в оксфордские дни. Теперь они мало чем отличались от рук любого дикаря.

Я пощупал своей желтой рукой грязный череп, нахлобученный мне на голову несколько недель или месяцев назад (а может быть, и несколько лет). Неужели я и впрямь превратился в дикаря?

Я направлялся в одну из «верхних» хижин разделить трапезу с прорицателем Читом и военачальником Ардамом, у которого в нос был вставлен острый обломок раковины, а также с тремя другими старцами. Бог знает, чем они там меня накормят, но в это утро мне не хотелось есть. До чего я дошел, и как я мог так низко пасть?

Напрягая память, я вспомнил первую ночь, проведенную в клетке.

Страх!

Мною овладел страх смерти, и когда я увидел, что меня не собираются умерщвлять, я покорно принял все, что моим владыкам угодно было вложить мне в душу. Я понял, что от меня чего-то ждут. И как охотно я пошел навстречу их ожиданиям! В последний момент испытания я отвернулся от молока и выбрал чашу с кровью. Благодаря счастливой догадке я остался в живых, но сердце, мозг и желудок восставали против этого. И вот я расхаживаю в нелепом одеянии, расточая приветствия, каким научил меня Чит. Я не смею сбросить этот дурно очищенный череп или отшвырнуть прочь эту смрадную шкуру. Я не смею изломать и бросить свой гнусный посох в какое-нибудь очистительное пламя. Не смею! Не смею! Я поднял голову и над темными зубцами утесов, поднимавшихся в лучезарную высь, увидел глубокую синеву.

— О боже, выведи меня из этой бездны! — воскликнул я, правда, не слишком громко из опасения, что дикари начнут сбегаться на мой голос.

Из пронизанной солнцем лазури не раздалось никакого ответа. Но ответ холодно и ясно прозвучал у меня в сердце: «Сбрось этот гнет! Дерзай!»

Я не решался. Дрожал от страха. Вздыхал.

«Я болен»,— сказал я себе и нехотя продолжал свой путь, направляясь к трапезной, где меня ожидали Чит, Ардам и трое старцев.

«Кто знает,— рассуждал я,— должно быть, я недаром вознесен на такую высоту и пользуюсь таким авторитетом? Может быть, мне не следует скоропалительно отказываться от всего этого? Мы, Блетсуорси, считаем, что культуру следует насаждать гуманным путем, осторожно и тактично. Если я побеседую с этими людьми, подействую на их воображение, расширю их горизонт, возможно, мне удастся в значительной мере отучить их от жестокости и грязи. Если же после стольких уступок я брошу им вызов, ведь это быстро кончится жертвенным котлом!»

Но все же необходимо что-то предпринять. Мне стало стыдно, что до сих пор я был так малодушно пассивен и пребывал в бездействии.

Но вот из-за карликовых деревьев до меня донеслась дробь барабана, призывающего к обеду. Барабан обтянут человеческой кожей, и чьи-то искусные руки извлекают из него звуки, напоминающие хрюканье голодного мегатерия. Я ускорил шаги, так как опаздывать к обеду не полагалось.

3

ЗЛОЕ ПЛЕМЯ

От природы я не любознателен и не отличаюсь пытливостью. Если что-нибудь в жизни мне нравится, я готов это принять без всяких изменений, если же я встречаюсь с неприятным явлением, то опять-таки не склонен это переделывать. У меня нет данных стать удачливым путешественником или ученым-исследователем. Моим наблюдениям недостает точности. Так, например, я до сего времени не знаю, к какому типу принадлежали жители острова Рэмполь — долихоцефалов или брахицефалов; насколько мне помнится, голова у них была почти круглая. Равным образом у меня лишь смутное представление о тотемизме, анимизме, табу, и я плохо разбираюсь в их обычаях. Не знаю так-

же, можно ли назвать язык, говорить на котором я научился, аглютинирующим или аллеломорфным или обозначить его еще каким-нибудь термином. Стоит мне заговорить на этом языке с учеными, как они начинают сердиться. Люди, среди которых я очутился, помнится, были грязные, жадные, ленивые, вороватые, похотливые, бесчестные, трусливые, глупые, раздражительные, упрямые и жестокие, и кожа у них была ярко-желтого оттенка. Не знаю, удовлетворится ли этнолог простым перечислением их отличительных признаков, но точнее я не могу их описать.

Племени этому было свойственно необычайное лицемерие и лживость, и, подчиняясь инстинкту самосохранения, я с каким-то странным безразличием выполнял все, чего от меня требовали. Вероятно, большинство читателей думают, что примитивные племена отличаются грубоватой прямотой, но люди, знакомые с их нравами, говорили мне, что этого не встретишь в быту дикарей. Община дикарей, где господствуют бесчисленные табу, где в ходу магия и всякие сложные ритуалы, пожалуй, сложнее культурного общества. У дикаря лишь смутные понятия о вещах, но ум его весьма изворотлив, над ним довлеют бессмысленные традиции, он загроможден всевозможными символами, метафорами, метонимиями и всякого рода ложными верованиями. Просто и точно мыслит только культурный человек. Так же обстоит дело и с первобытными законами, обычаями и установлениями: они всегда лицемерны и отличаются нелепой искусственностью. Цивилизация — это всегда упрощение.

Я убедился в этом на собственном опыте. Я ни разу не слыхал на острове Рэмполь искреннего высказывания. Ни разу не удостоился прямого обращения. Подлинные имена всех вещей скрывались. Дикари прибегали к почтительным прозвищам и обращались друг к другу в третьем лице. Запрещено было даже произносить названия целого ряда предметов. О них говорили лишь обиняками и весьма витиевато. Этнологи уверяют, что это характерно для дикарей. Все, что говорили островитяне, имело какой-то скрытый смысл, и что бы они ни делали, они всегда притворялись, что заняты совсем другим. Я постоянно опасался совершить что-нибудь неподобающее, что могло бы мне повредить, и по временам

с мучительной тоской вспоминал ясный и простой образ мыслей, к какому я привык в Оксфорде.

Так, например, хотя я этих дикарей назвал людоедами, никто не смел даже заикнуться о том, что самым лакомым блюдом на острове было человеческое мясо,— оно считалось куда вкуснее рыбы, крыс и мышей. Мясо ленивца было табу и считалось чрезвычайно ядовитым, в особенности же мясо исполинского ленивца. Зато на острове была уйма рыбы. Рыба приедалась до того, что и смотреть на нее было тошно. Только там я понял, как можно мечтать о куске хорошо зажаренного мяса. Да, я мечтал о нем, несмотря на запреты, окружавшие меня со всех сторон. Но человеческое мясо никогда не называли человеческим мясом; о нем говорили как о «даре Друга», спросить же, кто этот «Друг» и что это за «дары», значило совершить величайшую бестактность!

В противоположность обычаям других дикарей на этом острове господствовало странное воззрение, что только на войне можно безнаказанно убить человека. Существовал, однако, весьма строгий кодекс поведения, и малейшее нарушение табу, которых было великое множество, малейшая погрешность против ритуала, малейшее новшество, неожиданная выходка, проявление лени и неумелое выполнение обязанностей наказывались ударом по голове, который именовался «порицанием». Так как это «порицание» воздавал здоровенный дикарь, орудуя дубиной из твердого дерева весом чуть ли не в центнер и утыканной зубами акулы, то в большинстве случаев дело заканчивалось смертью. После этого мертвое тело подвергали обряду «примирения». Скальп, костяк и малоаппетитные внутренности убитого клали на высокий алтарь «Великой богини» в ее омерзительной берлоге, где они высыхали и разлагались, а разрубленное на куски мясо, уже ничем не напоминавшее о подвергшемся «порицанию» лице, относили на низкий алтарь, чтобы разделить между народом как «дар Друга». И так как все оставшиеся в живых получали свою долю «даров Друга», то каждый зорко следил за соседом, стараясь уличить его в нарушении правил; поэтому уровень этой показной нравственности был очень высок. К сожалению, ни чистоплотность, ни доброта, ни правдивость не входили в кодекс морали этих дикарей.

«МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ НА ОСТРОВЕ РЭМПОЛЬ»

«МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ НА ОСТРОВЕ РЭМПОЛЬ»

Почти такая же тайна окружала все, что имело отношение к половой жизни племени. Все самое важное в этой области старательно скрывалось; многоженство было обычным явлением, причем первая жена пользовалась преимуществом перед остальными; но желавшим вступить в брак молодым парам чинили неимоверные препятствия, и церемония брачного союза была нудной и отвратительной. Кандидат в супруги подвергался ряду суровых испытаний: он должен был вытянуть нужную соломинку из пучка, который держал в руке прорицатель, и построить новую хижину по всем правилам искусства. Ввиду этих затруднений и многоженства старших в племени значительная часть мужчин волей-неволей оставалась холостяками; одни из них варварски умерщвляли плоть, другие предавались тайным порокам, и все они жили под неусыпным наблюдением друзей и соседей, подстерегающих малейший их промах, чтобы отправить провинившегося на алтарь «Великой богини» в жертвенный котел. Владеть хижиной обычно означало обладать и женой; поэтому я оказался в двусмысленном положении: у меня была хижина, которую я содержал в безукоризненной чистоте, но я упорно отказывался взять себе в жены хоть одну из пребывавших в одиночестве девушек общины.

Моя разборчивость может показаться странной — ведь читатель знает, как я низко пал во всех отношениях, но я уверен, что он понял бы меня, если бы ему пришлось полюбоваться молодыми дебютантками, о которых идет речь. Желая придать блеск своим черным волосам, они обычно смазывали их рыбьим жиром, лица у них были раскрашены красной и желтой охрой, а скудный наряд состоял преимущественно из поясов, ожерелий, запястий, колец на руках и ногах, зубов акулы, продетых в ноздри, и других украшений, которыми они приманивали поклонников. Все зубы у них были выкрашены в перемежающемся порядке в черный и красный цвет, и эти особы непременно жевали «всеочищающий орех». Но такова сила вожделения, что порой при лунном свете или в отблесках костра эти вымазанные жиром статуэтки казались мне не лишенными прелести.

Время от времени у костра перед хижиной «Ве-

ликой богини» происходили пляски. Деревянное изображение богини ставили на помост. Иногда приносили маленького древесного ленивца, о котором я расскажу потом, или одного из его детенышей; зверек ползал по шесту, окрашенному в ярко-красный цвет, освящая своим присутствием это сборище. Юноши и девушки плясали и приглядывались друг к другу. Эти празднества происходили под знаком строгого этикета и под неустанным надзором старцев; стоило кому-нибудь из молодежи слишком явно поддаться очарованию минуты, как его незаметно удаляли из этого сборища и ему воздавалось «порицание» под негодующие возгласы друзей и родичей. Упоминать о таком проступке считалось бестактным.

Таким образом, под маской веселья дикари удовлетворяли свои кровожадные вожделения.

Но они умели и другими способами добывать лакомое блюдо, утоляя свой звериный аппетит. Было несчетное множество ловушек, куда легко попадал неопытный юнец, простофиля или упрямец. Все это обеспечивало запасы пищи для счастливцев, находившихся на вершине общественной пирамиды. Так, например, строго запрещалось подниматься на залитые солнцем плоскогорья и даже говорить об этом. Все эти люди рождались в ущелье, и большинство их, кроме тех, кто выезжал в море на рыбную ловлю, проводило там всю свою жизнь. Их мир был тесен — длинная полоса земли шириной от ста ярдов до трех миль (в самом широком месте), а над скалистыми стремнинами и большим водопадом проходила граница, за которой начинались владения их лютых врагов. Дикари верили, что там, наверху, простирается безлюдная пустыня, которая таит в себе несметные опасности и несказанные беды для простого смертного. Только люди, наделенные магической силой, дерзали подняться на эти высоты. Почиталось грехом не только взирать на залитые солнцем зеленые нагорья, но даже помышлять о них. Тому, кто вздумал бы шепнуть об этом хоть слово на ухо своему другу, угрожало «порицание». Этот запрет так строго соблюдался, что большинство островитян проходило свой жизненный путь от колыбели до жертвенного котла, даже не мечтая об иной жизни.

Теперь читатель поймет, почему речи и образ действий этих людей были так убийственно скучны и почему некрасивые лица молодых дикарей порой носили отпечаток какой-то скрытой грусти. Жизнь простого смертного была чрезвычайно тосклива и бесцветна. Это был какой-то плачевный парадокс. Всех так поглощала борьба за существование, что никто уже не в силах был наслаждаться жизнью. Даже во время празднеств некоторые предпочитали сидеть у себя в хижине, остерегаясь оживления и веселья, за которыми нередко следует жестокая расплата.

Особенно меня поражало, что они могли передвигаться лишь в пределах своего тесного мирка, ведь я привык, что в цивилизованном мире все (или по крайней мере люди обеспеченные) могут свободно разъезжать по всему земному шару. Но, поразмыслив, я понял, что такого рода ограничения были уделом большинства людей с тех самых пор, как возникло человеческое общество, и что свобода передвижения достигнута *лишь* сравнительно недавно. Даже в наши дни обаяние домашнего очага возрастает по мере удаления от него, и для большинства из нас просто ужасно не иметь обратного билета.

Хотя мое священное безумие и давало мне значительную свободу, мне лишь с трудом удалось добиться разрешения подняться на вершины скал. Мне хотелось посмотреть на гигантских ленивцев, которые там паслись, и получить более полное представление об удивительном мире, в который меня забросила судьба.

О гигантских ленивцах, обитавших на плоскогорье, которые иногда забредали в ущелье, об их необычайных физиологических особенностях и о связанных с этими зверями суевериях я расскажу позже. Расскажу также о войнах и торговых сношениях этих дикарей с их соседями, жившими в горах над ущельем, а также о маленьком белом древесном ленивце, очень старом и необычайно плодовитом, которого племя считало своим родоначальником. Я немного отклонился от своего повествования, чтобы ознакомить читателя с нравами этого племени.

Я уже начал рассказывать о том, как внезапно очнулся от умственного оцепенения и вновь осознал себя.

Это случилось со мной, когда я шел в верхнюю хижину, где мне предстояло разделить трапезу с прорицателем Читом, военачальником Ардамом и тремя плешивыми старцами, которые вершили правосудие и хранили традиции племени.

4

БЕСЕДА С ПЯТЬЮ МУДРЕЦАМИ

Хотя это может показаться неблагодарностью с моей стороны, я должен сознаться, что мне внушали отвращение все пять мудрецов, с которыми я собирался обедать. Я и раньше считал, что это уродливые, страшные и весьма опасные люди. Но теперь, когда я вспомнил, что я Блетсуорси из колледжа Лэтмир, припомнил все радости жизни в свободной цивилизованной стране, из которой попал в эту среду, вспомнил, что лишь страх заставил меня примириться с этой ужасной обстановкой, к бессознательной ненависти и омерзению, какие я до сих пор испытывал, присоединились досада и негодование. В это утро мне казалось, что я способен пролить потоки света в это темное царство, и я вошел в трапезную, испытывая какую-то непривычную уверенность в себе.

Круглая хижина, в центре которой находилась низкая круглая плита, была построена из гибких стеблей камыша, соединенных наверху в виде купола. Стены были украшены фризом из человеческих черепов — архитектурная деталь, характерная для всех сколько-нибудь значительных построек. Плита, служившая и обеденным столом, была круглая, поэтому не приходилось решать вопрос, кто должен восседать на первом месте; все сидели на корточках. Самой замечательной и наименее отталкивающей фигурой, без сомнения, был Чит, которого величали Толкователем или Светочем. Я уже говорил, что он был горбатый, коренастый, весь в морщинах и на голове вместо шляпы у него красовался огромный лист, свернутый в виде цилиндра. Он был очень смуглый, с большой головой и блестящими черными пронизывающими глазами. В них светился ум, необычайный для островитянина, пытливый

и зоркий. Чит сидел на корточках, положив руки на колени, и испытующе поглядел на меня, когда я вошел.

Он обращался со мной так, словно имел на меня какие-то особые права,— и это мне претило, хотя я и знал, что остался в живых лишь благодаря ему. Ведь это он первый объявил меня помешанным и не подлежащим «порицанию». Он узаконил мое положение Священного Безумца. Его обязанностью было слушать и истолковывать мой бред. Иногда он даже подсказывал мне, как вести себя. На этот счет между нами существовало молчаливое соглашение.

Яркий контраст с его выразительным лицом представляла деревянная физиономия военачальника Ардама — «Славы племени». Она, как у большинства военных во всех странах света, казалась повернутой в профиль даже тогда, когда была обращена прямо к вам, до того была равнодушна и невыразительна. В носу у него красовалась большая остроконечная раковина, в ушах зубы акулы, над крупными, выпуклыми и блестящими глазами толстыми складками нависла кожа. Выкрашенные красной охрой волосы торчали наподобие рогов, а обнаженная грудь была покрыта таинственной выпуклой татуировкой и разрисована охрой и углем. Обхватив длинными, похожими на ласты руками костлявые колени и сдвинув пятки, он громко причмокивал губами, предвкушая обед.

Трое плешивых старцев исполняли обязанности судей и сборщиков податей. У одного из них был огромный приплюснутый нос и щеки покрыты татуировкой, изображавшей спирали, другой был так худ, что смахивал на скелет, обтянутый кожей, и зубы у него были кокетливо раскрашены попеременно в красный и черный цвет, как у женщины; третий — щеки его украшала татуировка в виде концентрических кругов — был сущей развалиной: он подслеповато щурился, глаза у него слезились, изо рта текла слюна. От старости на лице у него как-то бестолково пучками росли волосы. Все трое сердито взглянули на меня, недовольные моим опозданием. Посмотрев на них, я сразу отказался от намерения сбросить свое отвратительное одеяние и свободно высказать свои мысли. Я приветствовал их обычным жестом и, приказав своим ногам культурного че-

ловека согнуться в коленях, сел на корточки по правую руку от Чита.

Ардам громко хлопнул в ладоши, вбежали две вымазанные жиром, раскрашенные девицы и поставили на стол длинное деревянное блюдо, напоминавшее широкий челн.

Мы не сразу приступили к еде. Это запрещал этикет. Мы запустили правую руку в блюдо, схватили по сочному куску и замерли на месте, изобразив на лице самую приветливую улыбку. Вероятно, мы смахивали на боксеров, готовых вцепиться друг в друга.

Потом, точно сговорившись, каждый начал тыкать свой кусок в рот сидевшему напротив. Этим мы показывали, что не думаем о себе, а хотим доставить удовольствие своему ближнему. Я всегда норовил выбрать кусок пожилистее и попасть не в рот, а в глаза своему визави и кусал его пальцы, если он запихивал мне в рот лакомый кусок. На этот раз Чит схватил кусок с ловкостью гиппопотама, которого кормят в зоопарке, и уберег свои пальцы, аккуратно вытерев их о мое лицо. Я покачнулся, но сохранил равновесие.

— Угу! — хмыкнул я.

Мы стали пожирать мясо с громким чавканьем и блаженным похрюкиваньем и прожевывали каждый кусок на добрую минуту дольше, чем это было необходимо.

— Друг угостил нас на славу,— откашлявшись, сказал высохший, как скелет, старец.

Мы отозвались эхом на его слова и, выполнив долг приличия, принялись энергично доканчивать трапезу. Признаюсь, на этот раз я ограничивался кореньями и овощами, которые служили гарниром к мясу.

Пока чавканье не сменялось отрыгиванием, свидетельствующим о полном насыщении, хороший тон запрещал отвлекаться от еды разговорами, но когда мясо бывало съедено и на стол подавались тыквенные бутылки с перебродившим соком ореха «боха», языки развязывались. Тогда начинал работать этот мозг племени и происходил оживленный обмен мнениями. В такие минуты мне удавалось узнать много интересного.

Но в тот день, обретя себя, я был скорее склонен сам просвещать, чем поучаться.

Сигнал к беседе был подан тощим старцем, который завершил церемонию еды. Он должен был произносить «благодарение Другу», выражая свое довольство.

— Благодарение Другу! — подхватили мы.— Привет мудрому маленькому древесному ленивцу, патриарху и властителю нашего племени! Да пребывает он на древе жизни во веки веков!

Дело в том, что на ветвях деревьев, росших над хижиной, на выступе скалы, было сделано нечто вроде клетки для древесного ленивца; большинство островитян слепо верили, что эти безвредные зверьки правят судьбами племени. Считалось, что Чит, Ардам и трое старцев только жрецы, а эти странные зверьки нашептывают им слова мудрости. Несомненно, этот смешной обычай представляет собой пережиток какого-то древнего тотемизма, но я не решался расспрашивать, и мне так и не удалось установить его происхождение. Единственная параллель, какую я могу найти в культурном мире,— это традиции, существовавшие в священной империи Микадо до вступления Японии на путь современной цивилизации. Эта фикция снимала с Чита и его сообщников ответственность за их беззастенчивый фаворитизм, всякого рода притеснения и тиранию. «Так нашептал маленький древесный ленивец»,— объявляли они, и в народе пробуждалась воспитанная веками покорность. Туземцам, над которыми властвовали и всячески измывались Чит и его друзья, отрадно было думать, что маленькие ленивцы властвуют над Читом и его друзьями.

Наряду с остальными я выразил традиционное пожелание, чтобы семья маленьких паразитов никогда не покидала древо жизни.

— А теперь...— начал я и тут же замолк. Сердце бурно колотилось в груди. Набравшись храбрости, я как ни в чем не бывало снял и положил на землю зловонный череп, который так долго давил мне голову.

— Уж очень жарко у вас в ущелье,— продолжал я.— Когда я шел сюда, я смотрел, как солнце озаряет вершины гор, и вдруг мне вспомнился великий мир, из которого я прибыл к вам, огромный и свободный, богатый надеждами мир. Я еще ни разу не рассказывал вам о нем. Теперь я могу рассказать.

Я сорвал с себя и отшвырнул прочь грязную, пыльную шкуру и сел на корточки — голый белый ариец среди бурых дикарей, фантастически одетых и украшенных знаками почета.

Все три старца в один голос вскрикнули и указали на меня пальцами.

— Смотрите-ка! — завопили они.— Что он делает?

Военачальник и бровью не повел, но густо побагровел и, выпучив глаза, уставился на меня с выражением гневного вопроса. Он, наверное, изрек бы что-нибудь о неприличии моего поступка, если бы вообще умел связно высказывать свои мысли. Но он был человек дела и не речист.

Чит жестом умиротворил старцев.

— Это не грех,— заявил он.— Ведь всем нам известно, что Священный Безумец не может грешить. Это — нечто весьма знаменательное. Дух богини снизошел на него. Пусть он делает и говорит все, что ему вздумается, даже самые удивительные вещи. А потом уж мы,— он имел в виду себя,— постараемся постичь смысл всего, что он скажет или совершит.

Ардам как-то двусмысленно хрюкнул.

Я в душе благодарил бога за то, что он поддерживает во мне мужество.

— Когда я нынче шел к вам, о высокородные братья,— вновь заговорил я,— то увидел над головой голубое небо. Завеса спала с моих очей, и дух мой вернулся в тот лучезарный город, где некогда я познал всю мудрость человеческую. Это был прекрасный, чудесный город. Там каждый день человек мог узнать что-нибудь новое, и в сердце рождались все новые надежды. Там я узнал, что люди не должны вечно жить в теснинах и ущельях, но на открытых просторах, что они не должны злоупотреблять слабостью и неведением своих менее счастливых собратьев, не должны пребывать в непрестанном страхе и в плену всяких запретов.

— Это — безумие! — промолвил старец с татуированными щеками и принялся ковырять у себя в зубах острым шипом.

— Ну, конечно, безумие,— подтвердил Чит, не сводя с меня глаз,— вы же видите, что он безумен. Но в этом

скрыт некий смысл. Расскажи нам еще о стране, из которой ты пришел.

— Это целый мир,— поправил я его.

— Ну, пускай, мир,— согласился он.

— Он хотя и безумец, а говорит связно! — заметил старик, орудующий зубочисткой.—Такие слова заслуживают «порицания», все равно, в своем ли он уме, или безумен.

Ардам в знак одобрения хлопнул себя по ляжке.

Тут только я оценил необычайный ум Чита.

— Расскажи нам еще что-нибудь об этом твоем мире,— повторил он, и я уловил в его глазах острый огонек любопытства.

— Всякий знает, что он появился из моря,— прогнусил слюнявый старец.— Ты же сам сообщил нам об этом, о мудрец. Солнце пригрело гниющие водоросли и породило его. Нет другого мира, кроме того, в котором мы живем. Какой может быть еще другой?

— Поистине так,— согласился Чит.— Но все-таки мы выслушаем басню, которую он нам расскажет.

— Слушать его?! — прохрипел Ардам.— Пристукнуть его, вот и все. Давайте я с ним поговорю — и он больше не будет болтать о каком-то мире, который лучше нашего!

— Это еще успеется,— внушительно изрек Чит, стараясь ободрить меня взглядом.

— Я пришел к вам из мира, где люди живут на широких просторах, озаренных солнцем.

— И люди ходят там вверх ногами,— ввернул тощий старец и захохотал, радуясь своему остроумию.

— Там тоже воздают «порицание», но оно не убивает человека. Люди не поедают друг друга, но сообща, как братья, добывают себе еду и питье.

— Кощунство и гнусная ложь! — вскричал слюнявый.— Что это еще за штука — поедать друг друга? Кто это поедает других?

— Неслыханная глупость,— проговорил самый безобразный из старцев.

Чит усмехался, слушая мой неправдоподобный рассказ, и медленно покачивал головой.

— И что же, всем хватает? — спросил он.

— Да, решительно всем.

— Но ведь они размножатся, и тогда не хватит всем.

— Чем больше ртов, тем больше рук. Страна широко раскинулась, и солнце светит для всех. До сих пор нам хватало, да и всегда будет хватать!

Я твердо стоял на своем. Для этих дикарей приходилось несколько упрощать факты. Они не воспринимали тонкостей и полутонов.

И вот я разразился импровизированным панегириком цивилизации, восхваляя все, что она создала и чем может облагодетельствовать человечество, пожалуй, несколько идеализируя и вопреки фактам. Стараясь по возможности приноровиться к уровню и понятиям своих слушателей, я набросал перед ними яркую и соблазнительную картину жизни современного общества, где я вырос и получил воспитание. Я подчеркнул, какие практические выгоды сопряжены с добрыми нравами, которые порождены справедливыми законами и здоровым воспитанием. Я распространялся о благотворительности, об участии и помощи, какую совершенно бескорыстно оказывают попавшим в беду гражданам, поскольку еще существуют бедствующие граждане.

С радостным изумлением я обнаружил, что мои рассуждения насквозь проникнуты дядюшкиным оптимизмом и его моральным пафосом,— ведь мне казалось, что все это уже давно мною изжито. Я упивался звуками своего голоса, мне хотелось без конца слушать себя, и я продолжал свою речь со все возрастающей уверенностью.

Я говорил, что культурные люди неизменно соблюдают опрятность и гигиену, воспевал порядок вещей, при котором в человеке воспитывают доверие к его соседу, уверял, что при высокоразвитом у нас сотрудничестве и разделении труда все блага и удобства доступны каждому человеку. Рассказывал об электрическом освещении, о передаче энергии на расстояние, о транспорте и об охране труда. Попутно описал одну увеселительную поездку на яхте и футбольный матч в таких розовых тонах, что сам увлекся своим красноречием, и эти столь популярные развлечения показались мне прямо восхитительными. Затем я кратко сообщил о демократических учреждениях и об услугах, оказываемых людям прессой. Я сопоставил наш мягкий конституционный ре-

жим с их суеверным почитанием каких-то низших животных и нашу англиканскую церковь, столь терпимую к инаковерующим, с кровожадным культом их богини. Оксфорд у меня получился совсем как Афины, изображенные художником эпохи Виктории, а библиотека Бодлейн — как храм, воздвигнутый премудростью господней.

Увлекшись предметом, я перестал обращать внимание на плешивых старцев и военачальника; эти скептики словно заволоклись туманом, и я видел перед собой одного Чита, который внимательно следил за мной, иногда задавая мне глубокомысленные вопросы; если я не отвечал достаточно вразумительно, на лице его появлялось недоумение.

— А солдаты у вас есть? — спросил Ардам, неожиданно появляясь из тумана.

— Есть,— отвечал я,— но это люди, которые обязаны поддерживать мир. Ибо у нас в цивилизованном мире существует такое правило: если хочешь мира, готовься к войне.

— Ага! — сказал Ардам, и тон его стал менее враждебным.

Мало-помалу я обнаружил, что моим единственным слушателем остался Чит. Однако с ним произошла какая-то перемена. Лицо его было все так же безобразно, но его нелепый головной убор теперь не так бросался в глаза и взгляд сделался более осмысленным.

Он слушал меня, время от времени кивая головой, хотя порой выражал недоверие. Замечания Чита казались мне довольно разумными для дикаря. Вдруг он прервал меня.

— Ты сам знаешь, что все это ложь,— сказал он.

Я растерялся.

— Не знаю, зачем ты мне об этом рассказываешь, ведь такого мира нет.

— Как нет?

— Конечно, нет,— продолжал Чит.— И никогда не бывало. Такого мира не может быть. Таких людей на свете не бывает.

Я обвел глазами кругом: каменное лицо воина и уродливые, тупые и жестокие лица трех мудрецов

вдруг приблизились ко мне и стали до жути реальными. Чит искоса взглянул на них и вновь заговорил:

— Ты мечтатель, ты безумный мечтатель и живешь, как во сне.— И он отмахнулся от цивилизации выразительным жестом руки.— Настоящий мир здесь, вокруг тебя, единственный настоящий мир. Научись видеть его таким, каков он на самом деле!

У меня болезненно сжалось сердце, и внезапно я усомнился во многом из того, о чем только что витийствовал.

5

МЕГАТЕРИИ

То, что мне удалось узнать из рассказов островитян и на основании собственных наблюдений об особенностях исполинского ленивца, Megatherium, может показаться совершенно невероятным. Но любопытно, что два моих знакомых биолога считают приводимые мною факты достаточно правдоподобными, в противоположность людям, не сведущим в этих вопросах. Однако предупреждаю, что моя книга отнюдь не является научным исследованием. Это лишь повесть о моих собственных удивительных переживаниях. Поскольку речь идет обо мне, все приводимые здесь факты верны, хотя мне пришлось убедиться в иллюзорности многих моих представлений. Я не могу сообщить необходимых подробностей и, поверьте, не сумел бы как должно ответить на расспросы даже самого снисходительного из специалистов. Но я воспринимал некоторые факты необычайно реально и могу припомнить все до малейших подробностей: я вижу перед собой огромные бока зверя, заросшие длинной, грязной, жесткой щетиной серого цвета, в которой запутались водоросли, сучья, стебли травы; вижу его страшные когти, которыми он царапает по камням и по корневищам, слышу исходящий от чудовища своеобразный резкий запах мочи. Я твердо убежден, что когда-то раньше, хотя, может быть, и при других обстоятельствах, мне приходилось встречать этих животных.

К сожалению, сейчас я не могу припомнить, как мы готовились к экспедиции на плоскогорье и как мы

выбрались из ущелья. Но я твердо запомнил, что со мной был Чит и жалкий, забитый мальчишка, которого мы взяли с собой в качестве носильщика.

Вероятно, читателю попадались описания исполинских ленивцев. Они в огромном количестве обитали на земле еще до появления мамонта и мастодонта, саблезубого тигра и тому подобных чудовищ; науке известны его европейские и американские виды. Но еще задолго до появления человека на земле все эти разновидности вымерли повсюду, исключая Южную Америку, это последнее прибежище древесных ленивцев. Один вид гигантского ленивца, ростом примерно со слона, еще недавно встречался в бесплодных пустынях Южной Патагонии и Огненной Земли. Насколько мне известно, этот вид попадается и в настоящее время на острове Рэмполь. В каждом большом геологическом музее вы можете видеть его скелет, которому придана необычайно выразительная поза. Такие скелеты, строго говоря, нельзя назвать ископаемыми; они не представляют собою окаменелости в противоположность скелетам значительно более древних динозавров; это обыкновенные кости, такие же, как кости лошади или коровы. В самом деле, были найдены останки мегатериев, так хорошо сохранившиеся, что на них еще уцелели клочки кожи с шерстью и приставшими к ней песчинками. Кроме того, были обнаружены кости, по-видимому, обтесанные человеком. Однако, несмотря на то, что в эти места были посланы специальные экспедиции, не удалось обнаружить ни одного такого животного.

Остров Рэмполь до сих пор еще не исследован, хотя его гористый рельеф представляет интерес для ученых. На карты нанесен лишь один его контур, географам известно только его название. Вряд ли хоть один белый, кроме меня, проникал в его ущелья или видел его обитателей. Там до сих пор еще существует несколько сотен этих неуклюжих выходцев из доисторического мира, уцелевших благодаря суеверному табу и другим благоприятным обстоятельствам. Многие из мегатериев, вероятно, очень стары, ибо они, подобно карпу и некоторым видам попугая, могут жить неопределенно долгое время. На острове никто на них не охотится; люди избегают их; и Чит сообщил мне, что не толь-

ко их мясо ядовито, но даже зловоние, издаваемое их трупами, может причинить смерть. Впрочем, не исключена возможность, что дикари преувеличивают. Мне не удалось проверить их слова.

Но позвольте мне описать картину, которая развернулась перед нами, когда мы выбрались из ущелья, потому что образ жизни этих первобытных тварей тесно связан с местностью, где они обитают. Когда я, бывало, смотрел снизу на стену скал, мне казалось, что залитое солнцем плоскогорье поросло густым лесом. Но уже при первом знакомстве, когда я совсем недолго пробыл на плоскогорье, я обратил внимание, что деревья поломаны и обглоданы, а трава вытоптана. Во время второй экскурсии, длившейся пять-шесть дней, мне стали понятнее рассказы Чита, и я догадался, что тут произошло.

Оказывается, мегатерии питаются исключительно молодыми побегами и почками растений; они медленно бродят по плоскогорью, разыскивая почки на деревьях, и безжалостно их уничтожают. Поэтому там все до одного деревья и кусты изуродованы и искалечены. Трава на полянах вытоптана, и лишь кое-где под защитой колючих кустарников уцелели редкие пучки зелени. Мегатерии истребляют все цветы, какие попадаются им на глаза. Они пожирают и яйца птиц, разрушают гнезда и ведут хоть и вялую, но поразительно успешную войну со всеми небольшими животными. Они так медленно передвигаются, что жертвы зачастую не замечают их приближения и бывают застигнуты врасплох. К тому же мегатерии обладают способностью гипнотизировать разных мелких зверьков.

Они не ходят на всех четырех лапах, как другие млекопитающие, а ползают по земле, подобно пресмыкающимся. Мы довольно долго бродили по плоскогорью, но нигде не встретили этих чудовищ, хотя нам удалось напасть на след одного из них; казалось, по земле протащили огромный мешок железного лома. Там, где прополз зверь, стояло такое страшное зловоние, как если бы тут только что проехал мусорщик, очистивший выгребную яму. Чит посоветовал мне держаться подальше от следов, чтобы не набраться клещей и других отвратительных паразитов. Только к вечеру, на зака-

те солнца, мы наконец набрели на мегатерия. Располагаться на ночь по соседству с мегатериями весьма опасно: эти звери свирепы и не боятся огня,— но я безумно хотел увидеть мегатерия вблизи, и, несмотря на приглушенные протесты и жалобное хныканье нашего носильщика, некоторое время мы шли, крадучись, по этим следам.

Читатель, посещавший музей и видевший на рисунках мегатерия, вероятно, имеет представление об этом звере; он знает, что у мегатерия гигантский круп, длинный хвост и мощные задние лапы и что едва ли не бо̀льшую часть головы составляет нижняя челюсть. Но на всех изображениях, какие мне приходилось видеть, мегатерий слишком смахивает на выхоленного обитателя зверинца. Я ни разу не видел, чтобы живой мегатерий принимал ту позу, в какой любят изображать его на рисунках, где он обычно стоит на задних лапах, обхватив дерево когтистыми передними лапами и величественно выпрямившись, как оратор, собирающийся произнести спич после обеда. Иногда это животное садится на корточки, подвернув под себя хвост, причем передние его лапы болтаются над брюхом.

Некоторые исследователи вообразили, что мегатерий ступает по земле, как медведь, но это совершенно неверно. У него такие длинные когти, что он не мог бы опереться на лапы, и это упустили из виду ученые. Поступь мегатерия вообще не похожа на поступь какого-либо животного. Он ходит, так сказать, опираясь на локтевые суставы и предплечья, причем когти передних лап, когда он двигается, болтаются в воздухе и стучат, ударяясь друг о друга; он бредет с опущенной головой, обычно склонив ее набок, круп его возвышается над туловищем, и можно подумать, что животное ползет на брюхе. В этой позе он напоминает мусульманина, склоненного в молитве.

Надо также отметить, что у мегатерия мясистая морда и отвислая нижняя губа, голова его гораздо более массивна, чем воображают художники; огромная, длинная, слюнявая пасть; морда покрыта щетиной; у него крохотные глазки, обведенные розовым ободком. Нижнюю губу он складывает так, что пасть напоминает совок для угля. Я знаю, что он хорошо слышит, но

не видел его ушей. Кожа у него противного розового цвета и почти сплошь покрыта длинной щетиной цвета гнилой соломы и жесткой, как иглы дикобраза; эта щетина кишит всевозможными паразитами, включая огромных черных клещей; к тому же она вся проросла зеленоватыми водорослями и лишаями, которые густыми пучками свешиваются с боков и с хвоста. На туловище и хвосте животного наросли слои земли; я своими глазами видел, как там пробивалась трава, а один раз заметил даже белый цветок. От мегатерия пахнет гнилыми водорослями и тухлыми отбросами, а дыхание его, которое я имел несчастье однажды вдохнуть, зловонно и отдает тлением.

Зверь обычно продвигается внезапными рывками, как ревматик, причем издает тревожное хрюканье; он приподнимает и вытягивает передние конечности, затем с забавным усердием подтягивает зад, продвигаясь дальше, и так все время. Но, как я впоследствии убедился, он может двигаться и значительно быстрее. Этот способ передвижения можно было бы сравнить с прыжками лягушки. Животное постоянно озирается кругом, сопит и поворачивает морду во все стороны, а иногда разевает пасть и издает рев, похожий на мычание теленка, жалобно призывающего мать, но звук этот гораздо громче и продолжительнее.

Вот такого-то зверюгу увидел я в сумерках; он медленно продирался сквозь изуродованные кусты и деревья. По-видимому, чудовище даже не подозревало, что люди так близко. Пораженный этим фантастическим произведением природы, я, наверное, простоял бы дотемна, наблюдая, как мегатерий бродит и пасется, если бы мальчик не дергал меня настойчиво за руку, а Чиг не напомнил, что надо искать место для ночлега, пока нас еще не застигла темнота.

В то время мне было еще невдомек, почему мои спутники находят нужным располагаться биваком на почтительном расстоянии от этих зверей. Тот, которого мы наблюдали, казалось, ничего не замечал и был как-то трогательно безобиден. Но тут нам попались новые следы, и Чит заставил нас пробираться через колючий кустарник и идти дальше, пока совсем не стемнело, только тогда он согласился сделать привал.

Мы выбрали песчаную прогалинку у ручья, берега которого поросли мхом, и приготовили себе мягкое ложе. Я расстелил свою шкуру вместо ковра, свой головной убор я оставил у подножия скал. Мы разожгли костер из сухих ветвей и приготовили себе на ужин коренья. Мальчишка поставил горшок на горячую золу. Мне удалось сохранить несколько коробков спичек, унесенных с корабля, и теперь, к великому ужасу и удивлению мальчика, я пустил в ход это сокровище. Мы поужинали. Взошла луна, ночь была довольно теплая, и некоторое время мы беседовали, сидя у костра на корточках, а мальчишка, широко раскрыв глаза, с благоговением глядел на меня.

Разумеется, разговор зашел о мегатериях.

— Ну, какой вред они могут причинить человеку? — спросил я.

Чит ответил, что зверь может подняться на задние лапы и, навалившись всей своей тяжестью, раздавить человека и растерзать когтями его тело. Раздражать их весьма опасно. Мегатерии очень злы. К тому же они очень-очень стары и ужасно лукавы. Яд их смертелен.

— Почему нигде не видно их детенышей? — спросил я.

— Теперь у них редко рождаются детеныши, да и те умирают.

Это меня удивило. Он стал уверять меня, что ни один из детенышей мегатериев не выживает. Вот почему мы постоянно находим их шкуры и кости.

Я продолжал задавать вопросы, и ответы Чита были так невероятны, что я заставлял его повторять их несколько раз. Если все детеныши умирают, в таком случае скоро не останется в живых ни одного мегатерия? Но дикарь не привык задумываться над такими вопросами. Почему детеныши умирают? Потому что мегатерии не кормят своих детенышей: они слишком стары, видно, утратили материнский инстинкт. Они ненавидят все молодое. В наше время мегатерии рождаются очень редко.

Жмурясь от едкого дыма костра, я всматривался в уродливое лицо моего спутника, осененное причудливым головным убором. На его широкой физиономии, освещенной красными отблесками огня, я не приметил и тени

улыбки. Я попросил его рассказать мне побольше о жизни этих тварей. По его словам, пол мегатерия очень трудно определить. Никто не видел, чтобы они спаривались. Он лично думал, что теперь остались одни са́мки и зачинают они лишь в том случае, если нарушен обычный порядок их жизни или если их сильно напугать. Они зачинают, сказал он, а потом сами тому не рады. Некогда, очень давно, возможно, существовало несколько самцов. Он не знает наверное. Да и знать не желает.

— Но в таком случае?..— спросил я в недоумении.

— Ведь они хозяева этой земли. Они кормятся. Греются на солнце. Для них хватает еды, а если их будет больше, то уже не хватит. Зачем же им умирать? Никто не охотится за ними. Никто не ест их мяса, потому что кровь их ядовита. Вот и все. Ты в своем безумии вечно толкуешь о каких-то ваших достижениях. Разве в твоем мире, который идет все вперед и вперед, нет мегатериев? Разве нет в твоем мире существ, которые отказываются производить на свет потомство и умирать?

— Нет,— ответил я.— Ни одного животного,— поправился я, немного подумав.

С минуту он смотрел на меня с недоверчивой улыбкой. Не будь он отъявленным дикарем, я мог бы подумать, что он отгадал причину моей оговорки.

Чит сидел, сгорбившись, склонив голову немного набок, и его огромные руки лежали на коленях. Мальчик поочередно заглядывал в лицо то мне, то Читу, видимо, его привели в ужас наши непонятные речи.

— Спать! — проговорил наконец Чит, встал, потянулся и зевнул, собираясь укладываться.

Мальчик по его знаку подбросил веток в огонь. Я сидел у дымного костра и смотрел, как языки пламени, извиваясь, пробираются сквозь сухие ветви и сучья. Чит наблюдал за мной некоторое время, потом, очевидно, сделав какие-то свои выводы, повернулся на бок и быстро уснул.

Меня волновало сознание, что я только теперь начинаю постигать тайны Жизни и Природы. То, что я узнал о жизни мегатериев, по-новому осветило мне некоторые биологические факты, которые до поры до времени таились где-то за порогом сознания. Теперь они властно нахлынули на меня. Я с детства усвоил учение о

жестокой борьбе за существование, в которой каждое живое существо и каждый вид животных отстаивают свое право на жизнь, участвуя во всеобщей беспощадной конкуренции. Но если хорошенько вдуматься, то станет ясно, что лишь очень немногие существа действительно ведут борьбу за существование и среди них уже совсем мало стойких, здоровых и жизнеспособных.

Таким образом рухнула одна из моих ранних иллюзий. Раньше я думал, что, когда какой-нибудь вид попадает в новые условия, он начинает изменяться сам и, приспосабливаясь к новым условиям, выживает и размножается и что никто не в состоянии его истребить, разве только другой конкурирующий с ним вид, который еще лучше приспособился к среде и размножается еще быстрее. А в действительности то или иное существо, попав в новые условия, ведет себя нелепо и бестолково, совсем как идиот, которому задали непосильную задачу: быстрое и успешное размножение является лишь одним из множества способов самозащиты. Со временем я узнал, что многие виды чудесных цветов, которым предназначено оплодотвориться особым видом мотыльков, на самом деле этим способом никогда не оплодотворяются. Птицы давно уничтожили этих мотыльков.

Впоследствии я убедился, что неспособность быстро приспособляться к среде — еще более поразительный факт, чем успешное приспособление. Мне пришлось узнать, что на севере Англии все лесные анемоны, расцветающие весною,— пустоцветы. Они не дают семян, но и на юге Англии семена у анемон тоже редкость. Можно было бы привести бесчисленное множество примеров такой «бесплодной эволюции». И еще мне предстояло убедиться, что даже такое жизнеспособное существо, как человек, побеждает лишь для того, чтобы превратить все окружающее в пустыню. Он сжигает и рубит деревья, под кровом которых живет сам, разводит коз, опустошающих Аравию, а теперь начал превращать азот воздуха в удобрения, так что воздух может стать когда-нибудь совершенно непригодным для дыхания. Раньше мне не приходилось размышлять на эту тему, и неуклюжие чудовища, царящие на нагорьях острова Рэмполь, показались мне каким-то удивительным парадоксом природы.

Сидя у пылающего костра в ярком лунном сиянии, я обдумывал новые вопросы, всплывавшие в моем сознании.

Я пришел к следующим выводам.

Во-первых, далеко не всегда выживают самые сильные, умные и проворные. Существо, которое ползает по земле, истребляя почки деревьев и молодые побеги, тем самым лишает пищи множество более разумных и жизнеспособных особей, делает их существование невозможным. Некоторые животные выживают, опустошая все кругом. Но, выживая, они часто оказываются носителями болезней, губительных для других организмов. Не обязательно истреблять или побеждать в борьбе более энергичную породу. Ее можно вытеснить незаметно, постепенно доконать.

Во-вторых, для того, чтобы выжить, данному виду совершенно не обязательно усиленное размножение. Достаточно просто очень долго жить. Вот, например, мегатерии не тратят энергии на потомство. Все силы отданы индивидуальному росту, и процесс истощения тканей, укорачивающий жизнь большинства высших животных, не подтачивает их организма. Они уже давно существуют без воспроизведения своего вида. Они отнимают еду у своих детенышей, уничтожают свое потомство, и одиноко царят в своем мрачном мире. Природа поставила меня лицом к лицу с этими бесплодными гигантами с таким же равнодушием, с каким показала бы мне малиновку, розу или смеющегося младенца.

И, наконец, в-третьих: животное может пережить всех других тварей и затем погибнуть. Борьба за жизнь может кончиться торжеством видов, не слишком приспособленных к жизни, но чрезвычайно зловредных. Случается, что выживают малоприспособленные, вымирающие животные. И эти мегатерии, превратившие огромные пространства Южной Америки в бесплодную пустыню, мало-помалу вымирают. На острове Рэмполь время от времени какой-нибудь мегатерий вдруг перестает двигаться, валится на землю, вздувается и начинает разлагаться. Таким образом, эволюция далеко не всегда является напряженным стремлением к прогрессу, ко все большему распространению жизни; напротив, она может

превратиться, как, например, в этом случае, в мрачное шествие к смертельному концу.

Так вот каков оказался на поверку процесс эволюции, который представлялся мне таким энергичным, интенсивным, неуклонным, может быть, и суровым, но, по существу, всегда благотворным, во все это я твердо уверовал, слушая бодрые проповеди моего дяди и беседы, какие велись у него за столом. А теперь передо мной вдруг предстала истина. Я созерцал ее с тою обостренной ясностью, какая приходит после ужина на свежем воздухе, после ужина из полусырых кореньев каких-то неизвестных, безыменных растений.

И вот, расположившись среди освещенных луною кустов у дымного костра, под храп дикарей и плеск ручья, я увидел мир новыми глазами, и новые мысли пришли мне в голову.

Кажется, я упомянул, что, когда я восхвалял блага цивилизации, противопоставляя ее жалкому прозябанию дикарей в этом затхлом ущелье, Чит спросил меня, есть ли в цивилизованном мире хоть одно живое существо, которое отказывалось бы производить потомство и умирать; сперва я ответил «нет», а потом поправился: «ни одного животного». В тот момент я вдруг понял — и теперь эта мысль овладела моим сознанием,— что все человеческие законы и установления совершенно так же подчинены законам биологии, как и жизнь любого животного. Сделав отважный умственный скачок, я пришел к выводу, что государства, учреждения и организации, точь-в-точь как мегатерии, не производят на свет потомства, не умирают естественной смертью и упорно цепляются за свое существование. Цивилизованный мир, который я рисовал Читу таким победоносным и процветающим, теперь, когда Чит храпел возле меня, показался мне обреченным и бесконечно далеким от мира единения и безопасности.

Я мысленно воззвал к духу моего дяди. «Человек,— убеждал я себя,— не животное; это неудачная аналогия, и судьба этого вымирающего вида животных не является предвестием судьбы, ожидающей человечество. Остров Рэмполь — это одно, а мой великий мир — совсем другое. Ведь у моего мира есть душа. Воля».

И, как бы подчеркивая всю важность этой мысли, я тихонько поднялся, взял охапку хвороста и подбросил в костер.

Я начал воображаемый спор с мирно спящим Читом, развивая свои идеи. Увлекаясь новой проблемой, мы склонны заново перестраивать свое мировоззрение.

Разумеется, на этом острове всякая борьба безнадежна. Перспективы здесь, без сомнения, самые мрачные и зловещие. В конце концов даже эти звери должны будут погибнуть в результате вызванного ими опустошения. Здесь, по-видимому, победит не самый сильный и не самый ловкий. Битву выиграет тот, кто сумеет преградить дорогу другим и удержать свои позиции. В этом отношении я был согласен с Читом. Правда, мегатерии медленно вымирают, но они уже сделали свое ужасное дело, и теперь не вернуть всех уничтоженных ими бутонов, почек и побегов, всех загубленных надежд, обещаний, молодых жизней! Можно допустить, что эти твари переживут жалкое племя, гнездящееся в ущелье, которое не имеет мужества подняться на плоскогорье, истребить чудовищ, отнять у них землю и солнце. Пусть так. Но ведь остров Рэмполь — это еще не весь мир. Человек, настоящий человек (каким я его себе представляю), отважно решает проблемы и перестраивает мир. А ведь он может прийти на этот остров, и тогда он все переделает на свой лад,— где уж вам до него, жалкие вы дикари!

Может быть, я задремал. Я находился в каком-то полузабытьи, на грани между сном и бодрствованием, когда представления, тесно связанные между собой, вдруг становятся безмерно чуждыми друг другу и, наоборот, идеи, крайне разобщенные, неожиданно сближаются. Быть может, все эти бессвязные размышления потому удержались у меня в памяти, что были прерваны внезапным происшествием. В моем воображении все институты нашей цивилизации как-то странно перепутались с мегатериями. Кажется, я занимался подготовкой грандиозной охоты с целью избавить мир от этого громоздкого наследия прошлого. Мир должен возродиться. Ибо человек, настоящий человек, всегда учится на своих ошибках. Прошлое надо упразднить, как ликвидируется предприятие, которому предстоит реорганизация

и слияние с другими. Я думаю, все эти мысли были вызваны свежими впечатлениями от огромных, заживо разлагающихся тварей, не желающих ни производить на свет потомства, ни умирать.

Мне мерещилось, что происходит какое-то совещание цивилизованных людей, а возлежащий на куче мха Чит — наш единственный слушатель; мы обсуждали проект самоликвидации христианских церквей. Это послужит началом некоего грандиозного переустройства мира, всеобщего религиозного возрождения, и все живущие на земле будут призваны к счастливой деятельности и деятельному счастью.

— Всеобщее доброжелательство,— бормотал я себе под нос,— вера, надежда, милосердие, все духовные блага...

Раздавшееся где-то совсем близко глухое мычание и треск сучьев оборвали мои бредовые рассуждения.

Я вскочил на ноги и, вглядевшись в темные заросли, увидел, что на меня надвигается какая-то огромная туша. Крохотные глазки чудовища отражали пламя костра и горели, как два красных огонька, среди черной движущейся массы. Животное приближалось быстрыми прыжками. Ничего не оставалось, как только спасаться в кусты. Я мигом разбудил своих спутников. Мальчик не спал и с криком вскочил, едва я прикоснулся к нему. Должно быть, он раньше меня заметил надвигающуюся опасность и в смертельном ужасе притаился, не зная, что делать. Он юркнул в кусты, точно спугнутая крыса. Я растолкал храпевшего Чита.

— Беги! — крикнул я.— Беги! — И сам помчался со всех ног.

Я бежал без оглядки. К счастью для Чита, зверь направлялся прямо на меня. Я перепрыгнул через ручей и бросился в ту сторону, где заросли казались не такими густыми. Я спотыкался о корни, ежеминутно перепрыгивал через кочки; острые сучья и шипы немилосердно царапали меня. На своей обнаженной спине я чувствовал горячее дыхание преследовавшего меня зверя. Огромное прыгающее чудовище нагоняло меня, и я ускорил бег. Тут я убедился, как быстро может передвигаться мегатерий, охваченный жаждой разрушения. Можно было подумать, что какой-то другой, невидимый

во мраке исполинский зверь то и дело рывком бросает эту тушу на меня. Я бежал и все время прислушивался к раздававшемуся позади меня шуму. Вряд ли я хотя бы на ярд мог опередить своего врага во время этой бешеной гонки. Порой мне казалось, что я убегаю от него, но стоило зверю сделать прыжок, как он снова начинал меня настигать.

Вначале я мчался напропалую, обезумев от страха. Потом, когда кусты и трава начали редеть и я увидел свою собственную тень, бежавшую передо мной по изломанным стволам и искривленным сучьям, я понял, что поднявшаяся луна светит мне в спину и чудовище видит меня. Я решил круто свернуть в сторону, сообразив, что такая громоздкая туша сможет развернуться лишь по очень широкой дуге. Впереди я увидел какое-то прикрытие, решил обогнуть его и пробежать в другом направлении, против света. Но не успел я оглядеться, как вдруг оступился и, почувствовав у себя под ногами пустоту, покатился вниз.

Я свалился в глубокую лощину, которую не заметил впопыхах. Я был ошеломлен падением, здорово ударившись подбородком о камень. Затем небо закрыла темная громада: на меня валился мегатерий. Если он на меня обрушится, я пропал! Но, к счастью, мегатерий не мог до меня добраться, так как расселина была слишком узка. Очевидно, он тоже оказался как бы в западне.

— Постой, я тебя перехитрю! — прошептал я и стал быстро выбираться из расселины.

Не знаю, хотел ли зверь преследовать меня; скорее всего он попросту застрял в лощине, куда мы оба попали, и старался из нее выбраться.

Я прополз по ровной земле ярдов двадцать и спрятался в спасительную тень. Но и здесь до меня доносилось омерзительное зловоние. Чудовище пыхтело, хрюкало, свирепо ворчало. Я слышал, как зверь ворочается, вылезая из лощины, и следил за каждым его движением.

Взбешенный мегатерий храпел и царапал камни когтями. Видимо, расселина пришлась ему не по вкусу. Он поспешил выбраться из нее на более надежную почву. Потом сел на задние лапы и стал поворачивать свою неуклюжую голову из стороны в сторону, очевидно, он ис-

кал меня. В лунном свете передо мною маячила огромная черно-серая туша, куда больше слона.

Я нащупал рукой камень и чуть было не швырнул в своего врага, но вовремя спохватился.

— Нет, лучше подождать,— сказал я себе.

И хорошо, что я этого не сделал. Потеряв меня из виду, глупое чудовище стало успокаиваться. Победа осталась за ним, я был загнан в яму, следовательно, честь его не пострадала. Минуту-другую до меня доносилось злобное мычание, потом зверь затих, словно о чем-то размышляя; затем грузно припал брюхом к земле, прополз несколько шагов, вновь остановился, прислушиваясь, приподнялся, заревел и начал удаляться тяжелыми прыжками, то и дело замирая на месте, поднимая голову и снова продолжая свой путь.

Что происходило в этом крохотном мозгу — ибо мозг мегатерия едва ли больше кроличьего,— я даже не могу себе представить. Возможно, он уже позабыл обо мне. Шум стал затихать, наконец совершенно замер, и, кроме шелеста кустов, ничего больше не было слышно.

Но из осторожности я еще долго просидел в тени.

Когда я наконец отважился выйти на свет, мне уже было не до моих фантазий, они рассеялись, как дым; я уже больше не мечтал о преобразовании церкви и всех государственных учреждений, о переустройстве всего цивилизованного мира,— так я был подавлен жестокой действительностью.

6

ГОРНОЕ ПЛЕМЯ

Перед рассветом резко похолодало, я забился под выступ скалы и, истратив несколько драгоценных спичек, развел костер. У моих ног, журча, протекал ручей, и вода в нем была приятная на вкус. Я начал срывать со скалы легко отделявшийся пластами сухой мох, укрылся им и долго лежал, дрожа от холода. Когда наконец рассвело, я направился к месту нашего бивака. Идти мне пришлось всего каких-нибудь четверть мили. Я легко разыскал бивак, идя по следам мегатерия. Оба мои спутника были уже на месте; сидя на корточках, они поджаривали коренья в еще не остывшей золе. Им

не пришлось улепетывать. Наш горшок для пищи, к счастью, уцелел, и мальчик варил в нем подкрепляющий напиток из листьев «уфы».

Чит, видимо, мне обрадовался.

— Ему (он имел в виду меня) удалось спастись? — спросил он.

Я утвердительно кивнул головой и скорчил гримасу.

Мегатерий наступил на шкуру, служившую мне священным одеянием, и пришлось выполоскать ее в ручье. Затем мы с Читом начали обсуждать план дальнейших действий. Правда, мой исследовательский пыл уже значительно остыл, но возвращаться в ущелье все-таки не хотелось. Чит тоже не был расположен уходить. Я начал догадываться, что у этого горбуна с лукавыми глазами были какие-то особые соображения, что он отправился в экспедицию, не только выполняя прихоть Священного Безумца, но и с какой-то своей целью. Как всегда, он воспользовался удобным предлогом. У него был какой-то свой план, который я сразу не мог себе уяснить: очевидно, он хотел осмотреть местность и наметить кое-какие маршруты.

К югу от нас простиралась стена серых скал, похожих на выветрившийся известняк; они были совершенно лишены растительности и такие крутые, что едва ли могли привлечь мегатериев. К ним мы и направились, с опаской оглядываясь по сторонам. По дороге мы встретили целое стадо чудовищ, пасшихся на равнине, и сделали порядочный крюк, обходя их. Мы старались все время держаться против ветра, чтобы они нас не почуяли.

Мальчишка распотешил нас, проплясав торжествующий танец, в котором выразил свое презрение к мегатерию. Он столь забавно изобразил нападающее чудовище, что все наши вчерашние страхи рассеялись. Танцуя, он так увлекся, что едва не разбил горшок, и мы чуть не остались без обеда.

Известковые скалы не обманули наших ожиданий. Там было множество уступов и расселин, куда не мог проникнуть огромный зверь, но топлива почти не оказалось. Пройдя вдоль подножия скалистой стены, где рос редкий кустарник, мы расположились на отдых и еще до сумерек успели набрать кучу дров и хвороста. Наш мальчишка вдруг куда-то исчез и через полчаса вернул-

ся, неся огромную серую ящерицу длиною в добрых пол-ярда. Мясо ее было очень вкусное и украсило наш скудный ужин. Сидя у костра, я испытывал чувство необычайного довольства, любовался восходящей луной и только жалел, что у меня нет курева. Но на острове Рэмполь не принято курить.

Все это вызвало у меня прилив нежности к моим спутникам. Я пустился в восторженные описания театров и кафешантанов, рассказывал о шумном веселье, какое царит в лондонском Вест-Энде в послеобеденные часы. Я пропел им «тарарабумбию» и несколько других популярных песенок. Мальчишку особенно восхитила «тарарабумбия»; он начал отбивать такт с чисто дикарской энергией и чуть не расколотил горшок.

Только на следующий день я понял, что замышляет Чит. Он намеревался обследовать верхнюю часть ущелья и точно установить местоположение поселка соседнего племени. Когда я стал осторожно его расспрашивать, мои догадки подтвердились. В своих замыслах он шел гораздо дальше, чем все наши мудрецы, вместе взятые. Он считал, что скоро нам предстоит война. Отношения между двумя племенами начинали портиться. Уже были неприятности из-за какой-то девушки, но более серьезные осложнения возникли в связи с торговым обменом между племенами. Военные действия дикарей обычно сводились к бесплодным стычкам в ущелье, среди скал. Но то ли на Чита оказали действие мои слова, то ли ему приснился вещий сон,— во всяком случае, он решил вторгнуться на плоскогорье. Племя, которое окажется более предприимчивым и дерзнет это сделать, без сомнения, одержит победу! Он тщательно изучил местность и теперь мысленно разрабатывал план внезапного нападения на врага.

— Но ведь для этого надо взбираться на скалы,— сказал я,— а ваш закон запрещает это!

— А что, если они нападут первыми? — проговорил он громким шепотом и добавил: — Не станем же мы дожидаться, пока они обрушатся на нас.

Только на третий день к полудню, пройдя по голому, выжженному солнцем утесистому известковому кряжу, мы добрались наконец до ущелья. Оно внезапно открылось перед нами. До нас донесся рев водопада,

и мы увидали, что стоим на краю огромной отвесной скалы; с одной стороны простиралась широкая долина овальной формы, на дне которой змеилась река, с другой — глубокая пропасть, в которую низвергался водопад, исчезая в облаке брызг и водяной пыли. Бурный, пенистый поток стремительно несся по направлению к нашему селению и, казалось, заполнял все ущелье. По склону горы и по дну ущелья вилась тропинка, соединяющая наше селение с селением горного племени, но, глядя сверху, трудно было себе даже представить, что можно пробраться по этим стремнинам. Меня очень удивило, что, покружив два с половиной дня по горному массиву, мы очутились всего в нескольких милях от выхода из нашего селения и что гул водопада, падающего со скалы, отдавался эхом в горах, медленно замирая в густых зарослях.

Мне еще не приходилось на острове Рэмполь видеть такой величественной и прекрасной картины; встававшие со дна ущелья скалы были так высоки, что даже огромные деревья, росшие внизу, казались крохотными кустиками. Простиравшаяся направо долина была значительно шире и ровнее, чем та часть ущелья, где мы жили, и зеленела густыми лесами. По отлогим склонам тянулись тучные луга. Над ними нависал гигантский розоватый гребень, каменная стена, ограждавшая этот счастливый уголок от вторжения мегатериев. А высоко вверху вонзалась в небо огромная скала той же самой прозрачной горной породы, как и утесы на морском берегу; она сверкала и переливалась красками в лучах полуденного солнца. Перед лицом этого величия мы чувствовали себя ничтожными букашками.

— А-а,— произнес Чит тоном глубокого удовлетворения и поудобнее уселся на выступе скалы.

Мы с мальчишкой последовали его примеру. Видневшиеся далеко внизу хижины селения казались какими-то жалкими грибами, разбросанными на поляне,— так величава была окружающая панорама.

Несколько минут мы сидели в молчании. Жилища племени, обитавшего в верховьях реки, до странности напоминали наши хижины: та же форма крыши, такие же огороженные дворики, так же беспорядочно разбросаны лачуги.

Мы слишком далеко находились от селения и не могли видеть его жителей, но, без сомнения, это были такие же уродливые, желтокожие, нечистоплотные существа, обезображенные такой же татуировкой, как и представители нашего племени. Даже в мирное время оба племени почти не общались друг с другом. Обмен товарами производился следующим образом: на «священных» каменных плитах, неподалеку от большого водопада, раскладывались товары. Мы сбывали свежую и сушеную рыбу, огромные перламутровые раковины, кожу и зубы акулы, а они, в свою очередь, продавали нам жевательный орех, на который у них была монополия, горшки, комья горшечной глины, куски твердого дерева и сушеные плоды. Иногда мы перекликались и обменивались приветствиями. Оба племени довольно легко понимали друг друга. Мне даже говорили, что, несмотря на строгое табу, молодежь обоих племен иногда предавалась грубым любовным утехам, причем все это происходило наспех, среди камней и в кустах, возле водопада; толковали о том, что младшие жены наших мужчин что-то уж больно охотно носят туда товары своих владык; этим даже поддразнивали их. Иной раз этих женщин умыкали, что вызывало большие волнения.

К тому же племена постоянно ссорились из-за обмена товарами. Мы, жители ущелья, считали, что нам дают слишком мало твердого дерева за нашу рыбу. Наши плешивые мудрецы вечно ворчали, что мы отдаем всю рыбу и получаем взамен лишь несколько горшков и кусков глины. Они уговаривали наших мужчин подняться выше водопадов, к месторождениям горшечной глины, чтобы самим ее накопать и рубить там деревья. А племя, живущее у истоков реки, желало иметь свои челны на озере ниже водопадов, ходить в море и на свой страх и риск ловить рыбу. Они были убеждены, что если вырубить лес, деревья больше не вырастут. Они жаловались, что мы забираем их орехи, дерево и глину за бесценок. Обо всем этом дикари постоянно перекрикивались под свист и рев водопада. Эти распри служили постоянной темой для послеобеденных бесед за круглым столом.

В таких случаях военачальник Ардам ударял кулаком по столу и говорил:

— Заберите у них!

— Когда я был еще маленьким глупым мальчишкой, мы пробовали у них отнимать,— отвечал Чит после некоторого раздумья.— Много было убитых, и богиня щедро расточала свои дары. А девушки наши стали шумными и распутными... А потом все пошло по-старому.

— Верно, вы плохо их колотили,— отвечал Ардам.— Да и я тогда был еще мальчишкой.

— В цивилизованном мире, из которого я пришел...— начал я.

Самый уродливый из трех старцев даже застонал при этих словах. Я покинул Англию в безмятежные дни, еще до великой войны, и поэтому мне можно простить, что я изобразил Европу как страну, где царит прочный мир. Я рассказал им о торговых договорах, об арбитраже и о том, что мы в некоторых случаях обращаемся к Гаагскому трибуналу или созываем конференции европейских стран по тому или другому вопросу. Я сообщил им, что существует концерт европейских держав, который в скором времени станет концертом стран всего мира.

— Всего в а ш е г о мира,— скептически заметил Чит.

— Великого мира.

— Мира, которого нет.

— Нет, он существует,— возразил я.— О, если бы вы знали, ценой каких ужасных кровопролитий пришла Европа к миру, вы бы поняли, что значит единение! И вы бы прекратили нелепую вражду с братьями, что живут вверху, у водопада.

— Нечего сказать, б р а т ь я! — с негодованием протянул Ардам.

— Вы могли бы выбраться из этой тесной, темной тюрьмы на солнечный свет и увидеть обширные луга, что там, наверху! Подумайте только, вы могли бы уничтожить мегатериев дротиками, копьями и западнями!

— Как бы они нас не уничтожили,— прошамкал слюнявый старик и стал забавляться косточками человеческого запястья, раскладывая их перед собой на столе.

— Вы могли бы подтащить смрадные туши чудовищ к обрыву и сбросить их в море, а потом принялись бы пахать землю, собирать урожаи и строить...

— Много ты наработаешь, если притронешься к мегатерию! — бросил плешивый старик с татуированными щеками.

— У вас появились бы огромные леса, чудесные плоды и красивые цветы. Всем хватило бы! Все были бы счастливы!

— Клянусь берцовой костью богини! — воскликнул Ардам.— Мне надоел этот Священный Безумец, пусть он обедает отдельно от нас!

— Дайте ему говорить,— вступился Чит.— Ведь он предсказывает нам будущее.

— Ты бы лучше воздал «порицание» этому предсказателю! — прохрипел самый безобразный из старцев.— Тогда все его предсказания разом сбудутся, а мы отлично попируем без его проповеди.

— Да какой смысл в его болтовне?—спросил Ардам.

— Это предсказание войны,— ответил Чит.

— Нет, предсказание мира,— возразил я.

— Все равно, это новый вид войны. Пусть он продолжает; он сам не знает, что говорит.

— Не надо нам никаких новых видов войны,— заявил Ардам.— А я большой любитель поспать после сытного обеда. Будь они прокляты, эти его предсказания!

Мы неоднократно вели такие беседы за круглым столом в трапезной мудрецов, насытившись милостивыми дарами Друга, и они вспомнились мне теперь, когда мы с Читом сидели на краю обрыва, подглядывая за нашими врагами и соперниками, точно три рыжих муравья, наблюдающих за чужим муравейником, где обитают черные муравьи. «Странно,— думал я,— такой умный человек, как Чит, не видит выхода из этой бессмысленной вражды между двумя жалкими, слабыми племенами!» Он даже ни разу не заговаривал об этом. Все мысли Чита были подвластны идее войны, подобно тому как наши понятия и представления, согласно учению Канта, подчинены категориям пространства и времени. Война для него стала неизбежным спутником человеческой жизни, и вокруг нее вертелись все его помыслы. Люди, по его мнению, недостаточно сильны для того, чтобы победить в себе древнюю, как мир, жажду войны.

Мы провели целых три дня на кряже известковых скал, разыскивая кратчайший и наиболее удобный путь

из нашего ущелья к селению врагов, путь, который проходил бы вдоль густых зарослей, куда не забредают мегатерии.

Обследовав окрестности, мы вернулись в наш мрачный, лишенный солнечного света поселок.

— У меня было великое прозрение! — заявил Чит, когда мы очутились на грязной улице, среди убогих лачуг.

7

ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ РЭМПОЛЬ

Мы много говорили о войне, но прошло еще долгое время, прежде чем она разразилась, и порой мне казалось, что ее вообще не будет. Я все больше и больше привыкал к своей роли Священного Безумца на острове Рэмполь.

Правда, я тосковал, чувствовал себя глубоко несчастным, порою испытывал мучительные угрызения совести, все во мне возмущалось против мерзостной пищи, которую мне предлагали, и меня ужасала мысль, что для поддержания тусклого пламени моей жизни систематически истребляются человеческие существа. Но мало-помалу неумолимые требования природы — голод, сон — и всевозможные житейские мелочи и заботы снова возвращали меня в привычную колею. С Читом я даже подружился и старательно изрекал пророчества, каких от меня требовали. И убеждал себя, что, разглагольствуя о широких просторах плоскогорья, я тем самым выражаю протест против жизни, какую приходится вести в ущелье.

Сейчас мне трудно передать, какие странные иллюзии порой навязчиво овладевали моим сознанием. Я уже говорил, что обступившие ущелье скалы и утесы местами были из какого-то светящегося камня. Иной раз мне казалось, что и другие окружающие меня предметы также прозрачны. Я смотрел на поднимавшуюся к небу стену утесов, и мне мерещилось, что она прорезана призрачными окнами, потом на ней начинали проступать причудливые узоры и надписи, сделанные огненными буквами, но, взглянув на нее еще раз, я видел только шероховатую поверхность скалы, уступы и впадины, ос-

«МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ НА ОСТРОВЕ РЭМПОЛЬ»

«МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ НА ОСТРОВЕ РЭМПОЛЬ»

вещенные лучами заходящего солнца. Или вдруг я чувствовал под ногами дрожание мостовой, или слышал над самым ухом гудение трамвая и предостерегающие звонки. Потом оказывалось, что я нечаянно наступил на шатающуюся каменную глыбу или слышу, как гудит навозный жук, тяжело перелетая с одной кучки рыбьих потрохов на другую, и где-то рядом дикарь колотит камнем по гвоздю, вырванному из доски погибшего корабля, пытаясь согнуть его в крючок для удочки.

Случалось, что, когда я рассказывал о многолюдных сборищах и прочих удовольствиях цивилизованного мира, мне вдруг начинало казаться, будто я только сейчас на них присутствовал. Порою, пробуждаясь, я начинал сомневаться: а что, если я вовсе не Священный Безумец, одетый в шкуру и со звериным черепом на голове, а кто-то совсем другой? Такое состояние душевного смятения всякий раз сопровождалось припадком острой тоски по родине. Я старался прогнать сомнения и примириться с мыслью, что по-прежнему нахожусь на острове Рэмполь.

«Это остров Рэмполь,— твердил я себе,— это остров Рэмполь! Гони все эти несбыточные мечты!»

Когда я попал на остров Рэмполь, первые дни рабства тянулись бесконечно долго; но по мере того как я привыкал к этой жизни, дни становились все короче и под конец начали пролетать совсем незаметно. Я больше не надеялся на избавление и через некоторое время перестал воображать, что своими гимнами цивилизации и прогрессу мне удастся подействовать на воображение дикарей и как-то изменить их тупое, инертное существование. И только когда зазвучали яростные крики, возвещавшие войну и грозившие мне опасностями и мучениями, во мне вновь пробудилась энергия и мне захотелось действовать.

До этого момента мне приходилось вести упорную борьбу с Ардамом и тощим старцем, которые хотели низвести меня до уровня обыкновенного смертного, женив на одной из девушек племени, которая водворилась бы у меня в хижине и непрерывно наблюдала бы за мной. Чит был всецело на моей стороне. Для него, так же как и для меня, было важно всячески поддерживать престиж Священного Безумца.

Я не сразу осознал, до какой степени мы с Читом зависим друг от друга. Я был только последним и, быть может, самым для него подходящим в длинном ряду носителей шкуры и черепа, которыми Чит тайно руководил и чьи вещания он истолковывал. Ему трудно было бы найти мне преемника. Без Священного Безумца Читу оставалось бы только охранять и толковать предания и традиции племени, и все его советы и предложения подлежали бы утверждению старцев. Но один он умел находить пророческий смысл в бессвязном бреде Священного Безумца, а мои невнятные речи позволяли ему куда шире развернуться, чем изречения прежних «безумцев». Необычайные обстоятельства, сопровождавшие мое появление на острове, моя удивительная внешность, начиная с белого цвета кожи, странность моих речей и поступков — все это резко отличало меня от моих предшественников.

Впоследствии, вернувшись в лоно цивилизации, я заинтересовался вопросом о роли сумасшедших в жизни дикарей. Я думал, что Священный Безумец острова Рэмполь — явление совершенно исключительное. Но оказалось совсем не так. Эти странные существа встречаются у целого ряда племен, играя роль, так сказать, противовеса в сложных взаимоотношениях общины дикарей. Иной раз безумцу удается вклинить какое-нибудь новшество в крепко сбитую мозаику обычаев и укоренившихся традиций. В иных странах безумец является соратником знахаря, в других сам выступает в роли пророка и колдуна, наводя на своих соплеменников суеверный ужас.

Один из антропологов Смитсоновского института в Вашингтоне написал солидное исследование по этому вопросу. Если не ошибаюсь, труд его озаглавлен «Эксцентричная личность в первобытном обществе». Автор связывает существование священных безумцев Патагонии — оказывается, они встречаются и на материке — с широко распространенным почитанием царьков-жрецов и преподносит нам целую кучу спелых и подгнивших плодов с «Золотой ветви» Фрэзера. Он сопоставляет роль безумцев с ролью колдунов и ведьм и сближает их с королями карнавалов, а также с шутами и прочими фантастическими существами средневековья. Мне говори-

ли, что в этой области он большой авторитет. Он весьма эффектно заканчивает свой труд, показывая, какую роль играет в современном обществе гениальная личность, в порыве вдохновения смело высказывающая свои идеи, не страшась никакой ответственности. Автор утверждает, что такого рода эксцентрики обычно оказываются орудием в руках более осмотрительных и практичных людей, которые по-своему также стремятся ниспровергнуть существующий порядок вещей. Итак, моя жизнь в скучном и мрачном ущелье бросает новый свет на эту любопытную проблему социологии. Но, отмечая этот факт, я вновь предупреждаю читателя, что настоящая повесть является лишь рассказом о моих приключениях и я не намереваюсь вносить вклад в науку.

Мой предшественник на посту «безумца» был прирожденным идиотом и умер, объевшись отбросов. До моего появления Чит, должно быть, играл весьма бесцветную, второстепенную роль. Если плешивые старцы противоречили ему, он не мог привести им в ответ ни одного пророчества. На острове царили традиции. Одно время Чит пытался облечь ореолом «непостижимого безумия» молодого человека, единственным физическим недостатком которого было косоглазие, но потерпел неудачу. Из малоприятного рассказа Слюнявого я понял, что его притязания на безумие и неприкосновенность не получили признания, протеже Чита был обвинен в кощунстве и закончил свою краткую карьеру, подвергшись «порицанию». Этого несчастного симулянта выдала его собственная жена. Он уверял, что во время трансов, в которые он впадает, «Великая богиня» удостаивает его особых милостей; но жена, разозлившись на мужа за то, что ей не приходится разделять с ним славу, разоблачила его.

— Тут уж у самого Чита едва не перекосило глаза!— пропищал престарелый рассказчик и весь затрясся от смеха.

Это был тяжелый удар для Чита. Ему никак не удавалось найти нового безумца. Был, правда, в селении горбун да еще глухонемая девушка; но, на беду, они были люди здравомыслящие и глубоко порядочные; ни за что не соглашались они пойти на обман. Четверо мудрецов уже видели перед собой перспективу неогра-

ниченной власти над племенем и предвкушали близкий конец Чита, чью карьеру неизбежно должно было завершить «порицание». Как вдруг случай или судьба послала ему помощь в моем лице. В моих словах и поведении было столько странного, удивительного, что даже мудрецы склонны были поверить всему, что говорил обо мне Чит. Они не в силах были разгадать, что лежало в основе моего безумия. Им было весьма не по душе возвращение Чита к власти, но они затаили свою ненависть, не решаясь открыто выступить против него. А простой народ слепо верил в мое безумие.

Мои враги делали вид, что заботятся обо мне, и уверяли, что для них превыше всего мое счастье и благополучие. Они задумали меня женить, надеясь, что жена погубит меня, как это было с моим предшественником. Они говорили, что им тяжело видеть, что я веду такую печальную, одинокую жизнь. Такая высокоодаренная священная личность должна быть окружена заботами жены и миловидных служанок, увешанных зубами акул и перламутром, ярко раскрашенных и обильно смазанных рыбьим жиром. Они так верили в губительные свойства брака, что предлагали жениться даже моему приятелю. Ведь Чит тоже одинок, говорили они, ведет слишком суровую жизнь; у него, правда, две жены, но обе, по странному совпадению, словно откусили себе язык, работают молча, и от них не добьешься, что делается в доме. Ему не худо бы, по примеру других влиятельных людей, завести гарем, окружить себя молодыми, болтливыми служанками. Почему это он всегда такой молчаливый и скрытный?

Должен сознаться, что меня осаждали не только внешние, но и внутренние враги. Как и многих людей с живым воображением и повышенной чувствительностью, меня порой охватывало бурное желание; я нередко томился одиночеством и жаждал ласки, хотя бы самой грубой. Как я уже говорил, мои религиозные верования, которые при других обстоятельствах могли бы окрепнуть, сильно пошатнулись во время пережитых мною злоключений. Бывали дни, когда вид этих дикарок возбуждал во мне вожделение, когда воображение мое придавало прелесть их пропахшему рыбой, лоснящемуся от жира телу, когда мимолетная улыбка или пристальный

взгляд могли взволновать мое сердце. Вспоминая свою жизнь на острове, я жестоко упрекаю себя за то, что не сумел поддержать престиж «высшего» существа среди этих дикарей! Иногда меня так тянуло схватить в объятия какую-нибудь варварски разукрашенную, нечистоплотную красавицу — и я с трудом сдерживался.

В дни своей юности я даже не представлял себе, что отношения между мужчинами и женщинами могут быть такими жестокими, грубыми, бесчестными и бесконечно сложными, как на острове Рэмполь. Островитянки и привлекали и отталкивали меня. Потом я стал примечать, что большинство дикарей испытывает к ним тоже двойственное чувство — смесь желания и отвращения. В благопристойном, цивилизованном мире, откуда я был выброшен, как правило, разыгрывался красивый, увлекательный роман со счастливым концом. Моя личная катастрофа, всколыхнувшая во мне пучину зла и порока, была только уродливым исключением. В нашем счастливом мире обычно взаимная склонность и дружба двух молодых существ неизменно переходили в более пылкие чувства, которые завершались браком, совместной жизнью, основанной на доверии, преданности и самопожертвовании. Но на острове Рэмполь я видел только трусливых, жадных и недоверчивых дикарей. Им внушало ужас физическое влечение, толкавшее их к существам другого пола.

Как я уже говорил, на острове очень редко вступали в добровольный союз, потому что трудно было построить себе хижину и мешала сложная система различных табу, которой я так и не мог постичь. Мужчина испытывал влечение к женщинам вообще, и ему навязывали одну или двух, а девушкам так и вовсе не предоставлялось выбора. Самые привлекательные из них, хотелось им этого или нет, доставались мудрецам; имели право выбора также старейшины, палачи, церемониймейстеры, рулевые, плетельщики сетей, строители хижин, блюстители нравов и другие влиятельные особы. Многоженство процветало на острове, как и во всех странах, куда не проник свет христианства. Чем выше стоял покровитель, тем меньше угрожала девушке опасность подвергнуться «порицанию». Порой естественная склонность влекла ее к отважному и любезному, хотя и

вымазанному жиром юноше, но она не решалась соединить с ним жизнь, так как ее соблазнял выгодный союз с каким-нибудь влиятельным, разукрашенным татуировкой старцем. Мысль о «порицании» удерживала ее от любовных похождений с юношами, но глубокое недовольство своей участью заставляло страстно желать всяких болезней и напастей своему престарелому повелителю.

Не удивительно, что любовь на острове Рэмполь не была тем свободным и приятным чувством, каким она бывает у культурных людей. Она была насквозь пропитана лицемерием, отравлена рабской зависимостью и вынужденным воздержанием. Любовник подозревал свою возлюбленную в корыстных расчетах, она же, идя ему навстречу, рассчитывала получить за это должную награду. Все это было мне прекрасно известно. Случалось, во время пляски при свете факелов какая-нибудь молодая красавица, сверкая перламутром, гибкая, скользкая от жира и ярко раскрашенная, прижималась ко мне, тяжело дыша, но, заглянув ей в глаза, я видел лишь страх, отвращение, покорность чьей-то суровой воле.

Я невольно бросал взгляд на помост, где под красным шестом, на котором повис маленький священный ленивец, восседали Ардам и тощий, как скелет, старец. Оба они внимательно наблюдали, не попадусь ли я на приманку. И когда в ответ на немой вопрос девушки я с улыбкой качал головой, она поднимала глаза на своих повелителей, ожидая новых приказаний.

Решив во что бы то ни стало сохранять целомудрие, я перестал есть рыбу и начал еще педантичнее соблюдать чистоту. Я отлично понимал, что, как только привыкну к вони прогорклого рыбьего жира, мне станет куда труднее отбивать атаки, которые велись на меня со всех сторон.

8

БЬЮТ БАРАБАНЫ ВОЙНЫ

Уже много лет угроза войны нависала над ущельем, подобно тучам, которые то зловеще клубятся над горами, то рассеиваются,— и вот наконец война разразилась. Вскоре она стала единственной темой бесед муд-

рецов за круглым столом, а военные пляски и магические заклинания заставили нас позабыть о плясках при свете факелов перед алтарем «Великой богини». Первыми напали жители верхнего селения. В обмен на нашу последнюю партию рыбы, правда, не слишком обильную, они прислали вместо жевательного ореха, дерева и глины некие предметы и изображения самого оскорбительного характера. Наше племя, обиженное и возмущенное, ответило еще более грубыми оскорблениями; но первая обида была нанесена врагом, и это уязвило наше самолюбие.

Как только война была объявлена, Ардам, согласно законам и обычаям и по необходимости, сделался верховным владыкой племени. Казалось, он вырос и возмужал. Он принял величавый вид, проткнул верхнюю губу двумя остроконечными раковинами, выкрасил нос в ярко-красный цвет и сделал по глубокому надрезу над каждой бровью. Во время трапезы его охраняли два роскошно разукрашенных воина, с гвоздем в носу, с подрезанными ушами, с волосами, закрученными в длинные красные рога, и с огромными копьями. Они стояли навытяжку справа и слева от него, таким образом, он занимал больше половины круглого стола, а мы впятером должны были тесниться на небольшом его кусочке.

— На то и война! — невозмутимо заявил Ардам.

Он делал вид, будто необычайно озабочен ходом военных действий, и не обращал на нас внимания, мы переговаривались между собой, и он даже не отвечал, когда к нему обращались; но время от времени Ардам тоном повелителя вмешивался в наш разговор.

У входа в нашу трапезную непрестанно сменявшие друг друга старики изо всех сил колотили в огромные барабаны, обтянутые кожей умерших героев. Оглушительный грохот барабанов не смолкал ни днем, ни ночью. Даже и теперь, сто́ит мне вспомнить об этих чудовищных инструментах, как у меня в ушах начинают раздаваться эти дикие, зловещие звуки. Барабанщики от старости то и дело засыпали и, очнувшись, отбивали дробь с удвоенной энергией. Прикрываясь требованиями всеобщей безопасности, Ардам мог безнаказанно распоряжаться жизнью и имуществом каждого из своих соплеменников, будь то мужчина или женщина. И мы

испытали на себе его тяжелую руку: казалось, он хотел сперва испробовать на нас все карательные меры, какие готовил против наших врагов.

Все молодые люди были зачислены в бойцы; чтобы закалить, их всячески истязали и калечили, им обрезали уши, делали надрезы на теле, так что кожа вздувалась буграми, заставляли как-то идиотски маршировать, задрав подбородок кверху и высунув язык. Все девушки племени также находились в распоряжении военачальника, им приказано было поддерживать мужество и свирепость в сражавшихся воинах. Решительно все вокруг раскрашивалось в красный цвет, пока не истощились запасы краски. Каждые два-три дня устраивались дикие военные пляски, участники которых с большим азартом избивали друг друга, или же «воющие сборища» для устрашения врага. Эти сборища должны были поддерживать в нашем народе боевой дух. Мудрецы и старшие в роде перечисляли преступления и пороки врагов под громкие крики одобрения и негодующие возгласы всего племени. Выкрики ораторов тонули в диком вое присутствующих; не присоединиться к нему — значило навлечь на себя тяжкое подозрение.

Наши ораторы в своих тирадах против врага выставляли главным образом три обвинения, изобличая основные его грехи. Во-первых, они людоеды. Это обвинение неизменно вызывало у слушателей взрыв бурного негодования. Оратор обычно наклонялся вперед и многозначительно спрашивал:

— А вам хочется попасть в жертвенные котлы врага?

Вторым преступлением наших недругов были нечистоплотность и скверные привычки. Третий грех состоял в том, что они держали у себя семейство крупных, громко квакающих лягушек, почитая их своими божественными повелителями,— по мнению нашего народа, это было особенно гнусно и позорно. Отвратительные звуки, производимые главой лягушачьей семьи, его бестолковые прыжки и громкое шлепанье по воде противопоставлялись медленным, крадущимся движениям и благородному поведению нашего симпатичного тотема. Переходя к практическим вопросам, оратор доказывал, что единственный способ избежать войн в будущем — это довести войну до

победы, и под конец начинал распространяться об огромных запасах жевательного ореха, глины и плодов, которыми мы завладеем, когда изничтожим своих врагов. Так как уже чувствовался недостаток во «всеочищающем орехе», то это обещание пробуждало в нас самые заветные желания. Мы выплевывали кусочки дерева, которыми пытались заменить жевательный орех, и поднимали оглушительный вой, зорко следя, не отстает ли кто-нибудь от общего хора.

Между тем военные действия развивались до крайности медленно. Как я уже говорил, граница проходила вблизи большого водопада; бежавшая в гору над водопадом тропинка заросла колючим кустарником, была очень узкая и крутая. Над этой тропинкой отвесные утесы поднимались на добрую тысячу футов. Засев в этом месте, горсть людей легко могла бы задержать целую армию, откуда бы та ни вздумала наступать. Наши аванпосты продвинулись за выступ скалы, где обычно происходил обмен товарами, и прятались среди скал и в кустах; воины наши вооружены были пращами и длинными деревянными жердями, которыми намеревались сбрасывать неприятеля с тропинки под откос прямо в воду. Наши дозорные расставили капканы и опутали сетями тропинку, уходившую дальше в горы. Неприятель же наблюдал за нами с утесов над водопадом. В распоряжении врагов были запасы твердого дерева, поэтому они обзавелись длинными луками, чему мы не без оснований завидовали. Стрелы их залетали в ущелье на добрую четверть мили, а стреляли они замечательно метко.

Ни одна из враждующих сторон не обнаруживала желания вступить в открытый бой. Время от времени один из наших воинов, неосторожно высунувшись из-за прикрытий, падал, пронзенный стрелой; и как-то раз один вражеский воин поскользнулся, упал в реку и утонул. Мы пытались было подбрасывать неприятелю отравленную рыбу, но сомневаюсь, чтобы они попались на эту приманку. Враги не сходились в открытом бою, и война стала напоминать игру в прятки: меткие выстрелы, случайные убийства, непрерывный гул и грохот наших барабанов и частый резкий стук деревянных трещоток, которыми пользовались наши враги наряду с бараба-

нами. В сущности, военные действия застыли на мертвой точке, а боевым пылом охвачены были главным образом селения, находившиеся выше и ниже линии фронта.

Не думаю, чтобы варварски разукрашенная фигура Ардама хоть раз появилась в тех местах, куда могли залетать вражеские стрелы; но в селении он развивал бурную деятельность. Еще задолго до рассвета он выгонял на улицу всех новобранцев; тощие, голодные, с изувеченными ушами, эти несчастные без конца маршировали, то и дело спотыкаясь, дурацки высунув язык и задрав кверху подбородок; если кто-нибудь падал без чувств, его возвращали к жизни пинками и тумаками, а стоило ему еще раз потерять сознание, как он становился жертвой «порицания». Народ то и дело созывали к алтарю богини, чтобы огласить какое-нибудь новое воззвание, которое Ардам вкладывал в уста нашему владыке, маленькому древесному ленивцу. То наш повелитель запрещал своим верноподданным жевать «всеочищающий орех», даже если его удалось бы раздобыть до появления звезд на небе; то он заявлял, что отныне полосы красной краски должны накладываться на тело не вертикально, а горизонтально; отступления от этого правила допускались только по особому распоряжению главного штаба. Начали судить несчастных, подозревавшихся в симпатии к неприятелю,— это была своего рода инквизиция.

И вот Чит за столом мудрецов (то и дело упоминая мое имя, что меня весьма тревожило) начал поговаривать о возможности и преимуществах фланговой атаки на неприятеля с высоты плоскогорья. Принять это предложение значило выразить недовольство, что война затягивается, поэтому Ардам встретил его весьма неприязненно, но Чит горячо отстаивал свою любимую идею и начал высмеивать образ действий Ардама, так что военачальник пришел в ярость. Спор быстро перешел в шумную ссору, в которую были втянуты и плешивые старцы, но они всячески уклонялись от прямых высказываний.

С замиранием сердца я слушал, как Ардам упрекал Чита, что ни он, ни я не идем на войну, а только чиним препятствия военным властям; он допытывался, где мы

были в прошлом году, когда поднимались на горы якобы для того, чтобы выслеживать мегатериев.

— Где вы были? — кричал он, стуча кулаком по столу.— А ну скажите, за кого вы? Может, вы держите руку врага?

Плешивый, похожий на скелет старец что-то неодобрительно промычал. Слюнявый прогнусавил: «Господа, господа!» — и Ардаму волей-неволей пришлось смягчить свои обвинения; под конец он только упрекнул нас в недостатке патриотического рвения. Однако он нагнал на нас страху. Нам стало ясно, что придется оставить планы о наступлении с высот плоскогорья и проявлять побольше воинственного пыла. Чит воткнул в каждое ухо по зубу акулы и украсил свой головной убор из пальмового листа чудовищными узорами, а я выкрасил в красный цвет череп ленивца, который носил на голове, приделал к нему два свирепо скошенных глаза, вылепленных из глины, и решил никогда не расставаться со своим священным посохом.

Несмотря на все принятые нами меры, Ардам продолжал жаловаться на наше бездействие. Он требовал, чтобы мне, как всем остальным мужчинам, обрезали уши и покрыли все тело татуировкой и шрамами, а затем отослали на фронт, где, облеченный в шкуру, с черепом на голове, я бы воинственно жестикулировал, устрашая врага. Он уверял, что Священный Безумец неприятеля стоит во главе войск у большого водопада и яростно осыпает нас проклятиями. Почему бы и мне не последовать его примеру? Их стрелы не так уж часто попадают в цель. Правда, нам с Читом удалось на этот раз увернуться, но мы почувствовали, что стали как бы отверженными и нам грозит немалая опасность.

Мы избегали прогуливаться вдвоем, чтобы не навлечь на себя подозрений, но нас так ловко отстранили от дел, что мне поневоле приходилось оставаться с Читом с глазу на глаз. Иногда мы выходили вместе, стараясь делать это не часто, чтобы нас не заподозрили в заговоре против мудрецов и Ардама. Чит все это время был чрезвычайно осторожен в разговорах со мной; но один раз он все же высказал весьма изменническую мысль. Мы бродили с ним по лощине, среди камней и

утесов; некогда здесь произошел обвал, но теперь обломки скал густо заросли кустарником; то и дело встречались ручьи, впадавшие в основной поток и глубокие озерца. Поднявшись на холм, мы увидели вдали водопад.

— Я думаю, что их воины ничуть не умнее наших,— размышлял вслух Чит.— Сколько им ни толкуй, все равно не поймут. Все солдаты на один лад,— продолжал он, подводя итог своим скудным наблюдениям.— Что тут поделаешь!.. Да, если бы мы напали на них с плоскогорья, мы наверняка кончили бы войну в каких-нибудь шесть дней и здорово бы утерли нос Ардаму...

Даже теперь, вспоминая эту войну дикарей, я испытываю тяжелое чувство отчужденности от своих собратьев, и мне кажется, что я вновь брожу один как перст по извилистой пустынной лощине, среди обломков скал, тоскуя по цивилизации и сознавая, что за мной наблюдают и мне грозит какая-то опасность, и в ушах у меня несмолкаемо звенит адский, бессмысленный барабанный бой.

«В чем я провинился? — спрашивал я себя.— Что я сделал? Почему моя жизнь должна так рано оборваться в этой варварской стране? Ведь не для того я родился на свет, наделен какими-то силами, возможностями и желаниями, чтобы стать пешкой в руках Ардама и его слабоумных друзей! Неужели я до конца дней останусь жить в этом пустынном ущелье, среди дерущихся идиотов, где я никому не могу принести пользы и вынужден молчать? Неужели у меня ничего уже нет впереди? Неужели я так никогда и не увижу больших городов, о которых мечтал в юности, не внесу своей скромной лепты в сокровищницу человеческого труда? Неужели никогда не встречу любви и настоящей дружбы и мне придется всю жизнь притворяться, соблюдать законы и обычаи, которые презираю, и быть посмешищем для всех людей? Спрашивается, зачем я родился, зачем меня произвели на свет?»

В то время я и не подозревал, какие странные приключения еще готовит мне судьба.

9
ПЕЩЕРА И ДЕВУШКА

Лощина, где я одиноко бродил в эти страшные дни, отличалась дикой красотой, там были живописные утесы, маленькие озера и заросшие цветами болота. Особенно часто встречалось ползучее растение, напоминавшее нашу росянку, но гораздо крупнее и прожорливее. Оно расстилалось коврами на болотистых местах, и я избегал ступать на его цепкие, жадные листья. Эти липкие, похожие на руки листья ловили не только мух, как наша росянка, но и ящериц, бабочек и даже небольших птичек. Высохшие шкурки и кости этих маленьких жертв повсюду валялись на болоте. Кое-где виднелись густые ярко-синие пирамидальные купы чертополоха и кусты ежевики, покрытые крупными ягодами. Росло там также множество душистых трав и цветов. Кругом поднимались голые скалы, порой подернутые легкой дымкой. Когда около полудня солнечные лучи неожиданно проникали в лощину, расстилавшаяся передо мной картина напоминала мне беспорядочную груду разноцветных шелков у подножия гигантского готического собора. И тут, в глубоких озерах, я нередко купался.

Однажды я сделал открытие, которое взволновало меня и Чита, ибо нам показалось, что оно сулит возможность поскорее покончить с войной; несколько дней мы жили этой надеждой.

Это была огромная расселина в горе. Мне случалось не раз проходить мимо сводчатого отверстия в скале, откуда вытекал прозрачный ручей, но мне никогда не приходило в голову туда заглянуть. Но однажды днем, тревожно размышляя о новых угрозах Ардама, я забрел в это место, и вдруг меня осенила мысль, что эта пещера может служить надежным убежищем. Я вошел в ручей, идя по колено в воде, проник в отверстие скалы и побрел дальше вверх по течению. Через некоторое время я очутился в большой пещере. Осторожно пробираясь вперед, я вскоре почувствовал, что нахожусь в огромном пустом пространстве. Опасаясь свалиться в пропасть, я все время шел по дну ручья. Безопаснее всего было ступать по дну. Вокруг была тьма. Я чиркнул спичкой и спугнул целую стаю летучих мышей, которые

притаились наверху среди сталактитов. Насколько мне удалось разглядеть сквозь вихрь бешено кружившихся крыльев, пещера была очень велика и там высилось множество сталагмитовых колонн и каменных глыб.

Мне не хотелось тратить спички, а факела я не догадался захватить с собой; итак, я продолжал свои исследования впотьмах, прислушиваясь к журчанию ручья и зная, что, если встретится обрыв или порог, вода предупредит меня шумом и плеском. Внезапно в отдалении я увидел бледный свет и медленно направился к нему. Свет пробивался откуда-то сверху, и вскоре я догадался, что пещера не что иное, как огромная расселина, в которую местами проникают солнечные лучи. Поднимавшееся кверху дно расселины, по которому протекал ручей, напоминало мне железнодорожное полотно, проходящее в гористой местности, то исчезающее в туннеле, то вновь появляющееся на свет. Однако следует добавить, что высота этой лощины во много раз превосходила ее ширину. Многочисленные выступы в стенах расселины, смыкавшиеся наверху, почти скрывали небесную лазурь; солнечный свет, проникая в лощину, отражался от скал и достигал дна, теряя свою яркость и становясь похожим на бледные лунные лучи. Кругом, даже в наиболее освещенных местах, царил какой-то призрачный полумрак; по уступам каменной стены откуда-то с высоты медленно, капля за каплей, стекала вода. В сумеречном свете скалы поблескивали, как алебастр.

На следующий день я привел сюда Чита. Мы сделали факелы из терновых сучьев, нарубленных нами в чаще, и проникли как можно глубже в пещеру, но нам так и не удалось найти выход ни к селению племени, обитавшего в верховьях реки, ни на плоскогорье. Несколько дней подряд мы исследовали пещеру, упорно не желая примириться с мыслью, что эта многообещающая расселина оказалась просто-напросто тупиком. Правда, мы обнаружили несколько любопытных гротов и множество грибов, довольно хороших на вкус, а вскарабкавшись на уступы скал, нашли там гнезда морских птиц и немало яиц. Хотя эта пещера и не имела второго выхода, она все же могла послужить нам надежным убежищем, в случае если бы одержимый манией войны Ардам стал слишком уж нас донимать.

Не могу припомнить, сколько прошло времени с этого момента до того дня, когда благодаря счастливой случайности мне удалось бежать с острова Рэмполь. Воспоминания мои об этих зловещих днях войны, так сказать, лежали грудой и были совершенно бессвязны. Однажды после обеда, бродя по лощине, я присел отдохнуть на скалистом берегу одного из самых больших и глубоких горных озер. Мысли мои бесцельно блуждали, как это всегда бывает, когда человек ничем не занят и не имеет места в жизни. Вдруг я заметил в воде отражение женской фигуры и, подняв глаза, увидел девушку нашего племени, которая бродила на противоположном берегу озера по колено в густой зеленой траве. Ее блестящее стройное желтое тело приковало мой взгляд и пленило воображение. Со все возрастающим интересом я следил за ее нерешительными движениями.

Глядя на нее, я принялся безудержно мечтать не только о бесконечных наслаждениях и восторгах, какие мне сулила близость с ней, но и о прочной дружбе и душевном покое. А вдруг этот росток жизни окажется не дурно пахнущей дикаркой, а прелестной девушкой, каким-то чудом явившейся сюда из моего полного надежд прошлого? Моя изголодавшаяся душа и тело тешили себя самыми фантастическими надеждами и мечтами.

Девушка, казалось, искала удобного места на берегу озера, и вот она его нашла. Большой обломок скалы вдавался далеко в озеро; она дошла до края утеса, с минуту постояла в задумчивости, потом, взмахнув руками, бросилась в воду.

Несколько мгновений я сидел неподвижно, как зритель в кинематографе, но вот древние традиции рода Блетсуорси заговорили во мне, я сбросил свой головной убор и шкуру и стремглав кинулся к озеру. Мы должны спасать утопающего, хотя бы рисковали при этом утонуть. Это наш самый священный долг. Мне еще никогда не приходилось вытаскивать кого-нибудь из воды, и я был совершенно не подготовлен к такому предприятию, однако бросился в воду и поплыл к утопающей.

Вытащить испуганную, отбивающуюся, сильную молодую женщину из глубокого озера — довольно трудная и опасная задача. Я отчаянно боролся с ней, пытаясь удержать это крепкое гибкое тело, она хваталась за

меня и тянула за собой в воду. Я начинал захлебываться, изворачивался, как мог, стараясь припомнить все, что мне приходилось читать и слышать о такого рода случаях. Мне пришло в голову, что надо оглушить ее, я нацелился было кулаком в ее темя, но только хватил ее по лицу. Ее смазанное жиром тело выскальзывало у меня из рук, и она сильно мне мешала, цепляясь обеими руками за мои ноги. В уши набралась вода, и мне слышался то глухой рокот толпы, то свист пара, вырывавшегося из паровозного клапана. Потом внезапно почудился пароходный гудок. Какая-то призрачная лодка, наполненная людьми, проплыла мимо. Видимо, от чрезмерной усталости у меня начались галлюцинации. Я чувствовал, что подвиг спасения утопающей превращается в бессмысленную борьбу. Я уже начал терять сознание, захлебываться, как вдруг почувствовал под ногами дно. Нас прибило к берегу! В этом месте вода была всего по шею. И вот последнее отчаянное усилие — и я освободился от вцепившейся в меня девушки, встал на ноги, изверг из себя, как тритон на античном фонтане, целый каскад воды, перевел дыхание, затем схватил ее за руку и поволок за собой.

Мы стояли с ней по грудь в воде. Она все еще не могла прийти в себя. Откинув назад черные мокрые волосы, она взглянула на меня широко раскрытыми, удивленными глазами и упала без чувств мне на руки.

— Скорей на берег! — задыхаясь, пробормотал я, поднял девушку и вынес ее из воды.

Она была в глубоком обмороке. Мне стоило немало трудов вытащить ее из воды, берег был крутой и обрывистый; вскарабкавшись наверх, я в избытке усердия проволок ее несколько ярдов по склону холма, заросшему душистыми травами. Тут я бросил ее, словно какой-то тюк, и тяжело опустился на землю рядом с ней. Несколько минут я никак не мог отдышаться и сидел в каком-то оцепенении. Мне казалось, что с каждым вздохом воздух превращается у меня в горле в мутную, темную воду.

— Боже ты мой! — вырвалось у меня.— А ведь в книгах все совсем по-другому.

И вдруг мне стало мерещиться, будто мы находимся не на берегу озера, а в каком-то другом месте. Я протер

глаза и осмотрелся по сторонам, но увидел перед собой лишь зеленый склон холма и горное озеро, окруженное зубчатой стеной скал. Я откашлялся и выплюнул воду. Мало-помалу дыхание восстановилось и силы вернулись ко мне. Но что теперь делать с этим бездыханным телом?

Не могу отчетливо припомнить, что именно я предпринял. Помню только, что в уме у меня всплыли слова: «способы оживления», и я принялся делать ей искусственное дыхание, поднимая и опуская руки,— и красивые же у нее были руки! Когда это не помогло, я стал растирать ей грудь и все тело травой, чтобы восстановить кровообращение; на ее теле не оставалось и следов рыбьего жира,— и от нее исходил чудесный аромат, напоминающий запах вербены.

— Дай мне умереть! Ах, дай мне умереть! — проговорила она.

— Вздор! — задыхаясь, бросил я.

— Они опять меня поймают,— сказала она.

— Да ну их к черту! — воскликнул я.— Я тебе помогу.

— Не нужно из-за меня беспокоиться. Все равно я погибла!

Она объяснила мне, что ее преследует и мучает Ардам.

— Я не могу полюбить его. Я его боюсь. Разве я могу исполнять его желания, когда вся дрожу от страха!

Тут я заметил у нее на руках синяки, а на плечах свежие рубцы.

— Он все равно убьет меня,— сказала она, и в глазах ее блеснул такой ужас, что я поднял ее на руки и отнес на прогалинку среди кустов, чтобы мы не были так на виду.

Там я бережно опустил ее на землю и уселся рядом с ней. Я продолжал свои растирания, но мало-помалу они сменились нежным поглаживанием. Я увидел, что она очень хороша собой.

Она прижалась ко мне, и казалось, ей вовсе не хочется, чтобы я ее отпустил. Я начал ее разглядывать, и меня поразила какая-то теплая прелесть ее лица, стройной шеи и всего тела. У нее были прямые брови и маленький, нежно очерченный рот. Но вот яркие лучи по-

луденного солнца ворвались в ущелье, и наше убежище залило ослепительным блеском. В этот миг глаза наши встретились, словно спрашивая, чего же мы хотим друг от друга.

Только раз в жизни, в далеком Оксфорде, я видел такое же выражение в глазах у девушки. Но на этот раз призыв не остался без ответа.

10

БЕГЛЕЦЫ

С этого дня моя жизнь резко изменилась. Я рассказал о своих приключениях все, что сохранилось у меня в памяти. Я описал свое бегство из культурной среды на край света, в этот дикий мир, где меня на каждом шагу подстерегали опасности. Затем в судьбе моей произошел внезапный поворот. Бросившись в воду, я как бы принял крещение, и для меня началась новая жизнь.

В блеске солнца и в упоительном аромате трав я обрел другое тело, которое было плотью от моей плоти, другое сердце, которое билось в унисон с моим, испытывая те же радости и те же страхи; обрел подругу, чьи глаза с живым участием следили за каждым моим движением, чьи надежды и опасения были мне бесконечно близки и чье тело принадлежало мне. Мы приблизились к этому озеру с разных сторон, не зная друг друга; мы покинули его, навеки соединенные любовью. Мы должны были держаться вместе и всеми силами помогать друг другу; теперь нам обоим грозили жестокие пытки и смерть.

Уэна — так звали мою подругу — была собственностью Ардама, и, согласно господствующим на острове законам, он мог распоряжаться ею, как ему заблагорассудится. А я нанес диктатору неслыханное оскорбление. Уэна считала, что мы должны бежать куда-нибудь подальше или же одновременно лишить себя жизни. Но близость девушки пробудила гнев и отвагу в моей душе, и я уже начал подумывать об открытой борьбе с военачальником.

— Нет,— возразил я,— нам незачем скрываться! Ты войдешь в мою хижину как моя жена! Я — Священный

Безумец, и все, что мне принадлежит, священно и является табу!

Надев на голову череп ленивца и накинув на плечи шкуру, я с посохом в руке направился к поселку; Уэна следовала за мной, вся трепеща от ужаса и восторга.

Мы вышли на протоp енную тропинку, которая вела от водопадов к селению, и внезапно повстречали Чита. При виде нас он остолбенел. Высокомерным, решительным тоном я сообщил ему о своих намерениях и о перемене в моей жизни. Он пришел в ужас и стал горячо меня отговаривать. Ардам, мол, поднимет против меня все племя; я возразил, что сам подниму все племя против Ардама. Но Чит лучше меня знал свой народ и умолял меня действовать осмотрительно.

— Она спрячется у меня в хижине,— заявил я.

— Так иди же туда поскорей,— сказал Чит.

Как раз в это время все племя собралось перед храмом «Великой богини» на митинг для единодушного вытья, и по дороге мы не встретили ни души. Я, как сейчас, слышу гнусавые голоса ораторов, доносившиеся с верхней открытой площадки, которые по временам покрывал дружный вой всего племени; они ни на минуту не замолкали, пока мы шли по безлюдной нижней тропинке. Чит расстался с нами, направившись на военное собрание, чтобы узнать, что делает Ардам.

— Войди в мою хижину, это твой дом,— сказал я, раздвигая заслонявший вход тростник, и нежно обнял ее в полумраке моего убежища.

Неужели же все это мне только приснилось? Неужели новая жизнь была лишь плодом фантазии?

Как это было чудесно — прийти в уединенную хижину и уже не быть в одиночестве, чувствовать ласку и заботы человеческого существа, которое мне принадлежит, видеть, как Уэна суетится около очага, приготовляя обед.

Но вот на пороге появляется вернувшийся с собрания Чит, вид у него встревоженный и решительный.

— Они ищут пропавшую девушку Ардама,— сказал он.— Они думают, что ее похитил неприятель. Умоляю тебя, беги отсюда и спрячься с ней в пещере, которую мы с тобою нашли. Теперь, когда она стала твоей, зачем тебе умирать?

И он исчез. Видимо, вышел наружу послушать, что творится в селении. Потом его широкое лицо снова показалось в двери хижины.

— Спускайся вниз, там, у берега, челнок. Когда сюда придут за тобой, ты будешь уже у водопада. А мне здесь нельзя оставаться. Скоро увидимся.

Мы слышим, как он пробирается сквозь кустарник, удаляясь от хижины. Я прижимаю к себе свою подругу. Я готов оказать отчаянное сопротивление врагам на пороге моей хижины. Но она не согласна.

— О господин мой, я хочу жить! — говорит она.—Теперь я так хочу жить! Бежим с тобой отсюда, как советовал нам Чит!

Я чувствую, что и мне хочется жить.

И вот мы спускаемся ползком по обрыву к реке и быстро находим лодку Чита. Сгущаются сумерки, в темноте мечутся факелы наших преследователей. Перекликаются голоса. Ударили в набат, и в тишину врезается острый свист. Мы уже в челноке, я хватаюсь за весла. Вдруг вспыхивают какие-то странные огни. Огромные зеленые светляки то загораются, то гаснут в густом синем мраке. Река шумит, словно взволнованная толпа, и в ее быстрых струях причудливо отражаются вспышки огней. Мы гребем изо всех сил, но вот перед нами пенистый порог. На мгновение мы останавливаемся, потом нас вновь подхватывает течением. Кажется, не будет конца этой борьбе со стихией. Все громче доносится рев водопада, заглушая все звуки. Мы выбрались на берег и, пригнувшись к земле, бежим к озеру, разыскивая глазами вход в расселину. Вдруг что-то больно ударяет меня в плечо, и я падаю. Меня пронзила большущая стрела, пущенная сверху. Уэна вытаскивает стрелу и помогает мне подняться на ноги. Она гладит меня по плечу, и рука ее обагряется кровью.

— Пещера,— бормочу я,— расселина!

Сладкий запах вербены щекочет мне ноздри. Я вижу полоску небесной синевы, отраженную в озере. Где-то далеко позади слышится шум погони.

Но мы уже около отверстия, где ручей выбивается из скал.

Теперь мы уже в безопасности. В обширной пеще-

ре прохладно и темно, но внезапно меня охватывает слабость.

— Иди по руслу,— говорю я и тут же спотыкаюсь и падаю.

Уэна несет меня, и ноги мои волочатся по воде. Далее в моей памяти пробел, но, должно быть, я все-таки указывал ей путь. Вот я лежу на ложе из каких-то веток и душистых трав, а она, склонившись надо мной, кормит меня из миски. Меня ничуть не удивляет, что откуда-то появилась миска. Светло, как днем, и пещера почему-то очень похожа на уютную просторную комнату. Под головой у меня подушка. Наши глаза встречаются.

— Ну, ешь еще,— говорит она,— это тебе полезно.

Я проглатываю еще ложку и, приподнявшись, сажусь в постели. Плечо у меня забинтовано, болит и как-то странно одеревенело.

— Но где же это мы? — спрашиваю я.

— У себя дома,— отвечает она.— И...— Она кладет свою прохладную руку мне на лоб.— Жара больше нет? Ты узнаешь меня, Арнольд?

— Ты — Ровена. Но скажи мне, где же я?

— На Бруклин-Хайтс... Съешь еще ложечку супа.

— В Нью-Йорке?

— Ну, конечно, в Нью-Йорке!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

повествующая о том, как необычайно преобразился остров Рэмполь, как мистер Блэгсуорси вернулся в лоно цивилизации, как он мужественно сражался, был ранен и чуть не погиб смертью храбрых в мировой войне за цивилизацию; о его жене Ровене; о его детях; как он нашел себе занятие; о его замечательной беседе со старым приятелем, в конце которой были высказаны мысли о жизни человеческой, обещанные еще на титульном листе этой книги.

1

РОВЕНА

Я перестал задавать вопросы и доел суп.

Она коснулась моей руки и повторила:

— Да, у тебя больше нет жара!

Я молча попытался встать, и она так же молча помогла мне. Я сел на краю кровати. Я был крайне озадачен: ведь это, конечно, была та пещера, в которой она уже много недель кормила меня, ухаживала за мною и охраняла. И в то же время это была комната!

— Что это с моим плечом? — спросил я.

— Тебя сшибло такси, и ты поранил себе плечо.

— Какое такси? Стрела!

— Да нет же. Такси. Я вытащила тебя из сточной канавы.

Я провел рукой по волосам. Тут я заметил новые странности.

— Ты одета по-европейски,— сказал я.

— Ну так что же? Нельзя же все время заниматься любовью.

— Но все-таки ты ведь та женщина, которую я люблю?

— Ну, конечно!

Я напряг свою бедную, помраченную память.

— Я спас тебя, когда ты тонула?

— Да, в Гудзоне.

— В Гудзоне? С каким трудом я вытащил тебя из воды! Но ты стоила этого.

— Бедняжка, ты все перепутал! —И она поцеловала мне руку снисходительно и вместе с тем выражая свою преданность, как делала это уже тысячи раз.

Я с удивлением оглядывался по сторонам.

— Как странно освещен потолок! А раньше тут была известковая скала. А вон те высокие серые утесы за окном не что иное, как огромное здание.

Я ощутил в воздухе странный аромат.

— Где-то здесь...— сказал я и окинул взглядом комнату. На подоконнике стояли три цветочных горшка, и я знал, что в них вербена.

Я встал на ноги, и Ровена меня поддерживала, так как ноги у меня подкашивались. Мы подошли к окну, и я увидел картину одновременно и чуждую и столь знакомую. Над рекой, изборожденной множеством быстро снующих судов, вздымались к небу величавые громады южного Нью-Йорка, странно воздушные в ласковом, теплом предвечернем свете. Обняв рукой за плечи, она поддерживала меня, пока я смотрел из окна.

— Неужели у меня был бред? — спросил я.— Неужели все это мне приснилось?

Она ничего не ответила, только еще крепче меня обняла.

— Это Нью-Йорк. Ну, конечно, это Нью-Йорк!

— Вон там Бруклинский мост.

— Так это не остров Рэмполь?

Она молча покачала головой.

— Это мой цивилизованный мир?

— О любимый мой! — прошептала она.

— Так, значит, остров Рэмполь и эти жестокие, безнадежно тупые дикари — все было сном, фантастическим сном!

Она заплакала. Быть может, она плакала, радуясь, что я очнулся наконец от мучительного бреда.

2

ОБЪЯСНЕНИЯ ДОКТОРА МИНЧИТА

Легкая дымка сомнений заволакивала в первые минуты после пробуждения ослепительное счастье вновь обретенного мною мира. Я отвернулся от окна, так как был еще очень слаб. Она помогла мне сесть в небольшое кресло, у которого, как я почувствовал, не хватало одного колесика.

— Все эти ужасы, война, зверства, Ардам — все мне только приснилось?

Ровена промолчала. Отвернувшись от меня, она смотрела на дверь. Послышался стук, которого она, по-видимому, ожидала.

— Войдите! — крикнула она, и на пороге появился мужчина с широким загорелым лицом, очень похожий на прорицателя Чита, но только чисто вымытого и причесанного по бруклинской моде. Он остановился в дверях, внимательно глядя на нас. Это был Чит и в тоже время не Чит! Я знал, что сейчас услышу знакомый глуховатый басок Чита.

Ровена обратилась к нему с сияющим видом:

— Ему гораздо лучше. Теперь мы уже не в пещере. Представьте себе! Сейчас он смотрел в окно! Он узнал Нью-Йорк!

Посетитель, широкоплечий и коренастый мужчина, приблизился и испытующе посмотрел на меня глазами Чита.

— Вы находитесь в Бруклине!

— Я нахожусь в некоторой неуверенности...

— А вы знаете, кто я такой?

— Я называл вас Читом.

— Сокращенно от Минчит. Доктор Алоиз Минчит к вашим услугам!

Он подошел к окну и стал глядеть на реку. Говорил он со мной через плечо, избегая смотреть мне в лицо, словно опасаясь смутить меня.

— Сколько раз я вам говорил, что это реальный мир! И сколько раз вы мне отвечали, что это остров Рэмполь! Признаюсь, я потерял всякую надежду. И вот эта молодая леди сделала то, чего не могли добиться ни я, ни другие нью-йоркские психиатры. Выбрав мо-

мент, когда вы бродили в одиночестве по высокому берегу Гудзона, она бросилась в реку, после чего к вам вернулось сознание. И вот вы оба здесь, осмелюсь сказать, в полном туалете и в здравом уме!

При этих словах он улыбнулся Ровене, а затем посмотрел мне прямо в лицо.

— Итак? — проговорил он, пытаясь прийти мне на помощь. Он присел на край стола с видом человека, у которого уйма свободного времени.

— Простите, если я буду говорить бессвязно,— начал я медленно, взвешивая каждое слово.— Я, право, не знаю, как я попал сюда. Я хотел бы знать, каким образом очутился здесь и вот смотрю из окна на остров Манхэттен, а то я думал, что нахожусь далеко от цивилизованного мира, совсем на другом острове, у берегов Южной Америки. Ведь моя безудержная фантазия выкидывает невероятные шутки. Что это еще за новая шутка?

— Со всеми шутками покончено,— заметил доктор Минчит.

— Так я был... ненормален?

— Знаете ли, ненормальное,— изрек Минчит, точь-в-точь как островной прорицатель,— представляет собою лишь некоторое отступление, легкое искажение нормального.

— И эта ненормальность доходила до безумия?

— Оно не было — как бы это сказать? — органическим. У вас нет никаких изменений в мозгу. Но у вас исключительная психика. Вы необычайно чувствительны и склонны к некоторому раздвоению. А я как раз занимаюсь изысканиями в этой области. Вы являетесь для меня прекрасным материалом для изучения.

Я оглянулся на Ровену. По выражению ее лица я понял, что могу продолжать расспросы. И я вновь обратился к доктору:

— Был я вашим Священным Безумцем?

— Так или иначе вы находились на моем попечении.

— Но где же это я находился на вашем попечении?

— Здесь, в штате Нью-Йорк, когда вас привезли сюда. Главным образом в Йонкерсе. В психиатрической клинике Куина.

— А как же остров Рэмполь?

— Такой остров существует. Вы, должно быть, слышали это название, после того как вас спасли.

— И что же, я был там?

— Возможно, что пробыли там часок-другой. Вы могли сойти на берег с лодки, которая подобрала вас с «Золотого льва».

— И вы вполне уверены, что это не остров Рэмполь?

— Нет, нет,— вмешалась Ровена.— Это подлинный мир. Самая настоящая действительность!

Я обернулся и посмотрел на нее. Какая она хрупкая и прелестная!

— И этот мир ты изо всех старалась покинуть! — проговорил я, пытаясь кое-как связать разрозненные факты.— Ты хотела утопиться. Почему же ты хотела утопиться?

Она подошла ко мне, присела на ручку кресла и, обхватив мою голову руками, прижала ее к своей груди.

— Ты спас меня,— прошептала она.— Ты бросился в воду и спас меня. Ты ворвался в мою жизнь — и спас меня навсегда.

С минуту мне казалось, что я начинаю что-то понимать, но тут же мне стало ясно, что, в общем, я ничего не понимаю. Меня мучили неразрешимые загадки.

Повернувшись к доктору Минчиту, я снова извинился, что говорю так бессвязно. Я попросил как следует растолковать мне, в чем дело, но тут у меня закружилась голова, и я уселся на кровать.

— Должно быть, я болен,— обратился я к доктору Минчиту.— Расскажите мне историю моей болезни. Расскажите, как это я с острова Рэмполь внезапно перепрыгнул в Нью-Йорк.

С минуту Минчит молчал, видимо, обдумывая, что мне ответить.

— Я очень рад, что могу наконец говорить с вами вполне откровенно,— заметил он.— Я считаю, что вы должны все знать.

Но доктор не сразу начал свои объяснения; спрыгнув со стола, он принялся шагать взад и вперед по комнате.

— Слушаю,— нетерпеливо сказал я.

— Ему надо как следует подумать,— сказала Ровена в его оправдание.

— Помните ли вы, что находились на покинутом корабле «Золотой лев»? Можете ли это припомнить?

— Все как есть. Капитан бросил меня на произвол судьбы.

— Бросил на произвол судьбы?

— Он запер меня в каюте, когда лодки отчаливали.

— Гм... я этого не знал. Вот как! Он запер вас в каюте! Вы потом мне об этом расскажете. Как бы то ни было, вас обнаружили на этом корабле матросы с паровой яхты «Смитсон». На этой яхте находились исследователи, собиравшие кое-какой научный материал на островах Южной Атлантики и на Огненной Земле. С этого и начинается мой рассказ! Двое наших матросов нашли вас у пароходной трубы; вы спали, а когда они вас разбудили, вы громко закричали и кинулись на них с топориком. Вы были — что правда, то правда — совершенно не в себе.

— Но...— начал было я и осекся.— Продолжайте.

— Вы представляли собой несколько громоздкий экземпляр, не совсем удобный для «Смитсона»...

— Постойте,— прервал я его.— Когда все это было?

Он прикинул в уме.

— Около пяти лет назад.

— Боже мой! — вырвалось у меня, а Ровена сжала мне руку, выразив свое сочувствие

Доктор Минчит продолжал:

— Повторяю, вы, мягко выражаясь, представляли собой весьма неудобный экземпляр. Начальник нашей экспедиции поручил мне вас; так как я по профессии психиатр, то изо всех сил старался приспособить вас к нашей обстановке. Я находился на яхте в качестве этнолога. Незадолго перед тем у меня были тяжелые личные переживания, и я отправился путешествовать, чтобы отдохнуть. Я прекрасно знал начальника экспедиции...

Он снова замолчал, видимо, обдумывая, что мне в первую очередь рассказать.

— Сущее наказание было с вами! — опять заговорил он.— Захватив вас с парохода, лодка заехала в залив острова Рэмполь, тут-то вы и увидели этот остров. Вы

кричали в бреду, что потеряли свой мир, что мы — кровожадные дикари и раскрашенные людоеды. Вас доставили на борт «Смитсона», и мне предложили либо усмирить вас, либо держать под замком в каюте. Как профессионал, я заинтересовался вами с первой же минуты. Мне думалось, что, так сказать, физически вы вполне нормальны, то есть у вас нет никаких органических изменений в мозговых клеточках. С вами, очевидно, дурно обращались, и вы пережили сильное потрясение. Вот почему ваш рассудок перестал нормально функционировать и все ваши понятия перепутались. Я полагаю, что если б я позволил им сделать то, что они хотели, то есть запереть вас в каюту, то вы стали бы колотить в дверь, и это, пожалуй, доконало бы вас. Вы смертельно боялись именно того, что вас запрут в каюту. Помните вы это?

Я тщетно напрягал память.

— Нет.

Потом стал раздумывать и прибавил уже менее уверенным тоном:

— Не-ет...

Какие-то обрывки воспоминаний о том, как я пытался выбраться из запертой каюты, вдруг всплыли в моем сознании. Но ведь это было на «Золотом льве»!

— Приходилось вас ублажать,— продолжал доктор.— И нельзя сказать, чтобы вы возбуждали к себе симпатию, вы ненавидели весь род человеческий, называли нас шайкой грязных дикарей, и... Словом, не слишком с нами церемонились. Не будь меня, вас, конечно, высадили бы на берег при первой же возможности... Но я заявил, что вы не просто беспокойный субъект, а драгоценный экземпляр для научных исследований, и это заставило их примириться с вашим присутствием. Так мы и возили вас с собой, пока не доставили сюда. Я решил поместить вас в институт Фредерика Куина в Йонкерсе, чтобы наблюдать и изучать вашу болезнь. В Европе почти не имеют понятия о том, на каком высоком уровне находится у нас психиатрия. Мы изучаем и наблюдаем самые разнообразные типы душевных заболеваний. У меня были кое-какие затруднения — приходилось оформлять вас как иммигранта и вести переписку с вашим опекуном, проживающим в Лондоне, но мне

удалось все уладить, и с этих самых пор вы всецело находились под моим наблюдением в Йонкерсе, а затем в Нью-Йорке. Ваш опекун — неплохой человек. Он попросил своих знакомых проведать вас и, убедившись, что с вами хорошо обращаются, почувствовал ко мне доверие, предоставил свободу действий и к тому же оплатил все расходы. Денег на вас хватило. За это время вы получили кое-какое наследство, и теперь вы довольно состоятельный человек. Все счета у меня в полном порядке. Мне понадобилось два года, чтобы доказать, что вы ничего с собой не сделаете и неопасны для окружающих. Наконец, вас выпустили из клиники под мою ответственность, и вы поселились в собственной квартире.

— Вот в этой самой?

— Вы сюда переехали после того, как познакомились с нею.

— Это моя квартира,— шепнула Ровена.— Ты снял ее для меня и отказался от своей.

Я задумался.

— Все это очень хорошо. Но почему же я ничего этого не помню?

— Кое-что вы помните, но в искаженном виде. Я утверждаю, что вы представляете собой типичный случай «систематического бреда».

Тут он замолчал, ожидая, что я попрошу его продолжать, что я и сделал.

Он остановился передо мной, засунув руки в карманы, точь-в-точь как профессор перед группой студентов.

— Видите ли,— начал он и запнулся, сделав неопределенный жест левой рукой.— Дело все в том...

Но я не буду подробно излагать его сложную теорию: это мне не по силам. Слушать скучные лекции — удел студентов. А эта повесть рассчитана на широкого читателя. Теория Минчита или, если угодно, его объяснения основывались на том, что наше восприятие внешнего мира не отличается чрезмерной точностью и вместе с тем всегда носит критический характер. Мы всегда фильтруем и, так сказать, редактируем наши ощущения, прежде чем они доходят до нашего сознания. Даже люди, совершенно лишенные воображения, живут иллюзиями, бессознательно приукрашивая жизненные факты, тем самым защищаясь от действительности. Наш

ум отбирает впечатления, отбрасывает все неприятное и оскорбительное для нашего самолюбия. Мы продолжаем редактировать и ревизовать даже давно пережитое нами. То, что человек помнит о происшедшем накануне, отнюдь не соответствует тому, что он действительно видел или пережил в тот или иной момент вчерашнего дня. Все это ретушировано, подчищено и препарировано по его вкусу и как того требует его самолюбие. Люди с богатым воображением и те, которых воспитали, ограждая от тяжелых жизненных ударов, порой совершенно искренне искажают реальность, приукрашивают ее, толкуют на суеверный лад, облекают в фантастические одежды.

— Поэтому-то вы меня так заинтересовали,— прибавил Минчит, как бы извиняясь и подходя ко мне поближе.— Вы чрезвычайно любопытный пациент!

Это было очень любезное признание.

Затем он спросил меня, приходилось ли мне слышать о случаях раздвоения сознания, о том, что в мозгу одного человека могут уживаться две различные системы ассоциаций, иногда их даже больше, и они проявляют себя совершенно независимо, так что можно подумать, что в одно тело вселились две души. Я отвечал, что слыхал о таких фактах. В наше время они общеизвестны. Доктор заявил, что я представляю собой поразительный пример раздвоения сознания. Моя основная личность получила такую тяжелую травму в самом начале моего жизненного пути, что укрылась под защиту фантазии, вообразив, будто грубость и жестокость существуют только в одном отдаленном диком уголке земного шара. Она упорно цеплялась за мысль, что утерянный ею мир иллюзий все еще существует, она имела в виду тот цивилизованный мир, из которого я был выброшен и куда мне предстояло вернуться.

Я задумался над его словами и попросил его повторить все сказанное. Потом согласился с доктором, но без особого энтузиазма.

В этих утешительных мечтаниях, говорил он, я пребывал четыре с половиной года, в то время как моя второстепенная личность, мое житейское «я», которое я усиленно игнорировал, поддерживало мое существование, заставляя меня избегать неприятностей, вовремя есть, даже заниматься делами, когда это было необходимо.

Правда, эта жалкая, второстепенная личность была все время чем-то озабочена, как говорится, находилась в мрачном раздумье, но действовала вполне разумно, хотя и медлительно. Она читала газеты, могла поддерживать разговор, но вела обособленное существование, выполняя чёрную работу и обслуживая основной комплекс моего сознания, поглощенный фантазиями и мечтами. Порой она кое-что припоминала, но тут же выбрасывала из сознания. Основное же мое «я» и знать ничего не хотело об этих житейских мелочах, а если что и принимало, то изменяло до неузнаваемости.

— Все мы в известной мере таковы,— добавил Минчит.— Вы представляете такой интерес для науки именно потому, что так последовательно, упорно и настойчиво отстаивали свою фикцию.

— Да, да, все это весьма правдоподобно,— сказал я,— но... послушайте, доктор Минчит! Ведь остров Рэмполь для меня совершенно реально существовал. Я осязал все находящиеся там предметы, ел и даже помню вкус пищи. Я его видел так же отчетливо, как вон тот ковер с полинявшим узором. Разве человек может так всецело отвергнуть действительность и придумать все то, что я видел: утесы, горы, пиршества, погоню и мегатериев? Я выслеживал мегатериев, и один из них гнался за мною. Гнался по пятам. Мегатерии — это гигантские ленивцы. Сомневаюсь даже, слышал ли я когда-нибудь о них до того, как попал на этот остров!

— Это совсем нетрудно объяснить,— отвечал доктор.— «Смитсон» разыскивал мегатериев. Это было нашей основной задачей. Если остался в живых хоть один мегатерий, мы хотели найти его раньше англичан. У нас только и было разговоров, что о мегатериях. Мы постоянно беседовали о них. Наши зоолог и палеонтолог прямо бредили мегатериями. Они показывали нам рисунки. У них был череп молодого мегатерия, к которому пристали клочки кожи и кусочки помета. Теперь я вспоминаю: однажды вы прочли нам целую диссертацию об их нравах и образе жизни! Поразительная выдумка! Необычайная фантазия! Так вы думаете, что видели мегатериев?

— А разве их не было на острове Рэмполь?

— Мы не встретили ни единого.

Я был совершенно сбит с толку.

— Вы путаете сновидение с воспоминаниями о действительной жизни. Это случается чаще, чем думают.

Я опустил голову на руки и потом снова поднял ее.

— Я не утомил вас? — спросил доктор.

— Я ловлю каждое ваше слово,— ответил я,— хотя мне еще далеко не все понятно.

— Это и не удивительно. Ведь я рассказал вам за каких-нибудь полчаса о результатах наблюдений, которые терпеливо вел в течение четырех с лишним лет!

— Чит,— заметил я,— всегда был терпеливым наблюдателем... Но любопытно, откуда я взял этот головной убор!

Доктор не имел представления об этом замечательном головном уборе и пропустил мои слова мимо ушей. Он был слишком поглощен своим повествованием.

— Это была такая увлекательная задача — нащупать и расчленить перепутанные комплексы сознания.

— Я рад, что это доставляло вам удовольствие,— ответил я.

— Например...— Он опять зашагал по комнате.— Я узнал, что у вас сложная наследственность: с одной стороны, старинная английская кровь, с другой — смешение сирийской, португальской и отчасти крови аборигенов Канарских островов. В самом начале жизни вы пережили резкий перелом. Сперва безалаберное детство на Мадейре; затем спокойные отроческие годы в Уилтшире, причем оба эти периода совершенно не связаны между собой. Даже язык ваш изменился. Вы потеряли всякую связь с Мадейрой, все это так. Но... под личиной вашего английского «я» таилось иное существо — пылкое, буйное, эгоцентричное, склонное к пессимизму, правда, оно мало себя проявляло и было как будто позабыто. Скажите, на вашем острове Рэмполь была богатая субтропическая растительность?

— Да, множество деревьев, густые травы и яркие цветы,— ответил я, подумав.— Горы были крутые и живописные.

— Но ведь настоящий остров Рэмполь — голая пустыня,— сказал он.

Я оглянулся на Ровену.

— Доктор очень проницателен,— сказала она.

— Да, он очень проницателен,— согласился я.

— Мы так часто это обсуждали,— заметил доктор Минчит.

Я взглянул на свои ноги, на бледно-голубую, полинялую пижаму и на босые ступни. Я нашел руку Ровены и пожал ее. Поглядел на горшки с вербеной, затем в открытое окно.

— Вы очень умный человек,— начал я.— Все здесь кажется мне вполне реальным. Но не менее реален и остров Рэмполь. Да, пока еще это так. Столь же реальны и блюда, которые я там ел, человеческое мясо. И завывание дикарей и война. Скажите мне, где добывают пищу, которой меня здесь кормят? Разве в этом мире нет «даров Друга»? И что это за война, бессмысленная и страшная война, которой закончился мой бред? Что это была за военная суматоха? Этот барабанный бой и завывания? Неужели ничего этого не было? И почему ты, моя дорогая, бросилась в воду? Тут в мой сон ворвалась твоя реальная жизнь. Ведь он мне еще этого не объяснил, и ты ничего не сказала, а я чувствую, что это не был сон.

— Нет,— отвечал он, внезапно остановившись.— Это... имело свои основания...

— А война? — настаивал я.— Война?

— Дорогой мой! Дорогой мой! — повторяла Ровена, словно пытаясь скрыть нечто не до конца понятное ей самой.

— У нее были неприятности,— нехотя вымолвил доктор.— Она оказалась в большой нужде.

— А воитель Ардам?

Минчит заговорил лишь после долгой паузы, но тем большее впечатление произвел его ответ.

— Почти весь мир,— сказал он,— реальный мир... сейчас охвачен войной.

— А! Теперь я начинаю понимать! — воскликнул я.—Стало быть, одно воспоминание цепляется за другое?

— Да,— согласился доктор.— Мы переживаем сейчас великое и трагическое время. Теперь вы наконец можете взять себя в руки и взглянуть настоящей жизни в лицо.

— Так это реальный мир?

— Ну конечно.

— Реальный мир! — повторил я. Тут я встал и подошел к окну; в его рамке виднелись высокие угрюмые здания величайшего из современных городов, озаренные багровым сиянием, и тысячи окон ярко горели, отражая закатные лучи.

— Теперь я начинаю понимать,— сказал я.

Минчит вопросительно посмотрел на меня.

— Я готов признать, что этот мир вполне реален.— При этих моих словах в глазах доктора блеснула радость.— Но я убежден, что остров Рэмполь тоже существует,— продолжал я,— и он где-то совсем близко. Ведь что такое в конце концов представляет собою остров Рэмполь, доктор? Это и был реальный мир, проступавший сквозь туман моих иллюзий.

3

СНОВА БЬЮТ БАРАБАНЫ ВОЙНЫ

Как ни странно, я никогда не расспрашивал свою жену о том, какую жизнь она вела в Нью-Йорке и что привело ее к решению покончить с собой, к безумному шагу, в результате которого мы с ней сблизились. Меня всякий раз удерживало какое-то неприятное чувство, да, видно, и ей было тяжело об этом вспоминать.

В книге жизни, куда занесены все наши хорошие и дурные поступки, есть страницы, на которые никогда не хочется вновь заглянуть. Я думаю, каждый со мной согласится. Кто из нас, перевалив за тридцать, любит вспоминать грехи своей молодости, всякие безумства и позорные выходки?

Моя жена была прелестная, утонченная и благородная женщина, правда, несколько вспыльчивая, капризная и порой склонная к безрассудству. Родилась Ровена в маленьком городишке Аллен-Лэй в штате Джорджия. Она была отпрыском бедной семьи Эверет, но отец ее принадлежал к довольно знатному роду Нисбет. Она убежала из отцовского дома. Родители воспитывали дочь в старозаветном, протестантском духе, но их убедили отдать ее в колледж Рейда в Кеппарде. У нее рано развилась ненасытная любознательность и любовь к чтению. Она проглатывала все книги, какие

попадались ей под руку, и когда подросла, из нее получился настоящий бунтарь. Она отличалась умом и блестящими способностями, а интеллектуальный уровень в Кеппарде был весьма невысок. Чувствуя свое превосходство и окруженная преклонением, какое в моде у галантных южан, она слишком возомнила о себе и вообразила, что призвана повелевать людьми и ей предстоит великое будущее.

Опасаясь последствий какой-то чересчур смелой проделки и втайне помышляя о завоевании мира, она бежала в Нью-Йорк; ей помог в этом молодой адвокат из Манхэттена, заведовавший финансовой стороной дела в колледже Рейда. Он был весьма передовых взглядов, хотя не находил нужным их высказывать. Он так увлекся Ровеной, что забыл о всякой осмотрительности. Оба ударились в безудержную романтику. Но в Нью-Йорке осмотрительность снова вернулась к нему, и он предоставил Ровене одной бороться за жизнь. Она привезла с собой несколько рукописей, кое-какие рассказы и роман, которые в дружеской атмосфере Джорджии казались «куда лучше всей этой дребедени, что печатают у нас в журналах».

Не желая идеализировать Ровену в угоду иным любителям сентиментов, я не стану превозносить ее литературное дарование и моральные достоинства. Как многие из нас, она была эгоистична, тщеславна и ненасытна в своей жажде удовольствий. На редкость хорошенькая, живая и темпераментная, она добивалась успеха в жизни, пользуясь этими своими качествами, как иные мужчины пробивают себе дорогу своим умом и энергией. Сомневаюсь, чтобы Ровена по-настоящему любила своего адвоката, и, уж конечно, она была слишком горда, чтобы удерживать его, когда он отвернулся от нее. Мне думается, вероятнее всего, она сама дала повод к разрыву.

Увлекшись своей ролью покорительницы сердец, она попала в неприятную историю с одним видным чиновником из департамента полиции. Излишне упоминать его имя для тех, кто знает Нью-Йорк, и совершенно бесполезно для тех, кто незнаком с этим городом. Какой-то случайный флирт вызвал в нем приступ дикой ревности, и он начал преследовать ее, используя все свое влияние

и власть. На последнем этапе этих преследований она решила, что река—наименее мучительный способ вырваться из Нью-Йорка.

Пожалуй, иные сочтут, что Ровена была просто-напросто наглой, не слишком удачливой авантюристкой. Но я решительно заявляю, что это не так,— и уж мне ли не знать собственной жены? Допустим даже, что в юности у нее было известное пристрастие к авантюрам, но наряду с этим сколько прекрасных задатков! Какие богатые возможности, какие сокровища нежности и мужества таились в ее душе, когда она очертя голову бросилась в быстрые мутные воды Гудзона!

Кажется, я мог бы проследить умственным взором, как в ней развивались те или иные черты, как складывалась эта яркая натура. Закрывая глаза на темные похождения романтического периода ее жизни и мысленно переносясь в ее прошлое, я вижу перед собой смуглого ребенка, открытого и доверчивого, который резвится на улице под ярким солнцем юга, заливаясь звонким, беззаботным смехом; потом — девочку-подростка, жадно читающую книжку, сидя на подоконнике, затем юную девушку, которая, забравшись с ногами в кресло, в порыве вдохновения поверяет бумаге смелые идеи и великие замыслы, какие осеняют каждого начинающего писателя, оттачивая свою первую ядовитую остроту и свой первый блистательный афоризм.

Я догадываюсь, что она мечтала об успехах в обществе, о головокружительном триумфе, а также о принце, утонченном и навеки ей преданном, который разделит с ней ее громкую славу. И что встретила она в жизни взамен этого? Грубые щелчки, неудачу за неудачей. Она была ошеломлена и сбита с толку. Ее гордые надежды были растоптаны, смяты, но воля не сломлена.

Словом, я вытащил из воды бездомное, одинокое и затравленное существо. Но в этом создании я обнаружил неистощимые богатства любви и благодарности, нежности и преданности, глубоко скрытые и совершенно нетронутые. Она с первого же взгляда показалась мне очаровательной, и я до сих пор открываю все новые прелести в ее живом, одухотворенном лице. Как мне дороги ее выразительные черты!

Она отдалась мне в порыве благодарности и приняла меня в свою жизнь, когда осознала, насколько я одинок, как далеко ушел в мир бредовых иллюзий. На каждом из двух любящих всегда лежит обязанность по мере сил заслонять от любимого существа грубое лицо действительности. Оба мы нуждались в защите от реальной жизни. Минчит, как тонкий психолог, понял, что отношения с ней пойдут мне на пользу, и разрешил мне соединить жизнь с тем существом, которому удалось прорвать густую пелену бреда, скрывавшую от меня мир и людей. Мы с Ровеной спасли друг друга.

Ровена долго не соглашалась выйти за меня замуж. Именовала себя «черепком разбитой вазы». (Так в одном из романов была названа падшая женщина.) Она готова была ухаживать за мной, как сиделка, совершенно бескорыстно, а когда я вернусь к нормальной жизни, покинуть меня. Она собиралась незаметно исчезнуть, предоставив мне возможность жениться на «хорошей» девушке, как она говорила.

В те военные дни, строго говоря, не могло быть нормальной жизни, и когда я вернулся из мира фантазий в этот уродливо искаженный реальный мир, единственно подходящей для меня ролью оказалась роль британского солдата. Барабаны, все громче и громче отбивавшие дробь среди воображаемых скал и водопадов, еще оглушительнее загрохотали наяву.

Без сомнения, во время болезни я много читал и думал о мировой войне, следил изо дня в день за ее развитием, но ничего этого сейчас не помню, так как был весь во власти упорного, волнующего бреда. Я не испытывал ни малейшего желания идти на войну. Не раз я бродил в лесу высоко над Гудзоном или в Риверсайд-парке, остро сознавая свое чудовищное одиночество и отчужденность от мятущихся, захваченных войною человеческих масс.

Но теперь, когда вопрос о моем здоровье был решен положительно, передо мною вставал другой насущный вопрос — о возможной высылке из Соединенных Штатов и призыве в британскую армию. Минчит трезво и отчетливо обрисовал мне создавшееся положение. Однажды он пришел к нам. Ровена готовила чай, и мы

втроем обсуждали вопрос, что мне предпринять, если мое здоровье окончательно окрепнет.

— Я хотел бы оставить вас здесь, и в любой миг я могу дать вам свидетельство о болезни. Но мы, американцы, народ горячий, и если Америка ввяжется в войну, отношение к вам может измениться.

— Одно я знаю твердо: как только явится возможность, я женюсь на Ровене!

— Нет,— сказала она, останавливаясь с чайником в руке на полпути между печкой и столом.

— Ты отказываешься, значит, ты хочешь меня бросить! — воскликнул я.

— Мы ее переубедим,— вмешался Минчит.

— Интересно знать, как это вам удастся? — спросила Ровена.

— Я напишу рецепт! И превращу вас из хорошенькой девушки в лекарство. Пропишу ему для лечения жену!

— Я сойду с ума, как только ты меня бросишь,— заявил я.

— Какой смысл жениться, если тебя заберут в армию?

— Мне не страшен фронт, если ты будешь меня ждать.

— Ждать тебя...— проговорила она и замерла на месте с чайником в руке, о чем-то напряженно раздумывая. Но вот она поставила чайник на плиту. Потом медленно, как во сне, подошла к столу и остановилась около нас. Только теперь ей стало ясно, что произошло в этот вечер. Она тихо опустилась на колени между мной и доктором. Схватив мою руку, она заговорила, обращаясь к Минчиту:

— Какой-нибудь час я была счастлива, доктор. Только один час! Потому что он пришел в себя. А теперь я вижу, как глупо быть счастливой. А как я была счастлива! Эта война призывает всех мужчин во всем мире. О!.. Лучше не выздоравливай, мой любимый, оставайся душевнобольным. Это единственный для нас выход. Пусть он остается ненормальным, доктор! Я не выйду за него. Я не хочу, чтобы он выздоровел и имел право жениться. Пусть лучше все будет по-прежнему. Неужели я выходила его с таким трудом только для того, чтобы его

укокошили? Я не хочу, чтобы он уезжал... Вернись в мир своих фантазий, Арнольд! Погляди хорошенько! Ведь это же наша пещера на острове Рэмполь!.. Честное слово, это она! Вот сюда смотри! Клянусь тебе, это наши утесы и скалы! Они удивительно похожи на дома, но это самые настоящие скалы. Мы спрячемся в пещере от этой солдатчины и будем жить на острове до тех пор, пока не кончится война, а потом вместе вернемся в тот мир цивилизации, на те широкие просторы, о которых ты, бывало, часами говорил. Неужели ты позабыл эти широкие просторы? Там, под солнцем? Мы будем ждать этой радостной минуты... вместе... Здесь... Терпеливо... Нам некуда спешить...

4

БАРАБАНЫ БЬЮТ ВСЕ ГРОМЧЕ

Не знаю, разумно или глупо, правильно или большой ошибкой было возвращаться в Европу и идти на фронт. Но я рассказываю здесь историю своей души и вовсе не собираюсь судить ни себя самого, ни весь наш мир. Я не мог иначе поступить. Ровена, которая умоляла меня не идти в армию, ведь сама совершила чудо, которое неизбежно повлекло за собой мое возвращение в Европу и участие в войне.

Я еще находился под «наблюдением как выздоравливающий», по выражению доктора Минчита, когда в Нью-Йорке появился старый Ферндайк, поверенный нашей семьи и мой дальний родственник со стороны матери. Он приехал в Америку по делам комиссии, заинтересовавшейся вопросами взаимной финансовой помощи между союзниками. Как мой опекун, он счел своим долгом навестить меня. Минчит сам привез Ферндайка в Бруклин, чтобы тот своими глазами убедился в моем выздоровлении. Старик отнесся ко мне необычайно сердечно, был исключительно вежлив с Ровеной и если и говорил о войне, то лишь в связи с вызванными ею финансовыми затруднениями. Видимо, он считал, что боевые действия слишком грубое и жестокое дело, чтобы о них говорить. Он любовался видом из нашего окна.

— Неужели Арнольда заберут? — спросила его Ровена, стоя рядом с ним у окна.

— О нет, нет, нет! — воскликнул мистер Ферндайк.— Как его могут з а б р а т ь? И даже если бы он сам захотел...

— Он не захочет,— заявила Ровена.

— Если бы даже он з а х о т е л, — повторил мистер Ферндайк, с легким упреком глядя на нее поверх очков,— прежде чем его успеют обучить, обмундировать и отправить на фронт, я полагаю, вся эта история кончится.

— Он не пойдет,— сказала Ровена.

— О чем тут спорить? В иных случаях бывает неплохо сделать красивый жест.

— Я не хочу его потерять.

— А почему, собственно, вы должны его потерять? — возразил мистер Ферндайк.

Перед уходом он повернулся ко мне как бы невзначай и предложил поехать к нему в отель. Ему нужно обсудить со мной кое-какие мелочи, я должен подписать две-три бумаги; мы покончим со всем этим в какой-нибудь час, а потом, если мисс... мисс...

— Будем называть ее миссис Блетсуорси, она будет моей женой,— сказал я.

— Поздравляю моего клиента! — сказал мистер Ферндайк и пожал руку Ровене.

— Это он так решил,— словно извиняясь, проговорила она.

— Если будущая миссис Блетсуорси пожелает отобедать с нами... Простой обед в смокингах, миссис Блетсуорси! Без всяких там церемоний.

И он повез меня к себе, высадив по дороге доктора Минчита у Уильям-стрит.

— Очень рад видеть вас в добром здоровье,— проговорил мистер Ферндайк.— Когда я вас видел в последний раз... ну...— Деликатность не позволила ему договорить.— Вы величали меня плешивым старцем и говорили, что не позволите поработить свою душу. Разве уж я такой плешивый? — Он ласково поглядел на меня сквозь очки.— Теперь, я полагаю, все это можно предать забвению...

В гостиной отеля он снова выразил мне свое удовольствие:

— В последний раз я имел возможность по-настоящему беседовать с вами в Лондоне перед вашим отъездом; путешествие ваше было хорошо задумано, но кончилось весьма печально. Какое несчастье, что вас оставили на разбитом корабле...

— А что, команда и капитан спаслись?

Он поведал мне, что после тяжелых испытаний им удалось добраться до Байя, а я, в свою очередь, рассказал ему о том, как капитан покушался на мою жизнь.

— Ай-ай-ай! — промолвил мистер Ферндайк и принялся по своей профессиональной привычке прикидывать, нельзя ли привлечь к ответственности виновника за преступление, совершенное пять лет тому назад. Он отметил отсутствие прямых улик, вдобавок команда рассеялась по всему свету, да и подробности этого дела уже изгладились из памяти свидетелей.

— Ничего не поделаешь,— заключил он, покачав головой.— А теперь,— сказал он отрывисто,— я подхожу к главному вопросу: что вы намерены делать?

— Война! — вырвалось у меня.

— Война,— отозвался он.— В конце концов вы не должны забывать, что принадлежите к славному английскому роду!

— Я хочу жениться для того, чтобы и Ровена пользовалась этими преимуществами.

Мистер Ферндайк откинулся на спинку кресла и пустился в рассуждения о моем «блетсуорсизме».

— Я считаю и всегда считал, и война не изменила моего убеждения, что британцы, так сказать, соль земли и что несколько родовитых семей, таких, как ваша, в Англии да и в Шотландии, из поколения в поколение скромно и доблестно выполняют свой скромный и доблестный долг перед родиной,— они-то и являются солью нашей земли. Союзникам мы этого не скажем, но мы с вами свои люди и можем позволить себе эту откровенность. Без всякого сомнения, и здесь можно встретить потомков наших знатных родов — Америку я не исключаю... Ну, а эта молодая леди?

— Из хорошей семьи, с юга.

— Ее прошлое было как будто... не совсем безупречно.

— Я хочу создать ей безупречное будущее.

Мистер Ферндайк благодушно поглядел на меня.

— Должен сказать, что в некоторых случаях Блетсуорси заключали браки, требовавшие известной смелости. Род Блетсуорси никогда нельзя было упрекнуть в недостатке смелости. Иногда они проявляли своеобразную смелость в самых деликатных вопросах, но смелость всегда была отличительной чертой нашей семьи.

— Раза два, сэр, я позорно струсил. И этого до сих пор стыжусь!

Он поправил на носу очки совсем по старой привычке.

— Однажды при мне истязали юнгу. И я не заступился!

— Вы, вероятно, не нашли, что сказать. Думаю, что так оно и было. Но мне известно, что вы, не раздумывая, бросились в воду спасать эту девушку. Вы поступили, как истинный Блетсуорси! Хвалю вашу отвагу! У этой девушки, по-видимому, утонченная натура. Голос у нее мягкий, как у настоящей леди. Вы обратили внимание, что у американок в большинстве случаев резкие голоса? Быть может, ей и приходилось быть в дурном обществе, но грязь к ней не пристала. У нее прелестные манеры. Мне думается, что иной раз манера двигаться и говорить даже глубже характеризует женщину, чем ее поступки. Мне кажется, у нее горячее сердце, и — поверьте опыту старика — она не лишена характера.

— Да,— отвечал я после краткого раздумья.— Вы правы.

— Привлекательные женщины, как правило, бывают с характером. Весьма многие из них. Но почему бы ей не переехать в Англию, когда кончится война, и не занять подобающее ей место в вашем кругу? Разумеется, при том условии, что вы поступите так, как в данном случае должен поступить всякий Блетсуорси. Не только ради себя самого, но прежде всего ради нее вы обязаны показать себя подлинным Блетсуорси!

Тут он остановился, и в его глазах, увеличенных стеклами очков, я прочел вопрос.

— Эта война,— начал я размышлять вслух вместо ответа,— сущая бессмыслица. Она чудовищна и омерзительна.

— Я тоже склонен так думать. Но все-таки...

Минуту-другую мистер Ферндайк молчал, словно совещаясь с каким-то невидимым компаньоном.

— Я позволю себе,— начал он,— коснуться этого вопроса, так сказать, с философской стороны. Вы говорите, что война бессмысленна? Согласен. По-вашему, ее можно было предвидеть и предотвратить. Вероятно, она и не разразилась бы, если бы обстоятельства сложились по-другому. Но при существующем положении вещей она оказалась неизбежной. Глупости всюду хоть отбавляй; и у нас и у них она накапливалась из года в год. Глупость царит повсюду, и, мне думается, все в большей или меньшей степени отдали ей долг. Мы с вами тоже были втянуты в эту бессмыслицу, делали сами не зная что и, наверное, внесли свою лепту. Или не сумели поступить как нужно, чтобы предотвратить этот взрыв. Но ведь этот самый мир, весь опутанный сетью глупости, произвел нас на свет, в некотором роде вскормил нас, воспитал и поставил на ноги. Британская империя защищала нас, внушила нам чувство уверенности в себе и гордости. И внезапно Англия и вся Европа были ввергнуты в эту ужасную войну. Но разве мы можем бежать с корабля? Разумеется, все это ужасно. Разве мы можем равнодушно смотреть, как наша старая империя рушится под ударами! Мы, Блетсуорси, всегда придерживались такого принципа: быть снисходительным ко всяким недостаткам, надеяться на лучшее будущее, принимать активное участие в жизни и всегда идти вперед!

— Но война?..

— Мы и наши союзники — а нас миллионы — твердо верим, что эта война положит конец войнам вообще.

— Ну, а наши противники?

— У них, пожалуй, далеко не все в это верят. В общем же, я думаю, что раз уж катастрофа разразилась, то можно надеяться, что она покончит с германским империализмом.

— И ради этих общих целей я наряду с миллионами других людей должен пожертвовать всеми своими способностями, всеми надеждами, всем, что было прекрасного у меня в жизни?

Тут мистер Ферндайк перешел на официальный тон

и задал мне вопрос с наигранной наивностью профессионала.

— А что, собственно, такого уж прекрасного было у вас в жизни? — сказал он, глядя куда-то в сторону.

Я не мог сразу ответить, но почувствовал, что мистер Ферндайк ведет со мной нечестную игру.

— Если все больше и больше людей,— продолжал мистер Ферндайк,— будут говорить, и верить, и убеждать других, что эта война положит конец войнам, она, быть может, и станет последней войной.

— Значит, мы своими телами должны заполнить траншеи, чтобы прийти к вечному миру?

— Да, если это будет сделано с толком...— сказал он, предоставляя мне докончить фразу.— Во всех странах света Блетсуорси умирали за дело цивилизации. Мы щедро полили землю своею кровью. Пусть мы умрем,— наша раса, цивилизация, породившая и воспитавшая нас, будет продолжать жить. Будет продолжать жить за счет нашей смерти. Почему бы и вам, в свою очередь, не умереть? К тому же,— продолжал он, снова переходя на нарочито деловой тон,— ведь нигде не сказано, что вы должны непременно умереть.

Что мне было отвечать хитрому старику?

— Я только высказал свою точку зрения,— добавил он, заметив, что молчание затягивается.

— Так вы думаете, что от этой войны зависят судьбы цивилизации?..— начал я допытываться.

— Несомненно, хотя, быть может, результаты скажутся и не сразу. После этой войны, вероятно, мир надолго выйдет из равновесия. Не могу отрицать, что наши потери весьма велики. Война всех коснулась. Мой компаньон потерял своего единственного сына. Мой единственный племянник тяжело ранен. Мой сосед, за три дома от меня, тоже потерял сына. Все это ужасно. Но у нас нет другого пути. И когда придет время подводить итоги, мы увидим, что человечество значительно приблизилось ко всеобщему миру и единению. Когда уляжется поднятая пыль. Благодаря этой войне, и только благодаря ей, мы сделали шаг, огромный шаг вперед. Уверяю вас, что это так! Если бы я не верил в это, как бы я мог жить? Итак, нам необходимо продолжать войну.

Он поднялся.

— Какой же может быть еще выход? — сказал он.— Остаться в стороне от жизни? Стать отщепенцем? Разве есть другой путь? — бросил он мне.

Появившийся в дверях слуга прервал нашу беседу.

— Миссис Блетсуорси! — объявил он.

Ровена вошла в комнату и остановилась, молча вглядываясь в наши лица. Глаза наши встретились. Она кивнула головой, как человек, догадки которого подтвердились, и медленно повернулась к Ферндайку

— Ах вы старый черт! — крикнула она.— Я вижу по его глазам: Арнольд идет на войну!

5

МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ ЗНАКОМИТСЯ С ДИСЦИПЛИНОЙ

Я пошел на войну, далеко не убежденный, что это мой священный долг. Я чувствовал себя несчастным и терзался сомнениями; но если бы я отказался идти, все равно я не чувствовал бы себя счастливей и не избавился бы от сомнений. Я далеко не был так уверен, как мистер Ферндайк, что война принесет человечеству благо, но твердо знал, что не смогу жить, не пройдя сквозь горнило войны.

В те грозовые дни невозможно было игнорировать войну. Она наложила свою печать решительно на все явления жизни. Она поглотила весь мир. Отказываясь сражаться, вы становились лицом к лицу с миллионами людей, «вносивших свою лепту», как тогда говорили. Я не мог выдержать такого морального давления. Не мог противостоять такой лавине. Ведь это было бы равносильно попытке изменить вращение земли, толкая ее руками и не имея под ногами твердой почвы.

У меня не было друзей, которые могли бы меня идейно поддержать, и мне ничего не оставалось, как записаться в армию или же стать дезертиром и прятаться от эмиссаров Ардама, которые все равно в конце концов меня разыщут и сцапают.

Положение мое еще усложнялось тем, что Ровена страстно восстала против моего решения идти на фронт. От прежней ее мягкости и покорности не осталось и следа — передо мной была другая женщина, властная и решительная. Она проклинала войну, ругала Ферндайка, но пуще всего бранила меня. Она приводила самые разнообразные, весьма убедительные доводы. Она считала, что я благодаря ей вернулся к жизни и всецело ей принадлежу и никто не имеет права отнимать меня у нее. Это сущий грабеж! Меня приводили в отчаяние ее горе и гнев, но я не мог противостоять силам, увлекавшим меня на восток. Я настаивал, чтобы она вышла за меня замуж до моего отъезда и чтобы Ферндайк как-нибудь переправил ее в Англию, что было нелегко в те годы, когда повсюду шныряли подводные лодки. В Англии она могла пройти курсы сестер милосердия и работать в госпитале. Время от времени я смогу видеться с ней, пока буду обучаться, а потом — проводить с ней отпуск. Я написал завещание, по которому все мое имущество в случае моей смерти переходило к ней.

Я пошел в армию рядовым. Попал в славный полк с очень старыми традициями. Мистер Ферндайк хотел было достать для меня офицерский патент, но мне казалось, что это значило бы стать открытым сторонником войны, к тому же мне думалось, что звание офицера все равно не дадут человеку, перенесшему душевное заболевание. Ферндайку казалось совершенно неприемлемым, что я иду на фронт простым солдатом. Это было не в наших традициях. Вероятно, большинство представителей рода Блетсуорси принимали участие в войне украшенные звездочками или нашивками. Но если уж идти на войну, думалось мне, то пусть я увижу ее с самой грубой стороны. Я предпочитал пройти основательное обучение и стать рядовым.

Начало войны с его бурным взрывом энтузиазма было уже позади. Около миллиона англичан пошли добровольцами, когда все еще верили, что это «война за прекращение войн». Но когда я вступил в армию, всего этого уже не было и в помине. Всеобщая воинская повинность была введена в Англии, в стране, где раньше не знали, что значит принудительно идти на фронт. Мой английский мир вступил в новую, далеко не ге-

роическую фазу. Старой армии уже не существовало, новая армия из добровольцев была сильно потрепана. Англичане — народ изобретательный и храбрый, но эти прекрасные качества не помогли им сбросить клику Ардама. Британские генералы, тупые и упрямые профессионалы, и не думали прибегать к танкам, которые более умные люди давали им в руки, и в начале войны загубили сотни тысяч молодых жизней, послали их на бойню только потому, что считали для себя унизительным заново обучаться военному искусству у людей, не принадлежащих к военной касте. Они вели новую войну по старинке. Послушная масса повиновалась их глупым приказам и слишком поздно увидела, к чему привело это слепое повиновение.

1916 год вообще был годом неудач для всех союзников. На протяжении многих миль фронта грудами лежали непогребенные тела французских и английских солдат в голубых и цвета хаки саванах, лежали там, где их скосил огонь германских пулеметов. Позже и мне пришлось побывать на этих полях сражений и видеть тысячи непогребенных трупов англичан, лежащих рядами там, где их застигла смерть, или в ямах, куда они заползли, чтобы умереть,— трупы, изуродованные снарядами, разложившиеся, чудовищно скрюченные, гниющие, обглоданные крысами, ограбленные, в рваных мундирах с вывороченными карманами; лица их превратились в черную, кишащую массу мух, а кругом — остатки амуниции, неразорвавшиеся снаряды, проволока, расщепленные деревья. Никто никогда не сможет передать словами весь ужас этих полей смерти! Я видел мертвецов, повисших на колючей проволоке, словно изодранное белье бродяги. Я дышал воздухом гнилого британского патриотизма. Боже мой! Неужели этих наших краснощеких интриганов-генералов не душат по ночам кошмары? Неужели они даже не подозревают, что их мелкие интриги и зависть, их тупой профессионализм и узаконенное невежество обрекли тысячи благородных юношей на неслыханные страдания и ужасную смерть?

Но после этих поражений Ардам добился всеобщей воинской повинности,— все человечество теперь поставляло ему рабов.

А какое это было гнусное рабство!

Мне так живо вспоминается хмурое холодное утро; я вижу себя в своей роте, во дворе казарм, лицом к лицу со своим недругом, обучающим меня сержантом. Воздух содрогается от яростных криков, рычания, ругани, проклятий, «лихого» похлопывания руками по ляжкам и топота, топота ног.

Сержант находит, что я плохо ем глазами начальство, орет истошным голосом, что я грязный ублюдок, позорное пятно на чести армии и так далее и тому подобное; он повышает свой пронзительный голос до визга, замахивается на меня и в любой миг может ударить меня.

Приблизив ко мне свою мерзкую красную рожу, он орет на меня так, что впору оглохнуть. Я ни в чем не провинился, просто он с утра в скверном настроении.

Если я дам ему сдачи, меня отведут на гауптвахту и подвергнут пыткам, которые сломят меня и физически и нравственно. Так уже было с одним моим товарищем по взводу. Над этим гнусным грубияном нет никакой власти, даже некому пожаловаться. Меня отдали целиком в его распоряжение. И вот он ударил меня, срывая на мне злобу, а я с трудом удерживаюсь на ногах.

В этом позорном воспоминании, от которого до сих пор закипает в сердце гнев и пылают стыдом щеки, нет ни тени фантазии.

А завтра он будет выклянчивать у меня полкроны и в его просьбе будет звучать плохо скрытая угроза. Будь я проклят, если он получит у меня эти полкроны,— а там будь что будет!

Я проходил эту муштровку, затаив в сердце лютую горечь.

Я могу допустить, что образ Ардама возник у меня в результате всех пережитых в это время оскорблений и унижений. Надо сказать, что память у меня на редкость капризная, гибкая и пластичная, воображение неустанно работает, видоизменяя действительность, перестраивая и приукрашивая, в бессознательном стремлении как-то упорядочить и оптимистически истолковать все происходящее в жизни,— и вполне возможно, что, припоминая впоследствии свои бредовые видения,

я окрасил их впечатлениями от солдатчины, так что тут имела место простая аберрация памяти.

Я стал рабом. Я должен был смиренно выслушивать оскорбления, грубые окрики, непристойную брань, обливавшую грязью не только меня, но и мою мать и жену. Меня принуждали делать самую тяжелую и унизительную работу, чтобы я откупился от нее взяткой. Меня всячески мучили и изводили. И все это делалось для того, чтобы окончательно сломить во мне волю, превратить меня в бессловесную пешку, которая покорно пойдет навстречу бессмысленной гибели, когда какой-нибудь тупица генерал, ведущий свою устарелую и бесплодную игру, вздумает бросить в бой несколько батальонов, приказав им совершить невозможное.

Все это мне предстояло еще испытать!

В эти дни жестокой солдатчины у меня в мозгу словно разыгрывалась фуга: две мысли непрестанно звучали, перемежаясь, вытесняя друг друга: «Ну и дурак же я, что пошел на это!» и «Что же мне оставалось делать?» Я и раньше знал, что мне придется солоно, но не представлял себе и половины мерзостей и унижений, с которыми связано обучение солдата. Теперешнее поколение штатских людей не имеет об этом понятия. Старые вояки не любят говорить об этом: это слишком позорно. Многим эти воспоминания прямо невыносимы, и они стараются о них забыть.

Но должен признаться, что по мере того как перемалывали в порошок мою душу, моя чересчур утонченная чувствительность все притуплялась. Я рассказываю историю своего сознания. Я не собираюсь ничего объяснять и вдаваться в сентиментальность. Так это было.

6

ВОЙНА НАД ПИМЛИКО

«Я все еще на острове Рэмполь,— говорил я себе,— и никакой надежды на спасение. Прекрасный, доброжелательный, цивилизованный мир, о котором я мечтал в дни моей юности, на поверку оказался лишь волшебной страной из детской сказки. Мы обречены жить в этом ненавистном ущелье, испытывая тяжкий гнет, в этом ущелье мы и умрем».

Порою Ровена была почти готова согласиться со мною, но потом из любви ко мне и отчасти из самозащиты начинала бороться с овладевшим нами отчаянием. Ведь были же у нас в жизни минуты ослепительного счастья, уверяла она, и это залог лучшего будущего. Окружающий нас мирок озаряют проблески надежды, и она любит меня больше себя самой! Не может быть мертвым мир, в котором живет любовь!

Любила ли она меня больше себя самой? Было время, когда моя душа всецело зависела от нее, и если бы эта женщина, слабая, раздражительная, часто впадающая в тоску и до глупости великодушная, оказалась не на высоте, я немедленно бы погиб. Если я вел жалкое существование в каторжном труде, испытывая унижение и гнев, то на ее долю выпали нестерпимые муки одиночества, ожидания и страха. У нее не было друзей в Европе, и она не слишком сблизилась с моими малообщительными родственниками. Она наняла квартирку вблизи от казарм, где я проходил военную муштру, но встречались мы очень редко и урывками, ибо я не хотел стать убийцей, что легко могло бы случиться, если бы я ввел ее в круг галантных наглецов — капралов и сержантов, моих повелителей.

Когда, наконец, меня перевели в запасный батальон и я поселился в казармах в Лондоне, Ровена переехала в Пимлико. В Лондоне дисциплина была менее строгая, и нам удавалось видеться чаще. Мне хотелось лишь одного: чтобы меня не отправили во Францию прежде, чем она станет матерью.

Теперь, когда прошло столько лет, эти ночи в Пимлико кажутся мне прекрасными. В то время из-за угрозы воздушных налетов улицы Лондона по ночам были погружены во мрак, дома казались странно высокими, все предметы теряли свои привычные очертания и пропорции, а на темной синеве неба непрерывно разыгрывалась какая-то странная, беззвучная трагедия, где действующими лицами были прожекторы и таинственно мигающие звезды. Мрачно стояли ряды темных домов с колоннами и портиками, и лишь кое-где сквозь занавески и ставни пробивались тоненькие полоски золотого света. Набережная над тускло поблескивавшей во мраке рекой была безмолвна и, казалось, терпели-

во ждала, чем кончатся магические заклинания прожекторов, и вверх и вниз по реке ползли крохотные красные точки — фонари на почти невидимых судах. Изредка попадался прохожий или раздавалось глухое гудение автомобиля.

Мы бродили по улицам, перешептываясь. Она прижималась ко мне, такая теплая и мягкая, ее милое лицо прикасалось к моему, и сердце мое было переполнено любовью.

— Эта война, видно, никогда не кончится,— шептала она.

— Она не может продолжаться вечно, — утешал я ее.

Хлопанье сигнальных ракет предупреждало нас о налете врага, и мы спешили домой, в ее квартиру; мы сидели, обнявшись, слушая грохот зенитных орудий и разрывы падающих бомб. Я старался оттянуть до последней минуты возвращение в казармы. А иногда, ценой унижений и подкупов, я устраивался так, чтобы провести с ней ночь. Пока я находился с нею, она была счастлива; и далеко не сразу мне стало ясно, как она томится от одиночества и какие переживает страхи в те дни, когда я не прихожу.

До последних дней беременности Ровена работала в одной женской организации под руководством леди Блетсуорси из Эпингминстера, изготовляя бинты в галереях Королевской академии. Ее квартирная хозяйка, смуглая, добродушная женщина, очень к ней привязалась.

Время от времени я совершал тяжкий грех, нарушая дисциплину. Я прибегал пораньше к Ровене на квартиру, принимал ванну и переодевался в запретное штатское платье. Мы не решались ходить по улицам, но она нанимала такси, и мы отправлялись в укромный и уютный ресторан на Уилтон-стрит, назывался он «Ринальдо». Не знаю, существует ли он сейчас. Насколько мне известно, вся эта часть Лондона перестраивается. В ресторанчике мы занимали маленький столик для двоих в углу; лампа под красным абажуром, цветы и вся эта шаблонная, но приятная роскошь позволяли мне на время забыть казарменный плац, а Ровене — войну.

Ребенок наш появился на свет до моего отъезда в армию. Но уже через три дня после его рождения мне нашили на плечо красную полоску, означавшую, что я отправляюсь на фронт. Роды у Ровены были довольно легкие, но она очень ослабела, и только на третий день я решился сказать, что меня отправляют. Я повидался с Ферндайком и сделал все необходимые распоряжения, чтобы обеспечить ее. Медицинская комиссия признала меня годным для фронтовой службы, и я получил новенькое обмундирование. Откинувшись на подушки, Ровена мужественно приняла это известие и только крепче стиснула мне руку.

— Дорогая моя,— говорил я,— я уверен, что вернусь!

— Я тоже в этом уверена, мой любимый,— отвечала она,— но не могу не плакать, ведь я сейчас такая слабая и так тебя люблю.

Было бы безумием оставлять ее одну с младенцем в мрачном и туманном Пимлико, которому постоянно грозили воздушные налеты и бомбардировки с моря. Я выхлопотал себе отпуск и отвез Ровену за город, в здоровую местность, где жена моего кузена Ромера, обычно проживавшего в Чолфтоне, подыскала ей домик. Сам Ромер в это время находился в Египте; у его жены тоже был маленький ребенок, и женщины сразу же почувствовали друг к другу симпатию. Меня утешала мысль, что Ровена будет жить в близком соседстве с этой женщиной.

Меня подвело железнодорожное расписание, и я приехал в Лондон за полтора часа до возвращения в свою клетку. Меня неудержимо потянуло в ресторан «Ринальдо», и я направился в свой уголок. Там уже сидел какой-то мужчина, поглощенный едой; ресторан был битком набит, и я, извинившись, занял свое обычное место. Я раньше не бывал здесь в военной форме, но Ринальдо узнал меня, приветствовал ласковой улыбкой и ни слова не сказал по поводу моего внезапного превращения.

Я заказал точно такой же обед, какой мы как-то раз ели с Ровеной. Только тогда я взглянул на субъекта, сидевшего против меня, который уже уписывал закуску.

7

ВСТРЕЧА НЕ КО ВРЕМЕНИ

Я не сразу его узнал. Где я видел эту коренастую фигуру, эту квадратную желтоволосую голову и почему его вид так странно взволновал меня?

Он был в морской форме, но не с прямыми золотыми нашивками, как у кадровых моряков, а с волнистыми. Видимо, он был офицером какой-нибудь запасной эскадры.

И вдруг я весь задрожал! На мгновение я даже позабыл о Ровене: на меня нахлынули воспоминания и вновь проснулась та мысль, которая когда-то — сколько лет тому назад? — всецело захватывала меня. В этом месте, в час, предназначенный для самых нежных моих воспоминаний, мне неожиданно подвернулся случай для мести! Передо мною на стуле Ровены сидел капитан «Золотого льва»! Все завертелось у меня перед глазами. И пока это состояние не прошло, я не в силах был вымолвить ни слова.

Капитан, по-видимому, не замечал моего присутствия. Все его внимание было поглощено редиской и маслинами. Потом он принялся за картофельный салат.

Что мне с ним делать?

К своему удивлению, я обнаружил, что у меня вовсе нет охоты с ним расправляться. Мне хотелось думать о Ровене, а не об этой старой-престарой истории. Проклятый урод! Принесла же его нелегкая в такой момент! Да и что мог я с ним сделать? Не мог же я его вдруг ни с того ни с сего укокошить, да еще на том самом месте, где всего месяц назад сидела Ровена и ее темные глаза с любовью смотрели на меня! Но все-таки нельзя же так изменить своему прошлому и оставить эту встречу без последствий.

Мой обед должен был начаться с консоме. Мне подали его как раз в тот момент, когда официант пришел убрать закуску капитана. Я неторопливо налил суп себе в тарелку. Ему тоже подали суп, это оказалось какое-то густое пюре. Я смотрел, как капитан знакомым мне движением заткнул за ворот салфетку и схватил ложку веснушчатой рукой. Тут мне ударила в голову

мысль. Неужели же он ничему не научился за все эти годы после плавания на «Золотом льве»?

Нет! Он все так же громко прихлебывал суп. Я взял ложку и в точности воспроизвел его манеру. Призраки старшего помощника и механика как наяву встали передо мной. Капитан положил ложку и уставился на меня точно так же, как пять лет тому назад. Присмотревшись, он как будто начал меня узнавать.

— Странное место для встречи! — произнес я, с трудом подавляя смех.

— Чертовски странное! — согласился он.

— Вы меня узнаете?

Он задумался. Память его, как видно, все еще не прояснилась.

— Как будто я вас где-то встречал,— признался он, хмуро глядя на меня.

— Как же вам меня не знать? — сказал я, постукивая пальцем по столу.— Ведь вы же чуть было не отправили меня на тот свет!

— А! — вырвалось у него. Он поднес было ложку ко рту, но тут же опустил ее на стол, расплескивая суп на скатерти.— Да. Теперь я вас узнал. Вот уж не думал, что когда-нибудь вас увижу.

— Вот как! — сказал я.

— Так вы тот самый молодчик, а?

Я отвечал, насколько мог, холодным, суровым и зловещим тоном:

— Да, тот самый, которого вы утопили!

Закусив губы, он медленно покачивал головой.

— Ну уж нет,— проговорил он.— Я не верю в привидения. Да еще такие, что передразнивают старших. Но как это вам удалось выкарабкаться из каюты? Вы попали в другую лодку, так, что ли?

Я покачал головой.

По всем правилам игры он должен был бы смутиться и прийти в недоумение, но ничего такого не случилось.

— Есть такие люди,— сказал он,— которых ни за что на свете не утопишь. Уж этому-то меня научила война.

— Однако вы старались изо всех сил.

— Бывают, знаете ли, такие антипатии,— сказал он, как бы извиняясь.

Он мрачно усмехнулся и принялся доканчивать суп.

— Господи боже мой! — снова заговорил он. — До чего тошно мне было видеть вашу физиономию за столом! Да что там тошно! Осточертела мне она!

Я был окончательно сбит с толку.

Он приветливо помахал мне ложкой, приглашая и меня заняться едой.

— Ну, уж на этот раз как-нибудь вытерплю,— добавил он и преспокойно доел суп.

— Ах вы старый негодяй! — вырвалось вдруг у меня, и мне тут же стало стыдно своей несдержанности.

— Будет вам,— сказал он, смакуя последний глоток.

Он отодвинул тарелку и старательно несколько раз вытер рот и все лицо салфеткой. Покончив с этим, он обратился ко мне как-то непривычно ласково.

— Вы в хаки, как и все,— сказал он.— Стало быть, с этим барством покончено? Почему же это вас не сделали офицером, мистер Блетсуорси?

— Я сам не захотел.

— Ну, о вкусах не спорят. Да у вас, я вижу, красная нашивка.

— Я отправляюсь на фронт на будущей неделе.

— Знаете, я не мог бы выдержать окопов,— заявил он.— И рад, что туда не попал.

Бог знает куда девалась наша вражда. Она рассеялась, как дым! Мы беседовали теперь, как старые знакомые, которые случайно встретились после долгой разлуки. Ему, видимо, не хотелось касаться прошлого, и я шел ему навстречу.

— А чем вы сейчас занимаетесь? — спросил я.

— Выполняю секретные задания,— сказал он.— Топим немецкие подводные лодки да еще мины вылавливаем. Ничего себе, дело идет.

— И вам это нравится?

— Еще бы не нравится! Ведь мне столько лет приходилось быть проклятым разносчиком, развозить посылки по всему свету! Еще как нравится! Мне бы хотелось, чтобы война никогда не кончалась, а уж если меня взорвут, так черт с ними.. Я бы вам мог кое-что порассказать... Да только запрещено.

Поколебавшись с минуту, он решил мне довериться. Наклонился над столом и, близко придвинувшись, хрипло прошептал:

— Прикончил одну на прошлой неделе!

Откинувшись назад, он улыбнулся и кивнул головой. От него так и веяло добродушием.

— Вынырнула ярдах в пятидесяти от нас! Битый час она гналась за нами, поднимали перископ, сигналили. Мы, словно с перепугу, дали по ней выстрел из старой винтовки и спустили флаг. Она два раза обошла вокруг нас, а потом подошла к самому борту. Вот уж молокососы! Правда, вид у нас был самый невинный. У нас, понятно, есть орудие, но оно замаскировано брезентом, который выкрашен под цвет борта,— мы не снимаем чехол и стреляем сквозь него, а потом надеваем новый. Они и охнуть не успеют, как уже пробиты! Маленькие тяжелые стальные снарядики. И как здорово пробивают обшивку, бог ты мой! У командира— глаза на лоб! Только было он взялся за рупор, собирался что-то нам по-свойски скомандовать, а через миг лодка под ним камнем пошла ко дну, и он забарахтался в воде. Наш брезентовый чехол, как всегда, загорелся, едва мы пальнули, и этот огонь, видимо, совсем сбил его с толку, никак не мог сообразить, что тут произошло. Должно быть, подумал, что у нас на борту случился взрыв и мы горим. Совсем уж тонет, а все пучит на нас глаза. Вода уже ему по горло, воздух пузырями выходит из его проклятой лодки, и море вокруг него так и кипит! Ну и потеха! Давно я так не смеялся!

Сейчас, положим, он не смеялся, но видно было, что он чрезвычайно доволен собой.

— Я бы вам многое еще мог порассказать,— прибавил он. И пошли новые рассказы. Видно было, что я нужен ему только как слушатель.

Он поведал мне о мелких хитростях и ловушках, к которым сводилась подводная война. Облокотившись на стол, он размахивал ножом и вилкой, переживая увлекательные эпизоды войны с субмаринами. И, слушая его, я приходил к выводу, что остров Рэмполь расползся по всему земному шару и поглотил его. Я был так подавлен этим потоком братоубийственных речей, что не находил ни одного слова в защиту цивилизации. Я мол-

ча сидел, стараясь постигнуть психологию человека, способного испытывать лишь радость победы — грубой победы самца над покорной, купленной им женщиной или же торжество над обманутым противником, погибающим у него на глазах. Кто же из нас человек: он или я? Кто из нас ненормален: я или он?

Выйдя из ресторана, мы попрощались с напускной сердечностью.

— До свидания! — проговорил он.

— До свидания! — сказал и я.

— Желаю вам удачи! — прибавил он.

— Желаю удачи! — откликнулся я, не углубляясь в вопрос, желаю ли я удачи ему или первой мине, на которую он наткнется.

Я был так потрясен этой нелепой встречей, обманувшей все мои ожидания, что шел в казармы, как во сне,— с новой силой пробудилась во мне мысль о жестокости жизни. Этот человек много лет назад отнял у меня веру в жизнь, вызвал у меня помрачение рассудка и чудовищный бред об острове Рэмполь, научил меня повсюду видеть только зло — и вот он появляется передо мною в момент, когда я под впечатлением разлуки с дорогими существами преисполнен самых нежных, высоких чувств, появляется словно для того, чтобы показать мне, что остров Рэмполь — всего лишь жалкая карикатура на жестокую действительность! И где этот «бог», которого создал дядя, чтобы утешить меня и поддержать мою юную душу!

В тот вечер, когда я возвращался в казармы, мне казалось, что в далеком синем небе, где тускло мерцают звезды над туманным силуэтом Букингемского дворца и других зданий, царит бог с ликом, столь же неумолимым, как лицо старого капитана, бог зверских, бесомысленных побед, упорный и беспощадный. Насмерть изувечить безответного юнгу — такой поступок пришелся бы по вкусу этому богу. И на произвол этого не знающего жалости бога, этого бога ненависти я вынужден был бросить свою любимую и нашего слабенького, плачущего младенца и принять участие в свирепой резне, которую там, во Франции, называют войной!

Пока я нехотя плелся к своей тюрьме, вдруг захлопали ракеты, предупреждая о воздушном налете, и где-то на востоке раздался грохот зенитных орудий. Гул и рев все нарастали, охватывали меня со всех сторон, оглушали, отдавались в мозгу, и казалось, чудовищные взрывы сотрясают землю и небо.

Прохожие словно чудесным образом исчезли с тротуаров, а я продолжал идти не спеша, не прячась и разговаривая с каким-то воображаемым противником.

— Придется уж тебе убить меня,— говорил я.— Ведь я не хочу умирать. Назло тебе я буду держаться, зверюга ты этакий! Я буду держаться до конца! А если ты посмеешь дотронуться до моей Ровены — ты ведь уже один раз чуть не довел ее до смерти,— если ты причинишь хоть малейшее зло ей или нашему ребенку...

Я остановился, так и не придумав кары, и только погрозил кулаком далеким туманным звездам.

Всего три часа назад Ровена обнимала меня и мы вполголоса разговаривали друг с другом. И мне казалось прямо невероятным, что где-то в этом грохочущем, содрогающемся, свирепом мире спит моя кроткая, но мужественная Ровена; ресницы у нее, верно, еще влажны от слез, какие она пролила, прощаясь со мной, и, припав к ее теплой груди, безмятежно спит наш младенец.

8

МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ В БОЮ

Наступил день, когда я написал Ровене последнее, не подлежащее цензуре письмо, и наш отряд замаршировал по улицам к вокзалу Виктория. Мы шли под звуки духового оркестра; девушки и женщины то и дело врывались в наши ряды, прощаясь со своими близкими. Меня никто не провожал, но всеобщее волнение захватило меня, я махал рукой незнакомым людям, меня неожиданно поцеловала какая-то женщина, и я орал: «До свидания!» — не отставая от товарищей. Вот набережная, мол, пароход, набитый, как банка с сардинами, гремящие сходни, медленно ползущие поезда, лагерь в тылу и долгий пеший переход на фронт.

Нас возили вдоль передовой линии во мраке блиндированных вагонов, где окна были заделаны листовым железом, и, наконец, как горох, высыпали под моросящим дождем на голой равнине,— там глухо ревели пушки, которым мы теперь были отданы в жертву. Ардам добрался-таки до меня! Я был побежден, и Ардам мог теперь передвигать меня, как пешку, в сумасшедшей шахматной партии современной войны.

Медленно, неуклонно меня перебрасывали все дальше в глубь опустошенной страны, которая с каждым шагом становилась все безотраднее. Мы останавливались, отдыхали и двигались дальше.

Деревья, дома, церкви, заводы в этой стране, жившей интенсивной умственной жизнью, превратились в голые пни и груды развалин. Время от времени принимались лихорадочно рыть новые окопы, возводить проволочные заграждения. Земля была вся изрыта снарядами, усеяна ржавым, исковерканным оружием. Среди этого разрушения тянулись обозы грузовиков и повозок с продовольствием и беспрерывным потоком шли войска. Мы видели полевые лазареты, носилки, тащившихся пешком раненых солдат, группы военнопленных.

Мы сделали привал, и нас освободили от излишней амуниции. Мы приближались к передовой линии.

И вот мы очутились в зоне огня и теперь могли вволю изучать разнообразные оттенки свиста и воя снарядов и строить догадки, попадут ли они в нас. Вокруг рвались снаряды, выбрасывая к небу огромные столбы черно-красного дыма, которые долго стояли на месте, клубясь и шипя, и постепенно расплывались в воздухе. Мы ощутили сладковатый запах газа и надели противогазы; наши головы в раскрашенных жестяных шлемах стали походить на свиные рыла. Потом над нами зажужжал самолет и стал поливать нас из пулеметов; двое солдат рядом со мною были убиты наповал и трое тяжело ранены. Один из них корчился и дико кричал, и я вдруг почувствовал к нему острую ненависть. Ибо жестокость вселенной была не только вокруг меня, но и проникла в мою душу, и каждый мой нерв был болезненно натянут.

Дождавшись сумерек, мы двинулись дальше к передовым позициям. Все громче бухали тяжелые орудия, мы спотыкались, сыпали проклятиями и шли все вперед по неровной, изрытой местности. Раз мы неожиданно наткнулись на замаскированную батарею и едва не оглохли, когда залп грянул у нас над самым ухом. Снаряды летели прямо на нас, они так же легко находили нас в темноте, как и при дневном свете. Красные вспышки осветительных ракет зловеще озаряли эту пустыню, показывая вражеским пулеметчикам кучки наших солдат, и можно было разглядеть валявшиеся кругом трупы.

Мы приближались к месту самых ожесточенных боев. Все чаще ударял нам в нос смрад разлагающихся трупов. Потом мы пробирались среди наваленных грудами тел неприятельских и наших солдат, почти все они были полураздеты.

Я споткнулся и упал на труп, в котором так и кишели черви; мое колено погрузилось в эту мягкую, ужасную массу. В одном месте всем нам пришлось шагать по трупам наших солдат. Таким образом я добрался, наконец, до окопа, где мне дали ручную гранату и приказали дожидаться рассвета, когда наш капитан должен был подать сигнал к атаке. В ожидании мы сидели, скрючившись, в грязи траншеи, через силу ели говядину и варенье, курили папиросы, вздрагивали, когда мимо нас пролетал снаряд, и размышляли о жизни.

«Остров Рэмполь,— говорил я себе,— по сравнению с этим адом был прямо-таки благоденствующей страной, далеко ему до этого ужаса!»

И вдруг меня пронзила мысль, что я непременно буду убит и Ровена останется на свете одна, брошенная на произвол человеческой жестокости и гнусности. Штука в этом роде пришлась бы по вкусу Старику-капитану! Как глупо было верить, что я вернусь цел и невредим из этой бойни!

Я вскочил на ноги.

— Боже мой! — вырвалось вдруг у меня. — Что я тут делаю? Я сейчас же ухожу домой, подальше от этого проклятого сумасшедшего дома! У меня дома дела посерьезнее!

Наш капитан смахивал на лавочника, «джентльмен на час», как мы называли таких офицеров; он был при-

мерно одного со мной возраста и такого же сложения. В руке у него был зажат револьвер, но он и не думал мне угрожать. Он нашел ко мне подход.

— Правильно, старина, тут сущий сумасшедший дом,— проговорил он,— но покамест лучше уж оставаться здесь! Для всех нас дорога домой лежит вот туда — на восток! Вы и минуты не проживете, если вздумаете удрать из этой траншеи. Это все равно, что кончать жизнь самоубийством.

— Ну если так, то ведите нас вперед, на восток,— сказал я и утихомирился.

Казалось, конца не будет этому ожиданию.

— И зачем только я уехал из Америки? — твердил я.

Капитан стоял около меня, поглядывая на часы.

— Готовы? — спросил он наконец.

Я возился, наводя порядок в патронташе.

— Пора! — сказал он, и мы вместе выбрались из окопа. Уже совсем рассвело; небо на востоке было залито красным сиянием. Казалось, там развертывается безбрежный простор. При нашем появлении небесная лазурь вдруг взорвалась от вспышек ракет и залпов орудий. Вдалеке, в голубом тумане, взлетели вихрем столбы дыма и пыли, поднятые нашими снарядами.

Атака состояла в том, что, сгибаясь под тяжестью амуниции, мы с трудом двигались по изрытой земле к невидимому неприятелю. Солдаты были так перегружены, что вовсе не походили на атакующих. С унылым видом, сгорбившись, они брели вперед и, казалось, отступали под натиском врага, а вовсе не шли в атаку.

В холодном, мертвенном свете зари эти цепочки фигурок цвета хаки образовывали какой-то движущийся, вечно повторяющийся узор. Обходя ямы и лужи, солдаты то и дело нарушали строй и порой даже сбивались в кучки.

Мой маленький лавочник в капитанском чине, сперва шагавший бок о бок со мной, вдруг побежал вперед и остановил группу солдат. По его жестам я понял, что он приказывает им развернуться. С минуту пятеро солдат двигались вперед, и рядом с ними, размахивая рукой, шел офицер. Потом неизвестно откуда на них что-то упало, ослепительно вспыхнуло, и раздался оглушительный взрыв.

Меня ударило чем-то мокрым. Пяти человек как не бывало. Только бешено кружился черный столб дыма и пыли. Но вокруг меня уже валялись окровавленные клочки одежды, обрывки амуниции и трепещущие куски человеческого мяса, которые несколько секунд еще шевелились, как живые. Я остановился в ужасе. Ноги у меня подкашивались. Я зашатался, и меня стошнило.

Я стоял на поле битвы ошеломленный, растерянный, меня мутило, к горлу подступали рыдания. Потом в мозгу у меня всплыли слова капитана, что единственный путь отсюда —на восток, через неприятельские позиции. Я побрел вперед. Не знаю, сколько времени я шел. Кажется, я всхлипывал, как обиженный ребенок.

Вдруг меня чем-то подшибло, и я повалился на землю. Словно хватило по ногам железным ломом.

— Проклятие! — вскрикнул я.— Я убит! — и почувствовал, что все мои надежды рухнули.

Мое детское отчаяние сменилось яростью. Я покатился вниз по откосу, проклиная бога и судьбу, и очутился на дне похожей на чан впадины; наверху мелькали каски. Это была рота «Д» — наша вторая штурмовая волна. Они прошли мимо и скрылись.

Подозреваю, что на некоторое время я потерял сознание, потом очнулся. В этой яме я находился вне сферы огня, хотя бой шел где-то совсем близко, в нескольких футах над моей головой. Время от времени земля по краям впадины вихрем взлетала кверху. Я перевернулся на спину, осмотрел свое убежище и, убедившись, что оно достаточно надежно, сел и принялся осматривать свои раны. Из одной ноги слегка сочилась кровь, но кость другой ноги была раздроблена. Итак, я остался в живых.

Я стал обдумывать свое положение. Я размышлял о своей жизни.

Так вот для чего я пошел в армию! Служба моя кончилась. Так вот для чего меня привезли сюда из Америки, муштровали и обмундировывали! Какая бессмыслица! А там, в вышине, над полем битвы, розовело утреннее небо и ровная полоска облаков сверкала, как расплавленное золото.

Сперва я почти не чувствовал боли, только словно резануло под коленкой, когда я шевельнул перебитой

ногой. Меня охватило острое возмущение. И ради этого родиться на свет! И ради этого жить!

Я обратился ко всей вселенной:

— Ах ты, воплощенная бессмыслица! Ну, что еще ты мне преподнесешь, прежде чем уничтожишь меня навсегда?

9

МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ ЛИШАЕТСЯ НОГИ

В этой яме я пролежал полтора дня, задыхаясь от бессильного гнева и жестоко страдая. Смутно припоминаю медленно тянувшиеся часы лютой боли, жажды и лихорадки. Казалось, мучениям не будет конца. Я страдал целую вечность, терял сознание и вновь рождался на свет, снова жил.

Но вот в мою яму заполз солдат из роты «Д». У него было прострелено плечо, а потом он несколько раз попадал под пулеметный огонь, напрасно пытаясь укрыться. Добравшись до края впадины, он свалился в нее, вконец обессилев. Он сорвал с себя противогаз и попросил пить, но так ослаб, что не мог проглотить ни капли воды, которую я подал. Он медленно истекал кровью. Лицо у него посерело, он лежал не шевелясь, не ответил, когда я заговорил с ним, и по временам только хрипло шептал: «Воды». Гимнастерка у него потемнела от крови. Потом он закричал, раза два всхлипнул и перестал шевелиться и говорить. Он лежал неподвижно. Лежал молча, с раскрытым ртом; я не слышал его предсмертного хрипа и не знаю, когда он умер.

Потом появился еще один, из наших, которого я немного знал,— он был ранен совсем легко. Он упал прямо на меня и, тяжело дыша, стал вытирать пот с лица. Некоторое время он пристально смотрел на мертвеца, потом отвернулся.

— Дело наше дрянь,— проговорил он.— Половина наших ребят перебита.

Он назвал несколько имен.

— А проклятых бошей я и в глаза не видел! — прибавил он.

Оба мы вздрогнули, когда где-то поблизости разорвался снаряд, и некоторое время сидели, притихнув и скорчившись, словно он еще мог угрожать нам.

— Я помогу тебе выбраться отсюда, когда стемнеет,— пообещал он, когда я показал ему свои раны.

Он, видимо, обрадовался предлогу остаться в яме. Рассуждая теоретически, ему полагалось еще наступать. Он отнесся ко мне по-братски и довольно ловко перевязал перебитую ногу. Но всю эту ночь немцы так ревностно прощупывали «ничейную зону» прожекторами и так жарили из пулеметов, что мы не решились выйти из нашего укрытия. Товарищ мой сунулся было наружу, но тотчас же вернулся назад.

Мы сильно страдали от жажды. Я вылил добрую половину воды из своей фляжки на губы умирающего солдата, который теперь лежал рядом со мной, холодный и окоченевший. Живой же мой товарищ все собирался снять фляжку с водой с кого-нибудь из убитых, но не решался вылезти из ямы.

На следующую ночь стрельба затихла, и мы с трудом выползли из ямы и кое-как добрались до траншеи, откуда началась атака. Обе мои ноги не действовали, и когда я попробовал согнуть ту, которая не была перебита, из нее полилась кровь. Поэтому я полз на руках, и всякий раз, как вспыхивал прожектор, замирал на месте и притворялся мертвым, боясь, как бы меня не заметил какой-нибудь зоркий немецкий снайпер или пулеметчик. Товарищ мой пробирался рядом со мною, но от него было мало толку, разве что сознание близости человеческого существа.

Мы совершенно случайно попали в свою траншею. Я свалился туда головой вперед, и меня чуть было не закололи штыком, приняв за немца. Там нашлась вода, и мне оказали помощь. В траншее находились солдаты девятого Девонширского полка, который сменил наш разгромленный батальон.

Утром откуда-то появились носилки, и началось тяжкое, мучительное путешествие. Меня направили в тыл, в мир нормальных людей. Стиснув зубы, я напряженно думал о Ровене. Я готов был перенести самые ужасные мучения, лишь бы сохранить жизнь ради нее. Меня протащили по окопам, вынесли наверх, на

открытое место, и положили у шоссе в ожидании санитарной повозки; приехала она только через полдня. После долгих часов страданий, казавшихся мне годами, меня доставили на перевязочный пункт, где наспех перевязали, и отправили дальше. Потом опять санитарная повозка, распределитель, эвакуационный пункт и громыхающий, тяжело ползущий, без конца маневрирующий, то и дело останавливающийся поезд, наконец, госпиталь, где мне ампутировали по колено ногу с осколками кости.

В таком виде, искалеченный и морально опустошенный, я наконец отправился в Англию — и к Ровене.

10

НОЧНЫЕ БОЛИ

Когда лежишь неподвижно на койке бесконечно долгие часы, испытывая боль в ноге, которой уже нет, когда сон и покой, кажется, навеки тебя покинули, а впереди перспектива безрадостного, «хромого» существования, мысль с необычной легкостью странствует по бескрайним просторам покинутой богом вселенной. Тут только я осознал, что во мне не осталось ни тени веры во все, что проповедовал мой дядя, и волей-неволей я должен приспособиться к иному, чуждому милосердия миру, где все, начиная с моей гноящейся раны и кончая самой далекой звездой, было лишено какого бы то ни было смысла. Я не был одинок в своем разочаровании, ибо прекрасно знал, что весь мир давно утратил наивную веру. Я принадлежу к поколению, которое никогда не верило по-настоящему. Но обстоятельства сложились так, что я с особенной остротой почувствовал все это.

Нет доброго, милосердного бога, нет и бессмертия для человека в этой мрачной пустыне времени и пространства! Это, кажется, все теперь признают.

И все же добро существует.

Ведь что-то связывает меня с Ровеной. Быть может, оно непрочно и скоро исчезнет. Но оно, несомненно, существует и в нашей душе и вокруг нас.

Это не я и не Ровена. Это никак нельзя назвать просто чувством благодарности. Это лучше, выше меня и Ровены. Что же это, как не любовь!

Бывают моменты, когда все окружающее предстает перед нами в новом свете, приобретает смысл и значительность, и все страдания, жестокость, тупость, страхи и благоразумие отступают на задний план. Порой нам доставляет высокое наслаждение красота, и музыка открывает нам такие глубины, что даже мой капитан со всей своей жестокостью начинает казаться маленьким и жалким. Даже я, несчастный калека, видел преображенный мир и был потрясен его величием!

К тому же я вовсе не собираюсь умирать. Во мне еще не иссякли мужество и надежда на что-то прекрасное, я не знаю, откуда это ко мне приходит, но уверен, что где-то вне меня существует какой-то непостижимый источник.

Любовь, красота и мужество. В борьбе за них я сжимал кулаки и стискивал зубы в часы ночных страданий.

В эти долгие часы одиночества и мучений моя мысль свободно странствовала по всей вселенной, но всякий раз возвращалась ни с чем и делала передышку, словно завершив какой-то этап.

Увенчаются ли когда-нибудь успехом эти искания моей мысли?

11

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ГЛАЗ

Лежа в госпитале для выздоравливающих, близ Рикменсуорта, я стал примечать, что за мной непрерывно следит чей-то глаз.

Глаз был красноватый, карий. Он выглядывал из сложной системы бинтов, над которыми торчала копна каштановых волос, а пониже виднелась большая каштановая борода и красные губы. Этот глаз был почему-то поглощен созерцанием моей особы. Тело, которому принадлежал этот глаз, находилось в одной палате со мной.

В то время как глаз наблюдал за мной, яркий, но бесстрастный, как электрический фонарик, его обладатель

стремился со мной познакомиться и делал попытки завязать со мной беседу. Иной раз, просыпаясь ночью, я видел, что раненый сидит на постели, повернув ко мне свою забинтованную голову так, чтобы глаз мог следить за мной из-за разделявших нас коек.

Я охотно пошел навстречу его попыткам к сближению. Этот раненый был не из тяжелых. Он уже выздоравливал. Осколок снаряда сорвал у него чуть ли не всю кожу со лба и одно веко, каким-то чудом не повредив глаз, который сейчас скрывался под бинтами. Вскоре он выглянет на белый свет, цел и невредим, и будет сиять рядом со своим собратом. Рука у этого человека была на перевязи. Тот же самый осколок ухитрился ранить его в правую руку. Хирургия сделала все, чтобы спасти ему руку, но еще неизвестно, вернется ли к ней прежняя гибкость. Полифем — так я про себя окрестил этого человека — делал попытки писать и рисовать левой рукой. Он проявлял большую настойчивость. «С каким удовольствием я сбрею всю эту растительность!» — говорил он. Он твердо верил, что все мы, пострадавшие на войне, до конца дней будем окружены вниманием человечества, но уверял меня, что хочет быть независимым. Я знал, что он уже задумал вместе с другим раненым из прифронтового госпиталя организовать на паях бюро рекламы. А для этого надо быть в состоянии писать и научиться немного рисовать.

Каждый день мы подолгу с ним беседовали, и он както неохотно кончал разговор. Мы делились своими переживаниями на фронте, а потом говорили большей частью о пустяках, но всякий раз у него был такой вид, будто он не договаривает самого главного.

Как-то раз Ровена, постоянно меня навещавшая, принесла показать мне ребенка. Я уже начал ходить на костылях и с нетерпением ожидал обещанный мне замечательный протез, — меня уверяли, что искусственную ногу не отличить от настоящей. Протез этот был очень дорогой. К этому времени я уже примирился со своим несчастьем и не без гордости помышлял о том, как буду пользоваться этим приспособлением из пружин и пробки; замечу в скобках, что впоследствии оно, конечно, не оправдало моих ожиданий. Я показал Ровене чертежи ноги, которые мне дали посмотреть.

Это был на редкость счастливый для меня день. Ровена была удивительно мила и обаятельна. Казалось, война и житейские неприятности бесконечно далеки от нашего цветущего и жизнерадостного сыночка. Хотелось верить, что мир водворился надолго и мой сын избегнет моей участи. Ребенок уже узнавал родителей и пытался объясняться по-своему: междометиями и односложными словами. Ему прямо можно было позавидовать. Он был очарователен, бесконечно мне дорог и забавен. Казалось, он отнял у меня весь мой эгоизм, сделавшись центром моей жизни.

Мы долго сидели на веранде; мне не хотелось отпускать своих гостей, расставаться с ними, и я, ковыляя на костылях, проводил их до самых ворот.

Вернувшись на веранду, чтобы взять свои книги и бумаги, я увидел, что Глаз поджидает меня. Все время, пока Ровена была со мной, Полифем наблюдал за нами издали.

— Что это за человек? — спросила Ровена.

— Это «Ежедневный наблюдатель», он же и «Воскресный наблюдатель»,— отвечал я.— Он готов отбивать хлеб у репортеров.

— Пусть себе смотрит,— сказала Ровена,— если это хоть немного облегчает его участь.

После ее ухода он подошел ко мне.

— Я рад видеть вас таким счастливым, Блетсуорси! — сказал он.

— Очень вам благодарен,— отвечал я с искренней признательностью, ибо в счастье гораздо реже можно встретить сочувствие, чем в беде.

— Это, право же, меня очень, очень радует.

— Мне приятно, что я могу вас чем-то порадовать.

— Поверьте, что это так,— настаивал он.— У меня, видите ли, есть совсем особые основания желать вам добра!

Я невольно насторожился и удивленно уставился на него.

— Я должен вам очень много — и в прямом и в переносном смысле.

В его жестах и интонациях мне почудилось что-то знакомое.

— Три тысячи фунтов, не говоря уже о процентах.

— Лайолф Грэвэ! — вскричал я.

— Да...— Он примолк, ожидая, что я скажу.

— Три тысячи фунтов золотом и мою золотоволосую девушку! Ну, ее-то я вам готов простить.

— Еще бы! — проговорил Грэвэ, указывая рукой на ворота, за которыми скрылась Ровена.

Он тоже простил мне старую обиду. А я понимал, что я гораздо счастливее его и что бессмысленно теперь его преследовать.

Протянув руку над костылем, я пожал ему левую руку.

— Какой я был глупый, желторотый юнец! — вымолвил я.

— А я-то со своими фантастическими планами! Но я получил хороший урок.

Мы с ног до головы оглядели друг друга.

— А теперь на кого мы похожи!

— Хороши, нечего сказать!

— А чему мы научились за это время? Чего добились?

Мы замолчали, испытывая некоторую неловкость. Сквозь маску бинтов начали проступать знакомые черты. У него остались все те же манеры, война ничего не изменила. Словно сговорившись, мы уселись на веранде и затеяли беседу. Сейчас мы были пленниками в этом госпитале, и нам оставалось либо наладить дружеские отношения, либо окончательно рассориться и разойтись. А это значило бы скучать в одиночестве.

— Вы побывали на Золотом Береге? — спросил я.

— У Кросби и Митчесона мои дела шли недурно,— отвечал он.— Но когда грянула война, все полетело к черту. Я проявил сноровку в торговле, да она у меня и сейчас есть. Мне удалось здорово наладить рекламу даже в джунглях Западной Африки. Это было новостью для старинной фирмы и принесло немалый доход.

— Ну, а потом?

— Подцепил брюшной тиф в Салониках. Работал агентом в Италии, пока не забрали на действительную службу. А потом — всего за три дня до перемирия — получил вот эту штуку.

Он подробно рассказал мне о своей военной службе и о послевоенных планах и чем дольше говорил, тем

все больше становился похожим на прежнего Грэвза, с которым я не виделся уже шесть с лишним лет. Теперь мне казалось странным, как это я не узнал его сразу, несмотря на его бинты. Он уверял меня, что развивал в Италии весьма значительную деятельность. Там он приобрел много ценных и полезных знаний и намеревался их применить впоследствии. Ему не терпелось вырваться из госпиталя и снова взяться за дела. Ему сказали, что он не будет обезображен.

Он остался все таким же легковерным прожектером, верил в то, что теперь можно, как никогда, быстро разбогатеть. Да он и всегда в это верил. Он проповедовал, что «упорными усилиями» всего добьешься, он и раньше так говорил. Даже вызванные войной опустошения, по его мнению, имели положительную сторону. «Мы перестроим свое сознание и весь мир»,— уверял он. Он так мало изменился, что я по контрасту почувствовал, какие глубокие перемены произошли во мне самом, и с удивлением услыхал, что я нимало не изменился: он с первого же взгляда узнал меня в госпитале.

— Фасад, быть может, остался, каким был,— ответил я,— но внутренне я изменился: жизнь крепко меня потрепала.

Он расспрашивал меня о том, что было мною пережито за эти годы; из предыдущих бесед он уже знал, в каком я полку служил и как был ранен. Мы избегали говорить об Оксфорде. Но, видимо, его так и подмывало затронуть эту щекотливую тему.

— Вы знаете, два месяца назад,— начал он,— я был в Оксфорде. Перед моей последней операцией.

— Ну, как вы его нашли?

— Он словно стал меньше. И там куда больше суеты, чем раньше. Целая куча послевоенных студентов с усами как зубная щетка... Видел вашу Оливию Слотер!

Я вопросительно хмыкнул.

— Она замужем. Мать ее торгует все в той же лавчонке. Оливия вышла за колбасника, у которого лавка на углу Лэтмир-Лейн, и, представьте себе, всего через несколько месяцев после... вашего отъезда. Может быть, она и раньше об этом мечтала. Мне думается, это мамаша нацелилась на вас. Не знаю, право. Словом, она замужем за мясником. Этакий кудрявый парень, румя-

нец во всю щеку, в ярко-синем переднике, а в лавке у него мраморные прилавки, на которых горой лежат розовые колбасы. У нее всегда были самые примитивные вкусы, и я полагаю, с ним она куда счастливее, чем была бы с вами или со мной. Уж он-то ее не идеализировал.

Грэвз замолчал. Я засмеялся.

— А я только это и делал,—сказал я.— Ну, дальше. Так, значит, она вышла замуж за колбасника.

— Да, но по-прежнему субтильна. Рассказывала мне, что всякий раз, как муж собирается заколоть свинью, она заранее затыкает уши.

— Вы с ней разговаривали?

— Ну, конечно. Она стоит в лавке за решеткой и ведет книги. Очень мне обрадовалась. «Ко мне заходят многие из наших прежних покупателей»,— уверяла она. И спросила, побывал ли я у ее маменьки.

— А вы у нее были?

— И не подумал! Мне никогда не нравилась ее маменька.

— А дети у нее есть?

— Трое, не то четверо. Во время войны она вела все дела со своим дядюшкой, а муженек приезжал в отпуск, закалывал парочку свиней и все такое. Дети очень милы, знаете, Блетсуорси, такие розовые и золотоволосые. Здоровые, как вся их порода. Не то, что этот ваш маленький джентльмен, комочек нервов!

— Но как она была прелестна, Грэвз!

— Она порядком располнела. Пожалуй, Блетсуорси, теперь вам было бы трудновато ее идеализировать.

— Она была приветлива с вами?

— Спрашивала про вас. «Ну, а что,— говорит,— ваш приятель,— тот, что открыл вместе с вами магазин?»

— Как вы думаете, рассказала она о нас своему муженьку?

— Ни словечка. Было бы слишком сложно все это объяснять, а вкусы у нее были всегда примитивные. Да, может, она и сама толком не поняла, что такое стряслось.

— Вы думаете, она все скрыла?

— Попросту забыла. Вспоминать обо всем этом было бы слишком утомительно, да и не очень-то приятно.

Эта история потеряла для нее всякий интерес. Разве что с мужем у нее могли быть стычки по этому поводу. Наверное, она перестала об этом думать еще до того, как вы уехали из Оксфорда.

— Говорят, ум человеческий не менее разборчив, чем желудок.

— Дело в том, что жизнь дает слишком уж богатую пищу нашему уму,— продолжал он.— Нам приходится волей-неволей сбрасывать кое-какой балласт. Быть может, когда-нибудь путем трепанации удастся расширить черепную коробку, и мозг станет более вместительным. Таким, что сможет все охватить на свете. Кто знает? Мне говорили, что это вполне возможно — в далеком будущем. Но в наши дни мудрее всего тот, кто умеет упрощать жизнь. А такова была, есть и останется Оливия. Если не отбрасывать всякие там трудности, то придется их принять, как-то принарядить или лицемерно их скрывать. Это только усложняет жизнь, мешает нам жить... Да и что в этом хорошего? И к чему это приводит? По существу говоря, я человек дела, Блетсуорси. Каждый из нас должен идти своей дорожкой, как бы тяжело у него ни было на душе. И что за польза человеку, если он будет разрешать мировые вопросы и проворонит свое маленькое дело? А все эти серьезные вопросы — только излишний балласт! В лучшем случае они вызывают у нас смутные порывы и желания, которые неизбежно кончаются разочарованием и недовольством.

— Но если уж я так устроен, что не умею отбрасывать?

— Да. Тут уж, пожалуй, ничего не поделаешь.

— Что делать, если человек чувствует, что он должен во всем разбираться? Положим, вы отбросите разные сложные вещи, положим, даже они на время оставят вас в покое, но ведь они все же окружают вас, движутся наперекор вам или же совершенно не считаясь с вами. Может быть, их не так-то просто изгнать, как вы думаете. Например, пуля могла бы сразить господина мясника или же бомба могла бы угодить в детскую на Лэтмир-Лейн. Вы шли своей дорожкой на Золотом Береге, но куда девалась эта ваша дорожка, когда разразилась война? Я еще до войны размышлял над судьба-

ми человечества, тревожился и бунтовал, а вы, видите ли, пытались все благоразумно упростить...

— Насколько мог.

— А между тем нас постигла почти одинаковая судьба, только у вас пострадало веко и рука, а у меня — нога.

— Ну, а вы что делали до войны?

— Путешествовал. Побывал гораздо дальше, чем этот ваш Золотой Берег. Во всяком случае, на войну я пошел с открытыми глазами.

— Это еще вопрос, является ли это преимуществом. Но не будем об этом спорить,— сказал Грэвз.

Затем, подстрекаемый его вопросами, я начал рассказывать ему об острове Рэмполь и о всех приключениях, какие описаны в этой книге. Быть может, я рассказывал не совсем так и не в такой последовательности,— ведь я в первый раз пытался передать свои впечатления, и, уверяю вас, это было нелегко. Возможно, если бы не Грэвз, я так и не отважился бы писать эту повесть. Я постарался бы забыть всю эту историю, как были преданы забвению тысячи таких историй, хотя пережившие их люди еще здравствуют поныне.

12

ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ХОДОМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Я был рад возобновить знакомство с Лайолфом Грэвзом, и это меня подбодрило. Нам было о чем поговорить друг с другом. По правде сказать, мне его недоставало все эти годы, хотя я не отдавал себе в этом отчета. Оба мы выросли, сильно возмужали, пережили много тяжелого и приобрели богатый жизненный опыт, но мы сохранили основные черты своего характера и, как и в дни юности, дополняли друг друга. Я был по-прежнему впечатлителен и малосамостоятелен, а он все так же убежден в своей необычайной практичности и все так же безудержно предприимчив. Мысль о трепанации черепа для расширения нашего умственного и творческого диапазона была весьма характерна для него. Он хотел использовать свой опыт по распространению швейных

машинок на Золотом Береге для реорганизации всей мировой экономики. Теперь он носился с проектами сбыта не только книг, но и всех других товаров на совершенно новых началах, и я слушал его с живейшим интересом, твердо решив не вкладывать своего капитала ни в одну из его затей.

Последние недели моего пребывания в Рикменсуорте, пока я привыкал к своей искусственной ноге и устраивал вместе с Ровеной наше теперешнее жилище в Чизлхерсте, мне приходилось подолгу с ним беседовать. Я мог говорить ему о себе решительно все. Он обладал удивительной способностью понимать меня с полуслова, вспыхивал, как бенгальский огонь, освещая вопрос с разных сторон, чего я совершенно не умел делать. Он во многом со мной соглашался и вместе с тем глубоко расходился со мной во мнениях. Да, мир — это остров Рэмполь, а цивилизация — всего лишь мечта; и тут же он, не переводя духа, пускался в рассуждения о том, как претворить эту мечту в действительность. Так же, как и я, он был стоиком, но ни у кого я не встречал столь агрессивного стоицизма.

А пока что его денежные дела, по-видимому, были плоховаты. Он разрабатывал все новые многообещающие проекты развития рекламного дела по продаже автомобилей, шикарных отелей, аэропланов, консервов, портативных складных ванн для маленьких квартир — поле его деятельности расширялось с каждым днем. Эти коммерческие планы перемежались с проектами, зародившимися у него в мозгу под влиянием моих пессимистических выводов: о необходимости полной реорганизации Лиги Наций и окончательного обуздания Ардама, который будет навеки закован в цепи, а также пересмотра всех религиозных догм. Он ничуть не сомневался, что всех мегатериев на свете можно не только истребить, но самым простым гигиеничным способом избавиться от их трупов и что всех зловредных капитанов и слабоумных старцев можно усмирить, положить на обе лопатки или вовсе упразднить.

Вскоре у него сняли бинты с лица и заменили их большим зеленым козырьком, и рука у него была теперь только на черной перевязи. Он все больше и больше становился похож на прежнего Грэвза, только его

лоб, раньше такой гладкий, теперь пересекал красный шрам, придававший ему несколько сердитый вид; вероятно, он останется у него еще на долгие годы. Этот нахмуренный лоб странно контрастировал с доверчивым выражением его рта.

Время от времени я поддерживал его небольшими денежными суммами; он был крайне щепетилен в отношении этих авансов и приписывал их к сумме крупных долгов.

— Я надеюсь, Блетсуорси,— говорил он, бывало,— что недалек тот день, когда вы дадите мне расписку в получении всей суммы сполна, до последнего пенни, с начислением четырех с половиной процентов, включая день уплаты. Затем вы поставите мне бутылку самого лучшего шампанского, какое найдется в продаже. Мы разопьем его вдвоем, и это будет счастливейшая минута в моей жизни.

У него было очень мало связей, и ему не на кого было опереться в эти трудные дни послевоенной перестройки. Я, со своей стороны, теперь убедился, как выгодно иметь многочисленную родню. Моя жена внушала горячую симпатию леди Блетсуорси, под руководством которой раньше шила бинты, и подружилась с миссис Ромер. Ромер благополучно вернулся с фронта, да еще в чине полковника; он отличился во время последнего похода на Дамаск, а фирма «Ромер и Годден» до неприличия нажилась на войне. Примерно так же сложилась судьба и других моих кузенов. Естественно поэтому, что всем хотелось что-то сделать для героя, пострадавшего на войне. Некоторые мои родственники, например, сессекские Блетсуорси, потеряли сыновей, и я почти автоматически оказался младшим директором полуторавековой фирмы коньяков и вин «Блетсуорси и Кристофер». Прошли те времена, когда младших отпрысков английских семей посылали за границу. На них теперь был спрос на родине. Блестящий поворот моей карьеры казался мне столь же незаслуженным, как и мои былые злоключения, и я старался сохранить свой внутренний стоицизм и внешнюю учтивость.

Я поспешил сделать Грэвза представителем нашей фирмы, и он блестяще справился с этой задачей; по его

инициативе был введен целый ряд новых марок, например, «Марс», «Юпитер» и «Старый Сатурн», хорошо знакомых любителям крепких, доброкачественных, выдержанных коньяков. Он и сейчас состоит нашим торговым консультантом.

13

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫЛЫХ УЖАСОВ

Ровена убеждена, что если бы не Грэвз, я давно бы забыл об острове Рэмполь. Как любящая жена, она считала своим долгом всеми силами изглаживать из моей памяти весь этот комплекс воспоминаний и представлений. Я согласен, что повседневность беспощадно истребляет всякого рода фантастические идеи, но все же она не в силах окончательно вытеснить из моего сознания все то, что так глубоко туда запало. Правда, мало-помалу рутина затягивает меня, рутина, которой так богата новая фаза моего существования, и я уже вижу себя пожилым обывателем, которому, кажется, не на что пожаловаться. Жена и дети, прекрасно обставленный дом в Чизлхерсте, дело, которым я должен заниматься, чтобы моя семья могла вести обеспеченную жизнь, друзья и знакомые, прогулки и развлечения — все это требует немало времени; запутанный клубок насущных интересов держит в плену мое бодрствующее сознание бо̀льшую часть дня. И все же я чувствую, что где-то у меня в душе все еще лежат мрачные тени ущелья, и, несмотря на уверенность и благополучие нашей жизни, я никак не могу забыть крик юнги ночью на борту «Золотого льва», мертвые тела на полях сражений, и свои раны, и свое отчаяние.

На улицах Лондона мне частенько ударяет в нос запах мегатериев (чаще, чем я осмеливаюсь себе признаться), и за тонкими декорациями послевоенного благоденствия мне слышатся порой шаги капитана, совершающего все новые зверства. Я не только не могу забыть остров Рэмполь, но иногда мне кажется, что реальный мир вот-вот исчезнет из моего сознания, и я начинаю судорожно цепляться за него. Был случай, ко-

гда мне лишь с величайшим трудом удалось удержаться в этом мире.

Быть может, мои изувеченные товарищи и умудряются забыть войну и то звериное лицо, каким повернулась к ним жизнь,— мне это никак не удается. Несмотря на страстное желание Ровены, я, по правде сказать, вряд ли склонен это все позабыть. Если бы даже какой-нибудь психиатр предложил мне изгнать из моего сознания все следы этого систематического бреда, если бы он уверил меня, что я больше не буду жить этой двойственной жизнью и действительность станет для меня такой же прочной и надежной, какой она представляется молодому животному,— я уверен, что никогда не согласился бы на это. Мне приходилось читать, что человек, едва не погибший в пустыне или претерпевший неописуемые лишения полярной зимы, всю жизнь будет стремиться к месту своих страданий. После всего пережитого обыденная жизнь кажется ему пресной и скучной, сильные, глубокие впечатления всегда живы в его душе. Так случилось и со мной. Остров Рэмполь неудержимо тянет меня к себе. Я испытываю необъяснимое чувство, что меня ждет там настоящее дело и что вся моя теперешняя жизнь с ее комфортом и удовольствиями отвлекает меня от моей основной жизненной задачи. Я чувствую, что мне никогда уже не забыть остров Рэмполь, что мне еще предстоит свести с ним счеты. А покамест остров ждет меня. Для этой цели я создан, в этом весь смысл моего существования.

Правда, в течение нескольких лет я добросовестно старался помогать психиатрам, старался отгонять эти видения, вытеснять их из основного потока моего теперешнего существования, так, чтобы они мало-помалу исчезли. Мне казалось, что моя любовь к Ровене поможет мне начать новую жизнь. Теперь я понял, что для меня совершенно невозможно начать новую жизнь. Мы оба с ней поверили в эту иллюзию. Ровена тоже подпала под власть этих навязчивых мыслей, хотя и не вполне это сознает.

*Ровена ревниво и настороженно оберегает наше сча*стье, ей кажется, что его следует особенно ценить, так как оно куплено дорогой ценой. Разве потеря ноги не была трагедией для нас обоих? Но я все же остался жив,

и когда на меня находит очередной приступ мрачного настроения, когда я готов проклинать весь мир, она называет это черной неблагодарностью.

Так остров Рэмполь, словно тень, стоит между нами, и нам никак не удается достигнуть полного душевного единения и взаимопонимания, которых мы так жаждем. Ей представляется, что это — злое наваждение, от которого она призвана меня избавить. Она не может понять природу этого обаяния. То, что ей не удается заставить меня о нем позабыть, она воспринимает как жестокое свое поражение. Вот почему она из всех моих друзей считает Грэвза своим врагом. Она интуитивно чувствует, что именно с ним я делюсь тем, что скрываю от нее, и ей никогда не понять, что беседы с ним не усиливают мои страдания, но приносят мне облегчение. По ее мнению, он портит нашу жизнь. Он разоблачает фальшь этой жизни. В присутствии Грэвза ей даже изменяет ее обычное чувство собственного достоинства. Она держится с ним подчеркнуто вежливо. А за его спиной открыто высказывает свою антипатию.

— Ты сам говоришь, что этот человек обманул и разочаровал тебя,— говорит она,— и все-таки считаешь его своим другом и даже взял его к себе на работу.

— Он прекрасно ведет дела.

— Еще бы ему не стараться. Подумай, сколько вреда он тебе причинил!

Я молча слушаю.

— Я никак не могу понять мужчин,— продолжает она.— Вы в иных случаях проявляете какую-то странную терпимость и совсем уж неразумное упрямство!

Только одному Грэвзу мог я рассказать о скрытом душевном кризисе, какой я пережил в связи с процессом Сакко и Ванцетти в Массачусетсе: как я волновался в дни суда, апелляций, отсрочек, всей этой волокиты, закончившейся пересмотром дела и казнью. Я не буду излагать обстоятельства этого процесса. Они всем хорошо известны. Возможно, что дело обстояло совсем не так, как мне представлялось. Но я пишу историю своего сознания — обо всем, что совершалось у меня в душе, и не собираюсь рассказывать о том, что происходило в зале массачусетского суда. Вместе с миллионами других людей я убежден, что Сакко и Ванцетти не виновны в

преступлении, за которое понесли наказание, что их судили пристрастно и вынесли несправедливый приговор и что пересмотр их дела поставил под сомнение умственные и нравственные качества целого народа. Если я ошибаюсь, то вместе со мной ошибаются такие люди, как Франкфуртер из Гарвардского университета или знаменитый юрист Томпсон, изучивший до мельчайших подробностей этот невероятно затянувшийся и путаный процесс. И особенно меня потрясла та невообразимая черствость, бесчеловечность и мстительность, какую проявили во всем мире богатые и влиятельные люди, словно сговорившиеся уничтожить этих «радикалов».

Признаться, меня не так волновало, что обвиняют ни в чем не повинных людей, как возмущало все, что говорилось по этому поводу. Это все больше меня удручало. Я потерял сон. По ночам меня мучали кошмары. Я чувствовал, что это неразумно с моей стороны, но ничего не мог поделать.

Я постоянно размышлял над запутанными перипетиями этого дела, и мало-помалу остров Рэмполь оживал в моем сознании. Все нарастало чувство раздвоенности. Сквозь расплывчатые очертания окружающих меня предметов все явственнее проступали высокие скалы и над ними полоска голубого неба.

И когда я, бывало, ехал утром в Лондон и сидел с газетой в руках, прислушиваясь к разговорам своих коллег-дельцов, мне вдруг начинало казаться, что это не поезд грохочет, а шумит в ущелье поток и что я вновь сижу за круглым столом в верхней трапезной, а старцы обсуждают вопросы государственной безопасности.

Я как мог боролся с этими навязчивыми воспоминаниями. Мне не хотелось забывать остров Рэмполь, но вместе с тем я боялся, что эти представления нахлынут с прежней силой и всецело овладеют моим сознанием. Я знал, что в Англии нет ни одного психиатра, который мог бы мне помочь.

Я всячески старался скрыть свое душевное смятение от Ровены, не без оснований опасаясь, что она ополчится на меня. А ну как она сочтет Сакко и Ванцетти нашими врагами, решит, что ее долг образумить меня, и примется их обвинять!.. Еще, чего доброго, между нами разгорится спор, и в пылу полемики она обнаружит рез-

кость суждений и жестокость, как часто бывает с женщинами. А это прямо убило бы меня!

Я все же продолжал заниматься делами, стараясь не отрываться от реальной жизни. Но стоило мне уснуть, остаться одному или пойти на прогулку для отдыха, я мгновенно покидал Англию и вновь оказывался в столь знакомом ущелье. Я ловил себя на том, что громко разговариваю с островитянами, и мне стоило невероятных усилий вернуться к действительности. Иногда я вскрикивал без всякого повода. Как-то раз я не на шутку испугал свою секретаршу, которая вообразила, что я обдумываю деловые вопросы.

Пейзаж острова Рэмполь оставался точно таким же, как и до войны. Но Чит куда-то исчез, и я уже больше не пользовался преимуществом Священного Безумца. Хотя война уже кончилась, Ардам по-прежнему был у власти; теперь он энергично развивал идеи Чита, которые прежде отвергал с таким презрением. В следующую войну предполагалось совершить грандиозный поход по плоскогорью, причем Ардам изобрел для нас какое-то идиотское вооружение, а вести нас в бой должен был священный древесный ленивец. В совет старцев теперь входили еще судьи, законоведы и какие-то чудные люди с выдающимися челюстями, которые жевали резину и откусывали кончики сигар. Мне чудилось, что я стою в толпе, со всех сторон меня пихают и толкают коричневые вонючие дикари, которых за это время стало еще больше; я становился на цыпочки и вытягивал шею, стараясь разглядеть, что там происходит. Но мне никак не удавалось протиснуться в первые ряды. А те двое, идущие к месту своей казни, представлялись мне какими-то жалкими, захудалыми, неопытными миссионерами, горе-фанатиками, неведомо как и откуда попавшими на остров. Моя фантазия облекла их в потертые рясы. Сакко казался хмурым, угрюмым и озадаченным, а у Ванцетти было кроткое лицо мечтателя, и взгляд его был устремлен на озаренную солнцем полоску зелени, окаймлявшую вершину плоскогорья. Обоих я видел совершенно отчетливо. Если бы я умел рисовать, то и сейчас мог бы набросать их портреты: они стоят передо мной, как живые.

Мне казалось, что вот уже шесть жутких лет они все идут и идут сквозь враждебные толпы навстречу

своей судьбе, к ожидающему их «порицанию». Их не торопили, но не давали им ни минуты покоя. Аборигены орали на них. Симпатии народа не были на их стороне; правда, в толпе сновали люди, выдававшие себя за их друзей, но они только подливали масла в огонь, преследуя свои корыстные цели. Впереди неизменно шагал «воздающий порицание» с дубинкой на плече, а шествие замыкал отряд приспешников Ардама.

— Что они сделали?— спрашивал я.

Ответы бывали различные, но смысл их всегда один и тот же:

— Пришли учить нас, что в ущелье жить нехорошо! Пришли охотиться на священных мегатериев! Пришли уговаривать нас, чтобы мы больше не ели «даров Друга»! Как мы можем жить без «даров Друга»?

— Возмутительно! —восклицал я, и сердце щемило при мысли, что я разделяю вину дикарей. Так вот какая участь ждет того, кто вздумает выбраться за пределы ущелья!

— Мы покажем этим миссионерам, как таскаться к нам, мутить наш народ и нарушать наши обычаи! Взгляните на их мерзкую одежду! Взгляните на их бледные лица! Да от них даже запаха не слышно!

Наконец дело доходило до казни, и мне мерещилось, что мы всем скопом кидались на них, разрывали на мелкие клочки, делили их между собой и все принимавшие участие в избиении поедали их мясо. «Ешь,— сказал какой-то голос,— раз ты не мог спасти их!» Так искаженно преломлялись в моей фантазии действительные события, принимая чудовищные формы. Толпа увлекала меня на площадку перед храмом богини, где происходило убийство и дележка, и кусок, который сунули мне, до ужаса напоминал те трепещущие клочья человеческих тел, разорванных снарядами, которые я видел за какую-нибудь минуту до того, как получил ранение. «Ешь, раз ты принимал участие в этом деле!» — я слышал снова и снова. Сперва мгновенно происходило убийство, потом бесконечно долго это омерзительное таинство. Всякий раз приходилось участвовать в нем. Участвовали все до одного. Я чувствовал, что теряю рассудок. Однажды ночью я громко закричал: «Я не буду есть! Не буду есть!» —и проснулся.

Я встал и некоторое время, ковыляя, бродил из угла в угол, боясь, что если лягу, то снова увижу этот сон, который без конца повторялся, с чудовищным однообразием, насыщенный все нарастающим ужасом. Ровена бесшумно появилась в дверях.

— Что это ты сейчас ел?

— Ничего особенного,— успокаивал я ее.— Это, должно быть, от желудка.

Что я ел во сне? Разве можно об этом рассказать?

— Не пойму, в чем дело,— сказал я, наскоро придумав какое-то объяснение.— Опять нога разболелась!

— Ох, уж эти мне доктора! Надо бы их притянуть к суду за все убытки!

— Не думаю, что от этого ноге станет лучше.

— Ты так спокойно это принимаешь!

Я повернулся к ней спиной и стал глядеть в окно — в темноту ночи. Ровена и не подозревала, какими видениями полон был ночной мрак! Опять толпа увлекала меня к храму богини. Опять приближался момент казни. Ванцетти взглянул на меня. Я был до того поглощен всем происходившим, что вздрогнул, когда жена обратилась ко мне:

— Бедненький ты мой!

Я повернулся к ней с виноватым видом и следил за ее движениями, пока она наливала мне какое-то лекарство и всячески меня успокаивала.

Немного спустя я опять встал с постели и начал бродить по комнате, стараясь ступать бесшумно, чтобы не потревожить жену...

Так я провел ту ночь, когда казнили Сакко и Ванцетти.

На следующий день у меня было деловое свидание с Грэвзом, и я поделился с ним своими мучительными переживаниями.

— Такие суды и казни происходят чуть не каждый день,— сказал он.— В этом событии нет ничего особенно ужасного. По существу говоря, это все равно, что раздавить мышь. Нелепая социальная система хочет себя отстоять и уничтожает своих врагов, хотя они пока еще очень слабы. Вы мыслите метафорами и образами, которые не столько освещают действительные события, сколько искажают их... В конце концов вы ведь

не вполне уверены, что эти люди так-таки ни в чем не повинны. К тому же не все человечество было против них. Дело несколько раз на длительный срок откладывали. У них были адвокаты и приверженцы. Если жестокость и предрассудки в конце концов победили, то лишь после долгой борьбы. А подумайте о гладиаторах, распятых на дороге в Рим после восстания рабов! Разве у них были защитники? Пойдемте-ка лучше со мною в зоологический сад. Познакомьтесь, Блетсуорси, поближе с историей и природой, и тогда вас не будут так угнетать текущие события.

Он втянул меня в спор. Он заставил меня осознать мои ужасные видения и подверг их суровой критике. Мы долго спорили, и я чувствовал, что галлюцинации постепенно теряли власть надо мной. Я крепко спал в эту ночь, припадок миновал. Утром я проснулся в грустном настроении, но совершенно здоровый и мог спокойно разговаривать с Ровеной о наших повседневных делах.

14

БОДРАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Недавно мне пришлось провести вечер с Грэвзом. Он пригласил меня отобедать с ним.

За последнее время он пошел в гору. Он становился видной фигурой в той среде, какую именуют «послевоенным торговым миром». Он весьма успешно распространял модные товары и сделался влиятельным членом прогрессивного Клуба коммерсантов; он выступал на собраниях дельцов, освещая проблемы послевоенной экономики и намечая перспективы ее развития. Писал статьи и был автором двух глубокомысленных, оригинальных и талантливых книг на тему о современной экономической и политической ситуации. Книги эти вызвали серьезное обсуждение и одобрительную оценку критики. Насколько мне известно, он первый (но, думается, не последний) вошел в литературу, начав с сочинения реклам. Он порядком пополнел, уже может держать перо правой рукой, искусственное веко придает ему несколько насмешливое выражение, а шрам на лбу из огненно-красного стал бледно-розовым. Он под-

стриг на манер Давида свою каштановую бороду и уверяет меня, что скоро все мы снова вернемся к бороде.

«Дорогой Блетсуорси,— писал он.—Вы, конечно, помните, что я давно обещал вам выплатить весь свой долг. Тогда вы улыбнулись. Но сейчас вам придется еще разок улыбнуться. В настоящее время мне ничего не стоит выплатить вам две трети своего основного долга. Но пусть эти деньги пока остаются у меня в деле и помогут мне приобрести недостающую тысячу, чтобы вернуть вам всю сумму с процентами. По этому случаю разопьем с вами бутылку шампанского. Приходите пообедать со мной в Национальный клуб либералов. В это время года столики вынесены на террасу, над ней натянут тент. Сидя на открытом воздухе, мы будем смотреть, как мимо нас пробегают ярко освещенные трамваи, как сквозь листву платанов мигают огни города, как они отражаются в реке под нашим милым, старым, почерневшим от времени мостом, который все эти болваны художники и прочая публика собираются заменить каким-то уродливым порождением современного ренессанса,—но у меня есть собственный план нового моста. Придется уж его снести, но этот уголок слишком живописен, чтобы позволить этим господам его «оберлинивать».

За качество обеда в Н. К. Л. не могу поручиться, сервировку там не назовешь пышной, но обстановка уютная, а вот за шампанское я отвечаю.

Итак, в четверг, в восемь вечера.

Преданный вам

Лайолф Г.».

Выглядел он превосходно и, казалось, был вполне доволен собой. Здороваясь со мной, он ласково и внимательно вглядывался мне в лицо.

— Вы, я вижу, стряхнули с себя Сакко и Ванцетти,— заметил он и повел меня на террасу. Я нашел, что это — приятное местечко.

— Это очень занятный клуб,— начал он.— Здесь до сих пор еще господствуют политические традиции восьмидесятых годов, причем эти политиканы любуются мостом шестидесятых годов и воображают, что они в авангарде прогресса. Как хороша эта мглистая симфония летних сумерек, куда вносят свою приглушенную ноту эти

устарелые трамваи, тихонько пробегающие мимо! Вы обратили внимание на эти седые головы, на эти смуглые восточные лица, на этих евреев классического, чисто библейского типа и на этих неунывающих пижонов? Там в саду, на скамейках, шепчутся молодые парочки. Понятное дело, они шепчут друг другу старые-престарые слова.

Он заказал к супу херес и откопал в прейскуранте превосходные вина марки Дейц и Гельдерман 1911 года.

Он заразил меня своей жизнерадостностью, я приободрился. Уже не в первый раз общество Грэвза действовало на меня благотворно. Он говорил об упадке либерализма и ухитрился изобразить эту гибель человеческих иллюзий не в трагических тонах, а скорей в юмористических и даже с оттенком оптимизма.

— Взять, например, вот этот клуб. Это какое-то старое, забытое в углу знамя прогресса. Он сказал все, что только мог, и торчит теперь здесь, как некий ветхий годами, но вечно юный мегатерий, просто потому, что не знает, как ему сойти со сцены и куда деваться.

— Так, по-вашему, либерализм умер?

— О нет. Либерализм бессмертен. Всегда найдутся люди, которые будут протестовать против господствующего порядка вещей. Но я имею в виду сию почтенную партию с ее организациями, традициями, со всеми ее гладстоновскими замашками и позами по Джону Брайту.— Он понизил голос и покосился на соседний столик.— Дело в том, что либерализм попал в руки старьевщиков. Они почистили его бензином и преподносят эти жалкие устарелые лозунги как последнее слово прогресса. Хотите маслин?

— Так выходит, что либерализм жив?

— У вас в крови. И у меня. В крови каждого мыслящего, одаренного человека.

— Вы умудряетесь все окрашивать в розовый цвет.

— А вы умудряетесь ничего не видеть за окружающими нас вещами.

— Ну, уж остров Рэмполь-то я всегда вижу.

— И я тоже. Но я вижу и небо над ним.

— Скажите мне, Грэвз, вы верите, что род человеческий когда-нибудь выберется из ущелья?

— Конечно, если только наше солнце не погаснет и не вздумает взорваться и если ничего не случится с нашей планетой.

Я покачал головой. Он наклонился над столом и пристально на меня поглядел.

— Скажите мне, Блетсуорси, вы серьезно верите, что на нашей земле все вечно будет так же, как сейчас?

— Не всякую перемену можно назвать прогрессом. Не напоминает ли вам человеческая жизнь музыкальную тему с кое-какими вариациями?

Грэвз помолчал. Нам снова подали кушанья, и официант вертелся около стола. Остатки спаржи были убраны, и появилось какое-то блюдо, сейчас не припомню какое.

— Есть вещи, о которых не всякому скажешь,— начал Грэвз и снова замолчал, словно приглашая меня обдумать его замечание.— Вы меня давно уже раскусили. Я легкомыслен, опрометчив, так ведь? Не слишком-то надежен. А иногда чуть что не мошенник.

— Нет, вам далеко до мошенника.

— Благодарю вас. Но таков уж я есть. Быть может, несколько безрассуден, тщеславен, люблю потолковать. Вы сами знаете, что вы куда солиднее меня. Но все-таки я не совсем уж пропащий человек. Иной раз могу даже дельный совет дать такому основательному человек, как вы.

— Вы, пожалуй, назовете меня ретроградом.

— Нет, я считаю, что вы гораздо устойчивее и уравновешеннее меня. Но вам недостает предприимчивости. Вам недостает предприимчивости, и вы даже не верите, что она необходима в жизни. А я вам говорю, что в нашем мире процветает всякого рода предприимчивость, пусть беспорядочная, сумбурная, неорганизованная, даже бесцельная, но все-таки предприимчивость. И она с каждым днем приобретает все более разумный характер. Становится все менее сумбурной. Все менее своекорыстной. Культурный уровень повышается, растет общественная инициатива, накапливаются силы.

— Я вижу, вы все такой же неисправимый фантазер! — прервал его я и тут же попросил продолжать.

— Вы хорошо знаете библию? — вдруг спросил Грэвз.

— Когда-то знал.

— Больше двух тысяч лет назад ваш остров Рэмполь посетил человек, которого почитали мудрецом. Он утверждал, что люди живут не в ущелье, а в темной пещере, и нет у них ни надежды, ни выхода, и не заглядывает к ним даже луч отдаленной звезды. Суета сует и всяческая суета. Но теперь ведь и вы признаете, что из ущелья видно ясное небо. Вы рассказывали плешивым старцам о благах цивилизации, а говорить людям о чем-нибудь хорошем — значит наполовину уже это осуществить.

— Если бы я только мог этому поверить!

— Я согласен, что вы тяжело пострадали на войне. Это ваша личная трагедия. Но...— Он остановился, обдумывая, как бы точнее выразить свою мысль.— Следует ли в наше время измерять ценность вещей и событий с точки зрения своего личного благополучия?

Он опять задумался. Потом заметил как бы вскользь:

— Вот я сейчас высказал вам свои заветные мысли и чувства, но боюсь, как бы мне не оказаться своего рода валаамовой ослицей.

— А почему бы нам с вами не высказывать откровенно свои мысли, даже если у нас и не такие бороды и чело, какие полагаются мудрецам? Продолжайте, Грэвз.

— У нас с вами,— сказал Грэвз,— могут зародиться идеи, которые мы не в силах будем осуществить. Но явятся другие люди, лучше и сильнее нас, они-то и проведут в жизнь наши идеи. Лиха беда начало!

— Но, к сожалению, я что-то не вижу людей сильнее и лучше нас.

— Пусть так. Но если, кроме нас, Блетсуорси, еще сотни тысяч людей будут действовать с нами в одном направлении, то они сотворят великие дела, которые под стать гениям.

— Вот с этим я совершенно не согласен. Нет. Если человек опускается ниже известного уровня, его практически уже нельзя принимать в расчет. Это попросту нуль. Например...— Постойте минутку, Грэвз, дайте мне сказать! — хотя бы эта самая война. Но сперва мне хочется вам напомнить об этом нашем жалком маленьком начинании в Оксфорде: небесно-голубой фасад, сеть ма-

газинов, которые должны были распространять знания, передовые идеи и культуру по всему земному шару.

-- Я и сейчас уверен,— веско сказал Грэвз,— что идея была превосходная.

— Но ведь мы потерпели неудачу.

— У нас не хватило ресурсов. Денежных и моральных. Что я был такое? Жадный негодяй, глупый расточитель! Отвратительная личность. И все-таки я убежден, что придет день, когда кто-нибудь почище меня подхватит нашу старую идею и осуществит эту великую задачу.

— К сожалению,— сказал я,— я не верю, что у наших современников найдутся и денежные и моральные ресурсы, необходимые для совершения того великого сдвига, о котором вы так мечтаете. Вот, например, война. Наше поколение, без сомнения, давно раскусило, что такое Ардам. А что, спрашивается, было предпринято и что мы сейчас делаем, чтобы его обуздать? Строим легковесные проекты.

— Для борьбы с ним у нас нет еще нужных средств. Делаем попытки, правда, довольно вялые.

— А где вы найдете необходимые средства? Человек по природе труслив и склонен сам себя дурачить. Где вы видите хоть искру надежды? Вот мы сидим с вами здесь на террасе и кейфуем среди развалин викторианского либерализма. А за соседними столиками всякие совы и филины потчуют своих друзей. А ведь в свое время викторианский либерализм вдохновлял передовых людей: он освобождал рабов, он в некотором роде повышал культурный уровень масс, он славословил свободу. Назовите-ка мне какое-нибудь новое течение, которое было бы лучше и убедительнее его? Мы приходим с вами, Грэвз, все к тому же вопросу: где найти нужный капитал? Мне вспоминаются все пережитые мной несчастья и разочарования. Некоторые из них я приписываю слепому случаю, равнодушию природы, которая обращает на человека не больше внимания, чем на какого-нибудь червяка или на падающий камень. Природа дала мне много хорошего и много дурного...

— «Звезды, горы, море, цветы»,— тихонько продекламировал Грэвз.

— Но в гораздо большей степени, чем природу, я склонен винить в своих несчастьях человека, его неискоренимые пороки.

— Почему неискоренимые? — пробормотал Грэвз.

— Человек только и делает, что заблуждается, и так всю свою жизнь. Он жесток, любит разрушать, безжалостен, глуп, при малейшей панике теряет голову и становится опасным, вечно завидует всем и каждому!

— Но ведь есть же у него и положительные черты.

— Может быть, но общий баланс не в его пользу. Таким он всегда был, таким и останется.

— Нет,— сказал Грэвз.

— Вся история человечества это доказывает.

— История изучает то, что некогда было и прошло.

Он прервал свои рассуждения, чтобы распорядиться насчет кофе. Мы закурили сигары и отодвинули свои стулья подальше от стола, где красовались великолепные остатки десерта и серебряные чашки для ополаскивания пальцев. Сквозь ветви старых кленов, раскинувшихся сложным узором, мы смотрели в бездонную синеву июльской лондонской ночи; в просветах между деревьями был виден мост, где не смолкал грохот и сновали взад и вперед яркие огоньки, сливаясь в широкий ослепительный поток.

Некоторое время мы сидели, не говоря ни слова.

— Блетсуорси,— прервал молчание Грэвз,— вы и представить себе не можете, какое великое будущее ожидает человечество.

— Ну, а вы можете?

— Я предвосхищаю его, чувствую его приближение... Мы с вами, Блетсуорси, самые заурядные люди. То, что мы думаем, думают и тысячи других людей. Не вы один побывали на этом самом острове Рэмполь. Его посетили тысячи, пожалуй, даже миллионы людей. Мы с вами размышляем о том, как бы это выбраться из ущелья, но от наших отвлеченных рассуждений нет никакого толку. Движение это пока что едва намечается, и такие, как мы, средние люди, топчутся на месте, испугавшись выводов, к которым логически пришли. Но ведь сотни и тысячи должны мыслить и чувствовать, как мы с вами. Сущая нелепица думать, будто на свете нет людей более решительных, чем мы,— я уверен, что их даже очень

много. Они нащупывают путь, строят новые планы. Нужно, чтобы как можно больше людей пришли к такому сознанию,— и тогда все пойдет на лад!

— За малым дело стало,— не без иронии заметил я.

С минуту Грэвз колебался, стоит ли отвечать на это замечание, и, видимо, решил, что не стоит.

— Это была война,— продолжал он,— за прекращение войн вообще, и я уверен, что она положит им конец. Уже больше никогда не будет таких страшных и бессмысленных войн, как эта последняя бойня. До поры до времени мы еще будем терпеть старое правительство, старые порядки. Война разоблачила их и осудила, но мы все еще их терпим. Ведь наспех невозможно радикально перестроить человеческое общество. Не стоит огорчаться из-за отдельных неудачных опытов, это лишь временные срывы. Настоящая перестройка, радикальная перестройка не за горами, поверьте мне, Блетсуорси. Великое обновление зарождается в наши дни, подобно тому как позитивная, экспериментальная наука зарождалась в семнадцатом веке. Для начала надо учредить ряд небольших компаний на новых началах, это будут своего рода застрельщики. И это — естественно. Ведь всякое предприятие начинается с набросков, с планов, составленных в общих чертах. Спешить незачем, но и медлить не следует. Чтобы все в корне изменить, потребуются колоссальные затраты, это обойдется в несколько раз дороже, чем обошлась человечеству мировая война, нужна работа многих поколений. Широкие агитационные кампании. Широкие просветительные кампании. Потребность в них уже назрела, и они будут проведены. Теперь смотрите, что будет дальше. Прежде всего наши правители должны сделать решительный шаг: потребовать, чтобы война была признана вне закона. Вы скажете, громкая фраза. Но так ли это? Когда правители освоятся с этой мыслью и когда она станет достоянием всего народа, тогда, Блетсуорси, тогда, сперва робко, потом все смелее и смелее, они примутся обсуждать следующее мероприятие, новый шаг на пути к установлению международного контроля над мировой политикой и экономикой, без которого не будет иметь силы закон, объявляющий войну преступлением. И такого рода шаги уже начинают предпринимать.

— Но подумайте о том, что представляют собой современные люди, по плечу ли им такая гигантская задача? Ведь они вечно ссорятся, обманывают, терпят крах и попусту растрачивают свою жизнь.

— Плешивые старцы, которые деспотически правят племенем, уже на краю могилы. Слава богу, существует смерть. Ведь мегатерии могут умереть. А если этому содействовать, их смерть может наступить очень скоро.

— Ну, а что придет им на смену? — спросил я.— Новая поросль все тех же самых сорных трав. Еще одна вариация на тему человеческого бессилия.

Я взглянул на своего собеседника. Он смотрел на старый железнодорожный мост, и лицо его выражало спокойную уверенность: как видно, на него не произвели должного впечатления мои слова. Несколько минут он молчал, углубившись в свои мысли. Потом повернулся ко мне.

— Блетсуорси,— начал он,— в наши дни уже можно составить себе представление, правда, пока еще смутное, о том, что может сделать человек в окружающем его физическом мире,— авиация, подводные лодки, радио, уничтожение расстояний, чудеса современной хирургии, борьба с эпидемиями... Но вряд ли кто из нас задумывался о том, какие меры надо предпринять, чтобы в корне перестроить человеческое сознание. А ведь это надо будет сделать в несколько лет. Просвещение до сих пор еще в допотопном состоянии. Догматы нашей религии и принципы нашей морали вызывают улыбку даже у четырнадцатилетнего мальчишки. И что же, вы думаете, так все и будет продолжаться?

Я молчал, продолжая упрямо стоять на своем.

— Возьмем, например, нашу с вами жизнь. Разве удалось нам использовать хотя бы десятую долю наших способностей? При господствующей системе образования едва ли один процент всех получаемых знаний идет впрок. Все остальное — ерунда, рутина, ложное направление умов. Каким примитивным, глупым, жадным, расхлябанным ротозеем был я в те оксфордские дни, когда втянул вас в эту историю! А ведь я получил первоклассное по тем временам образование. Редко с кем так возились, как со мной. А вы...

— Я тоже был изрядным ротозеем,— признался я.

— А что могло бы получиться даже из такого второсортного материала, как мы с вами, если бы мы получили настоящее, рациональное образование и выросли в мире подлинной цивилизации, а не среди этого дикого сумбура и всеобщей грызни, лицемерно прикрытых пышными фразами. Но просвещение как-никак распространяется. И надо сказать, наши современники — самые обыкновенные люди — гораздо лучше владеют собой и разбираются в себе, чем их отцы и деды: они умеют вовремя сдержать порыв неразумного гнева, отдают себе отчет в своих симпатиях и антипатиях, быстро находят выход из самого затруднительного положения и стали гораздо откровеннее. Это только первые проблески новой духовной культуры, основанной на самоконтроле, а не на догмате и дисциплине. Распространение новых идей вызвало к жизни и новый уклад жизни, более широкий взгляд на вещи. Многие до сих пор воображают, будто любовь осталась той же, что была сто лет назад. Ошибочное суждение! Точно так же обстоит дело и с ненавистью. В деловом мире теперь меньше алчности, взаимного недоверия и конкуренции. Если заняться статистикой, то окажется, что на долю каждого человека сейчас выпадает раза в четыре меньше всяких каверз и неприятностей, чем во времена Диккенса и Теккерея. Если вы мне не верите, почитайте-ка. Достаньте старый номер «Панча», выпущенный лет этак пятьдесят назад, и вас поразит, сколько там пошлости и снобизма, и после этого вам покажутся прямо-таки невинными политические остроты в современных журналах. А ведь все это — только начало длительного процесса, который приведет к духовному возрождению человечества. Только первые шаги. Движение это еще не приняло массового характера. Вы знаете не хуже меня, что по крайней мере семь восьмых всех злых и жестоких поступков вызваны страхом, подозрительностью, невежеством, опрометчивостью и дурными навыками. Но ведь от всех этих недостатков можно излечиться, если не совсем, то хотя бы отчасти. Неужели же вы думаете, что, когда люди узнают, что можно излечиться от этих недостатков, они не постараются с ними разделаться? А для этого нужно только показать им, что их

ожидает в будущем. Будь у нас с вами возможность перенестись лет на сто вперед, неужели мы увидели бы ту же самую толпу, что и сегодня? Не думаю. Мы увидали бы людей более воспитанных, лучше одетых, с хорошими манерами, которые не слоняются без толку по улицам, а идут целеустремленно. Вот я смотрю на нынешних горожан, и они, право же, напоминают мне насекомых, ну, скажем, муравьев или мух, которые попали на кухню в поисках легкой поживы. Дорогой мой Блетсуорси, неужели вы думаете, что все это,— он указал на Лондон размашистым жестом руки,— так-таки и будет продолжаться до скончания веков? Неужели вы думаете, что еще долго будет так продолжаться?

— Но где и когда начнется эта ваша новая эра?

— Да в какой-нибудь миле от нас. Она озаряет уже тысячи умов. И скоро охватит весь мир.

— Слушайте, Грэвз,— заявил я,— вы непременно должны написать еще одну книгу под заглавием «Безграничные перспективы развития всечеловеческой культуры».

Он погасил сигару, ткнув ее в пепельницу. Казалось, он серьезно обдумывал мое предложение.

— Пожалуй, что и так,— проговорил он.

— Ну, а что остается на долю отдельных личностей?

— Стоицизм, творческий стоицизм. Чего же вам еще? Не думайте, что стоицизм непременно должен быть суровым. Согласитесь, Блетсуорси, что в жизни бесконечно много прекрасного и увлекательного, и, несмотря на все ваши разочарования, если бы вам предложили на выбор — жить или умереть, вы все-таки выбрали бы жизнь, правда ведь?

— Я не хочу быть неблагодарным. Ради одной такой чудесной летней ночи и то стоит жить. Но мне горестно думать, что до сих пор я по-настоящему не жил, и хотелось бы мне, чтобы жизнь моя имела больше смысла.

— Уже ваше недовольство собой и то имеет большой смысл. И вдобавок, Блетсуорси, вам еще нет и сорока. Перед вами еще много лет жизни. Может быть, мы с вами еще увидим серьезные перемены... Личная наша жизнь — еще далеко не все. До сих пор люди переоценивали свою индивидуальную жизнь и слиш-

ком мало думали о себе подобных. Вовсе не требуется, чтобы в корне изменилась природа, достаточно, если изменится направление... О, я знаю, вы сейчас думаете, что я хочу ускользнуть от решения своих личных задач, разглагольствуя о прогрессе человечества. Я догадался по вашей иронической улыбке. Возможно, вы думаете, что для меня не имеет большого значения, как я веду свои дела и каким путем добьюсь своей цели, ведь если я даже и не буду на высоте, общий поток все равно понесет меня к новым берегам. Нет, мне чужды такие мысли. Я далек от таких чувств. Напротив, занимаясь этими великими проблемами, я стараюсь подавлять в себе все мелкие, своекорыстные побуждения. Я стал честным, во всяком случае, куда более честным, чем раньше. И не так давно в двух-трех случаях я проявил даже что-то вроде великодушия. А помимо всего прочего, вот здесь за обедом, должен сказать, что намерен выплатить вам весь свой долг.

— А нужно ли это? Зачем отягощать свое будущее расплатой за ошибки прошлого? Я с радостью спишу со счета весь ваш долг. Позвольте мне сделать это во имя нашей дружбы, которая так много дала нам обоим.

— Я не успокоюсь, пока не заплачу вам все сполна.

Я взглянул на него, и он прочел в моих глазах вопрос.

— Чтобы доставить вам удовольствие, скажу точнее. Я не успокоюсь до тех пор, пока не приму твердого решения заплатить вам.

Я улыбнулся этой характерной для него оговорке, и лицо у него просияло ответной улыбкой.

— А все-таки я вам заплачу,— сказал он.— Вы всегда все подвергаете сомнению. Но поверьте моему слову: этот ваш остров Рэмполь исчезнет, и восторжествует все, о чем я говорил.

1928

СОДЕРЖАНИЕ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том XI.

Редактор тома
Н. Георгиевская.
Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.
Оформление художника
Е. Казакова.
Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 21/X 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 1882. Зак. 2375. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 16,0+4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 26,65. Уч.-изд. л. 28,19.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.